Иностранная литература

4

1962

4 1962 Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ДАМЯН ДАМЯНОВ — Улыбка Ленина (Стихотворение) 4

КОНСТАНТИН БИБЛ — Он на руки взял Землю (Стихотворение) 5

ИРЖИ ФРИД — Майское (Стихотворение) . 6

ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Роман. Предисловие Александра Бека) 7

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ — Стихи разных лет 107

СЕМЕН КИРСАНОВ — Жизнь и поэзия (О Владиславе Броневском) 109

ЛЕОНАРДО ШАША — Сова появляется днем (Повесть) 111

МИХ. МАТУСОВСКИЙ — Когда люди становятся поэтами (К годовщине первого полета советского человека в космос) . . 168

КРИТИКА

Б. МЕЙЛАХ — Ленин и иностранная литература 175

И. ШКУНАЕВА — Место действия — Конго . 183

ХОАИ ТХАНЬ — Пусть ярче расцветает сад нашей культуры 193

4

АПРЕЛЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ОБЗОРЫ

А ПАВЛЕНКО — Писатели новой Индонезии 198

ПОЛЕМИКА

Л. ЧЕРНАЯ — В страхе перед Брехтом . . 204

ПУБЛИЦИСТИКА

ЙОЖЕФ ДАРВАШ — Праздник человечества 206
ПЬЕР КУРТАД — Газета, которой верят миллионы (К 50-летию «Правды») 209
АНДРЕ СТИЛЬ — Суждено ли Франции «гнить на корню»? 211
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Народ под следствием 214

ДОКУМЕНТЫ

ТАК ПОБЕЖДАЕТ РЕВОЛЮЦИЯ (Из книги «Плайя Хирон») 217

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 233

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ВАСИЛИЙ ЕФИМОВ — Мигель Виладрич . . 239
ЕВА ВИХМАН — Свен Грёнвалл, финский художник 248

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

М. Кораллов — Путь к измене. ◇ Л. Вихоцкий — В тревоге за судьбы людей. ◇ В. Бахмутский — Интересное исследование 252

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Юрий Дашкевич — Поэт кубинской революции. ◇ Л. Зонина — Гангрена духа. ◇ И. Чернявская — Как «спасти короля»? 257

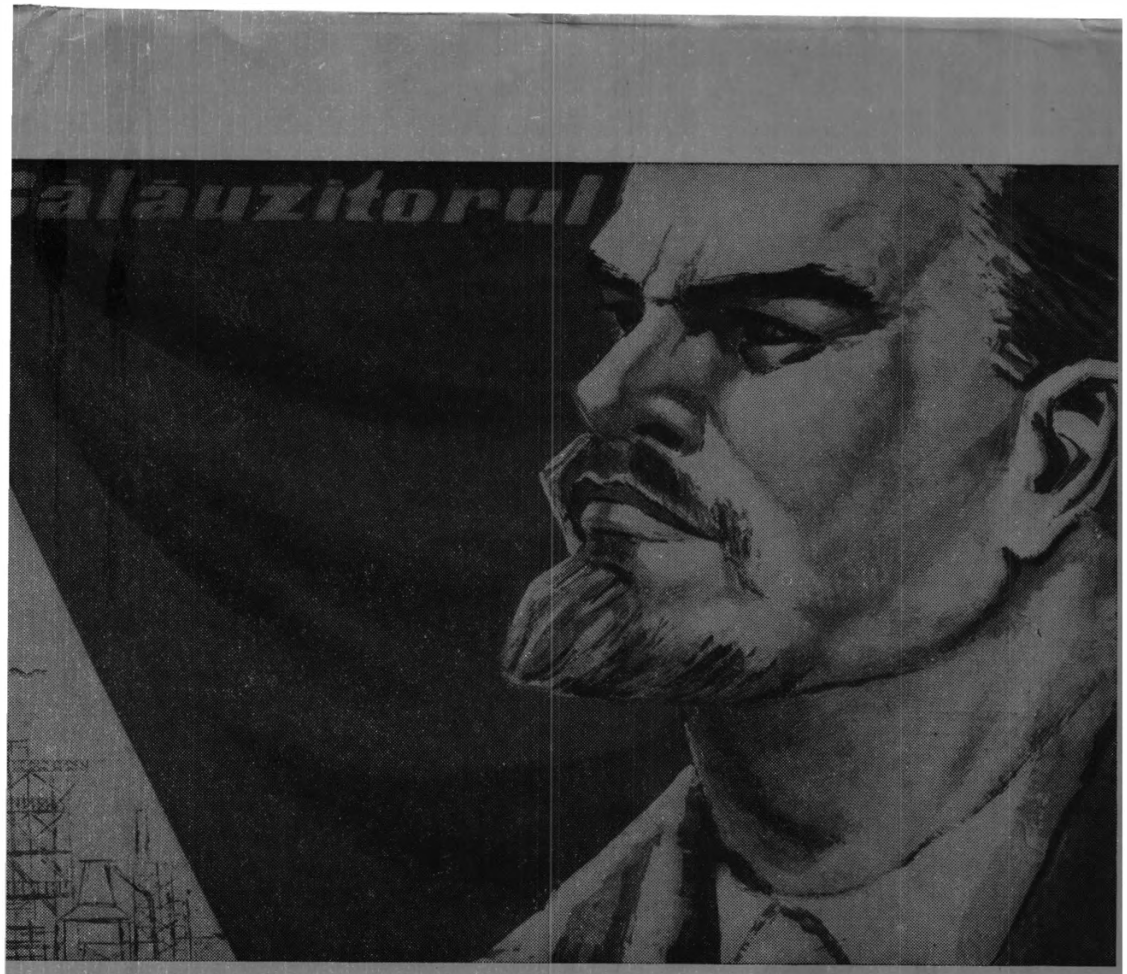
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 264

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 266

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

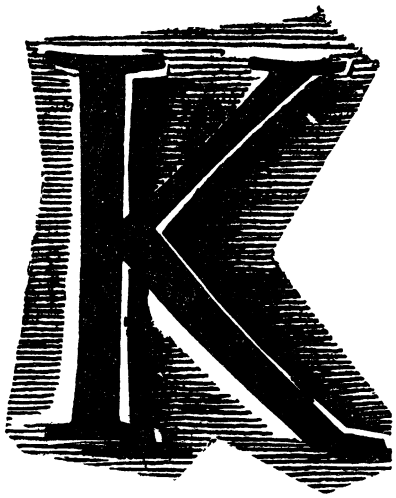
На обложке гравюра на дереве румынского художника АЛЬБИНА СТЭНЕСКУ



ВИНЧЕНЦИУ ГРИГОРЕСКУ *(Румыния)* **«ВЕДУЩИЙ»** (плакат)

ДАМЯН ДАМЯНОВ

УЛЫБКА ЛЕНИНА



Когда бывает трудно мне на свете,
когда нет сил бороться с утомленьем —
опять твоя улыбка на портрете
мне помогает жить, товарищ Ленин!

А было ль тебе весело? Не слишком:
разруха, смерть... Беда нависла зримо...
Но ты идешь в простреленном пальтишке —
твоя улыбка всем необходима!

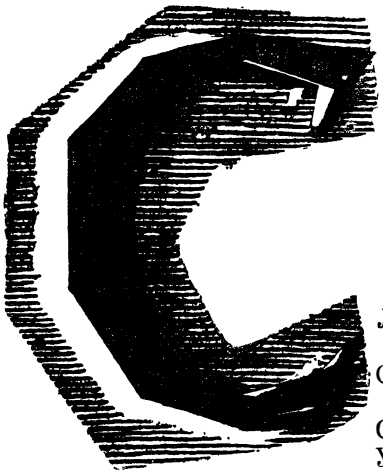
Твоя улыбка зернами всходила
в сердцах рабочих, расцветала ясно.
Добра, как солнце, нам она твердила,
она ручалась: солнце не погаснет!

Твоя улыбка! Даже в годы эти,
когда пришлось и строить, и сражаться...
Твоей улыбки хватит всей планете,
чтоб научить ее смеяться!

Перевод с болгарского
ВИКТОРА ВИНОГРАДОВА

КОНСТАНТИН БИБЛ

ОН НА РУКИ ВЗЯЛ ЗЕМЛЮ



Лениным поговорить это значит
включиться в борьбу
Стать марафонцем который приносит
известье
О новых победах
У него для всего было время
Когда решалась судьба Петрограда
Когда решался вопрос о жизни и смерти
Больше всего он думал о детях.

Видите он стоит на площади перед Зимним
По-юношески задорный
И потому что на руки детей брал Ленин
Он на руки взял
Землю
С ее вечными полярными льдами
И снежным покровом

Взял ее на руки с ее кровавой историей
И голубыми морями

Своими ленинскими руками он время ее формирует
Свергает старых богов
И глупых жестоких тиранов
После краткого и ожесточенного боя
Когда весь мир содрогался
Но этого не отметили сейсмографы в Лиссабоне
Рукою давшей Земле иное вращенье
Он смахнул снег со своей зимней шапки
Улыбнулся
На все стороны света
И на глазах тех кто остановился пред ним в немом удивленье
Сделал еще несколько шагов по яркому снегу
И вошел совершенно простой
Бессмертный
В сердца растущих вокруг него миллионов

Перевод с чешского
ВЛ. МАКАРОВА

ИРЖИ ФРИД

МАЙСКОЕ

у до чего же я сонлив!
Казался мирным парк, однако
Уже готовился прорыв
И набухала контратака.

Нагим причудливым суком
Был звездный занавес распорот.
Луна огромным светляком
Лила магнезию на город.

Вдруг листья встали для броска
Настороженною ватагой.
Так подымаются войска
Перед решительной атакой.

А я... я спал. Эх, голова!
Проспал сигнал! Решил — прилягу...
Глядит очкастая сова,
Как зелень занимает Прагу.

И вот рассвет. Окончен бой.
Иду к надевшим форму кленам.
Весна! Растроганный тобой,
Машу твоим полкам зеленым.

И, словно много лет назад,
Вот-вот, сдается, русских встречу,
И слышу — улицы звенят
И улыбаются их речи.

Перевод с чешского
И. ИВАНОВА

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

■

Перевод с немецкого
Е. ЗАКС и Н. МАН

О КНИГЕ СОЛДАТА

Итак, еще один роман о второй мировой войне? С некоторым недоверием я раскрыл рукопись. Однако уже с первых страниц она потянула к себе. Потянула и уже до конца не отпускала. А между тем я отношу себя к привередливым читателям — прошу извинения за эту сугубо личную подробность.

Впрочем, такая ли она уж личная? Все мы, люди разных возрастов, ныне составляющие читающую публику шестидесятых годов, много знаем, многое сами видели и пережили — любую книжную новинку мы открываем с предубеждением, как бы вопрошая автора: ну-ка, сумеешь ли ты рассказать нам правду о нашем трагическом и великом времени?

Свой исполненный горечи роман, будто несущий в себе грохот бомбежек, Дитер Нолль назвал «Приключения Вернера Хольта». В этом словечке «приключения» сквозит печальная и умная усмешка автора. Она проглядывает на многих страницах книги. Признаюсь, хочется порассуждать об этой вещи, выявить, определить некоторые секреты ее обаяния. Но нужно ли в данном случае предварять чтение подобными истолкованиями? Если читатель не разделит моего непосредственного восприятия, не ощутит, что приобщился к таланту, к свежему чистому источнику, забившему из недр жизни, никакие рассуждения не помогут.

Я, однако, убежден, что роман Дитера Нолля будет тепло встречен у нас. Кратко скажу все же о главной, на мой взгляд, его художественной особенности или — это будет, пожалуй, вернее — постараюсь изложить квинтэссенцию своего впечатления.

Читая роман Нолля, я вспоминал не только о войне, приходили и какие-то иные, вовсе не военные, ассоциации, сперва неотчетливые, слабые, потом все более настойчивые. Мысленно я спрашивал: что же мне напоминает эта вещь, к какой литературной традиции она примыкает? Долго я не мог этого схватить. И лишь в какую-то минуту ярко предстало: я, «беседчик» так называемого «Кабинета мемуаров», что был создан в тридцатых годах А. М. Горьким, чутко внимаю рассказам бывалых людей, которым нередко был присущ и замечательный дар повествования. Эти беседы — те, что являли собой исповедь, именно такими они в большинстве были,— волновали меня, доставляли некое особенное эстетическое наслаждение: я будто припадал к роднику жизни, будто читал книгу, которую писала сама жизнь.

Подобное же впечатление покоряющей непреложной достоверности производит и вещь Дитера Нолля. Порой кажется, что автор лишь живо излагает цепочку действительных случаев и событий. Но нет, профес-

сиональным писательским взглядом замечаешь: вот прикосновение кисти мастера, один, другой «удар», как говорят живописцы,— и почерпнутые из жизни, не утерявшие ее вкуса и запаха злоключения одетого в военную шинель юноши немца вырастают в художественное произведение большой силы.

Я делаю некоторое усилие над собой, чтобы сказать об идее романа. Дело в том, что обычно предисловия, как правило, заранее раскрывают писательский замысел, к которому автор лишь постепенно подводит читателя. В книге Дитера Нолля задача идейного воздействия, идейного воспитания спрятана глубоко, как бы составляет его тайну. Мы прочитываем страницу за страницей, главу за главой, и перед нами предстает жизнь, рассказанная без малейшей назидательности. Движение идеи скрыто в потоке романа, и лишь последние страницы делают ее, эту главную мысль, совершенно ясной, как бы заново бросающей свой яркий свет на всю только что прочитанную книгу.

Немногие писатели владеют подобным искусством. Во всяком случае, сила воздействия этой книги несомненно велика. Роман написан немцем, который всем разумом, всем сердцем отвергает фашизм, поклонение войне, примыкает к походной колонне борцов, несущих над собою знамя Ленина.

Это немалая победа — появление нового художественно сильного произведения о минувшей жестокой войне, произведения, созданного одним из ее участников, тем, кто вышел из глубин немецкого народа и решительно шагнул в лагерь социализма.

В большом искусстве всегда так или иначе выражаются общественные сдвиги. Свидетельством подобных сдвигов в жизни немецкого народа можно смело считать «Приключения Вернера Хольта».

Мне не доводилось встречаться с Дитером Ноллем. Поэтому я не могу дать его портрета. Когда-то его и меня, советского писателя, рядового Красной Армии, разделял фронт, мы с оружием в руках стояли друг против друга, а теперь... Теперь я горячо обнимаю молодого талантливого писателя, союзника и собрата в идейной борьбе.

АЛЕКСАНДР БЕК

ПРОЛОГ

I

Звонил будильник. Хольт вздрогнул, словно от толчка, проснулся и соскочил с постели. Пошатываясь, стоял он среди комнаты. Сон нисколько не освежил его. Он ощущал какую-то скованность во всем теле, голова трещала. До начала занятий оставался ровно час.

Солнечный свет лился широкими потоками в распахнутые настежь окна. Был конец мая 1943 года, сухой и жаркий,— самая лучшая погода для купания. Река, пробившая себе путь сквозь горы, текла возле тихого городка. Зеленые ее берега манили к себе куда больше, чем гимназия под красной черепичной крышей и пыльные классы.

«Математика, история, ботаника, зоология,— соображал Хольт.— Потом еще два часа у Мааса, инспектора Мааса: латынь и английский... Перевод из Ливия сдеру у Визе на большой перемене, но вот, если меня вызовет Цикель — Мэ-мэ,— тут-то я и пропал...» Тупая боль, гнездившаяся где-то под черепной коробкой, утихла. Вдруг Хольт вспомнил свой сон, страшный, будоражащий. Ему снилась Мария Крюгер в цыганской цветастой юбке, а потом еще, что он дерется с Вольцовом.

Хольт стоял у открытого окна и делал зарядку. Внезапно у него закружилась голова. «Я болен,— подумал он.— Не пойду сегодня в гимназию. Лучше лягу в постель. Нет, невозможно! Если не приду сегодня, значит, я проиграл, значит, струсил перед Вольцовом». При этой мысли он почувствовал себя совсем больным. Вчера у них с Вольцовом произошла ссора. И третьего дня тоже. Ссорились они каждый день, а на сегодня был назначен решающий бой. Хольт никого в классе не боялся. Но избить Вольцова у него не было ни единого, даже самого маленького шанса. Значит, с ним, Хольтом, покончено. Ибо со времен Гомера вплоть до

наших дней непобедимый герой велик, как эпос о нем, а побитый хвастунишка просто-напросто смешон.

«Экая досада,— думал Хольт. Он умывался холодной водой и, дрожа, как в ознобе, глядел на себя в зеркало.— Подружись я с Вольцовом, мы бы всей гимназией командовали. Ведь старшеклассники уже в армии. Теперь старшие — мы».

Вытираясь, он потрогал щеки и верхнюю губу. Нет, борода не торопится расти, горе с ней, да и только. Хольт брился просто так, чтобы поддержать свой престиж. Подумать только — уже шестнадцать стукнуло, а бороды все нет. Позор — какая гладкая кожа. Не удивительно, что он и подойти-то к Марии Крюгер не решается, когда она, словно кошка, шмыгает вокруг купален. Впрочем, совсем недавно он повстречал ее, и она — да-да, уж это он точно помнит — поглядела на него таким зовущим взглядом... А подбородок, право же, здорово царапает.

Рост — метр семьдесят пять, вес — шестьдесят семь, узкокостный, зато мускулистый. Да что толку! Рядом с Вольцовом — в том метр восемьдесят восемь и веса без малого девяносто килограммов — он все равно кажется мальчишкой. Хольт смотрелся в зеркало. Глаза темные, волосы тоже, и какие упрямые! Чуть что, начинают виться, да еще встают дыбом. Хольт наконец причесался и оделся. Голова больше не болела, только была какой-то тяжелой. И глотать почему-то трудно, во рту пересохло...

Вольцов пользовался репутацией первого шалопая в школе. Педагогический совет дважды выносил ему строгий выговор. После третьего его чуть было не исключили, но за него заступился дядя, генерал. «Я-то, идиот этакий, вместо того, чтобы подружиться с Вольцовом, давай драться с ним за первенство. А какой бы это мог быть друг, Гильберт Вольцов! Как Гаген *, Винету ** или Роллер ***.

Хольт собрался наконец, засунул книги в портфель и бегом спустился по лестнице.

■

Дом принадлежал сестрам Евлалии и Веронике Денгельман, вернее, их матери. Старухе минуло восемьдесят, она впала в детство, ее отдали под опеку дочерям. Старшей было пятьдесят два года, младшей сорок шесть. Они сдавали комнаты «с полным пансионом для одиноких мужчин». Хольта здесь баловали, потому что мать щедро платила за его содержание. В пансионе он жил уже два месяца и тиранил обеих хозяек.

Хольт вошел в столовую на первом этаже и крикнул, чтобы ему подали кофе. Вероника Денгельман, младшая из сестер, поставила перед ним чашку и тарелку с бутербродами. Лицо ее покрывал толстый слой крема, волосы были накручены на бигуди.

— С добрым утром!

Хольт не ответил. «Я болен,— мелькнуло у него в голове.— Сейчас она заведет свое «поторапливайтесь»... Глотать было так больно, словно в горле открылась рана.

— Поторапливайтесь,— сказала фрейлен Денгельман,— вы опоздаете, а у нас опять будут неприятности.

Хольт отодвинул тарелку с бутербродами. В дверях появилась Евлалия, кутаясь в полинялый халат. «Удивительно напоминает овцу,— подумал Хольт. — А Вероника — та просто луна».

---

* Персонаж из «Песни о Нибелунгах».

** Герой бульварных романов Карла Мая, пронизанных националистскими тенденциями.

*** Один из благородных разбойников в трагедии Шиллера «Разбойники».

— Ну-ка, проваливайте! — тотчас сказала Евлалия.— Сейчас уже семь...

Он метнул в нее злобный взгляд. «Если Вольцов поколотит меня, я выкину что-нибудь из ряда вон выходящее, например с инспектором Маасом, иначе мне уважения класса не вернуть. Я уже всех учителей извел: и Цикеля — Мэ-мэ, и Венера, и Грубера.— всех до одного. Правда, Цемтцкий вечно меня подзуживает: «Небось, к Маасу ты не решаешься подступиться!» К Маасу никто подступиться не решается, даже Вольцов. Но я в этих делах опытен. Непременно разыграю Мааса и стану героем дня. Вот, например, Маас вызывает меня, я выхожу к доске и не могу выговорить ни слова. Маас хочет меня наказать, но я сразу вытаскиваю медицинскую справку, а в ней значится, что со вчерашнего дня я глухонемой. Да, но где я возьму эту справку? А может быть, наоборот: я начинаю отвечать и вдруг... ни с места. Стою и что-то лопочу невнятно. Судорога, несмыкание челюстей. Класс ревет от восторга, а Мааса от злости чуть не хватает удар. Тут ко мне подходит соученик, как мы заранее условились, и дает мне пощечину. Раз — и все становится на место. Пусть-ка попробует доказать, что это было нарочно! Да, это я очень хорошо придумал! А может... А может, довести Мааса до белого каления его же дурацкими скрыто-подчиненными предложениями?»

Хольт все еще сидел за столом. «Роскошный день. Эх, был бы у меня парусник!..» Сквозь распахнутое окно он увидел согбенную спину старухи Денгельман. Старуха брела прямо по грядкам и обрывала молодые побеги кольраби, все подряд...

— Вы чуть не каждое утро опаздываете в гимназию,— продолжала пилить его Вероника.— Вчера я повстречала господина Бенедикта...

«Бенедикта? Учителя гимнастики? Ну, этот безвредный... Ага, сейчас она оборвет и весь салат!»

—Присматривали бы вы лучше за своей зеленью,— сказал Хольт.— Старуха в саду.

— О господи, господи, господи!

Двери захлопали. В саду послышались крики.

Хольт вышел на улицу. Он медленно брел вдоль железнодорожной насыпи. Торопиться было некуда. На урок все равно опоздал, а отговорка всегда найдется. Обычно его выручает шлагбаум. Почему-то он вечно оказывается закрытым.

— Хольт!— раздался голос.— Обожди-ка!

Рутшер. Всю прогулку отравит. Рутшер был сыном преподавателя, умершего два года назад.

— Уже семь,— едва выдавил из себя Рутшер.— Нам надо торопиться.— Он так бежал, что чуть не задохнулся и даже заикаться забыл.

— А ты что, боишься?— проворчал Хольт.

— Вдвоем,— пролепетал Рутшер, паренек со светло-русой головой,— вдвоем легче отвертеться.

Они перешли через пути. Отсюда широкая, обсаженная липами аллея вела прямо в городок. По обе ее стороны высились особняки.

«Здесь живут Барнимы»,— вспомнил Хольт. Он с любопытством поглядел на большой кирпичный дом. У полковника Барнима две дочери. Пятнадцатилетняя Герда училась в женском лицее. По дороге в школу Хольт иногда встречал ее. «Веснушчатая тощая девчонка. Говорят, у нее есть сестра, Ута, той уже девятнадцать. Она кончила школу с отличием и в прошлом году была чемпионкой округа по теннису. Я ее ни разу не видел, но все говорят, что она первая красавица в городе. А здесь вот, совсем рядом, живет Петер Визе. Уж он-то, разумеется, давно в школе. Визе Питер, горе-Петер, первый наш ученик. Все-то он знает, все на свете, даже речи на латыни произносит. Зато в проделках наших никогда не участвует. А вот на рояле Петер играет потрясающе». Хольт

под разными предлогами частенько заходил в дом к судье Визе: «Послушай, сыграй что-нибудь!» — просил он. Болезненный, слабый Петер садился за рояль. И Хольт мог слушать его часами.

В глазах у Хольта вертелись огненные круги, в ушах шумело. Он задыхался.

— Что с тобой? — вскричал Рутшер.

Хольта тряс ледяной озноб. Вдруг его бросило в жар. Да неужто он действительно заболел? Предметы близко-близко придвинулись к нему. Казалось, он смотрит на окружающее сквозь увеличительное стекло. Голос Рутшера эхом отдавался где-то вдали.

— Что мы скажем Шёнеру? — спросил Рутшер.

— Что на переходе через железную дорогу произошел несчастный случай. Велосипедист наскочил на пикап.

— Ты это в-в-видел? — изумился Рутшер.

— Нет конечно! Мы только так скажем. И еще скажем, что нас забрали в полицию, чтобы составить протокол.

— Великолепно! — Фантазия у Рутшера разгорелась.— Я скажу, что велосипедист и-и-истек кровью.

— Это ты брось,— отрезал Хольт.— Говорить буду я. Понятно?

■

Хольт остановился в дверях и обвел глазами присутствующих. Учитель математики Шёнер стоял у доски и, по обыкновению, исписывал ее числами. Ему минуло шестьдесят восемь лет, он давно уже вышел на пенсию, но, как почти всех пенсионеров, его заставили вернуться в гимназию. Шёнер предпочитал не тревожить учеников и все вычисления делал сам. Хольт увидел, что толстяк Кристиан Фетер, сын торговца писчебумажными принадлежностями, сидит в углу у окна и играет в карты с другим учеником. Гильберт Вольцов, слишком длинный для парты, сидел боком на скамье, склонившись над какой-то толстой книгой, и читал.

Хольт извинился, но так нагло и вызывающе, что всем сразу стало ясно — сейчас начнет врать... Велосипедист, истекающий кровью, был встречен воплями восторга, правда, звучали они как-то невесело. Один только Фриц Цемтцкий, ярко-рыжий паренек, пропищал звонким детским голосом: «Господи, бедный, бедный велосипедист!», но и это восклицание не встретило отклика. В классе быстро воцарилась тишина. Фетер, сидевший в углу, швырнул на парту свои козыри.

Шёнер записал Хольту опоздание в классный журнал. Рутшер незаметно проскользнул к своему месту. Запись не имела никакого значения. Шёнер писал карандашом, и все его пометки ученики тут же аккуратно стирали. Но, когда на перемене Хольт, вооружившись резинкой, влез на кафедру, Вольцов крикнул своим грубым и резким голосом:

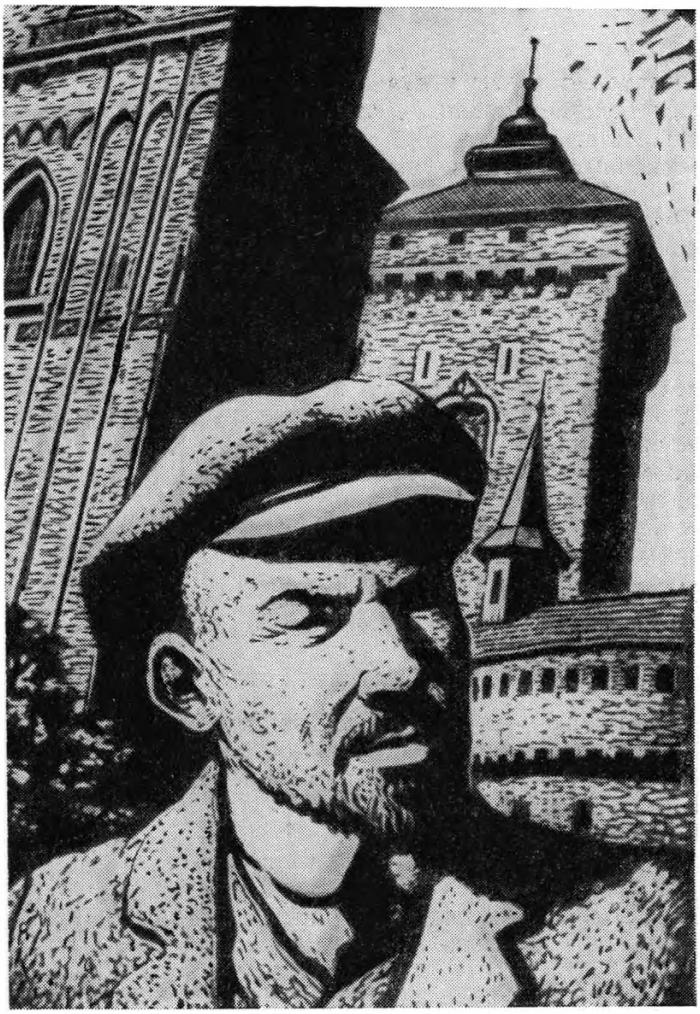
— Разумеется, ты боишься, как бы не проведал Маас!

Хольт с треском захлопнул журнал. Пусть выговор остается.

— Это я-то боюсь? — сказал он.— Вот кое-кто другой, тот и вправду боится Мааса, хоть и похваляется храбростью на всех перекрестках.

— Уж не обо мне ли ты говоришь? — грозно спросил Вольцов и склонил голову набок...

В эту секунду в коридоре раздался предупреждающий свист, и в комнату вошел Кнак, асессор Кнак, господин лет тридцати, признанный негодным к военной службе из-за порока сердца.



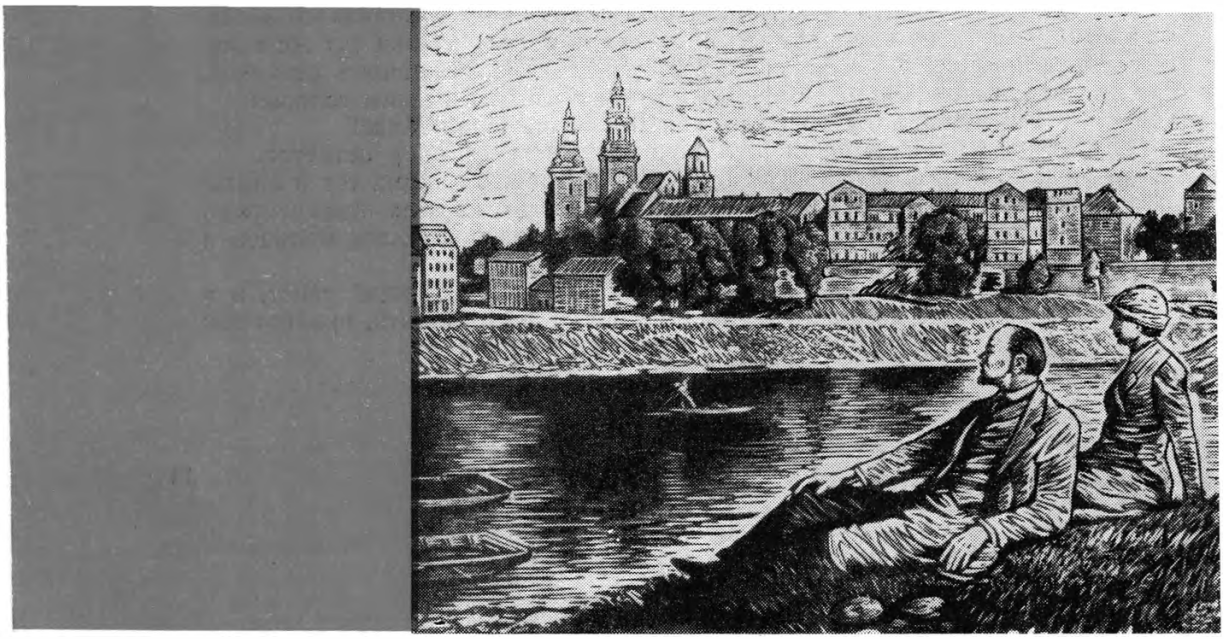
К. СОПОЦКО
«В. И. Ленин в Кракове»

ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ

В Варшаве состоялась выставка произведений живописи и графики, посвященная пребыванию Владимира Ильича Ленина в Польше в 1912—1914 гг. Выставка была организована Музеем В. И. Ленина в Варшаве и Союзом польских художников.

Здесь воспроизводятся четыре графические работы художников К. Сопоцко и З. Янушевского, отмеченные премиями. Рисунки присланы в редакцию «Иностранной литературы» нашими польскими друзьями.

К. СОПОЦКО
«В. И. Ленин и Н. К. Крупская на берегу Вислы»

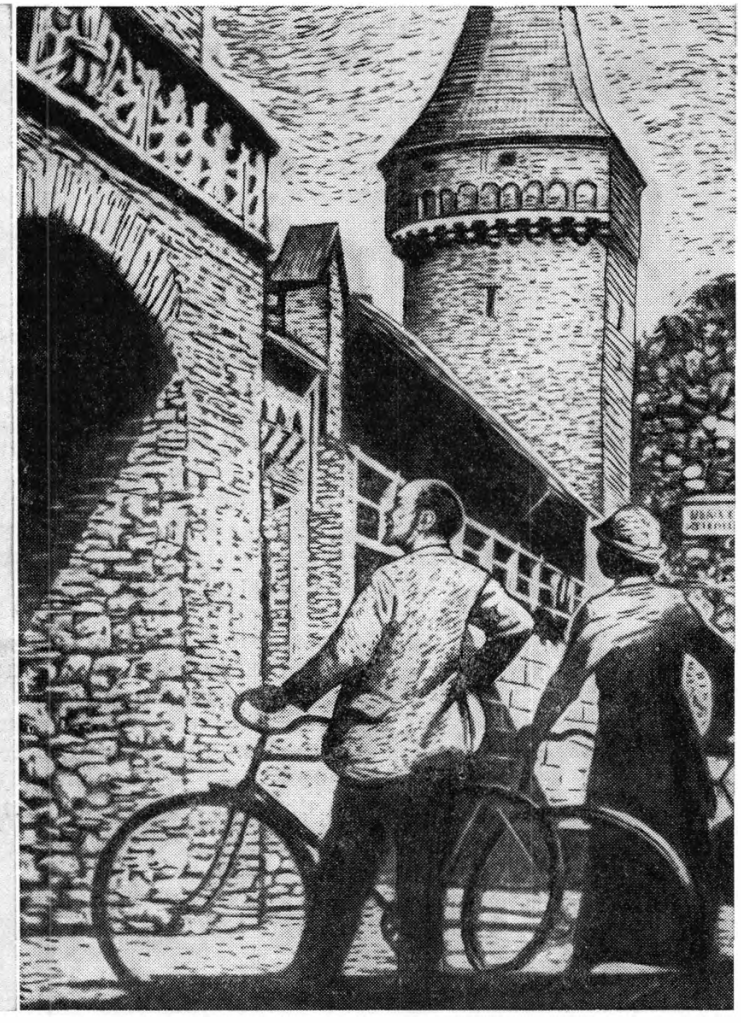


З. ЯНУШЕВСКИЙ

«В. И. Ленин в Поронино»

К. СОПОЦКО

«У Флорианских ворот в Кракове»



— ...приятель Кнак! — прокричал Хольт. Он хотел доказать Вольцову свое бесстрашие.

В классе послышался сдавленный смех. Вольцов закусил губу. Хольту записали выговор в журнал, уже второй, за «неарийское нахальство» — так трескучим командирским голосом охарактеризовал Кнак его поведение.

Начался урок истории. «Любимый урок Вольцова»,— подумал Хольт.

Гильберту Вольцову месяца два назад минуло шестнадцать. Отец его командовал полком на Восточном фронте. Если верить Вольцову, он происходил из старинной прусской семьи. Вот уже двести лет, как все мужчины в их роду были военными. Брат полковника Вольцова был в чине генерал-майора. Гильберт тоже хотел стать военным и готовился к этому с самого детства.

Гильберт слыл некоронованным королем гимназии. Он деспотически командовал своими соучениками, не встречая сопротивления, пока в их класс не поступил Хольт. Как утверждал инспектор Маас, Вольцов был первым нахалом и первым лентяем во всей гимназии. Он так отвратительно учился, что вряд ли мог надеяться перейти в следующий класс. Зато во всех вопросах, имевших хоть какое-нибудь отношение к войне, к военному делу, к военной истории или военной технике, он обладал феноменальными познаниями. Вольцов рано пристрастился к военно-научной литературе, имевшейся в библиотеке отца, и его потрясающая память хранила тьму различных фактов. Если же иногда ему случалось забыть дату битвы или имя полководца, он немедленно открывал толстенный справочник, который повсюду таскал с собой... Сейчас Вольцов сидел, откинувшись на скамье, подняв лицо с орлиным носом, и смотрел большими серыми глазами на Кнака. Во время уроков истории Кнак и Вольцов вели нескончаемые споры. Кнак характеризовал свой взгляд на историю как «расово-народнический». Вольцов пояснял: «История — это война. С 1469 года до рождества христова и по 1930 год после рождества христова на земле было всего двести шестьдесят четыре мирных года и три тысячи сто тридцать пять лет войн». «Не забудьте, кроме того, о расовом моменте,— дополнял его Кнак.— Расовая неполноценность одних народов и расовое превосходство других».

Хольт слышал монотонный и скрипучий голос Кнака:

— Государство опирается на исконные мифические верования и на мощь народа...

Хольт задремал. Голова у него болела, горло сдавило, ему казалось, что он задохнется. Рядом сидел Зепп Гомилка, сын адвоката, темноволосый умный мальчик. Обычно Зепп держался в стороне и лишь изредка, расшалившись, принимал участие в бесчинствах класса. Он слыл нелюдимым, вечно бродил по лесу со своей малокалиберной винтовкой и, вместо того чтобы готовить уроки, бил соек.

Кнак все говорил и говорил... Гомилка скоблил перочинным ножиком свою скамейку... Перед Хольтом сидел хрупкий, без конца хворающий Петер Визе. Недавно ему предписали ежедневно плавать в бассейне и заниматься спортом — Визе явно от этого страдал. Хольт взял лоскуток бумаги и написал: «Дай мне твой перевод с латинского». Визе кивнул.

Но Хольту так и не удалось списать перевод, хотя не приготовить урок для советника Мааса значило нарваться на большие неприятности.

После перемены ученики перешли в биологический кабинет. Предстоял урок у доктора Цикеля по прозвищу Мэ-мэ. Это вывело их из состояния летаргии. Кристиан Фетер, блондин с круглой детской физиономией и блестящими свинячьими глазками, над которым вечно подтрунивали из-за его необыкновенной тучности, упражнялся в визге и хрю-

канье на разные лады. Вольцов и Хольт стояли рядом с равнодушными лицами. Гомилка точил нож о газовую трубку, проведенную к столику для опытов. Кирш, сын столяра, которого Кнак всячески прославлял как «коренного представителя ремесленного сословия», впихивал в себя хлеб, ломоть за ломтем. Он надеялся, что это поможет ему вырасти. Пока в нем было всего метр шестьдесят один. Надлер, стройный белокурый подросток, стоял, окруженный своими подчиненными по группе связи в гитлерюгенде. Прежде Гильберт Вольцов тоже был фюрером в отряде гитлеровской молодежи. Но карьера его стремительно оборвалась еще два года назад. Это случилось в тот роковой день, когда он заявил своему начальнику: «Нет уж, такой скотине, как ты, я подчиняться не стану!» — и вышел.

— Гильберт,— пропищал Цемтцкий,— а Вернер здорово поддел Кнака, уж это ты должен признать.

— Ну-ка убирайся за дверь и стой там на стрёме! — приказал Вольцов.

И, обращаясь к Хольту, сказал:

— Не думай, пожалуйста, что ты совершил невесть какой подвиг.

Он поглядел вокруг, словно ища чего-то, и направился к доске. Там, рядом с большим аквариумом, стоял скелет, который доктор Цикель обычно демонстрировал во время уроков анатомии. Вольцов подошел к скелету, вытащил из кармана штанов кусок угля и принялся размалевывать череп. Петер Визе побледнел. Он побаивался Вольцова, которого величал «milis gloriosus» — славный воин. Правда, Хольт заявил, что «gloriosus» означает, попросту говоря, «хвастливый».

Вольцов посмотрел Хольту прямо в глаза и сказал:

— Ну как тебе это нравится?

Хольт, ни слова не говоря, подошел к скелету, оторвал размалеванный череп и швырнул его в аквариум.

Класс взревел. И тотчас же наступила тишина. Все с любопытством смотрели на Вольцова.

— Ну погоди же! — крикнул он, теряя самообладание.— Раз уж ты такой герой, приходи сегодня в четыре к Вороньей скале, и я тебя наконец...

— А больше ты ничего придумать не можешь? — с издевкой в голосе спросил Хольт.— Кроме драки, тебе, видно, ничего и в голову не лезет?

— Нет! — крикнул Вольцов.— Вот выкину сейчас такую штуку! Весь город о ней заговорит!

Цемтцкий просунул голову в дверь.

— Оставь, Гильберт. Оставь... Ты вылетишь из гимназии, если тебя застукают...

— Посмотрите-ка на великого Вольцова! — продолжал издеваться Хольт.— Хочет отличиться, да боится учителишек...

Вольцов глядел на аквариум. Изуродованный череп ухмылялся сквозь усики элодеи. В зеленой воде скользили шесть красных блестящих рыбок.

— Зепп! — скомандовал Вольцов.— Притащи эту сволочную кошку, что живет у сторожа.

— Гильберт,— сказал Гомилка,— брось, пожалуйста... Маас вышибет тебя из гимназии.

Но кто-то из мальчиков уже выбежал в коридор и крикнул:

— Цемтцкий, принеси сейчас же кошку Вольцову.

Полосатая злая тварь, испуганная криками, недоверчиво косилась по сторонам. Вольцов поднял ее за шкурку. Она прильнула к его груди и сразу успокоилась, слегка пошевеливая хвостом. Вольцов погладил кошку.

— Спокойно, киска. Сейчас ты получишь вкусненькую штучку...— Он опустил руку в аквариум.— Без всяких талонов... По спецпайку...— И швырнул рыбку на пол.

Кошка одним прыжком соскочила с его груди и, схватив барахтающуюся рыбешку, исчезла под скамейкой.

Класс стоял, затаив дыхание, и безмолвно смотрел на Вольцова, который, засучив рукава, вылавливал из аквариума роскошных усачей и вьюнов. Послышалось громкое и хищное урчанье. Рыбы захрустели на зубах у кошки. Глаза ее горели. Наконец, все еще урча и облизываясь, она выползла из комнаты. От рыб доктора Цикеля осталось только несколько чешуек, поблескивающих на полу.

— Так,— сказал Вольцов.

Вокруг царило молчание. Это было знаком преклонения, и Вольцов величественно принимал его.

— Так, мой дорогой! Ну-с, кто здесь боится учителишек? — И, вернувшись на свое место, Вольцов опять взялся за книгу. Он был бледен.— Не забудь, сегодня в четыре!

Но Хольта сверлила мысль: «Его выгонят из гимназии. Из-за меня».

Цемтцкий свистнул.

В класс вошел доктор Цикель — сгорбленный человечек. К его туловищу двенадцатилетнего мальчика, казалось, приставили голову старика. Мэ-мэ носил гольфы, зеленую тужурку и белую рубашечку с отложным воротничком.

— Хайль Гитлер! — прокричал Цикель хриплым мальчишеским голосом.— Где... мэ-э... правда... мэ-э...— сказал Цикель, речь которого пестрела какими-то особенными, только ему свойственными словечками и покашливаниями,— классный журнал... кх-кх...

Откуда-то из-за угла раздалось приглушенное «мэ-мэ». Цикель, казалось, не обратил на это внимания. Вдруг взгляд его упал на обезглавленный скелет. От возмущения тощая грудь учителя заходила ходуном.

— Какая... кх-кх... Какая подлость, правда... мэ-э?..

Он обвел растерянным взглядом класс, увидел аквариум и зашатался.

— Кто... кх-кх... кто швырнул... трусливые негодяи... Кто... кх... Кто швырнул череп несчастного скелета?.. Правда ведь?.. Он же... мэ-э... тоже был человеком... Кто швырнул череп в аквариум?

Только в эту секунду Цикель оценил истинные размеры постигшего его бедствия.

— Вольцов! Это вы... Рыбы...

— Да отцепитесь вы от меня с вашими дурацкими рыбами! — пробурчал Вольцов, не вставая с места.

Начался долгий и утомительный допрос. Ученики врали все нахальнее и все больше издевались над учителем. Цикель готов был расплакаться от усталости и бессилия.

— Рыбы? — переспросил Хольт, когда очередь дошла до него. Он уже с трудом ворочал языком.— Рыбы? Исчезли? Может... их сожрал череп?

Класс разразился ликующими воплями, но Хольт их почти не слышал.

— Паршивый мальчишка!.. Кх-кх... Ну, Фетер, куда девались красивые красные рыбки?

— Красные рыбки? — переспросил Фетер.— Разве там были рыбки? Я думал, это помидоры.

— Господин учитель! — вскричал Цемтцкий, тыча пальцем в воздух.— Я видел красных рыбок! Они еще вчера были здесь! Да-да! Вы говорите шесть? Нет, это что-то слишком много.

— А сколько же... кх-кх... вы видели? — спросил Цикель, обретая надежду.

— Да так приблизительно от нуля до единицы,— ответил Цемтцкий, невинно глядя в лицо учителя своими большими голубыми глазами.

На перемене Хольт сидел безучастно, сгорбившись. Голова у него раскалывалась.

— У тебя ужасно красное лицо,— участливо сказал Гомилка, подойдя к Хольту,— и все точно в крапинках... Ты не болен?

Хольт покачал головой.

Всех выдала кошка. Она вернулась к сторожу, и там ее вырвало рыбами. Кроме того, один из учителей слышал, как кто-то крикнул: «Принеси сейчас же кошку Вольцову!»

Вольцов стоял возле парты и упорно лгал. Он ни о чем понятия не имеет, отвяжитесь от него. Он здесь ни при чем.

Цикель уже ушел. За кафедрой восседал огромный грузный Маас. Солнце освещало его лысину, обрамленную седыми волосами. Круглая жирная физиономия Мааса сияла победоносной улыбкой, глаза за светлыми роговыми очками, холодные и безжалостные, были устремлены на Вольцова.

— Вопрос о вас, Вольцов, решен,— сказал Маас, и в голосе его послышалась дрожь наслаждения.— Решен, сколько бы вы ни запирались,— он посмотрел поверх роговой оправы на свою жертву. Коньком Мааса были скрыто-подчиненные предложения. Как бы они ни были длинны, он строил их с неумолимой логикой и при помощи этих головоломных периодов держал своих учеников в непрерывном нервном напряжении.— Наше заведение,— так начал Маас,— которым некогда управлял строгий дух прилежания и послушания, но которое вы заразили бациллой, да, именно бациллой анархии и недисциплинированности, чего, однако, вашему дяде не удастся санкционировать вторично,— он сделал паузу, чтобы усилить напряжение, и прокричал: — будет наконец решительно, бесповоротно и окончательно избавлено от вас. С чем я себя и поздравляю.

Все глаза были обращены на Вольцова. Он стоял, глядя в одну точку. Один только Хольт, съежившись, смотрел на Мааса. «Вольцова *не* исключат,— твердил он себе.— Отныне Вольцов мой друг».

— Возьмите ваш портфель, Вольцов, и немедленно оставьте гимназию. Вы исключены. Соответствующее письмо директора воспоследует незамедлительно.

— Одну минуту,— сказал Хольт.

Он чувствовал взгляд Вольцова, устремленный на него.

— Письмо директора,— сказал он, встав и прислонившись спиной к скамье,— не воспоследует,— голос его звучал хрипло.— Учитель ошибся. Мы крикнули, чтобы Цемтцкий принес кошку мне...— Хольту пришлось очень медленно выговаривать слова. Разбухший язык отказывался повиноваться.— Это сделал я,— закончил он.

Лицо Петера Визе, который не сводил с него глаз, окаменело от удивления и восторга.

— Это сделал я. Вот Визе подтвердит мои слова.

Визе поднялся с места и, словно повинуясь велению свыше, впервые в жизни соврал учителю.

— Это сделал Хольт. Подтверждаю,— сказал он, повесив голову.

Хольт слышал только, как в ушах шумит кровь. «Четыре часа карцера? Пожалуйста. Письмо моей матери? Да она просто посмеется. Вот Маас смотрит в классный журнал. В журнал? Если бы только он знал, как мне на все наплевать...»

— Нет, подумать только,— сказал Маас в бешенстве от постигшего его разочарования.— Еще и опоздал на двадцать минут. Вот паршивый

фрукт...— Маас явно впадал в иронический тон, что служило признаком самого сильного и опасного гнева.— Должно быть, у вашей хозяйки, которую, насколько я припоминаю, зовут Денгельман, Евзобия, нет, погодите-ка, именуют ее Евлалия, благозвучное имя, греческого происхождения...— Маас поглядел сквозь свои роговые очки на учеников, которые, затаив дыхание, не сводили взгляда с его губ, и вдруг прокричал,— было опять носовое кровотечение?

Хольт зажмурился. Люди и предметы, казалось, плыли у него перед глазами. Последние слова «носовое кровотечение» многократным эхом отдались у него в ушах. Носовое кровотечение... Им овладела блаженная усталость и безразличие.

«Хорошо бы иметь парусник,— подумал он.— Теперь, когда Гильберт мой друг... Да, я добился его дружбы. Я спас его, и он будет мне благодарен навеки».

— Говорите же!

«Ах да, я ведь должен еще довести Мааса! Он уже нервничает? Погоди-ка, сейчас я тебе отвечу! Плевать мне на твои скрыто-подчиненные. Я и сам их давным-давно умею строить».

— Отнюдь,— сказал Хольт.

Лицо его стало багрово-красным. Только между крыльями носа и подбородком четко вырисовывался бледный треугольник. Услышав архаическое слово «отнюдь», Маас нахмурился.

— Нос моей хозяйки, которую именуют Евлалия... Евлалия, как вы были столь любезны припомнить, отнюдь не кровоточил. Но...— Хольт выкрикнул это «но», ибо Маас уже открыл рот, собираясь прервать его речь,— но... полиция задержала меня утром, потому что велосипед, на котором ехал человек, который был в серой куртке, покрытой множеством заплат... ехал... с авто... которое на дороге, что ведет через путь, который от вокзала, что находится возле самого моего дома, проходит... приехал... идет... ведет... подъехал... столкнулся... просил...

Хольт замолчал. Сделано! Словно сквозь туман, видел он устремленные на него глаза соучеников и Мааса, склонившегося с кафедры. Челюсть у Мааса отвисла.

— ...дать показания в качестве свидетеля для занесения в протокол! — прокричал Хольт. И повалился на пол.

Петер Визе кинулся за сторожем. Рутшер пролепетал, заикаясь:

— Он уже утром по до-до-дороге был таким странным!

Маас наклонился над Хольтом.

— Скарлатина! — сказал он.

Подошел Вольцов и отстранил Мааса. Во двор въехала машина скорой помощи.

2

Наступил июнь. Хольт лежал в инфекционном отделении городской больницы. Вольцов каждый день перелезал через садовую ограду и, крадучись, пробирался к окну. Свист его доносился в палату.

Первые дни Хольт был почти без сознания, в жару, потом начал быстро поправляться. Сестры Денгельман вызвали его мать. Она обошла всех врачей, раздала щедрые чаевые сестрам и сиделкам и уехала, даже не повидав сына. Впрочем, он не был на нее в обиде. Зато свидания с Вольцовом доставляли ему большую радость. Из-за болезни Хольта гимназию закрыли на целых две недели. Это обстоятельство и то, что он бросил вызов Маасу, снискало Хольту всеобщую популярность. Он стал героем дня. Но Вольцов не завидовал ему. Едва заслышав свист, Хольт вскакивал с постели и бросался к окну.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивал Вольцов.

— В сущности, я уже здоров...— заявил однажды Хольт.— Но у меня шелушение, мне назначили горячие ванны.

— Жми, принимай,— сказал Вольцов.

В гимназии никто больше не заболел. Занятия возобновились.

— Скучно так, что рвать хочется,— сказал Вольцов.— Вот выйдешь отсюда, что-нибудь придумаем.

— Да я сам хотел. Какое-нибудь приключение.

— Приключения — чепуха,— твердо заявил Вольцов.— Карл Май и всякая прочая там ерундистика — одно надувательство. Единственно стоящее дело — война!

— А что слышно о нашем призыве в зенитную артиллерию?

— В этом году непременно, может быть, даже осенью.

Хольт сразу утратил всякое желание учиться.

— Если мне повезет, я уже не вернусь в гимназию. Мне должны дать еще две недели на поправку, а там начнутся летние каникулы... Прекрасно. Стоит мне только вспомнить о Маасе...

— Маас сущий сатана,— засунув руки в карманы, сказал Вольцов. Широко расставив ноги, он стоял посреди цветочной клумбы: розы и гвоздики так и хрустели под его подошвами.

— Знаешь, что сказал Маас? Твоя скарлатина — это, мол, ловкий трюк, чтобы он не мог тебя наказать. А Гомилка встал с места и говорит: «Для такого трюка нужен талант, господин инспектор». Маас сразу посадил его на два часа в карцер.

На другой день Вольцов привел с собой маленького Петера Визе и подсадил его через забор. Визе тут же выдрал треугольную дыру в штанах.

— Выздоравливай поскорей, я сыграю тебе все, что захочешь.

На другой день он передал Хольту книги.

Хольт всегда много читал. И теперь без разбора проглатывал все, что ему приносили из больничной библиотеки. Попадались здесь и его любимые книги: Стивенсон и Джек Лондон, Карл Май и истории об индейцах. Их он перечитывал по нескольку раз. Прочел он и «Пограничников», и «Избранные произведения Ницше» в издании «Солдатской почты», и, разумеется, всякие книги о войне. А теперь Петер Визе прислал ему новеллы Шторма и томик «Сказок романтиков».

Лежа в постели, Хольт думал обо всех этих новых персонажах. Он видел их, словно живых: Элизабет, кукольницу Лизель, смуглую Ренату... «Хорошо бы встретить такую девушку»,— волнуясь, думал Хольт. Вольцов — тот презирал девушек. Он говорил, что любовь — чувство, не достойное мужчины. В воображении Хольта смешались персонажи из «Песни о Нибелунгах», предводители индейцев, «Мужчины с Запада», фигуры в походных шинелях — все слились в идеальный образ героя. А у Новалиса Хольт прочитал еще о влюбленных в пещере среди скал, которые при молнии и громе «навеки слились в первом поцелуе».

«...Первый поцелуй... Как это бывает?»

Хольт рос единственным ребенком. Преждевременно развитой, он был то ребячлив и шаловлив, то серьезен и замкнут. В нем рано пробудился инстинкт пола, страстность и мечтательность. Девушки влекли его к себе все сильнее. А в книгах он читал о «вечном евангелии женщин», о «загадочном мифе пола». Хольт бесконечно размышлял над этими вопросами, но ответ на них могла дать только жизнь.

Родители Хольта разошлись много лет назад. Мальчик остался у матери. Она происходила из семьи фабрикантов, была богата. Он все больше отдалялся от нее, хотя она баловала его и пыталась завоевать его любовь. В разгар войны он вдруг сбежал из дому, его поймали в Гамбурге и вернули обратно. Через год она уступила наконец его жела-

нию — отпустила сюда, в этот маленький город, расположенный вдали от промышленных центров, над которыми уже нависла угроза бомбежек.

Здесь было спокойно. Кругом вздымались горы, поросшие густыми лесами. Далеко, до самого горизонта, простирался пустынный ландшафт. В юнгфольке и потом в гитлерюгенде Хольта с раннего детства научили стыдиться привязанности к родителям. Его мучила только тоска по другу и по женщине. Впрочем, друга он, кажется, нашел.

«Вольцов,— решил Хольт,— не должен знать ни об Элизабет и Ундине, ни о первом поцелуе в пещере среди скал».

Под окном свистнул Вольцов. У него были совсем другие заботы.

— Ты должен как можно скорее развить в себе качества солдата,— заявил он Хольту.

■

В первых числах июня Хольта выписали из больницы. В одно прекрасное утро он вырезал себе грубую палку, взял бутерброды и отправился в горы. Шел он несколько часов, покуда не достиг вершины. Потом долго стоял там и глядел на открывшуюся перед ним незнакомую местность... Река петляла по плоскогорью, изрезанному оврагами и скалистыми ущельями. Над плоскогорьем там и тут, словно прорвавшись сквозь земную твердь, вздымались высокие горы вулканического происхождения. Хольт видел лиственные и хвойные леса, темно-зеленым ковром покрывавшие землю. Река сверкала на солнце, горы в отдалении мягко переходили в зеленые холмы. И нигде ни селения, ни дороги, ни единой крыши. «Как здесь прекрасно,— подумал Хольт.— Но без компаса мне не найти дорогу домой. Тут мог бы жить сам Карл Моор со своей шайкой!»

Хольт стал быстро спускаться. Вдруг перед ним промелькнул какой-то зверь — лиса, может быть. Он пошел следом, раздвигая кусты, и увидел расселину, скрытую густым терновником. Подняв с земли несколько прутьев, Хольт зажал их в ладони и пополз в расселину, пробираясь меж обломков скал. Это была старая-престарая штольня. Через несколько метров ему удалось выпрямиться и пойти дальше. Проход становился все шире. Со стен капала вода. Он зажег пучок прутьев и увидел, что пламя втягивается куда-то вглубь. Вскоре Хольт оказался в большой сухой пещере, метра в три высотой. Яркий свет падал сюда сквозь широкую шахту каменоломни. Его охватил восторг, он чувствовал себя открывателем новых земель.

Когда Хольт выбрался из пещеры, день клонился к вечеру, и он решил заночевать здесь. Земля кругом была усеяна спелой земляникой — роскошнейший ужин! В этих местах водилось и много дичи. Уступ перед входом в пещеру порос высокой густой травой. Хольт соорудил себе ложе из мха и листьев. Потом еще раз взобрался на вершину. Наступила ночь. Далеко внизу светилась фосфорическим светом узкая лента реки.

Хольт разложил у входа в пещеру костер и бросил в него сухой развилистый корень. Вытянувшись на своем ложе, он смотрел на огонь. Над Хольтом проносились летучие мыши. Светилась Большая Медведица. Он лежал и мечтал о жизни, полной необыкновенных приключений, здесь в горах — без гимназии, без Мааса... Ему чудилось, что вон в той пещере, скрытой в горе, влюбленные навеки слились в первом поцелуе.

Он встал рано, еще до зари, и отправился в город.

Домой он вернулся перед самым обедом, но сестры Денгельман подали ему такой завтрак, что сразу заставили насторожиться. Яйца, хлеб с ветчиной, пирог с маком. И это, когда, по их уверениям, они просто ума не приложат, чем его кормить. «Не иначе, как достают продукты из-под полы,— решил Хольт.— Но что же все-таки им от меня надо?» После долгих разговоров вокруг да около сестры наконец объяснили, в чем дело. Они просили Хольта с первого сентября впустить к себе в комнату деся-

тилетнего мальчугана. Хольту все равно скоро призываться... Отец мальчика, господин Венцель, владелец гостиницы. У него и куры и свиньи...

— Десятилетнего сопляка? — сказал Хольт, обращаясь к Евлалии. Вероника негодующе покачала головой. Бигуди ее зашуршали.

— Неужели вы не можете подождать, покуда меня заберут в зенитную артиллерию?

— Господин Венцель закалывает свиней три раза в год,— пояснила Вероника.

Хольт вышел и хлопнул дверью. В сущности, его это нисколько не интересовало. Он был уверен, что будет призван до первого сентября. Сейчас он решил выкупаться. Все еще стояла жара.

Не торопясь, брел Хольт по рыночной площади и перед кафе остановился. Ему захотелось сыграть в биллиард, который был в большой моде, но он раздумал и пошел дальше. Вдруг вдали, на другой стороне площади, мелькнула огненно-красная юбка. Мария Крюгер! У него бешено заколотилось сердце. «Надо идти медленно, медленно, по аллее мимо ратуши,— быстро сообразил Хольт.— Тогда на повороте к Тальгассе я с ней повстречаюсь...»

— Добрый день! — сказал Хольт.

Мария кивнула с удивлением и нерешительно протянула руку.

— Вы...— сказал он и повторил: — Вы... тоже идете купаться?

«О господи, да неужели же я разговариваю с ней?»

Он не замечал, что его смущение ее забавляет, видел только, что она улыбается, и эта улыбка развеяла его страх.

— Вы что это — прогуливаете? — спросила она, идя с ним рядом.

— Я болел скарлатиной, и меня освободили от занятий еще на две недели.

Жаль, что другие гимназисты не видят его сейчас рядом с этой девушкой. Родители ее, говорят, умерли. Она снимала где-то комнату. Семнадцатилетняя, стройная, похожая на цыганку, красивая — и неряха. На худом лице сверкали большие темные с косым разрезом глаза. От правой брови по загорелому лбу тянулся тонкий серповидный шрам. Пестрая лента стягивала ее каштановые растрепанные волосы. Она любила яркие экстравагантные наряды: огненно-красные юбки, желтые кофточки, зеленые косынки. Девочки из лицея презирали Марию, мальчишки заглядывались на нее. Она стояла вне мещанского общества. Заводов в этом городишке не было. Гимназисты здесь испокон века взирали сверху вниз на учеников начальной школы, а те, в свою очередь, считали себя куда выше мальчишек-рассыльных и молоденьких служанок. Общие обязанности в гитлерюгенде и союзе немецких девушек не вносили никаких перемен в эту, уже установившуюся. иерархию. Нужно было обладать самонадеянностью и отвагой, чтобы средь бела дня пройти по улицам с Марией Крюгер. Хольт был воспитан в строго кастовом духе. Но от девушки исходила такая притягательная сила, что исчезали все предубеждения.

— Вы недавно живете в нашем городе? — приветливо спросила Мария.— Обычно гимназисты такие ломаки и воображалы!

«Как страшно заговорить с тобой»,— подумал Хольт.

— И больше всех задирают нос банфюреры из гитлерюгенда,— сказал он.

Они шли уже по парку. Она искоса посмотрела на него.

— А вы разве не банфюрер?

— Нет. Раньше я был руководителем в юнгфольке, но и тогда слишком отличался от прочих. Я вообще индивидуалист. Мне неинтересно в гитлерюгенде. Прежде, правда, было интересно. Теперь больше всего я люблю одиночество. Впрочем, после каникул все равно придется уйти в зенитную артиллерию.

Она не отвечала.

Короткий высохший рукав реки, неизвестно почему окрещенный Мельничным рвом, образовал здесь в излучине так называемый Парковый полуостров, тянувшийся на несколько километров. Здесь, уже далеко от города, находился клуб гребцов «Викинг», теннисные корты и купальни. На лугу был устроен пляж, отлого спускавшийся к воде, где стоял привязанный плот. Тут был и бассейн для неумеющих плавать, и вышка для прыжков. По берегу, над самым пляжем, тянулись деревянные кабины. Наводнения в этих местах случались ежегодно, и кабины, словно свайные постройки, высились на бревенчатых подпорках.

Хольт всегда получал от матери много карманных денег. Он круглый год арендовал самую дорогую кабину. Сейчас, войдя в нее, он нетерпеливо переоделся и спустился к реке. Разыскав девушку, он уселся рядом с ней. В этот час в купальнях не было ни души. На плоту, под вышкой для прыжков, в тени сидел старик сторож и удил.

Девушка вытянулась в траве. На ней был купальный костюм — трусики и бюстгальтер. Ровный загар покрывал ее тело, только на груди, там где сдвинулся бюстгальтер, виднелась белая полоска. Она лежала, скрестив руки под головой и закрыв глаза. Хольт сидел рядом и рассматривал ее. Его волновало это отдыхающее загорелое стройное тело, ритмично поднимавшееся и опускавшееся в такт дыханию, оно казалось удивительно хрупким. Хольт долго глядел на ее лицо, на ее рот. «Никто не смотрит на нас,— подумал он.— Станет ли она сопротивляться, если я ее поцелую? Ну и пусть сопротивляется, я ведь гораздо сильнее!»

— Сколько вам лет? — спросила Мария.

— Семнадцать,— солгал Хольт, отвернувшись.

Когда он не видел ее, ему было легче говорить.

— Я болел скарлатиной,— сказал он опять,— и, знаете, вы однажды приснились мне.

Она засмеялась, и он сразу смутился.

— Пойду в воду,— поспешно произнес он.— А вы?

— У меня нет шапочки. Я испорчу прическу... Их нигде нет в продаже... Я дала бы все что угодно за купальную шапочку.

Хольт помолчал.

— Я достану вам шапочку,— сказал он.— А можно мне попросить взамен?..

Она приподнялась на локтях и взглянула на него. Он заставил себя смотреть ей прямо в глаза.

— Я принесу вам купальную шапочку, а вы... в награду... вы должны мне позволить поцеловать вас...

Она снова вытянулась на траве.

— Да или нет? — настаивал он.

— А потом вы скажете — она позволяет целовать себя за паршивую шапчонку...

Он встал.

— Да будь я проклят, если мне это в голову придет... Но ведь без шапочки вы... конечно не станете...

Мария засмеялась.

— Ну-ка прочь,— крикнула она,— убирайся! Прыгай в воду! Скорей!

Хольт сбежал по склону. Он бежал от ее «ты», от ее непроизнесенного «да». Доски на плоту загремели. Хольт с разбега кинулся в воду вниз головой. Потом вынырнул и увидел, что девушка все еще сидит на траве. Он поднял руку из воды, и она помахала ему в ответ.

Переплыв на другой берег, Хольт взобрался на насыпь и обернулся. Девушка исчезла.

Он пошел полями и вышел к ивняку, туда, где условился встретиться с Вольцовом. Здесь он бросился на мягкую землю и стал смотреть в безоблачное летнее небо.

■

Хольт проснулся от резкого свиста на берегу. Подошел Вольцов и уселся рядом. Он привез с собой в байдарке сигареты и спички.

— Что нового в заведеньице? — спросил Хольт.

— Маас вернул нам латинские сочинения. У меня, разумеется, пять *. Видно, останусь на второй год.

— Тебя это, кажется, не трогает?

— Да уж останусь ли, нет ли, какое это имеет значение?.. Все равно мы скоро уйдем в армию. Знаешь, поселюсь я, когда кончится война, на Востоке, может, на Украине или еще где-нибудь там. Право же, офицеру для общения с военными поселенцами латынь не нужна.

«Правильно,— согласился про себя Хольт.— В армии нас об отметках и не спросят».

— Что слышно о зенитной артиллерии?

— Ничего. Но рейхсюгендфюрер объявил мобилизацию учащихся на уборку урожая.

— Вот это мне совсем не по вкусу,— проворчал Хольт,— не могут оставить нас в покое. И когда только возьмут в армию? Я просто рвусь в настоящее дело. Так бы и растерзал этих воздушных пиратов.

Вольцов сидел, лениво уставившись на солнце.

— Война по-настоящему начинается только теперь,— сказал он.— Ты слышал, что американцы высадились на Сицилии?

— Нет... Я уже целую вечность не слушал сводок о положении на фронтах.

— Во всяком случае, это прогресс,— безапелляционно заявил Вольцов.— Как же разбить противника, если он уклоняется от сражения? Будь я полководцем, я бы стремился к решающим сражениям всюду, где к этому есть хоть малейшая возможность. Знаешь, кто мой идеал? Недавно я прочитал о Марии **. Ну, брат, вот был молодец! — Вольцов поднялся.— В августе мы, кажется, сможем пойти добровольцами. Ты тоже хочешь в механизированные войска? Танки — это оружие!

— Да, Гильберт,— согласился Хольт.— Разумеется, танки! Знаешь, я просто вижу это великолепие. Вот ты врезаешься в самый огонь, кругом рвутся снаряды, а потом начинается танковая дуэль — один на один!.. Да, ты прав! Нет приключений, кроме как на войне. Это в старину бывали пираты, разбойники, вроде Карла Моора, которые жертвовали жизнью ради справедливости.

— Конечно, самое замечательное — командовать войсками,— снова заговорил Вольцов. Они лежали на солнце уже целый час.— Вот сидишь ты у стола, заваленного картами, на голове у тебя фуражка, и ты этак небрежно постукиваешь по карте красным карандашом. Удар сюда... Потом сюда... Потом опять сюда... Ты отдаешь приказы. Твое слово решает исход сражения.

■

В купальнях было очень людно. На лугу, окруженная мужчинами, сидела Мария Крюгер. Хольт смотрел на нее издали, жгучее чувство ревности терзало его.

Друзья привязали байдарку и вскарабкались на плот, почтительно приветствуемые младшими учениками. Возле вышки собралась большая

---

* Во многих немецких учебных заведениях принята шестибалльная система, причем высшей отметкой является единица.

** Марий, Гай — римский полководец, 156—86 гг. до н. э.

компания. Хольт услыхал высокий дерзкий голос Цемтцкого. Рутшер приветствовал их, заикаясь: «A-a-a-ve, Caesar!» Тут были все: Визе, Фетер, Гомилка, Надлер со своими подчиненными, Шенке, Хампель, Кибак... Девочки тоже: Ильза, сестра Рутшера, стройная Дорис Вильке, которую все звали Пуци, Фридель Кюхлер, белобрысая дочка ландрата — руководительница отряда «немецких девушек».

— Хайль Гитлер! — вскричала Дорис.

Хольт принялся разглядывать девочек. Дорис увидела Вольцова и покраснела. Она была влюблена в большого мрачного подростка, но Вольцов не замечал этого или не хотел замечать. В присутствии девочек все вели себя сдержанно. Только Вольцов не изменил обычной своей повадки.

— Вы, девчонки, что-то совсем солдафонами заделались. Смех с вами, да и только! — сказал он, опускаясь на доски.— Скоро окончательно омужичитесь.

— Да, да, станете солдатами в юбке,— сказал Фетер.— Ты видел их в последнем киножурнале?

Но Фридель Кюхлер сразу же осадила Вольцова.

— Ты совершенно неправ,— сказала она.— Погляди на женщин из «Веры и красоты» *, когда они размеренным шагом выступают под вымпелом или с героической серьезностью принимают участие в забавах и танцах. Нет, мы нисколько не боимся, что жизнерадостность и веселье придадут нам мужеподобность. В биологическом отношении девушки наши будут не хуже, а в нравственном даже выше, чем матери древних германцев...

— Чепуха! — оборвал ее Вольцов.— Ты тут болтаешь о германцах! У германцев женщине полагалось держать язык за зубами да рожать детей!

В такой компании Хольт чувствовал себя решительно не в своей тарелке. Эти девушки, его ровесницы, ученицы женского лицея, казались ему глупыми. Впрочем, в своих обтягивающих купальных костюмах они были привлекательны.

— Нам довелось услыхать твое знаменитое скрыто-подчиненное предложение,— обращаясь к Хольту, сказал кто-то.

Оказывается, Петер Визе запомнил это предложение, а потом записал.

— Маасу,— заметил Гомилка,— никогда не оправиться от этого удара. Скрыто-подчиненные потеряли для него всякую прелесть.

— Зато он стал еще большим подлюгой,— добавил толстый и розовый Фетер, сидевший тут же на досках.— Вчера вдруг заявил мне: «В кого это вы такой болван? Не в отца же, его я знаю. Наверно, мать у вас дура». Этого уж я ни за что ему не спущу.

— Посмотрите-ка, кто идет! — пропищал Цемтцкий.

Все повернули головы. По плоту шла Мария Крюгер. Волосы ее были растрепаны. Цемтцкий сказал нарочно громко, так, чтобы она слышала:

— Вот эта местная...

— Ну-ка заткнись! — крикнул Хольт.

Цемтцкий замолчал.

Девушка остановилась у лестницы, посмотрела на Хольта, повернулась и быстро пошла прочь.

Фридель Кюхлер заметила язвительно:

— Ты эту... берешь под защиту? Ты, видно, в эту... влюблен?

Хольт от смущения совсем потерялся.

---

* Женская фашистская организация.

— Пойдем, Гильберт,— сказал он и встал,— мне здесь что-то не нравится. Эта дуреха, кажется, собралась разводить сплетни.

Они поднялись по лестнице на берег.

■

Вилла Вольцова, стоявшая на холме, возвышалась над ветхими каркасными домами. Большой заглохший сад окружал ее со всех сторон. Сквозь ограду видны были красные крыши и узкие улочки старого города.

Дом казался невероятно запущенным. В темном холле висели покрытые пылью портреты предков. Камин был полон мусора и пепла. Давно не мытые окна еле пропускали тусклый свет. Лестница с резными перилами вела на второй этаж. Здесь в нескольких комнатах обитала фрау Вольцов. На первом этаже никто не жил, и там все пришло в полное запустение.

Комната Вольцова напоминала чулан для хлама. На стенах висели арбалеты, экзотическое оружие, луки и стрелы с перьями, индейские томагавки, старинные дуэльные пистолеты. У окна стоял старый дубовый стол, загроможденный бутылями, стаканами и заржавевшими ружьями. Кругом валялись разные предметы: череп, утащенный из склепа, растерзанное чучело куропатки, служившее мишенью, бумаги, книги...

В углу из кучи хлама торчали два эспадрона, кривая турецкая сабля, железный капкан, покрытое грязью голенище. На полу лежала фехтовальная маска. Лохматая медвежья шкура покрывала железную походную кровать.

Хольт уселся на шкуру и задрал ноги на стул. Он чувствовал себя хорошо в этой комнате. Вольцов занимался какими-то опытами за большим дубовым столом — под ретортой горела спиртовка.

Спускались сумерки.

— Если у меня выйдет дело с селитрой, я приготовлю динамит.

— А зачем тебе динамит?

— Чтобы делать настоящие бомбы, а не этакие хлопушки из охотничьего пороха!

«Зачем ему бомбы? — подумал Хольт.— Верно, чтобы подложить под кафедру Маасу?» Он засмеялся. Из реторты начал подниматься едкий пар. Вольцов открыл окно, в комнату ворвался колокольный звон. «Вольцов делает бомбы, а колокола звонят в его честь!»

— Ты только представь себе,— сказал Вольцов,— что бросаешь бомбу в наше заведение. Братец ты мой, да от него камня на камне не останется! — Картина эта привела его в восторг.— Нет... Привязать Маасу бомбу к заднице...

Хольт закурил и стал разглядывать валявшиеся всюду книги по теории и истории войны. Был тут и знакомый справочник по военной истории. Хольт взял толстый том, переплетенный в эластичную кожу, и принялся листать тонкие страницы. Ему попалось слово «Тажине», подчеркнутое красным карандашом. Рядом на полях почерком Вольцова было написано: «Тотила халтурщик, Нарзес — молодец» *. Против «Мильтиада при Марафоне» Хольт увидел тот же знакомый почерк: «Канны до Канн?» **

---

* Близ города Тажине король остготов Тотила был разбит в 552 году Нарзесом, полководцем византийского императора Юстиниана.

** Сражение при Каннах (216 г. до н. э.), в котором римские войска были разбиты карфагенскими войсками Ганнибала, вошло в военную историю как образец охвата обоих флангов противника с последующим полным разгромом. Здесь предполагается, что таким образцом явился уже разгром персов при Марафоне, учиненный афинским полководцем Мильтиадом в 490 году до н. э.

Хольт опустил книгу и вытащил из свалки другую.

— Ты что это, «Фауста» читаешь? — спросил он с удивлением.

— Мне говорили, что там действует солдат,— пояснил Вольцов.— Я просмотрел эту сцену. В военном отношении она не представляет никакого интереса.

Он потушил спиртовку и отодвинул реторту. В комнате стало совсем темно. Вольцов включил электричество. Хольт открыл томик, прочел «Посвящение», быстро пробежал глазами стихи, потом прочел еще раз вслух:

— «Все близкое отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность»... Изумительно!..— И без всякой видимой связи он спросил: — Скажи, ты любишь вспоминать, как ты был маленьким?

— Это еще зачем? Нет. А ты? — в свою очередь спросил Вольцов.— Почему ты не живешь с родителями?

— Мои родители разошлись,— с явной неохотой ответил Хольт.— Отец ушел, а у матери я просто, знаешь ли, больше не мог вытерпеть. Я и сам не могу сказать почему. Она такая... чопорная, вроде бы и не мать. Вообще-то она очень щедра. Я посещал спортивную школу, у меня был еще отдельно тренер по джиу-джитсу и все такое прочее... Но вообще... А моя гамбургская тетка, та еще хуже, какая-то ледяная глыба. Она подолгу у нас гостила. Я это бабье уже просто не выносил.

— А почему ты не живешь с отцом?

— Его лишили родительских прав. Если я уйду к нему, мать затребует меня через полицию. Мой отец бактериолог, знаешь, как Роберт Кох... Раньше он был профессором в институте, а кроме того, работал в промышленности. Со мною он был всегда очень ласков... Но мать уверяет, что он человеконенавистник и не от мира сего.— Хольт замолчал. Он мог бы многое еще рассказать, но, в сущности, это решительно никого не касалось. Вольцова тоже.— В конце концов мать отпустила меня. Вот я и здесь.

— К счастью,— добавил Вольцов.— Иначе меня бы уже исключили.

О том, что повинен в этом был бы Хольт, он, по-видимому, не помнил.

— Только я вот что хочу сказать,— пробурчал Вольцов.— Я век тебе не забуду, что ты вызволил меня из этой истории. Если ты захочешь меня о чем-нибудь попросить,— продолжал он с мрачной торжественностью,— напомни мне этот час. И считай меня последним негодяем, если я не сделаю для тебя всего на свете.

— Если мы попадем на войну,— поспешно перебил его Хольт,— давай стоять друг за друга, как Гаген и Фолькер. Иметь друга на войне очень хорошо.

Вольцов пробурчал что-то неразборчивое и, взяв в руки кривой турецкий ятаган, рубанул им по черепу. Череп с треском раскололся на куски. Вольцов швырнул ятаган в угол.

— Таких двух старых вояк, как мы с тобой, разлучит только смерть.

3

Купальная шапочка доставила Хольту много хлопот. Наконец он вспомнил, что Вероника Денгельман года два назад занималась плаванием. На другое утро за завтраком сестры снова завели свою песню о господине Венцеле. Но Хольт на все их просьбы только коварно твердил:

— Нет. Ведь вы и не подумали бы оказать мне любезность.

— Но, разумеется, мы выполнили бы любую вашу просьбу... Мы...

— Вот как? Ну тогда отдайте мне вашу купальную шапочку.

— Мою купальную шапочку? — Вероника решила, что он ее просто дурачит.

Хольт встал из-за стола.

— О, разумеется, о, разумеется...

«Вот как чудесно все уладилось,— подумал Хольт.— Прежде чем мальчишка приедет, я уже буду зенитчиком».

Вероника принесла шапочку.

— Ну что ж, пожалуй, можете написать вашему господину Венцелю. Я согласен.

Евлалия вздохнула с облегчением. Но Вероника никак не могла успокоиться.

— Нет, просто не возьму в толк, зачем вам моя шапочка?

— Чтобы посадить в нее герань,— пояснил Хольт. И побежал к купальням.

Он сидел у себя в кабине, нетерпеливо ждал... И наконец увидел Марию Крюгер. Она шла по пляжу в купальном костюме. Он спрятал шапочку за спиной. Мария приветливо подала ему руку.

— Сегодня вам придется плавать со мной,— сказал Хольт и протянул ей шапочку.

Она рассеянно взяла пестрый резиновый лоскуток, запихнула под него волосы и сказала:

— Мне нужно посмотреться в зеркало.

Он следовал за ней по траве. Мария молча шла впереди, потом поднялась по деревянной лестнице. Подойдя к своей кабине, она вытащила из какой-то щели ключ, распахнула дверь и вошла в крохотное помещеньице. Хольт стоял, прислонившись к косяку.

Девушка повернулась к зеркалу, сняла шапочку и, не говоря ни слова, опять надела, потом уселась поперек маленькой скамейки и, подтянув колени к подбородку, обхватила руками ноги. Так она сидела, прижавшись к стенке кабины, и, свернувшись, как кошка, смотрела на Хольта. Здесь было тесно, царил полумрак. Только в ее зрачках луч света зажег два тоненьких огонька.

Хольту стало страшно. Но мысль о том, что он кажется смешным, заставила его шагнуть к девушке. Наклонившись, он поцеловал ее в губы, которые она ему подставила. И сразу же выпрямился разочарованный. Солгали, солгали и книги, и сны!

Мария засмеялась. Зубы ее сверкнули. Она поднялась со скамьи, подошла к нему, обняла его и поцеловала прямо в губы. Он очнулся и схватил обеими руками ее за плечи. Мария высвободилась, отступила на шаг, но он снова притянул ее к себе. Он гладил ее по спине, по плечам, по обнаженной руке, он искал ее грудь.

— Ты мне делаешь больно,— сказала она тихо.

Он отпустил ее, только когда снаружи послышались шаги. Шаги затихли. Они вышли из кабины.

Хольт шел рядом с Марией. Они снова очутились на берегу. Он бросился в воду и поплыл спокойно, размеренно, заплыл подальше и перевернулся на спину. Она плыла вслед за ним.

Они вышли на другом берегу и побежали вверх по течению, в лесок, где росли ольха и верба. В осоке виднелись одуванчики. Из заводи с громким криком поднялась стая диких уток. Хольт и Мария долго лежали на солнце.

— В последние дни я много думал о тебе,— сказал он.— Теперь мы будем всегда вместе.

— Скажи на милость...— протянула Мария.— Нет, уж это, пожалуйста, выкинь из головы. А кроме того, через несколько дней я уезжаю на трудработы.— Она поднялась.— Может, ты и вправду так думаешь,—

сказала она уже мягче,— только я никогда не поверю, что ты говорил серьезно.

И вдруг в памяти его всплыл эпизод из времен детства.

Родители снимали виллу в предместье Леверкузена. В подвале у них жила семья привратника. Хольту было года четыре или, может быть, пять. В один прекрасный день он удрал из-под надзора няньки и уселся играть с дочкой привратника, своей ровесницей. А потом девочка привела его в подвал. Он сидел за столом в темной кухне и играл в «черного Петера» со всей семьей. Тут его и нашла наконец разъяренная нянька. Его привели наверх, выкупали, надели чистое белье. Вероятно, эпизод этот не сохранился бы в его памяти, если бы вечером он не услышал, как мать сказала, обращаясь к отцу: «И откуда у него эта тяга к простонародью?» В ее голосе звучала тревога.

Сейчас он вспомнил об этом, и ему захотелось бросить вызов целому миру.

— Да?.. А если я введу тебя в наш круг, сейчас же, сегодня же? Если я представлю тебя моим друзьям? Пусть-ка попробует кто-нибудь сказать хоть слово дурное о тебе! Мы с Гильбертом сразу сделаем из него котлету. Кто бы он ни был!

На лице девушки мелькнула улыбка.

— Кто бы он ни был? Скажи, а ты знаешь Мейснера?

Мейснер тоже был гимназистом. Но он окончил курс досрочно, и его назначили на штатную должность в гитлерюгенде. Мейснеру уже минуло девятнадцать, и ему давно полагалось служить, но он все еще не был призван в армию. Хольт знал, что Мейснер закадычный друг банфюрера и состоит теперь начальником патрульной службы гитлеровской молодежи.

— Через несколько недель он вступает добровольцем в войска СС,— сказал Хольт, удивленный этим неожиданным скачком в ее мыслях.

Она смотрела на него из-под полуопущенных век.

— Ты знаешь Рут Вагнер?

Ему смутно припомнилось... Да, был какой-то слух несколько недель назад о несчастном случае со смертельным исходом.

— А что с ней стряслось?

Мария говорила тихо, наклонив голову и все еще не спуская с него темных глаз.

— Она служила продавщицей. Мейснер приволокнулся за ней. Дуреха влюбилась по уши и сошлась с ним. Но ведь эти типы никогда не относятся к нам серьезно. Разумеется, он наобещал ей с три короба, только уверял, что до поры до времени все должно оставаться шито-крыто. А потом вдруг возьми, да и брось ее, а она была уже беременна. Конец, мол, и все тут, заявил он и всучил ей деньги, чтобы она вытравила плод. И еще сказал, что, если она кому-нибудь проболтается, худо ей будет. Она прибежала ко мне, прямо помешалась от отчаяния. И в тот же вечер уехала со скорым поездом. А на другой день ко мне пришел ее отец и стал спрашивать, не знаю ли я, почему она уехала. Конечно, я сказала, что понятия ни о чем не имею. Рут скоро нашли. Она выбросилась из поезда, как раз когда проходил встречный. Несчастный случай — так они сказали. А потом отец получил письмо, которое она послала ему с дороги. Он побежал с ним к эсэсовскому начальству и устроил скандал. Они его сразу же задержали. Мейснер ужасно перетрусил и помчался к Кречмару — начальнику отделения гестапо. Отец Рут так и не вернулся домой, и никто не знает, где они держат его.

Хольт молча смотрел в одну точку.

Мария наклонилась и почти прильнула губами к его уху.

— Понимаешь, поэтому я и тебе не верю...— Она вскочила.— Ты не огорчайся. Я скоро уеду.

Хольт остался один. Он не верил ни одному ее слову. И верил всему. Его душила невыносимая горечь, которая внезапно перешла в бешенство, в бешенство против Мейснера. Хольт долго еще лежал на земле и думал. Он решил поговорить с Вольцовом.

— Мне нужно рассказать тебе кое-что,— сказал Хольт, когда Вольцов отворил ему дверь. И вдруг насторожился... Странный звук несся из-за стены, протяжный, как собачий вой.

— Моя мать,— сказал Вольцов.— Вот уже два года одна и та же комедия, с тех пор как отца перебросили на Восточный фронт... А еще называется жена офицера! Ее уже посадили однажды в сумасшедший дом, но ты думаешь, отучили от этого воя? — Он протянул Хольту сигареты.— Перестань прислушиваться. Скоро привыкнешь. Рассказывай!

— Ты знаешь Рут Вагнер?

— Гм! — хмыкнул Вольцов.— Туманная история.— Она, видимо, мало интересовала его.

Хольт пересказал ему все, что узнал.

— Ну как? Веришь ты этому?

— Почему бы и нет? В прошлом году здесь произошел почти такой же случай. Несколько парней из гитлерюгенда отправлялись на фронт и устроили прощальную вечеринку. Они все перепились, заманили к себе какую-то девушку, которая случайно проходила по улице, и все по очереди... Понимаешь?.. А девчонке только-только минуло пятнадцать. Отец хотел было поднять шум. Но банфюрер, командир отряда, замял дело. Они сказали отцу, что, если он не успокоится, придется ему распроститься со своей военной броней. А этот штафирка так боялся фронта, что сразу воды в рот набрал, и обо всей истории никто ни гу-гу. Думаю, что и история с Мейснером тоже правда.

— И как ты относишься к ней?! — вскричал Хольт.

— Мне нет до этого решительно никакого дела,— сердито огрызнулся Вольцов.

Но Хольт не отставал.

— Тебе нет дела? Мне тоже нет. Но мы-то с тобой не принадлежим к этой шантрапе. Неужели тебе действительно безразлично, что учинил Мейснер?

— Да не волнуйся ты,— сказал Вольцов, стараясь успокоить Хольта.

— А есть ли в нас хоть капля чести? — воскликнул Хольт.— Ах, есть! Значит, нужно отправиться в полицию...

Вольцов постучал пальцем по лбу.

— В полицию? Там скажут, что мы клевещем на национал-социалистскую партию.

Хольт, не двигаясь, сидел на кровати. Его охватил страх, но все-таки он упрямо сказал:

— Речь идет о справедливости! Мы обязаны бороться за справедливость собственными силами, вот как Карл Моор. «Мое ремесло — отмщение!» Мы отомстим Мейснеру за Рут Вагнер!

— Мне нет дела до девки,— возразил Вольцов. Но вдруг встал и принялся шагать по комнате.— Мейснер...— сказал он, помолчав.— Все это, правда, уже быльем поросло. Но ведь это он испортил мне карьеру в гитлерюгенде. Да так испортил, что и мечтать о ней не приходится... Хорошо, я поразмыслю, что можно тут предпринять.

4

За несколько дней до каникул Хольт вернулся в гимназию. Соученики встретили его ликованием. Но Вольцова в классе не было, и это отравило Хольту радость свидания с товарищами.

Мысль об отсутствующем Вольцове не давала ему покоя, а он и так нервничал. Ведь ему не удалось больше увидеться с Марией Крюгер.

Как только кончились уроки, он побежал к Вольцову.

У ворот высокой стены, окружавшей виллу, стояло несколько машин. Уж не приехал ли в отпуск отец Вольцова? Хольт с любопытством разглядывал машины — два легковых автомобиля военного образца с установленными на них пулеметами, мотоциклы с колясками и большой лимузин. В машинах сидели солдаты в касках, с карабинами, в покрытых засохшей грязью сапогах. Они казались усталыми и истощенными.

В холле стояли чемоданы. В одном из кресел, вытянув на ковре ноги в грязных сапогах, храпел унтер-офицер. Комната Вольцова была пуста. Хольт уселся на кровати и стал ждать.

Вошел Вольцов. Глаза его от усталости превратились в щелочки.

— Мой отец убит. Сегодня ночью приехал дядя Ганс. Прямо из России, через Венгрию. Он откомандирован в Берлин... Оставь,— перебил он Хольта.— Это не имеет значения. Солдат есть солдат. Вот только мать... Дядя Ганс отвезет ее в психиатрическую клинику. Подумать только, жена офицера! Пойдем! Я представлю тебя дяде Гансу.

Он втолкнул Хольта в большую темную комнату. На диване под окном они увидели длинную фигуру, вытянувшуюся во весь рост. Генерал-майор Вольцов лежал, сняв мундир и засучив рукава. Сапоги его валялись на ковре, на столике стояло множество бутылок из-под красного вина и коньяка. Тут же были брошены пачки с сигаретами и наполовину пустая коробка сигар.

Генерал слегка приподнялся.

— Ага! — сказал он и снова лег.

Вольцов придвинул Хольту стул, налил ему коньяку и стал рассказывать:

— Отец участвовал в наступлении на Курской дуге. Ты ведь читал в сводках верховного командования, что там у нас не все благополучно...

— Да, читал,— сказал Хольт, испытывая некоторое смущение в присутствии генерала.— Русские наступают сейчас под Орлом. Там разыгрывается грандиозное сражение с участием огромного количества техники.

Генерал сел и взял стакан с коньяком.

— Друг Гильберта? Очень рад. Ну, помянем Филиппа! Ваше здоровье! — Он выпил. Говорил он тихо, высоким и язвительным голосом.

— Кнот! — крикнул он вдруг, повалившись на диван.

Вольцов распахнул дверь и заорал:

— Унтер-офицер Кнот!

Хольт с трудом отдышался. Коньяк жег ему горло.

На лестнице загремели шаги, и человек в мундире мышиного цвета рванул дверь.

— Господин генерал?

Хольт узнал унтер-офицера, спавшего в холле.

— Уладить дело со спиртом! — сказал генерал, прижимая левую ладонь ко лбу.— Он приподнялся на локтях.— Никак не могу вспомнить, куда девался Шрейер?

— Вы пили ночью до положения риз,— шепнул ему Вольцов.

— Господин обер-лейтенант отбыл сегодня утром к супруге,— пояснил унтер-офицер.

— Правильно,— сказал генерал,— припоминаю. Пусть Венцке как можно скорее доставит меня еще в одно место. Мы отбываем в шестнадцать часов. Ступайте!

Унтер-офицер с грохотом сбежал по лестнице. Под открытым окном послышался шум мотоцикла. Скоро он замер вдали. Рядом хлопнула дверь. По дому снова разнеслось жалобное рыдание.

— Правильно,— повторил генерал. Он встал кряхтя и натянул на себя мундир с погонами генерал-майора авиации. Племянник помог генералу надеть сапоги.— Сейчас я отвезу Сибиллу. Говорят, что электрошок делает чудеса.

Вольцов засопел.

— Ну, этой ничего не поможет. Уж лучше бы сразу оставили ее там.

Генерал пробормотал что-то невнятное. Он был одного роста с племянником. Такой же орлиный нос и такие же серые глаза под нависшими бровями. Генерал стоял совсем одетый посреди комнаты и прижимал ладони к вискам.

— Проклятый коньяк! Чертова попойка!

Вдруг он внимательно посмотрел на племянника и спросил:

— Неприятности?

— Да, в гимназии,— ответил Вольцов.— Вероятно, останусь на второй год.

— Глуп или ленив? — спросил генерал.

— Ленив, разумеется,— пояснил Вольцов.— Нас возьмут в армию еще в этом году. Сначала, вероятно, в зенитную артиллерию.

Генерал рассмеялся, взял бутылку и налил коньяк в стаканы.

— Ваше здоровье! — сказал он.— Не огорчайся.

Где-то хлопнули двери, и рыдания фрау Вольцов заглушили скрипучий голос генерала. Вольцов налил всем еще по второй.

Оглушенный и взволнованный Хольт побежал к себе.

В небе собирались тучи. Темнело. Вдали за горами полыхали зарницы. Хольт стоял у окна. Он думал о том мгновении, там, в кабине на пляже.

■

На другой день Вольцов опять не пришел в школу. Маас зачитал приказ: «Все классы с III по VI включительно мобилизуются на три недели для проведения уборки урожая. Отъезд назначен на двадцать первое июля. Подпись: Кнопф — банфюрер, Митц — обер-штудиендиректор».

— Вот, пожалуйста! Через три дня после начала каникул,— проворчал Гомилка.

Как только кончились уроки, Хольт опять пошел к Вольцову. Вилла была заперта. Разочарованный Хольт отправился домой. В окне визевского дома стоял бледный Петер. Он пригласил Хольта зайти.

В большой светлой гостиной чернел рояль. Визе говорил тихо и задумчиво. Потом сел за рояль и начал играть.

Игра Визе всегда навевала на Хольта грусть.

— Нужно хоть немного разбираться в музыкальных формах,— гояснил Визе.— Тогда понятно настроение каждой части. Без понимания формы не может быть понимания музыки.

Он сыграл несколько тактов.

— Бетховен, соната опус два, номер один. Пример из учебника. Главная партия: четыре вступительных такта... Теперь четыре заключительных. Играю... Третий и четвертый такт повторяют первый и второй в доминанте.— Он сыграл.— Седьмой и восьмой такт... Каденция...

Визе разъяснил Хольту всю первую часть. Такт за тактом.

— Связующая партия. Побочная.— Он сыграл.— Заключительная. Вот это все называется экспозицией. А теперь следует разработка.

— Скажи, а какая вещь наиболее трудна для фортепьянного исполнения? — спросил Хольт.

Визе подумал.

— Клавиры Рихарда Штрауса. Впрочем, если исполнитель даже соврет, тоже не страшно. Штраус все равно звучит немного фальшиво.

Он порылся в нотах. Вдруг Хольт вздрогнул. Его взволновал поток звуков, диссонирующих, раздражающих и вновь гармоничных.

— «Вручение серебряной розы»! * — воскликнул Визе.— Вот здесь ты должен вообразить два женских голоса.

«Я столько испытал в последние недели,— думал Хольт.— Еще немного, и все кончится: и лето, и часы, проведенные с Визе, и дни у реки. И начнется настоящая жизнь, полная приключений... Война — великое испытание сил».

— Играй еще,— попросил он.— Мне нравится.— «Никто не знает, куда мы попадем,— думал Хольт.— Здесь у нас нет противозенитных орудий. Может быть, мы угодим в самое пекло. Спокойно существовать в наше время — просто позор. Последние два года я проторчал с матерью в Бамберге. Там о ночных бомбежках ходили только легенды. Так, изредка тревога... Но какое это имеет значение, когда другие, чуть-чуть постарше, уже стоят у орудий?..» «Самозащита от огня и смерти»,— прочел он во вчерашней газете и еще «Слово о воздушной войне» рейхминистра Геббельса: «...Каждый обязан сохранять мужество, спокойствие и быть готовым ко всему»,— вот что там было написано...»

Сквозь высокие витражи зимнего сада падал мягкий солнечный свет. «Клинг-клинг-клинг»,— играл Визе... «Подвалы, запасные выходы, проломы в стенах, пропитанные водой одеяла, противогазы, свечи, спички, питьевая вода, достаточный запас продуктов в убежищах, брызги фосфора, грубая одежда. Мужество и самопомощь. Не трусить! Стиснуть зубы!»

— Ария для голоса,— сказал Визе и пропел своим детским альтом: — Ти-ри-ра-ра-и-и-и!..

«...Разумеется, воздушный террор в последние недели беспрерывно усиливается. Но доктор Геббельс говорит: «Пусть никто не думает, что фюрер в бездействии смотрит на то, как свирепствует вражеский террор. Мы не говорим о наших контрмерах, но это служит лучшим доказательством...» Да,— мелькнуло в мыслях у Хольта,— лучшим доказательством... того, что мы непрерывно разрабатываем эти меры. Мы живем в великое и благородное время. Оно будит в нас воспоминания о лучших годах фридриховской эпохи. Фридрих справился и не с такими трудностями. А уж мы-то, такие парни, как Вольцов и я! Просто смешно говорить! — Петер Визе играл.— Наконец приходит день окончательной победы,— продолжал мечтать Хольт.— Цветы, ликование, звон колоколов...» «Клинг-клинг-клинг»,— звенел рояль.

Хольт встал, чтобы проститься.

— Вас скоро возьмут,— тихо сказал Визе,— меня, вероятно, оставят здесь. Я признан негодным...

Хольт посмотрел на улицу сквозь стеклянную стену зимнего сада. «Бедный парень»,— подумал он.

Вечером вернулся Вольцов. Вернер остался у него в пустой вилле. Они сидели в холле перед тлеющим камином.

— Сейчас разрабатывается совершенно новый тип зенитного оружия. Надеюсь, что мы успеем прибыть хоть к концу,— сказал Вольцов.

---

* Сцена из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер роз».

5

Урок стенографии у Хессингера. Потом раздача табелей. В классе уже чувствовались каникулы. Прощаясь со старым школьным годом, ученики изощрялись в самых невероятных проделках. Особенно досталось Хессингеру, добродушному старику. Он был беззащитен, и поэтому его мучили все.

— Не знаю,— сказал на перемене Хольт.— Но, по-моему, это уже слишком. Просто подло.

Гомилка задумчиво посмотрел на него.

— Ты прав,— сказал он.

— А почему он позволяет так с собой поступать? — воскликнул Фетер.

— Заткнись! — приказал Вольцов.

Но тут случилось нечто небывалое. Толстый белокурый Фетер, над которым вечно все потешались, вдруг взбунтовался против Вольцова.

— Видно, тебе моча в голову бросилась на радостях, что застрял на второй год!

Вольцов даже бровью не повел.

— Чего ждать от такого болвана,— сказал он, ухмыльнувшись.— Маас прав, когда спрашивает, в кого ты такой идиот? Верно, в мать. Жирен ты, конечно, в отца.

Цемтцкий стоял позади Фетера и тихонько его подзуживал:

— Нет уж, с ним ты, разумеется, спорить не можешь!

Фетер вспыхнул как огонь.

— Такое... такое оскорбление! Нет! Сегодня в шесть у Вороньей скалы!..

— Ты что? Собираешься драться со мной? — удивился Вольцов.

— Ты оскорбил моих родных,— твердо заявил Фетер.— Условия диктую я. Я пришлю к тебе Фрица. Он будет моим секундантом.

Цемтцкий усиленно закивал. Гомилка протиснулся вперед.

— Я нейтральная сторона.

Все принялись горячо убеждать Фетера.

— Да брось ты. Ведь он тебя искалечит.

Фетер с трудом сдерживал слезы.

— Но моя семья... Честь моей семьи...

За дверью раздался свист караулившего ученика.

Вошел Маас, держа табеля под мышкой. Он смотрел поверх очков. Вольцова все-таки перевели. Его спасли отличные отметки по гимнастике и истории. Но табель его выглядел просто ужасно. Они с Хольтом вместе вышли из гимназии. Вольцов, сощурившись, посмотрел на солнце.

— Сегодня пришли ящики моего отца с фронта. Мы сейчас же их разберем.

■

Стоял душный знойный день. Вольцов и Хольт, в одних трусиках, сидели в кухне и что-то жевали. Вот уже несколько недель как никто не убирал посуду. В мойке высилась гора грязных тарелок и кастрюль. Пустые кульки и объедки покрывали стол. Среди них торчали винные бутылки, некоторые еще закупоренные, другие пустые. Вольцов достал слесарные инструменты, зажал бутылку под мышкой и втолкнул Вернера в холл. Здесь на ковре стояли три больших ящика, несколько чемоданов. Вольцов раздвинул портьеры. Свет хлынул в окна, и в воздухе затанцевали пылинки.

— Глотни-ка красного!

Вино было превкусное. Хольт хлебнул несколько раз прямо из бутылки. Вольцов оторвал доски от ящика и швырнул их в камин, потом нагнулся и вынул офицерский кортик с рукояткой из слоновой кости.

— Великолепно? Правда? — спросил он, вытягивая кортик из ножен.

Второй ящик был набит шкатулками, футлярами, переметными сумками. В портфеле лежали бумаги, толстая пачка топографических карт, тетради в клеенчатых переплетах, исписанные торопливым почерком, коробочка с орденами и почетными знаками и всякая прочая мелочь.

— Наследник — я. Если моя старуха будет безобразничать, я потребую назначить над ней опеку... Посмотри-ка! — вскричал вдруг Вольцов, показывая Хольту две, нет, целых три пистолетные кобуры. Он открыл одну из них и вытащил большой пистолет.

— Ну, братец,— прошептал Хольт в полном восторге.— Si vis pacem, para bellum *,— процитировал Вольцов,— отсюда название «парабеллум».

Он вытащил магазин, оттянул затвор, из патронника выпал и покатился по ковру патрон.

— А вот здесь «вальтер», калибр семь шестьдесят пять.

Вольцов придвинул Хольту третью кобуру, и Хольт вытащил из нее маленький автоматический пистолет. Обхватив ладонью рукоятку, он оттянул затвор. Из пистолета выскочил блестящий патрон. Послышался щелчок, и затвор встал на место.

— Согнуть палец... Я господин над жизнью и смертью! Бельгийский браунинг, калибр шесть тридцать пять. Рядом с этими пушками он кажется просто игрушкой, но это прелесть что такое! — восторгался Хольт.

— Если он тебе нравится,— проговорил Вольцов,— можешь оставить его себе.

Он побежал в свою комнату, схватил чучело куропатки, принес его в холл и поставил на доску камина.

Раздался звонок. За дверью стояли Гомилка и Цемтцкий.

Хольт провел их к Вольцову.

Вольцов поднял пистолет, прицелился в куропатку, отчетливо вырисовывавшуюся на фоне блестящих изразцов, и спустил курок. По холлу прокатился оглушительный выстрел. Пуля ударилась о доску камина и, отскочив, разбила большую вазу на столике, возле которого стоял Гомилка. Осколки пролетели у Гомилки над головой, но он и бровью не повел. Комнату наполнил запах пороха.

— Мой штуцер разбил бы изразцы вдребезги,— только и сказал он.

Вольцов поставил пистолет на предохранитель и положил его на столик для куренья.

— Ты умеешь владеть собой. Поздравляю! Из тебя вообще вышел бы неплохой солдат.

— Безобразие! — пропищал Цемтцкий.— Стреляет куда попало, того и гляди, глаз кому-нибудь выбьет!

Вольцов принес бутылку красного вина.

— Садитесь!

Бутылка пошла по кругу.

Наконец Цемтцкий приступил к делу.

— Фетеру было нанесено оскорбление в присутствии всего класса. Он совсем не любит своих родителей. Они порют его каждый день. Но честь семьи для Фетера превыше всего. Здорово, правда? Я сказал ему, что, если он не станет с тобой драться, мы все будем считать его трусом.

— Пусть сидит и не рыпается! — воскликнул Хольт.— Нечего сказать, тоже выдумал драться на ножах. Здесь у него, видите ли, больше шансов, чем в боксе.

---

* Если хочешь мира, готовься к войне *(лат.)*.

— Это он стибрил из романов Карла Мая,— Вольцов рассмеялся.

— Драться на палках он тоже не хочет,— пояснил Цемтцкий.— Отец вчера избил его кнутом. Фетер жаждет омыть честь своей семьи твоей кровью.

Гомилка улыбнулся.

— Гильберт принимает вызов,— сказал Хольт.— Итак, в шесть часов у Вороньей скалы. Передай Фетеру: оскорбительные слова вырвались у Гильберта в минуту возбуждения. Мы просим Фетера удовлетвориться этим объяснением. Пырять друг друга ножами — право, слишком.

— Да, а потом он будет считать, что я струсил! — перебил Вольцов.

— Фетера всегда все изводят,— задумчиво произнес Гомилка.— Дома из него сделали мальчика для битья. Вы и представить себе не можете, что у них происходит! Фетер страшно озлоблен, он отклонит любое объяснение. Я это знаю заранее.

— А мне все равно,— равнодушно сказал Вольцов.— Ну, убирайтесь, у меня нет времени.

Третий ящик тоже опустошили. Оружие и разные другие предметы валялись по всему холлу. В одном из чемоданов оказались пистолетные патроны разных калибров. В другом Вольцов обнаружил сигары — чуть не двадцать пять ящичков ароматных сигар. Нашел он и отцовский бумажник, в котором лежало триста с лишним марок.

Вольцов стоял, склонив голову набок и поигрывая своим «вальтером».

— Я как следует обмозговал наше дельце с Мейснером. Это ему я обязан тем, что должен стоять навытяжку перед каждым шарфюрером. Его уже давным-давно следовало вздуть. Только действовать нужно не откладывая, через неделю его забирают в армию. Я повстречал штамфюрера Вурма, он с Бартом будут командовать нашим отрядом на уборке урожая. Видно, нам солоно с ними придется. Так вот, Мейснер уходит в армию...

— Значит, когда мы вернемся,— протянул Хольт,— его и след простынет.

— А ты намерен проторчать на уборке все три недели?

— Что ты хочешь сказать?

— Смоемся, и все тут!

— А куда?

— Вот в этом-то и вопрос... Но я все равно смоюсь, покуда нас не возьмут в армию.

Хольт молчал.

— Недалеко ты убежишь,— сказал он наконец.— Раньше это проще было.— И вдруг перед его глазами встали пустынные горы, бескрайние леса, пещера.— А ведь я знаю,— сказал он, охрипнув от волнения,— я знаю, где можно спрятаться.

И он рассказал Вольцову про то, как попал в пещеру.

— Пойдем-ка наверх,— позвал его Вольцов.

Они вошли в комнату Гильберта, и тот извлек откуда-то карту.

— Ну-ка, покажи, в каком направлении ты шел?

Хольт принялся внимательно разглядывать карту.

— Вот в этом... Вот через эти две деревни... Потом свернул на север, потом на северо-запад, потом обогнул очень высокую гору, потом снова на север...

— Так. Значит, ты ушел гораздо дальше, чем тебе кажется. Вероятно, это вот здесь... Рядом с Каленбергом и даже за Брухшпицем... Добрых тридцать километров отсюда...

— Да. Обратно я шел, ни разу не отдыхая, и все-таки добирался домой часов семь.

— Я был там несколько лет назад,— сказал Вольцов, усаживаясь на кровать и попыхивая сигарой.— Чертовски пустынное место! Ни одной

деревни, только горы. Когда-то, давным-давно, там были рудники. Но если бы кому-нибудь было известно про пещеру, я бы, конечно, знал.

Он в раздумье зашагал по комнате.

— У нас сейчас июль. Август, сентябрь... Придется тащить с собой кучу всякого хлама.

Хольт стоял, прислонившись к окну. Сначала он просто онемел от неожиданности. Но вдруг увидел леса, тучи, горы, ночные костры, звездное небо. Свобода, воля... Вот оно, грандиозное упоительное приключение!

Вольцов снова склонился над картой.

— Мы можем здорово сократить путь, если отправимся на шлюпке по Шварцбруну, вверх по течению. Да и с поклажей было бы удобно. Можно все погрузить на прицепную лодку. Давай осмотрим пещеру, не откладывая... Хорошо?

— До вторника мы успеем как следует все подготовить,— сказал Хольт. Он уже смотрел на предстоящую авантюру, как на решенное дело.— Во вторник мы отправимся на уборку урожая, для нас это лучший способ исчезнуть из города. А через три дня тайком вернемся обратно, разделаемся с Мейснером и смоемся окончательно.

Казалось, все было очень просто.

Но Вольцов думал иначе.

— Нет, дело с Мейснером надо еще как следует обмозговать. Ты знаешь, что полагается за нападение на командира гитлерюгенда? Для нас это может кончиться очень плохо.

— Но он обязательно должен знать, *за что* мы его бьем! — сказал Хольт.

— Полегче! Полегче! — одернул его Вольцов.— Это еще опаснее!

— А твой дядя? — спросил Хольт.— Разве он не сможет выручить нас? В самом крайнем случае?

— Что это ты выдумал? — воскликнул Вольцов.— Дядя Ганс член национал-социалистской партии с тридцатого года. Он немецкий офицер и, разумеется, не потерпит ничего подобного. Нет уж, придется нам изворачиваться самим.

— Если бы хоть что-нибудь удалось раздобыть,— сказал Хольт,— какой-нибудь документ, компрометирующий Мейснера, на случай, если он не станет держать язык за зубами.

Вольцов снова задумался.

— Хорошая мысль,— сказал он наконец.— Я еще подумаю...—И приятели стали готовиться к встрече у Вороньей скалы и к походу в пещеру.

Они уложили пистолеты, патроны, карманные фонарики, карту, буханку хлеба и две банки мясных консервов. Каждый взял с собой свернутую плащ-палатку.

■

Воронья скала находилась совсем близко от города.

— Нам необходимы ружья,— сказал по дороге Вольцов.— Из пистолета даже зайца не застрелишь, а уж кабана и подавно. Хоть бы малокалиберную винтовку достать! Моя сломалась. Вот у Зеппа ружье есть. Тирольский штуцер. Одиннадцатимиллиметровый, может, даже крупнее! Пули Зепп отливает сам, а патроны заряжает черным порохом. Правда, после выстрела вонь стоит ужасная. Зато из такого штуцера на расстоянии ста метров можно уложить любого зверя.

— Давай возьмем с собой Зеппа,— предложил Хольт.— Ему тоже осточертела гимназия.

Воронья скала оказалась множеством базальтовых глыб, громоздив-

шихся одна на другую. Сейчас, освещенная солнцем, она отбрасывала тень до самой опушки.

Гомилка уже ждал их. Фетер стоял рядом с Цемтцким. Он явно сторонился своих противников.

— Когда этот спектакль кончится, останься с нами, Гомилка,— сказал Вольцов.

Цемтцкий торжественным тоном заявил, что Фетер решительно отклоняет примирение.

— Он хочет драться!

Гомилка отметил колышками круг на лугу. Вольцов стянул с себя рубашку, снял бриджи, сапоги. Он стоял босой на траве и ждал.

— Вы что, действительно собираетесь драться? — спросил Гомилка, делаясь неожиданно серьезным. Вольцов уже вступил в круг. Фетер тоже разделся.— Ты просто скотина, идиот этакий, сам виноват, если он тебя...

— Если ты будешь меня ругать, тебе тоже придется со мною драться,— перебил его Фетер, отбивая зубами барабанную дробь.

Он встал в круг, недоверчиво косясь на Вольцова, который с безучастным выражением лица ждал своего противника. Вольцов был на полголовы выше Фетера, его руки, плечи, грудь состояли из одних мускулов. Фетер казался рыхлым и даже отечным.

Гомилка подал Фетеру нож. Вольцову подали такой же.

— Станьте в круг! Смотрите в сторону!

— А кто доставит труп Фетера домой? — спросил Цемтцкий.— Неужели я, как секундант, обязан еще...

— Тихо! — закричал Гомилка.— Когда я скажу «Начинайте!», повернитесь друг к другу и начинайте драться, не дожидаясь новой команды. Вышедший из круга считается побежденным. Команда такая: «Внимание! Приготовились! Начали!» Итак: «Внимание! Приготовились!..»

— Я дерусь за мою семью! — с отчаянием в голосе закричал Фетер. Он был бледен. Колени у него дрожали.

— Заткнись! — прикрикнул Вольцов.— Зепп, командуй наконец!

Хольт видел, что Вольцов злится.

— Начали! — крикнул Гомилка.

Противники повернулись и медленно пошли навстречу друг другу. Вольцов шел спокойно и небрежно, Фетер — переваливаясь и беспомощно тыча ножом в воздух. От волнения он громко твердил: «Начали, начали, начали!» Вдруг Вольцов отшвырнул нож. Фетер в страхе замахнулся на него своим ножом, но Вольцов проворно отскочил в сторону и закатил Фетеру такую пощечину, что толстяк грохнулся плашмя. По руке Вольцова текла кровь. Поединок продолжался ровно одну секунду.

— Фетер лежит за кругом. Победа за Вольцовом,— провозгласил Гомилка.

Хольт осмотрел порез на руке друга.

— Пустое. Царапина.

Фетер сидел на траве и рыдал.

— Все надо мной издеваются,— приговаривал он, всхлипывая.— Разве моя вина, что я такой толстый?.. Я не трус! — заорал он.— Меня избивают мои же родные. Никто не хочет быть мне другом. Не стану я больше терпеть этого, уйду куда глаза глядят!

Хольт похлопал его по плечу.

— Перестань реветь. Ты что, вправду хочешь сбежать? Тогда...— Он посмотрел на Вольцова. Вольцов усмехнулся и кивнул.— Тогда пойдем с нами. Нам тоже осточертела эта канитель.

— Но смотри, если ты хоть словом проговоришься о том, что мы задумали, я тебя пристрелю. Это и к тебе относится! — Вольцов ткнул Цемтцкого в спину.

Фетер отер слезы.

— Правда?.. Правда?..— пролепетал он.

Вольцов оделил всех сигарами. Солнце стояло высоко над горами. Огромная тень, падавшая от скалы, окутала мальчиков.

Хольт рассказал им о плане Вольцова и о пещере.

— Нам нужны твои ружья, Зепп,— добавил Вольцов,— мы будем охотиться. Там пропасть зайцев и косуль. Гунны тоже питались одним мясом. — Цемтцкий и Фетер сидели разинув рты. Но Гомилка колебался.

— Мы вылетим из гимназии, понятно?

— Ниоткуда мы не вылетим! — вскричал Вольцов.— Мы исчезнем, и все тут. А как только нас призовут — тотчас же и явимся. Бьюсь об заклад, что тогда и в голову никому не придет исключать нас. Ведь все равно всех возьмут в зенитную артиллерию.

— Это верно,— согласился Гомилка.

— А в горах им нас не найти... Для этого надо, чтобы полиция отрядила чуть не сто человек и прочесала весь лес.

— Так, значит... так, значит... Гильберт! — вскричал вне себя от восторга Фетер.— Да если вы позволите мне участвовать в вашем приключении... клянусь тебе в вечной покорности!

Лицо его, вздувшееся от пощечины, так и сияло.

— Мы все должны принести клятву,— сказал Хольт. Они стали в круг и подняли вверх ладони.

— Клянемся быть верными товарищами и друзьями, стоять друг за друга и здесь, и на войне, что бы нас ни ждало! Нашим фюрером мы признаем Вольцова. И никогда не покинем его в беде...

— А тот, кто нарушит клятву,— подлец! — добавил Фетер.

Хольт молча смотрел на Вольцова, на его резкий профиль с орлиным носом.

— А вы знаете, почему это место называется Вороньей скалой? — спросил Гомилка, когда они собрались тронуться дальше.— Потому что какой-то человек заключил здесь союз с чертом и черт явился ему в образе ворона.

Не мешкая, они отправились к пещере. Никто не захотел отказаться от этого ночного путешествия.

6

На другой день Хольт шел по пляжу к своей кабине, с трудом протискиваясь среди людей, собравшихся в этот жаркий день у реки. Бросившись в воду, он смыл с себя пыль после долгого пути и взобрался на плот.

Возле вышки он увидел Петера Визе, рядом с ним сидел какой-то высокий белобрысый парень. Хольт просто замер от удивления — Визе и Гартмут Мейснер? Визе тоже заметил Хольта и поманил его к себе. «Вот это случай!» — подумал Хольт. Он поздоровался с ними как можно приветливее и с любопытством стал разглядывать белобрысого. До сих пор ему случалось видеть его только мельком. Мейснер оказался большим, сильным, очень загорелым парнем. У него было мускулистое тренированное тело, грубое лицо, холодные бесцветные глаза и почти белые волосы.

Визе представил их друг другу.

— Право же, это лишнее,— сказал Хольт.— Кто же не знает Гартмута Мейснера?

Мейснер медленно повернулся к нему лицом.

— В каком это смысле? — спросил он.

Хольт улыбнулся. «Ага, видно, задел больное место!»

— Да уж мало ли в каком!.. Слухом земля полнится!

— Ну и нахальный же ты, сопляк! — заметил Мейснер.

— Говорят, у тебя вечные истории с бабами,— быстро ввернул Хольт.— А о них всегда болтают.

— А что именно ты слышал?

— А что же я мог слышать? — отпарировал Хольт с самым невинным видом и выдержал взгляд Мейснера, хотя в нем уже закипала ненависть. «Хорошо, погоди-ка! Скоро мы с тобой встретимся по-другому!»

Хольт вытянулся на раскаленных солнцем досках.

— Впрочем, ты прав,— сказал он.— Раз уходишь на фронт, значит, стараешься взять от жизни все, что можешь.

— Ну, знаешь, для такой философии ты, пожалуй, зелен еще,— заметил Мейснер.

— А, по-моему, несколько месяцев, на которые ты старше меня, не имеют ровно никакого значения. Философия у нас у всех общая.

— Да? Какая же именно?

— Живи и давай жить другим,— ответил Хольт.

Мейснер, который сидел, жмурясь на солнышко, вздрогнул.

— Что-то слишком уж либерально...

— Нисколько,— возразил Хольт.— Никто не знает, вернется ли он живым с войны. Вот и хочется отхватить кусок пирога, да побольше...

Мейснер молчал. Наконец, все еще не открывая глаз, он произнес:

— Нет, вы все решительно не способны постичь дух нашей эпохи! Отхватить кусок пирога!.. Что за еврейская точка зрения!.. Речь идет о рейхе. Пусть кому-нибудь из нас предназначено погибнуть, это не имеет решительно никакого значения. Человек, который стремится сейчас к наслаждению, предает тем самым Германию. Рейх, разумеется, выстоит, что бы ни случилось. Рейх выстоит при всех обстоятельствах. Рейх растет и крепнет...

— Ты прав, разумеется. Только я не нуждаюсь в твоих поучениях. Я сам два года подряд руководил лучшим подразделением в гитлерюгенде. А вот тебе я бы не советовал орать, будто в Германии никто не имеет права наслаждаться жизнью.

— Я говорил не о массах, а о нас, о природных вождях.

— Да, но с одними вождями вести войну нельзя.

Мейснер не удостоил его ответом. Он посидел еще несколько минут на солнце и ушел, оставив Визе и Хольта одних.

— Зачем ты водишься... с этим? — спросил Хольт.

— Он сам подсел ко мне,— ответил Визе, словно извиняясь.

— А ведь здорово я его отделал, правда? — сказал Хольт.

— Да. Он старше тебя, но мне кажется, что ты...— произнес Визе с некоторым удивлением и вдруг заметил: — Здорово же ты его обставил! Мне кажется, что ты мог бы быть самым лучшим учеником в нашем классе, если бы только захотел. Почему ты не занимаешься?

— Потому что эти занятия не для мужчины. Я хочу, наконец, на войну.

Хольт не подумал о том, что слова его делают Петеру больно.

— В один прекрасный день,— задумчиво сказал Визе,— узнал богач, что у него чахотка. И сказали ему врачи: надежды нет, осталось вам жить не более года! Так твердили они в один голос. И подумал тогда богач: хорошо! И промотал все свое состояние, до последней копейки. Но прошел год, и свершилось чудо. Богач выздоровел, а его ждала нищета.

«Дурацкий пример,— с досадой подумал Хольт.— Совершенно в духе нашего горе-Петера! Ну какое мне дело до того, что будет потом? Сейчас война».

— Я понял тебя,— буркнул Хольт, хотя старался быть как можно приветливей с Петером.

— Но самое смешное,— тихо сказал Петер,— что я завидую тебе! Я многое дал бы,— и в голосе его зазвучали трагические ноты,— чтобы стать твоим другом. Но для этого надо быть таким, как Вольцов. Я все-

гда был самым слабым среди вас. Я всегда думал: мое оружие — дух... Но ведь, в сущности, ты умнее меня...

«Смешно»,— подумал, в свою очередь, Хольт.

— Мне бы тоже хотелось драться, хулиганить и дерзить,— продолжал Петер,— но меня признали негодным для трудовой повинности, и в зенитную артиллерию меня, разумеется, не возьмут.

— И при всем том мы можем быть друзьями,— перебил его Хольт, растрогавшись.— Знаешь,— он заколебался.— Нет... речи быть не может. Впрочем... Петер, ты умеешь молчать?

— Разумеется. Ведь ради тебя я даже соврал!

Хольт протянул Петеру руку.

— Я верю тебе. Так вот, Вольцов, я и еще некоторые ребята, мы все удираем... Смоемся и, покуда нас не призовут, будем скрываться. Но ты и я — с тобой у нас будут свидания. Только Гильберт не должен ничего знать. Ты будешь сообщать мне обо всем, что делается в городе, что говорят о нашем исчезновении.

— Пойдем теперь ко мне,— сказал Визе, поглядев на свои наручные часы.— Я буду играть.

Только в передней у Визе Хольт узнал, что там семейное торжество — день рождения сестры Петера.

Хольт сам себе казался нелепым в коротких кожаных штанах и яркой спортивной рубашке. Волосы его, еще не просохшие после купанья, стояли дыбом. Молодые люди вошли в большую гостиную. Стеклянные двери в зимний сад были открыты. За чайным столом сидели гости. Хольт окончательно смутился. Среди пестрых платьев дам он увидел черный мундир офицера танковых войск. В комнате стоял запах духов, сигарет, цветов. Сестре Визе минуло сегодня девятнадцать. Она была очень похожа на брата — такая же маленькая, изящная. Темно-русые волосы окружали ее болезненное бледное лицо.

Визе представил своего друга гостям. Хольт пробормотал поздравление и остановился посреди комнаты. Но смущение только обострило его наблюдательность. Он отчетливо видел все, что происходило вокруг. Фрау Визе, сидевшая в кресле, обменялась взглядом с белокурой девушкой, которая стояла рядом с лейтенантом. Губы девушки дрогнули в насмешливой улыбке.

Хольт услышал, как ему называют имена присутствующих. Ута Барним, лейтенант Кифер — ее жених... Потом его усадили за стол рядом с фрау Визе. Чайный столик отделял его от Уты Барним. Хельга Визе налила ему чай. Мало-помалу Хольт оправился от растерянности.

— Если бы я только знал, что у вас сегодня день рождения,— сказал он,— я бы непременно стибрил хоть немного цветов...

Все рассмеялись, но это нисколько его не смутило.

— Купить цветы,— пояснил Хольт,— всякий может. А вот украсть — гораздо труднее.

— Ну что же,— сказала фрау Визе,— спасибо за доброе намерение.

Центром общества была Ута, старшая дочь полковника Барнима, мимо дома которого Хольт проходил каждое утро. Высокая, стройная, она сидела у дверей веранды в ярком свете заходящего солнца. Вот такой представлялась Хольту в его мечтах Кримгильда или графская дочь Хильдегард... Он бросил быстрый взгляд на лейтенанта. При других обстоятельствах этот офицер, вероятно, заинтересовал бы его больше, чем все присутствующие.

Петер Визе сел к роялю, полистал ноты и начал играть сначала Гайдна, потом свои любимые меланхолические сонаты Шумана. Хольт, не отрываясь, украдкой смотрел на Уту. «Третья часть, Allegro moderato. Все кашляют, как смешно! А вдруг она тоже думает сейчас обо мне? Интересно, чувствуем ли мы, когда наши мысли встречаются?»

Раздались аплодисменты. Лейтенант шепнул что-то Уте. «Фат»,— подумал Хольт.

— Да, благодарю! — сказал он, машинально беря еще чашку чая.

«Мне, право, надо уйти»,— подумал он. И остался.

Петер закрыл рояль.

— Ты сделал очень большие успехи в последнее время,— мягко сказала фрау Визе.— Но нам было бы приятнее, если бы ты меньше играл и больше занимался спортом...

Радость на лице Петера угасла.

— Нас очень огорчает, что тебя и в этом году признали негодным для участия в уборке урожая,— продолжала фрау Визе еще более мягко.— Господин Хольт, не могли ли бы вы заразить Петера своими увлечениями? Вы такой прекрасный спортсмен. Разумеется, я слышала о ваших проделках, зато, по крайней мере, вы проводите свободное время на воздухе.

— О, фрау Визе,— возразил Хольт,— но ведь это весьма неблагоприятно отразилось на моем табеле.

Присутствующие засмеялись.

— В эпоху, когда все решает не дух, а кулак,— звонким голосом сказал лейтенант Кифер и задрал подбородок,— в такую эпоху вдалбливать в головы так называемую премудрость совершенно излишне. Фюрер требует, чтобы тело юноши было крепким, закаленным и способным перенести любые испытания.

Ута сидела рядом с лейтенантом. Она смотрела в сад сквозь открытую дверь и, казалось, не слышала его слов.

Фрау Визе решила не мешать молодежи. Уходя, она протянула Хольту руку.

— Нам очень хотелось бы, чтобы наш Петер дружил с таким мальчиком, как вы. Мой муж желает, чтобы Петер во что бы то ни стало был признан годным для военной службы. Нужно только, чтобы вы и ваши друзья окунули его в воду и заставили как следует побарахтаться, покуда он не научится плавать. Ему это будет полезно.

Она вышла из гостиной.

— Не надо пускать козла в огород,— весело сказал Хольт.— Я морально незрелый. Это черным по белому стоит в моем табеле.

Ута, кажется, в первый раз посмотрела на него.

Все спустились в сад. Лейтенант шел с сестрой Визе. Хольт неожиданно оказался рядом с Утой. Она была почти одного с ним роста.

— Как же вам удалось заслужить такой чудовищный приговор? — в голосе ее звучала явная насмешка.

— Право, все это не так страшно! — ответил Хольт.

Она подтрунивала над ним, и это раздражало его, лишало уверенности.

— Учителя ровно ничего о нас не знают. Они и понятия не имеют, о чем мы, в сущности, думаем.

— А думы эти и вправду такие страшные? — спросила Ута еще более насмешливо.

Ему послышался в ее словах вызов. Но он его принял.

— Нет, конечно. Обычно это самые невинные мысли. Но только что, когда играл Петер, я очень порадовался, что их никто не может прочесть.

— Да? В таком случае, я просто чувствую себя вынужденной спросить — о чем же вы думали?

— О вас! — сказал он отрывисто, глядя на дорожку, посыпанную гравием. Она молчала, и это придало ему смелости.— Вы самая красивая девушка в городе.

Они прошли еще несколько шагов.

— В характеристике, которую вам дал учитель, есть пробел. Вы умеете быть любезным,— сказала Ута.

Гости остановились возле большого абрикосового дерева.

— Ну-с, кто влезет на дерево и сорвет абрикосы для дам? — картаво проговорил лейтенант, бросая поощрительные взгляды на Хольта и Петера. Хольт подошел к дереву, обхватил ствол обеими руками и потряс его. Абрикосы посыпались на землю. Он поднял самые большие и красивые и подал их Уте. Девушка даже не поблагодарила его, только на секунду задержала на нем задумчивый взгляд. Потом выбрала самый спелый абрикос, разломила его и, бросив косточку на землю, протянула половинку Хольту. И тут же, взяв лейтенанта под руку, исчезла с ним в доме.

7

Хольт уложил свои вещи, наплел что-то сестрам Денгельман про уборочную, с которой он уедет прямо на каникулы,— как-нибудь он к ним еще заявится, сказал Хольт,— и с битком набитым рюкзаком побежал к Вольцову.

Вечер они провели вдвоем у камина. Хольт утаил от Вольцова свой сговор с Визе, зато рассказал ему о знакомстве с Утой Барним.

— А Крюгер? — спросил, улыбаясь, Вольцов.

— Это совсем другое,— недовольно пробормотал Хольт.

— Мой стратегический план наступления на Мейснера уже разработан,— заявил Гильберт.— Осуществим мы его в пятницу. Значит, с уборочной необходимо покончить не позднее четверга.

Самым подходящим местом для встречи с Мейснером Вольцов считал Воронью скалу. Чтобы заманить туда противника, они состряпают подложное письмо. Вольцову удалось проведать, что Мейснер волочится сейчас за одной рыжей — Зузе. Она работает у фотографа, у нее есть жених, это известно всем. Хольт набросал несколько строк и прочитал их Вольцову:

«Дорогой господин Мейснер, мне необходимо поговорить с вами прежде, чем вы уедете на фронт. Пожалуйста, не откажите мне в моей просьбе. Но вы сами понимаете, что нас не должны видеть вместе. Приходите в пятницу вечером к Вороньей скале. Только приходите непременно! Ваша Зузе».

— Не-ет, милая Зузе... Что-то мне здесь подозрительно...— протянул Вольцов.

— Чепуха! Разумеется, она боится показываться с ним на людях. Ведь у нее жених. Мейснер именно так это и поймет,— возразил Хольт.— Да и почерка ее он, конечно, не знает. До сих пор она решительно отвергала все его домогательства.

— Да откуда ты-то все знаешь?

— У меня есть каналы, по которым я получаю сведения. Ведь у каждого полководца есть свои тайные агенты.

Хольт переписал свое послание на розовую бумагу. Вольцов опрыскал конверт духами. Хольт надписал адрес острым, вычурным зюттерлинским шрифтом *, с легким наклоном влево.

Затем Хольт составил и прочел текст расписки, которую должен будет выдать им Мейснер:

— «Настоящим заявляю, что я находился в тайной связи с Рут Вагнер и, когда она оказалась в состоянии беременности, прогнал ее от себя, угрожая...»

---

* Шрифт, введенный учителем рисования Зюттерлином и принятый в немецких школах с 1915 по 1945 год.

— «В состоянии беременности» — это хорошо,— прервал его Вольцов.

— «...после чего,— продолжал читать Хольт,— она покончила с собой по моей вине. Подпись».— Хольт опустил бумагу.

— По-моему, он ни за что этого не подпишет.

— Подпишет! Положись на меня.

Хольта охватил страх. «Во что же это я лезу?» Но Вольцов так спокойно засунул расписку в бумажник, что его опасения тотчас рассеялись.

Утром Гомилка принес два ружья. Кроме тяжелого старинного штуцера, он притащил еще большую сумку со всякими принадлежностями. Тут были форма для отливки пуль, патронные гильзы, пистоны, два кожаных мешочка с порохом, маленький кузнечный мех.

— Мне нужны еще селитра и сера. Деньги у вас найдутся?

У Вольцова в кармане куртки были деньги, которые он обнаружил в вещах своего отца.

— Вам, наверно, нужен свинец? — спросил он.— Выломаю-ка я водопроводную трубу. В этой развалюхе она все равно не нужна.

Он вошел в ванную, примыкавшую к его комнате, выломал кусок трубы, а дыру заткнул деревянной пробкой.

К вечеру Фетер и Цемтцкий тоже принесли свою поклажу. В холле выросла гора рюкзаков, тюков и свертков. В кухне у газовой плиты Гомилка лил пули — большие, круглые, чуть не в тридцать граммов весом. Хольт учился, как обращаться с гильзами,— вставлять пистоны, насыпать порох, ударом полена вбивать пули.

К вечеру приятели были совершенно готовы в дорогу. Они расположились лагерем в холле на ковре. В пять часов утра все вскочили и увязали свои рюкзаки. По дороге на вокзал Хольт бросил в почтовый ящик письмо, которое они сочинили.

■

У вокзала уже толпились гимназисты.

— Внимание! В одну шеренгу становись! — скомандовал Отто Барт.

Приятели встали на левом фланге.

Большой и сильный Отто Барт вышел вперед. Его угреватое лицо побагровело от крика. Барту минуло уже семнадцать, но, как и штамфюрер Герберт Вурм, он по должности был освобожден от службы в армии.

Через полчаса всех усадили в поезд, Вурм и Барт произвели проверку по вагонам. Вурм был длинный тощий парень с плоским лицом и черными, густо напомаженными волосами. Отвислая нижняя челюсть и вечно открытый рот придавали его лицу идиотическое выражение.

— Ах вот оно что,— проговорил Вурм.— Господа, кажется, изволят курить сигары!

Вольцов протянул ему ящичек.

— Хочешь?

Вурм стукнул ладонью по ящику, и сигары рассыпались. Вольцов поднялся со своего места.

— Сейчас получишь по морде, штамфюрер!

Вурм отскочил, а Барт крикнул:

— Вольцов, тихо! Не то доложу по команде.

— Пусть немедленно поднимет сигары! — упрямо стоял на своем Вольцов.

— Хватит! — заорал Барт и, обращаясь к четвероклассникам, приказал: — Поднять эти штуки!

Вольцов снова уселся на место.

Поезд шел целых пять часов. Наконец они подъехали к маленькой станции. По свистку Барта все вышли из вагонов.

■

Шоссе было покрыто пылью. Колонна маршировала под палящим солнцем. Они шли и пели «Голубые колонны-ы-ы... Драгуны скачут...» По обе стороны шоссе тянулись поля. Рожь уже стояла в копнах.

После двухчасового перехода гимназисты дошли до большого села и остановились перед пивной. Барт разбил свой отряд на отдельные группы. Всех разместили в здании деревенской школы.

— На снабжение нас зачислят только с завтрашнего дня,— сказал Фетер.— В половине пятого сбор на площади. Строевая подготовка! Сегодня Барт организует вечер встречи друзей.

Друзья решили не принимать участия в этой программе. Цемтцкий и Фетер, правда, колебались. Но Вольцов рассеял их сомнения.

Как только на улице раздался свисток и все бросились вниз, Хольт с треском захлопнул дверь, отодрал планку от грифельной доски, висевшей на стене, переломил ее о колено и обломок просунул в дверную ручку. Затем все улеглись спать.

Проснулись они только вечером. Было уже около восьми.

— Пошли в кабак! — скомандовал Вольцов.

В темной пыльной пивнушке несколько крестьян пили пиво.

Цемтцкий, Гомилка и Фетер принялись играть в скат. Крестьяне смотрели им в карты и спорили после каждого хода.

Вольцов ораторствовал не закрывая рта. Он осушил одну за другой шесть кружек пива и хвастался теперь своими бицепсами, даже вызвал на единоборство одноглазого подмастерья кузнеца, который смахивал на пирата. Борьба кончилась вничью, так решили крестьяне. Но Вольцов никак не мог успокоиться. Принесли пожарный крюк, толщиной в палец. Он согнул его одним движением руки. Кузнечный подмастерье, ухмыляясь, тотчас же выпрямил крюк. Наконец оба соперника вышли на середину комнаты и, упершись ладонь в ладонь, изо всех сил пытались поставить друг друга на колени. Оба уже с трудом дышали, но никто так и не добился перевеса. Крестьяне громкими криками выражали свое одобрение.

Цемтцкий, Фетер и Гомилка продолжали швырять карты на стол, словно все происходящее не имело к ним ровно никакого отношения.

Вольцов обнял подмастерье за плечо.

— Бочку пива,— заорал он.

Поднялся дикий крик.

Пивная — весь этот гам, табачный дым, пронзительные крики — вызвала у Хольта внезапное отвращение. Вольцов, окруженный крестьянами, стоял у стойки.

Вдруг, как раз в ту секунду, когда Цемтцкий бросил на стол туза черв, отворились двери и в пивную вошли Вурм и Барт. Цемтцкий, сидевший лицом к двери, первый увидел обоих начальников и испуганно вскрикнул:

— Черт подери! Сейчас они нас заграбастают!

Вурм и Барт остановились на пороге. Они долго совещались о чем-то, потом нерешительно подошли к столу. Вурм слегка наклонился к играющим.

— Немедленно оставьте пивную и следуйте за мной,— вполголоса сказал он.— Иначе я доложу начальству.

Голоса смолкли. Вольцов не двигаясь стоял у стола. Крестьяне с любопытством наблюдали за этой сценой.

— Отстаньте от нас,— сказал Вольцов.

— Да как вы смеете? — зарычал на него Барт.— Дезертиры...

— Это кто здесь дезертиры? — перебил его Вольцов.— Кому полагается давным-давно быть в зенитной артиллерии?

Барт побагровел. Вольцов повернулся и пошел к стойке. Все начали орать с новой силой. Кто-то бренчал на рояле. Цемтцкий оправился от испуга и сдал карты.

— Марш! Убирайтесь немедленно! — приказал снова Вурм.

— Восемнадцать! — сказал Фетер, покрываясь потом и оглядываясь на Вольцова.

Гомилка сказал:

— Не беру!

Вурм решил переменить тактику.

— Послушайте, не давайте Вольцову вас баламутить. Если вы тотчас же не прекратите это безобразие, вас всех посадят под арест.

— Двадцать! — сказал Фетер.

— Беру! — сказал Гомилка.

— Идемте с нами. Я ничего никому не скажу и тотчас же отпущу вас,— продолжал Вурм.

— Двадцать четыре! — сказал Фетер.

— Наконец-то, давно пора — одобрил его Гомилка.

Хольт отодвинул свой стул и сказал:

— Мы остаемся.

Вурм и Барт обменялись взглядами.

— Пас! — хрипло проговорил Фетер. Сопротивление Хольта и Вольцова придало ему храбрости.

Гомилка сказал:

— Гранд! Шнейдер! У меня преимущество.

Вурм поправил на себе ремень.

— Что ж, хорошо. Пеняйте на себя. Идем, Отто!

— Проваливай, дядюшка,— добродушно сказал Гомилка и бросил на стол валета.

Вурм и Барт вышли. Двери за ними закрылись.

Пробила полночь.

— Я пойду,— сказал Хольт.

Он вышел на улицу. Очертания деревенских домов расплывались во мраке. Где-то вдали лаяла собака. Здесь на улице шум, доносившийся из пивной, казался далеким и призрачным. Хольт зябко повел плечами.

■

Над крестьянскими дворами занялось утро. Хольт крепко спал, лежа на койке в школе. Проснулся он от свистка Барта и сразу подставил голову под водопроводный кран. Все отправились в поле.

Два дня подряд они грузили на машины зерно. Руки и плечи у них ломило. На третий день Вольцов решил, что с него достаточно.

— Это не солдатская работа. Пошли купаться?

В поле приятели не вернулись. После обеда они незаметно упаковали свои рюкзаки и отправились на станцию.

На другой день они уже были у Вольцова и принялись увязывать свою поклажу в большие тюки. Хольт думал о вечере, о Мейснере, о ночи, когда они убегут в горы. Необычное беспокойство овладело им.

— Мне придется уйти еще... — сказал он.

— Куда это?

— К Барнимам.

Вольцов посмотрел на него недовольным взглядом...

■

— Я сбежал,— сказал Хольт, глядя на Уту, прекрасную, как богиня.— Я ухожу надолго. Но мне очень хотелось поговорить с вами.

— Видно, с вами стряслось что-то необыкновенное. Идемте...

Он поднялся за ней на второй этаж. Ута отворила дверь и ввела его в свою комнату, залитую солнцем. Грубошерстный ковер ручной работы покрывал пол. Перед диваном-кроватью стоял чайный столик и маленькие табуретки с мягкими сиденьями. Комната утопала в цветах. Они стояли на столике, на полу, у балконной двери. Розы, фиалки, гирлянды настурций карабкались вверх по гардинам и, спускаясь, свисали на ковер. Была здесь и пышная традесканция. На балконе стоял шезлонг и столик для куренья.

— Принесите себе стул,— предложила Ута.

Она легла на шезлонг и скрестила руки под головой. Хольт принес из комнаты табуретку и сел. Ута молча протянула ему медный ящичек с сигаретами. Он закурил.

— Вы пришли ко мне по делу или просто так, поглядеть на меня?— спросила Ута.

Этот насмешливый тон окончательно поверг его в смущение. Он пробурчал, что, мол, совсем один в городе, у него нет ни одного человека...

— Рассказывайте! — приказала Ута.— Почему вы не живете с родителями?

— Я не хотел оставаться у матери. А отец...

— Может быть, вам неприятно говорить об этом...

— Нет, почему же? Но только вам. Он служит в магистрате инспектором пищевой промышленности. По профессии он врач.

Она посмотрела на него, явно заинтересованная.

— А чему он обязан столь явным понижением?

— Я не совсем в курсе дела,— медленно произнес Хольт, чувствуя смущение и стыд, как всегда, когда его спрашивали об отце.— Он долго работал в тропиках. Потом получил профессуру в Гамбургском университете. И одновременно работал в Институте тропических заболеваний. Моя мать происходит из семьи фабрикантов, и он, когда женился на ней, переехал в Леверкузен. Там он занимался исследованием микробов или чем-то в этом роде. А потом ему предложили вести исследования совсем в другой области, имеющей чисто военное значение. Он отказался от этого, вынужден был уйти с работы и устроиться уже больше не смог. Но отец ужасно упрям и согласен лучше голодать, чем изменить себе.

— Да,— сказала Ута.— У вашего отца, очевидно, твердый характер.

Хольта так поразили ее слова, что он только и сумел растерянно пролепетать:

— Да... Однако...

Ута перебила его:

— А почему вы не живете с отцом?

— Он лишен по суду родительских прав. Но я и сам не желаю, хочу быть свободным. Поэтому я и от матери ушел. Я там не чувствовал себя дома. И раньше тоже. Отец думал только о своей работе. Мать гораздо моложе, чем он. У нее вечно гости. Она всегда уходит. Я уже раз сбежал. Только нарвался на полицию. Весной мать наконец отпустила меня. Сначала хотела отправить в Гамбург, к дяде — он член наблюдательного совета на большой табачной фабрике,— но потом устроила здесь на пансион. Деньги посылает ежемесячно. Она богата.

Хольт замолчал. «Зачем я все это рассказываю?» — подумал он.

— Так, значит, вы ищете у меня теплое гнездышко? В надежде обрести материнский уют?

— Почему вы насмехаетесь надо мной? — вырвалось у Хольта.— Если я вам мешаю, я уйду. Разумеется, у вас есть друг, которому вы можете довериться, но...

— Да что вы! Почему вы такой обидчивый? Странный вы человек! По рассказам Петера Визе я решила, что вы просто бездельник... Но то, что вы мне открыли, не совпадает с моим представлением о вас...

— Визе меня совсем не знает,— сказал Хольт презрительно. И только тут до него дошел смысл ее слов. По рассказам Петера Визе... Значит, она расспрашивала о нем?

— Разумеется, я злю учителей и вечно хулиганю,— продолжал Хольт,— но это только одна...

— ...душа, которая живет в вашей груди,— перебила Ута,— а другая сидит по временам у Петера и слушает музыку — «Вручение серебряной розы», хотя в фортепьянном исполнении эта партия звучит просто отвратительно.

Он рассмеялся.

— Мне очень приятно, что передо мной вам не хочется притворяться... Пожалуйста, доверьтесь мне. Но к насмешкам вам придется привыкнуть. И, мне кажется, они вам не повредят.

Ута поднялась с шезлонга и подошла к перилам балкона.

— Если вы думаете, что мне лучше, чем вам...— она помолчала и почти весело добавила,— то вы ошибаетесь.

Ветер растрепал ее волосы, они упали ей на лицо.

— Разумеется, когда мне не хватает карманных денег, я могу, как вы картинно выразились, «довериться» маме. Но разве это меняет дело? Погодите-ка...

Она вошла в комнату, взяла какую-то книгу и снова уселась в шезлонг.

— «...Ибо по существу,— прочла она,— и как раз в самых важных и глубоких вопросах, мы всегда бесконечно одиноки».

Хольт посмотрел на заглавие книги: «Рильке. Письма».

«В самых важных и глубоких вопросах,— повторил про себя Хольт,— мы всегда бесконечно одиноки. Почему?»

— Но ведь нужен же нам человек, к которому мы испытываем доверие. Вот мы, например, задумали одно дело. Может быть, мне скоро понадобится помощь. Вы поможете мне?

— Ваше доверие носит весьма агрессивный характер,— заметила Ута своим обычным насмешливым тоном.— Что ж, попытайтесь. Может быть, мне и удастся вам помочь.

■

День клонился к вечеру. Хольт молча сидел перед камином. В ответ на расспросы Вольцова он только махал рукой. Фетер, Гомилка и Цемтцкий, как всегда, играли в скат. Теперь, когда все уже было решено, Хольтом овладело волнение, которое он изо всех сил старался подавить. Вольцов подмигнул ему, они вышли.

— Гильберт, как ты думаешь, все сойдет хорошо? — спросил Хольт, когда они вошли в комнату к Вольцову.

— Слушай, что я тебе скажу,— Вольцов вынул из ящика стола свой «вальтер» и протянул его Хольту.— Ты будешь держать Мейснера

в непрерывном страхе. Если только он попытается удрать — стреляй в него без всякой пощады. Я захвачу с собой парабеллум. Ну, как? Хватит у тебя решимости?

Хольт судорожно сжал в руке пистолет.

— Главное, не дать ему улизнуть. Ты должен, покуда он не подпишет, держать его под дулом. Подпишет, подпишет, не бойся, это уж моя забота. И все остальное тоже. Так, а теперь пойдем. И не волнуйся, пожалуйста. Сорваться у нас не может.

Хольт твердил про себя слова, которые должен будет произнести. «Сердечный привет от Рут Вагнер»,— скажет он. «Мы действуем во имя справедливости! Во имя справедливости»,— твердил себе Хольт.

Внизу в холле раздавался резкий командирский голос Вольцова. Он приказал всем сверить часы. Было девятнадцать часов двадцать восемь минут.

— Зепп! Ровно в двадцать ты доставишь вторую лодку в парк, к Шварцбруну и не забудь захватить бечеву... Как только стемнеет, вы перетащите поклажу в лодку. К тому времени мы уже вернемся. Все ясно? Пошли, Вернер.

Они обогнули Воронью скалу и подошли к ней с северной стороны. Под скалой уже сгустились сумерки.

— Идет! — закричал Вольцов после долгого ожидания.

Хольт забился в расселину.

— Идет вдоль опушки,— услышал он голос Вольцова.— Спрячься. Мы зажмем его с двух сторон.

Вольцов скрылся за деревьями. Хольт стоял, прижавшись к скале. Правую руку, сжимавшую пистолет, он держал в кармане. Если Мейснер вздумает удрать, он, Хольт, будет немедленно стрелять. «Мы сражаемся за справедливость...»

Мейснер был уже в нескольких шагах от Хольта. Он остановился и, повернув голову, посмотрел направо, потом налево.

— Алло! — негромко позвал Мейснер и взглянул на часы. Хольт выступил из расселины.

— Это еще что такое? — с удивлением воскликнул Мейснер.

Хольт медленно обошел его и остановился так, что Мейснер очутился между ним и скалой. От волнения у Хольта перехватило дыхание. Незаметно с другой стороны рядом с Мейснером вырос Вольцов. Не сводя глаз с Хольта, Мейснер повернулся. Он увидел Вольцова.

— Так, так,— повторил Мейснер.— Значит, оба мальчика здесь!

— А ты, разумеется, думал, что здесь Зузе? — спросил, ухмыляясь, Вольцов.

Хольт, по-прежнему сжимая в кармане пистолет, подошел к Мейснеру.

— Не придет Зузе. Попался на удочку. Письмо написал я,— сказал он.

— Ах, так вот в чем дело! Встретиться со мной в открытую вы, конечно, боялись? — Голос Мейснера дрожал от ярости.

Хольт вытащил пистолет из кармана и, направив его на Мейснера, сказал:

— Сердечный привет от Рут Вагнер!

Мейснер медленно попятился. Хольт шел за ним. Мейснер не спускал глаз с пистолета.

— Что вам от меня надо? — голос его срывался.

— Сущие пустяки,— проговорил Хольт.

— Внимание! Смирно! — громовым голосом крикнул вдруг Мейснер.

Хольт инстинктивно отпрянул в сторону. Мейснер тенью прошмыгнул мимо. Прогремел выстрел, и, споткнувшись о ногу, которую подста-

вил ему Вольцов, Мейснер свалился в заросли папоротника. Вольцов уперся коленом ему в спину. Мейснер изо всех сил старался сбросить с себя Вольцова, но тот прижал его к земле еще сильнее и несколько раз подряд ударил по голове.

— Сейчас я с тобой справлюсь,— сказал Вольцов.— Вернер! Свяжи-ка его!

Хольт снял с себя пояс и стянул Мейснеру ноги. Затем они скрутили и связали ему руки и поволокли сквозь заросли к скале. Здесь они усадили его на землю, прислонив спиной к камням.

Уже совсем стемнело. Вольцов вытащил карманный фонарь и посветил Мейснеру в лицо. Нижняя губа Мейснера треснула и вздулась.

— Что вам нужно? — с трудом спросил он.

Вольцов вытащил из кармана расписку и прочел: «...находился в тайной связи... и, когда она оказалась в состоянии беременности, прогнал ее от себя, угрожая...»

Мейснер приподнял голову. На лице его были написаны страх и ярость.

— Вот. А теперь ты подпишешь,— потребовал Вольцов.

— А если не подпишу?

— Нет, подпишешь. Ты сам знаешь, что ждет того, кто отказывается подписать.

— А если все-таки не подпишу?

Вольцов не отвечал. Он вынул сигарету из пачки и протянул остальные Хольту. Но Хольт покачал головой.

— Тогда мы отведем тебя подальше в лес и пристрелим.— Это прозвучало так равнодушно, что у Хольта затряслись руки.— Даю тебе пять минут на размышление. Идем, Вернер!

Они ушли на опушку. Хольт прошептал:

— А если он откажется?

— Подпишет! Будь спокоен. Выдержки не хватит.

— А если все-таки?.. Неужели мы действительно?..

— А что же нам еще остается? — так же равнодушно произнес Вольцов.— Не можем же мы позволить ему убежать. У нас нет выбора. Вооруженное нападение на командира гитлерюгенда! Нет, мы пристукнем его, и тогда я представлю дело так, будто он покончил с собой. Идем, пять минут уже прошло.

Они вернулись к скале. «Убийство! Хладнокровное убийство»,— стучало в голове у Хольта.

— Не подпишу,— сказал Мейснер.

Вольцов ударил его по лицу.

Мейснер заорал:

— Разбойники! Бандиты!

— Заткни глотку,— крикнул Вольцов в бешенстве и, приподняв Мейснера под мышки, дал ему затрещину, другую, третью...

Мейснер осел, словно мешок.

— Даже если вы забьете меня насмерть!..— простонал он.

— Выверни у него карманы,— ледяным голосом приказал Вольцов.— Как бы у него не нашли нашего письма.

Хольт обыскал Мейснера и нашел свое послание.

— Развяжи ему ноги! — приказал Вольцов.

Они схватили его за руки и потащили в глубь леса. Мейснер сопротивлялся. Вольцов дал ему ногой пинок в спину, тот упал как подкошенный.

— Теперь конец! — и Вольцов приставил пистолет к затылку Мейснера.

— Довольно! Убери пистолет! — завопил Мейснер.— Довольно! Караул! На помощь! — протяжно кричал он.

Но Вольцов только сильнее прижал дуло к его голове.

— Согласен подписать?

— Да! — крикнул Мейснер — Да!.. Убери пистолет!

Они подняли его, развязали. Продолжая держать пистолет наготове, Вольцов посветил фонарем, и Мейснер поставил свою подпись под распиской.

— А вот здесь поставь еще число,— приказал Вольцов.— Двадцать четвертое июля сорок третьего года. И запомни этот день!

Он сунул пистолет в карман, аккуратно сложил расписку и спрятал ее в свой бумажник.

— Вставай, сволочь! Ну-ка, начнем. Сейчас мы сведем с тобой счеты.

И он изо всех сил ударил огромного парня. Тот было попробовал защищаться, но тотчас же упал на землю. Вольцов долго пинал его ногами. Наконец он склонился над бесчувственным телом, перевернул его на спину и посветил фонарем в изуродованное лицо. Мейснер лежал без сознания. Он тяжело хрипел.

— Скорей, Вернер! Идем!

Небо заволокло. В лесу было темно, хоть глаз выколи. Они шли очень быстро.

— Неужели ты и вправду застрелил бы его? — спросил Хольт.

— А то как же? — удивился Вольцов.

Они вернулись на виллу уже глубокой ночью. В пустом темном доме не было ни души. Хольт сел и опустил голову на руки.

«Там, в лесу, лежит человек, избитый и истекающий кровью... Я слишком мягок. Я должен ожесточиться. Я испытываю ужас перед Вольцовом! У него есть то качество, которого мне еще не хватает, то «хладнокровие убийцы с чистой совестью», о котором я читал. Как же я смогу вынести войну? Я должен ожесточиться».

Хлопнула наружная дверь. Вольцов взял свою поклажу. Они медленно спускались к реке. Вольцов тащил портфель, набитый книгами, и говорил Хольту о своих планах.

— Мы хорошо используем время. Тренировочные ночные переходы. Спорт. Стрельба по мишени. Мы должны углубить свои военные познания. Мы должны развить в себе солдатские качества.

— Да, Гильберт,— сказал Хольт.

8

Хольт и Гомилка уже несколько дней учились стрелять по цели. Цемтцкий стоял на посту. Отсюда, с вершины горы, часовой видел местность на много километров вокруг. Фетер сидел на складном стуле у входа в пещеру, который они расширили, и... насвистывая, чистил грибы. В пещере горел костер, над огнем висел котелок с водой.

Вчера Вольцов поймал в силок зайца. Но кашевар Фетер не мог зажарить зайца и был чрезвычайно обеспокоен этим обстоятельством. Жиры кончились, хлеб тоже, и сегодняшнюю похлебку с грибами Фетер заправил последним фунтом ржаной муки. Внизу, в ущелье, Хольт и Гомилка вели стрельбу по жестяной банке, наполненной песком.

— Идти на охоту нет смысла. Сначала вам надо набить руку в стрельбе,— твердил Вольцов.

Гомилка палил из штуцера и после каждого выстрела исчезал в вонючем дыму.

— Попал! — сказал Хольт, наблюдавший в бинокль.

Гомилка опять зарядил и выстрелил.

— Попал! — сказал Хольт.— Попадаешь два раза из трех. Большего ты не добьешься.

— По живой мишени стрелять легче,— сказал Гомилка, отставляя штуцер.— Это старая истина. Ну-ка, теперь ты!

Они остановились метрах в тридцати от банки. Хольт выстрелил.

— Очень хорошо,— сказал Гомилка.— На сегодня хватит, по-моему.

Друзья повесили ружья себе на плечи и стали карабкаться из ущелья на меловое плато.

У входа в пещеру стоял Вольцов в одних плавках. Хольт и Гомилка принялись чистить ружья.

— Грибной суп и все! — сказал Фетер.— Если вы ничего не раздобудете, завтра начинается пост.

Вольцов только что выкупался в ручье. Капли сверкали на его теле.

— Стреляйте все, что только вам попадется. Вороны в суп тоже сгодятся. А мы с Цемтцким отправимся сейчас на добычу и накопаем два рюкзака картошки. По дороге я еще кое-что разведаю в окрестных деревнях.

Одеваясь, Вольцов беспрерывно отдавал новые распоряжения.

— Собрать и насушить грибы! За расселиной уже поспела черника. Слышишь, Кристиан?

Фетер слышал. Он величал Вольцова шефом и рабски повиновался ему.

— Потом,— продолжал Вольцов,— надо, наконец, наладить лов рыбы.

— Это опасно,— сказал Гомилка.— Внизу у реки мы непременно на кого-нибудь нарвемся.

— Уж ночью-то удить можно! — заметил Хольт, вспомнив о своем сговоре с Визе.— Поручите это дело мне. Реку я беру на себя.

Фетер снова начал скулить и жаловаться. Ему нужны жиры!

— Попробуйте-ка сварить что-нибудь без жиров. Вот организовать бы свинью! — сказал он мечтательно.

Все принялись за еду. Хольт и Гомилка стали собираться на свою первую охоту.

— Настоящие Робинзоны, да и только! — воскликнул, усмехаясь, Вольцов.— Если все дело в снаряжении, то вы подстрелите по меньшей мере мамонта.

— Ни пуха ни пера! — крикнул он им вслед.

Приятели спустились по крутой извилистой тропе и, держа ружья наготове, пошли в восточном направлении, с трудом продираясь сквозь заросли кустов и деревьев. Где-то пронзительно закричала сойка, словно предостерегая об опасности своих собратьев.

— А соек есть можно? — прошептал Хольт, поднимая ружье.

— Можно, только смотри не спугни зверя покрупнее.

— Она все равно разгонит всех своим криком. Ишь как вопит. Лесная полиция!

Сойка уселась на ветку дуба. Пестрые ее крылья мелькали сквозь листву. Раздался выстрел. Поднялась туча перьев. Птица упала на землю... Хольт зарядил снова. Первый трофей! Он сунул сойку в рюкзак. Они пошли дальше.

Когда они вышли на широкую просеку, уже наступил вечер. Отсюда в долину бежал ручей. Охотники расположились на лесной опушке. Подул прохладный ветер.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о доме? — шепотом спросил Хольт.

— Никогда,— ответил Гомилка.— А ты? А о нашем городе?

Хольт покачал головой. И вдруг замер... Совсем близко от них в траве на прогалине стоял на задних лапах заяц, смотрел по сторонам и водил ушами. Очень медленно, очень осторожно Хольт поднял ружье.

Он изо всех сил старался быть спокойным и целился как можно тщательнее. Гомилка тоже был готов выстрелить, если Хольт промахнется. Прогремел выстрел, заяц подпрыгнул и вытянулся на траве. В ту же секунду из чащи выскочил какой-то большой зверь и огромными прыжками помчался по прогалине.

— Стреляй! — крикнул Хольт. Послышался выстрел. Вонючее облако скрыло Гомилку. По лесу прокатилось эхо. Зверь, стремительно удирая, скрылся в лесу.

— Стреляй! Да беги же! — кричал Хольт.— Это косуля, а может, даже олень.

Они бегом бросились через прогалину, с разбега перескочили через ручей. Гомилка крикнул с торжеством:

— Вот!

Они увидели большую лужу крови на опушке и широкий, внезапно обрывающийся кровавый след...

— Там! В чаще! — Друзья раздвинули руками ветви. Какая-то тень выскочила из кустов так близко, что казалось, ее можно схватить руками. От того места, где лежало подстреленное животное, вел темный кровавый след...

— Вот! — сказал в испуге Хольт и схватил Гомилку за плечо.

Метрах в тридцати от них лежало окутанное сумерками животное. Оно с трудом приподнялось на задние ноги и повернуло к ним голову, украшенную могучими рогами. Держа ружье наготове, Гомилка опустился на колено. Хольту казалось, что прошла вечность. Раздался выстрел, и эхо замерло, отдаваясь в верхушках деревьев. Хольт ощутил во рту привкус пороха. Олень рухнул, Гомилка швырнул штуцер и испустил радостный вопль.

— Замолчи! Вдруг кто-нибудь нас услышит и придет сюда!

Они замерли, прислушиваясь.

— Кому сюда прийти? Мужчины на войне, а женщины боятся ходить в лес.

Гомилка поднял штуцер и опять зарядил его. Они подошли к убитому животному. Олень в предсмертной агонии изрыл могучими рогами землю вокруг себя. Он лежал, завалившись на бок. Гомилка пересчитал ответвления рогов.

— Двенадцать! — сказал он.— Хороший, вполне пригодный для охоты олень. Убит по всем правилам охоты. Он тоже мог нас убить. У нас нет собаки.

Первая пуля прошла у оленя под лопаткой. Вторая пробила ему горло.

— Я так и знал, что мне повезет,— сказал довольный Гомилка.— Он прыгнул прямо под мою пулю.

Хольт побежал на прежнее место и принес зайца. Оленя они оттащили поглубже в молодую поросль дубняка.

— В нем добрый центнер. Хороший вес!

— Охотник никогда не скажет про оленя или про оленьи рога «хороший вес»,— поправил его Гомилка.— Он скажет: прекрасный, великолепный, славный. А кто употребит охотничье выражение неправильно, того в наказание кладут на тушу убитого оленя и дают ему три «лопатки».

— Что? Что дают? — не понял Хольт.

— Три удара ножом плашмя. А старший егерь стоит и приговаривает — при первом: «О-го-гей! Это за княжество и за монашество!», при втором: «О-го-гей! Это за рыцарство и землепашество!», а при третьем: «О-го-гей! Это всем прочим сословьям во славу — вот в чем святое охотничье право!»

Хольт засмеялся. Они никак не могли решиться разделить свою добычу.

— Тебе случалось когда-нибудь свежевать оленя? Одни мы с этим не справимся. Придется оттащить его поглубже в лес.

Они засыпали землей кровь, оставшуюся на траве и в кустах, потом срубили молодую ель и продернули ее ствол меж связанных ног оленя.

— Так. Теперь справимся,— сказал Гомилка.

— На войне нам придется и не такие тяжести таскать! — добавил Хольт.

Гомилка разложил небольшой костер. Они испекли сойку прямо на огне, но она оказалась не больше голубя. Тогда они проткнули зайца палкой и зажарили его тоже.

Наступила ночь. Хольт расстелил на земле свою плащ-палатку и лег, положив голову на тушу оленя. Гомилка уселся поодаль, чтобы поддерживать огонь в костре. Жир падал на раскаленный хворост, пламя шипело. Сквозь верхушки деревьев светили звезды.

Хольт лежал и смотрел в небо.

— Много есть такого, чем ни с кем не поделишься,— тихо проговорил Хольт.— Раньше я думал, что отцы именно для того и существуют, чтобы с ними говорить обо всем.

— Старики сами не знают, чего хотят,— сказал Гомилка, который улегся рядом с ним.— То так, то этак!

■

Прошло уже несколько дней, а Фетер все еще спрашивал:

— Нет, как вам это удалось?

— Да очень просто,— отвечал Гомилка.— Убили и приволокли с собой.

Они ели теперь мясо три раза в день. Картофель доставал Вольцов. Но обычно он с утра до ночи сидел возле пещеры и рылся в своих учебниках по стратегии: очевидно, разрабатывал какой-то план, который держал от всех в тайне.

Уже несколько раз пробирался он в дальнюю деревню, расположенную возле поля, и воровал здесь еще недозрелый картофель. Это поле находилось около самого леса, и на него часто совершали набеги дикие кабаны. Но подстеречь и убить кабана приятели не решались. Они боялись, как бы в деревне не услышали выстрела. У Вольцова имелся собственный план.

— Давайте-ка устроим военный совет... Давайте-ка подумаем...— сказал он однажды.— Здесь неподалеку, в лесу, стоит маленький хутор. На хуторе собака, довольно большая. Придется ее пристрелить. И тогда мы спокойно утащим из хлева свинью.

Услышав это предложение, Хольт испугался не на шутку. Но Фетер пришел в восторг.

— Свинью? — закричал он.— Всамделишную откормленную свинью?

— Хорошо. Мы застрелим собаку,— сказал Хольт.— Но ведь через две минуты за нами погонятся все обитатели хутора.

— Там живут только старик со старухой,— возразил Вольцов.— Это, верно, дом лесника. Старики держат двух коров и двух свиней. Мы зарежем и унесем свинью, а Зепп останется стеречь стариков. Впрочем, лучше сделать это днем, когда они уезжают на свое пшеничное поле. Это довольно далеко. Я уж разработаю план до мельчайших подробностей.

Хольт молча слушал. План был заманчив. Он сулил настоящее приключение. Но налет, кража, вооруженный грабеж...

— За это полагается тюрьма,— сказал деловым тоном Хольт.

Цемтцкий поглядел на него в испуге.

— Плевать нам на тюрьму. Пусть-ка сначала попробуют нас поймать,— сказал Вольцов.

— Это обычная реквизиция... Реквизиция у крестьян,— с жаром вмешался Фетер.— Так принято на войне. Отец рассказывал, что на Украине у крестьян забрали весь скот по приказу вермахта. Весь скот, не только какую-то там свинью. Забрали и вывезли. Крестьяне даже не пикнули. А если кто и сопротивлялся, так его тут же ставили к стенке.

— Вот видишь, как это делается! — заметил Вольцов.— К тому же это великолепная предварительная проверка нервов. Необходимо заранее испробовать все, что только может нас ждать.

■

Хольт заявил, что отправляется на ночную рыбалку. У реки, как и было условлено, он встретился с Петером Визе. Петер сообщил ему тьму всяких новостей. Исчезновения пятерых гимназистов покамест никто не заметил. В городе думают, что они на уборке урожая. Как видно, Вурм еще ничего не сообщил начальству.

— Мейснер,— сказал между прочим Визе,— не смог явиться на призывной пункт. Он лежит в больнице. Знаешь, влезал на Воронью скалу и сорвался. Впрочем, поговаривают, что его попросту так отделал жених рыжей Зузе, к которой он приставал.

У Хольта отлегло от сердца.

— Дуче ушел в отставку,— продолжал рассказывать Визе,— и назначил своим преемником Бадольо. А Бадольо выпустил воззвание и заявил, что война продолжается. Я слышал по радио, что немецкий народ с удовлетворением встретил это заявление.

— Странно,— сказал Хольт, он был неприятно удивлен.— Ты что-нибудь понимаешь?

Петер пожал плечами.

— Гамбург бомбили целую неделю без перерыва. Каждую ночь,— добавил он.

У Хольта мелькнула мысль о родных.

— Говорят, это было ужасно...— услышал он голос Визе.— Фосфор... чудовищные ожоги. Тела превращаются в обугленные головешки.

■

Жизнь в горах была очень тяжелой. Каждую каплю воды приходилось добывать, совершая далекое путешествие к ручью, карабкаясь по скалам, рискуя сломать себе шею. Хольт и Гомилка без устали рыскали по окрестным лесам и били зайцев и птицу. Во время этих долгих охотничьих прогулок они очень подружились.

Вольцов все еще проводил целые дни в засаде у дома лесника. Сейчас он опять уселся возле пещеры, чтобы разработать план нападения на хутор. Хольта все больше пугала предстоящая авантюра. Если план Вольцова провалится, если их поймают, тогда им не спастись. Разве только на помощь им придет дядя Вольцова с его обширными связями. Значит, нужно заранее сделать все, чтобы предотвратить неприятности. Так у Хольта возникла мысль тайно обеспечить тыловое прикрытие и уже теперь обратиться за помощью к дяде Вольцова. Он еще раз встретился с Петером Визе. В городе все знали, что они исчезли, полиция допросила учеников из их класса. Впрочем, до этого, очевидно, в полицию вызывали родственников сбежавших, потому что гимназистов допрашивали не очень энергично. Адвокат Гомилка пред-

полагает, что Зепп уехал к своему дяде — зубному врачу в Дрезден — и сейчас, вероятно, живет на даче со всей семьей.

Хольт вернулся в лагерь почти успокоенный. Вечером они опять сидели у костра и разговаривали. Фетер болтал без умолку.

— В Атлантическом океане существовала целая разбойничья республика. Я как-то читал о ней. Этих разбойников звали фли-бус-тье-ры *. Вот бы мне там жить! Пусть бы тогда мои родичи только попробовали меня поколотить.

Хольт отошел от костра. Он не слушал трескотню Фетера. За те дни, которые он прожил здесь в горах, воспоминание об Уте Барним не потускнело. Сейчас оно охватило его с такой силой, что он вытащил из рюкзака блокнот и ручку и при свете костра уселся писать. Это было бурное и сбивчивое послание. Встретившись с Визе, он отдал ему запечатанный конверт и стал с нетерпением ждать следующего свидания.

Вольцов усердно готовился к налету на усадьбу лесника. Хольт все упорнее думал о том, что надо через Уту обратиться за помощью к дяде Вольцова, к генералу. Наконец он и Визе встретились снова. Петер протянул Хольту газету. Тот поспешно пробежал ее глазами. «Пять гимназистов в возрасте от шестнадцати до семнадцати лет... Исчезновение их было замечено лишь много времени спустя... Кампания уборки урожая, проводимая гитлерюгендом... Как сообщил начальник команды, дезертировали в первые же дни... Окружной уголовный розыск предполагает организованный побег из-под надзора родителей... Напали на след...»

— На след,— задумчиво сказал Хольт, кладя газету в карман.

— Мой отец разговаривал с судьей по делам о несовершеннолетних,— сказал Визе.— Ничего они не напали.

У Хольта отлегло от сердца.

— Ты бросил письмо в ящик?

— Да. Третьего дня Ута заходила к моей сестре. Они говорили о вас. О письме она ничего не сказала. Никому и в голову не приходит, что вы скрываетесь здесь рядом, в горах. Ута говорит, что на месте полиции она бы спокойно ждала, покуда вы сами не явитесь.

— Как ты думаешь, согласится она встретиться со мной здесь?

— По-моему, согласится,— сказал, чуть помедлив, Петер.— Она очень хорошо о тебе говорит.

Хольт постарался состроить равнодушное лицо.

— Мне необходимо повидаться с ней. И как можно скорее. Приведи ее в воскресенье вечером.

В лагере он узнал, что Вольцов наблюдает за усадьбой лесника.

— Нападение назначается на завтра,— сказал Гомилка.

Перед вечером Вольцов собрал военный совет.

— Собака...— он сделал жест, словно перерезал кому-то горло.

Спрятавшись на опушке, рассказывал Вольцов, он подождал, покуда старики уедут в поле. Пес, здоровенный боксер, бежал за телегой.

— Видно, он почуял меня, потому что бросился в кусты. Я в лес, собака за мной... Я подставил ей дубинку, она вцепилась в нее зубами. Тут я и прирезал ее.— И он принялся подробно объяснять свой план: — Надворные постройки образуют прямоугольник. Дом стоит как раз напротив хлева. Двор обнесен оградой. Позади хлева загон, где пасутся свиньи. Нашу военную операцию мы проведем днем,— пояснил Вольцов.— Старики уезжают в поле спозаранок, возвращаются они только к обеду. Двор не охраняется. Мы с тобой, Вернер, будем наблю-

* Морские разбойники XVII — начала XVIII веков, которые с 1630 года обосновались на Гаити.

дать, чтобы нас не застали врасплох. А Зепп, Фриц и Кристиан переправят свинью в лагерь.

По словам Вольцова, все выходило совсем просто.

— Мы что же, заколем свинью? Или лучше взять штуцер? — спросил Гомилка.

— Захвати штуцер. Свинью выбирай поменьше. И не забудьте связать ей ноги, вот как вы сделали с оленем. А потом, когда перетащите свинью в лес, пошлите кого-нибудь за нами. Мы сразу же явимся на помощь.

На другое утро Хольт и Вольцов вычистили пистолеты, Гомилка привел в порядок свой штуцер, Фетер и Цемтцкий обтесали кол. В путь отправились поздней ночью, а на место пришли уже на рассвете. Спрятавшись в кустах, они сидели там, покуда не увидели, что телега, в которую были впряжены обе коровы, выехала со двора.

— Надеюсь, у них нет еще одной псины и она не вцепится мне в зад,— сострил Фетер.

— Сейчас перелезу через ограду и открою вам ворота,— сказал Вольцов.

Они подождали еще час, затем вымазали себе физиономии углем и отправились. Вольцов пошел вперед. Остальные ждали у ограды.

— Никакой собаки нет,— прошептал Вольцов.— Иначе она давно подняла бы лай.

Он одним прыжком перемахнул через забор. «Вот когда пригодились наши мучения, недаром нас муштровали, заставляли прыгать через барьер»,— подумал Хольт. Послышалось громкое гоготание. Ворота распахнулись. Вольцов кричал что-то непонятное и показывал рукой направо, откуда неслся гусиный гогот. Стоя у взломанных ворот, Хольт оглянулся и увидел приятелей, которые во весь дух мчались через двор к хлеву. Вольцов тоже бросился через двор. До Хольта доносился гогот гусей и пронзительный визг свиньи в загоне. Раздался выстрел. Хольт перевел дыхание. Только сейчас он заметил, что весь взмок. Наконец Вольцов крикнул:

— Вернер! Пошли!

Хольт бросился к Вольцову и помог ему закрыть ворота. К ним подбежал Фетер.

— Великолепная свинья! Первый сорт! — прокричал он.

Все судорожно расхохотались. Уже в лесу они натолкнулись на Цемтцкого и Гомилку, которые поджидали их со своей добычей. Свинью закатали в несколько плащ-палаток. Из серого тюка торчали только ее связанные ноги. Приятели подняли палку на плечи и вчетвером притащили свой груз в лагерь. В качестве трофея Цемтцкий прикрепил к своей шапке свиной хвостик.

■

Стояли пасмурные, туманные, холодные дни. Густая серая пелена туч нависла над горами. Фетер без устали коптил свинину. Чисто выскобленная впадина в скале была полна жира.

Лил проливной дождь. Хольт сидел у костра, разложенного в пещере.

— Пустую гильзу ты бросил? — неожиданно спросил Вольцов.

«Ага,— подумал Хольт,— значит, и его тревожат последствия этого дела».

— Нет. Я ведь не новичок,— ответил Гомилка.

— Еды у нас предостаточно, во всяком случае, на ближайшее время,— сказал Вольцов, закуривая сигару.— Так что можем жить здесь в свое удовольствие.

— Если только они не заподозрят, что наша пятерка замешана в истории со свиньей,— сказал Хольт.— Вот что пишет окружная газета.— Он вынул из кармана газету и прочитал заметку вслух.— Конечно, они подозревают, что мы скрываемся где-то здесь в лесах.

— Леса велики,— заметил Вольцов.— Послушай, черт подери, откуда у тебя газета? — спохватился он вдруг.

— От Визе.

Вольцов глядел на Хольта, ничего не понимая.

— Я встречаю его иногда у реки,— пояснил Хольт.

— Что ж, это неплохо,— проворчал Вольцов после долгого молчания.

Хольта удивило, что Вольцов так спокойно отнесся к тому, что от него есть тайны. Он сказал быстро и как бы между прочим:

— А завтра у меня свидание с Утой Барним.

Вольцов склонил голову набок.

— Ну-ка, выкладывай, что ты еще задумал?

— Я хочу узнать, не согласится ли она поехать к твоему дяде. Она лучше нас сумеет рассказать ему все.

Вольцов пожевал нижнюю губу.

— Дядя Ганс начнет сыпать самыми ужасающими ругательствами. Но это дельная мысль... Написать мне ему?

— Ты собираешься сделать письменное признание? — прикрикнул на него Гомилка.

— Утро вечера мудренее,— сказал Вольцов и поднялся.

Ложась спать рядом с Хольтом, Гомилка сказал:

— А ты видел? Вольцов вздохнул с облегчением...

В воскресенье утром Вольцов съел за завтраком огромный кусок свинины. Кости так и хрустели у него на зубах.

— Ну что ж, иди,— сказал он.— Авось, она не станет доносить на нас.

Хольт отправился в путь.

Когда он пришел к условленному месту, наступил вечер. Он разложил костер на опушке и стал ждать. Наконец он увидел Уту. Девушка медленно шла по узкой тропинке, змеившейся в траве между лесом и долиной. Только тут Хольт понял, как он волнуется.

Хольт вышел из кустов. Ута засмеялась.

— Так вы, значит, и вправду играете в индейцев?

Он сразу разозлился.

— Петер, отойди немножко, подожди нас в дубовой роще. Хорошо?

Визе послушно направился в рощу.

— Нам надо укрыться в лесу,— сказал Хольт, продираясь сквозь кустарник и раздвигая перед Утой ветки. Здесь был полумрак. Только раскаленные угли костра светились. Ута уселась у огня и, явно потешаясь над ним, смотрела, как он вытащил сигару из планшета и, выпуская большие клубы дыма, закурил.

— Играть в лесу в индейцев! — она опять засмеялась.

Хольт почувствовал, что краснеет.

— Нам приелось наше скучное штатское житье,— сказал он.— Неужели вы этого не понимаете?

— Право, вы казались мне разумнее!

— Мы убили оленя,— начал он было, но вдруг, окончательно оробев, добавил,— а потом сделали одну ужасную вещь. Мы украли на хуторе свинью.

— Что это вы болтаете? — сказала она, испугавшись.

Он начал оправдываться, хотя понимал, что это напрасно.

— Мы умеем ориентироваться по компасу в лесу. Для чего же нас этому учили? И стрелять тоже. И брать препятствия... Я знал все это,

когда был еще в юнгфольке. Вот мы все это теперь и применили.— Он недоверчиво посмотрел на Уту.

Она глядела на него тоже в нерешительности.

— Пожалуйста,— произнес он тихо, почти жалобно,— поезжайте в Берлин к генерал-майору Вольцову. И расскажите ему все. Пусть он примет меры, чтобы нас не упекли в каталажку.

— По правде, вам самим надо бы расхлебывать безобразия, которые вы натворили.— В голосе ее опять прозвучала неприкрытая насмешка.

— А что им толку, если они нас арестуют? Уж отпустили бы нас, наконец, на войну. Там все наши поступки совершенно законны.

Ута покачала головой.

— Расскажите мне все, с самого начала.

И Хольт рассказал все...

Они шли рядом. Он вел ее под руку.

— Я так вам благодарен,— начал он, запинаясь.

— Чувствительность никак не пристала разбойникам...

— Я все время о вас думаю,— продолжал он настойчиво.— Думаю о вас днем и ночью.

— Вот как! Впрочем, единственное, чего вы добились с вашей шайкой в горах, это того, что я тоже вынуждена думать о вас весьма часто,— сказала Ута.

Он крепче прижал ее локоть к своей груди.

— Я из-за вас голову потерял.

Она сказала холодно и очень отчужденно:

— В следующую субботу на этом же месте.

■

— Кажется, нашему житью здесь скоро конец,— проговорил Гомилка.— А ведь жалко, правда?

Хольт молчал. Целую ночь бродил он один по лесу, терзаемый новым и мучительным беспокойством. Его интерес к лагерной жизни, к охоте, к рыбной ловле совершенно угас. «Я мог бы каждый день видеть Уту»,— думал Хольт, валяясь на солнце и предаваясь бесконечным мечтам.

Хольт любил вставать рано. В эту субботу он вскочил до рассвета и, спустившись со скалы, бросился в ледяной ручей. Выйдя на берег, он забрался в заросли ивняка и проспал там до самого вечера.

Увидев Уту, он сразу понял по ее лицу, что поездка увенчалась успехом. Они бросили Визе на опушке и убежали в лес.

— Сначала генерал Вольцов пришел просто в бешенство,— рассказывала Ута.— Но скоро понял, что не может дать единственному своему племяннику погибнуть в тюрьме. Генерал будет звонить прокурору, а в ближайшие дни приедет в наш город. Вам приказано на будущей неделе явиться в полицию.

— Не слишком приятный исход,— заметил явно разочарованный Вернер.

— Генерал Вольцов,— строго сказала Ута,— заявил: если вы не подчинитесь его приказу, он навсегда утратит какой бы то ни было интерес к делам своего племянника. Больше он и пальцем не пошевелит.— Она схватила Хольта за руку.— Убедите ваших приятелей. Генерал обязательно возьмет под защиту вас всех. Но кончайте, наконец, с этой романтикой наизнанку. Да, и еще одно важное обстоятельство,— тихо и настойчиво сказала Ута.— Ни в коем случае не сознавайтесь в налете на хутор. «Мальчики тут ни при чем»,— заявил генерал. Ведь после такой проделки даже и он не сможет помочь вам выйти сухими из воды. Вы должны отпираться и отпираться,

Но все это уже нисколько не интересовало Хольта. Приключение ушло в прошлое. Настоящим была Ута. Будущим — война.

Хольт взял Уту за руку. Она не отняла ее.

— Спасибо большое! — неловко сказал Хольт.— Надеюсь, вы не думаете обо мне слишком плохо?

Она бросила на него быстрый взгляд.

— Тогда, у Визе, я думал, что вами можно только издали восхищаться... Не сердитесь на меня, если...

— Замолчите! — крикнула Ута.— Что это вам вздумалось? — Она отняла у него руку.

Петер Визе сидел у дороги. Увидев их, он встал и счистил пыль со своего костюма.

— Не забудьте же, в следующий четверг! — сказала Ута и скрылась за поворотом дороги. Хольт в смятении смотрел ей вслед.

■

— Вернуться с повинной, добровольно явиться в полицию. Довольно жалкий конец, не правда ли? — заметил Гомилка.

Да, Хольту тоже представлялось, что все будет по-иному. Вольцова заботило только одно:

— Если они вздумают обыскивать нашу поклажу, тогда пропали пистолеты!

На всякий случай он смазал их маслом, завернул в плащ-палатку и спрятал в каменоломне. В полдень они оттолкнули нагруженную лодку от берега и вскоре пристали возле купален. Возвращение примирило их с жалким концом приключения. Купающиеся сбежались гурьбой. Вот они! Явились! Измазанные, обросшие, с поклажей, с оружием, разыскиваемые полицией. Приказ об их аресте уже, верно, подписан. Один только Фетер дрожал при мысли о том, что сделают с ним родные. Они сложили свои вещи в кабины к Хольту и Вольцову и, пробившись сквозь толпу, направились в полицию.

Их отвели в большую камеру. Зарешеченные окна, деревянные нары в два этажа, параша.

На другой день беглецов вызвали к судье.

— Я его знаю,— шепнул Гомилка.— Судья по делам о несовершеннолетних.

Высокий, лысый и жирнолицый судья восседал за огромным письменным столом. С минуту он разглядывал их сквозь очки.

— Экое безобразие! — произнес наконец блюститель закона.— Отечество борется, проливает кровь, страждет. А пятеро молодцов дезертируют и шляются черт его знает где. Экая мерзость! Бежать с уборки урожая!!! Дезертирство! Бродяжничество! Браконьерство! Нарушение законов об охоте! Жестокое обращение с животными!.. Цемтцкий! — заорал он, бросая взгляд на лежащую перед ним бумагу.— Сознавайтесь! Немедленно! Ну? Кто учинил все это безобразие?

— Пожалуйста! — сказал Цемтцкий, глядя на судью невинными голубыми глазами.— Сознаюсь. Все натворил я. Но не только я. Все другие тоже.

— Безобразие! — повторил судья и покачал жирной головой.— Вольцов! А вы-то о чем думали? Ваша мать лежит в больнице. Ваш отец пал за фюрера и за рейх. Ваш дядя на передовой! А этот вот фрукт шляется без дела и занимается браконьерством. Черт подери! И раскаяния ни на грош! Глаза бесстыжие! Физиономия наглая! Повадка нахальная!

Судья склонился над бумагами и скороговоркой прочел:

«Несовершеннолетние: Гомилка Зепп, родился 15 июня 1927, Хольт Вернер, родился 11 января 1927, Фетер Кристиан, родился 30 апреля 1927, Вольцов Гильберт, родился 23 марта 1927, Цемтцкий Фриц, родился 1 июня 1927, проживающие здесь, согласно параграфу 328 положения о незаконном уклонении от трудовой повинности по оказанию помощи в уборке урожая, проводимой гитлерюгендом, а также за бродяжничество, нарушение закона об охоте, согласно статье 292, пункт 1 и 2, организацию вооруженных банд, согласно параграфу 127, пункт 1 и 2, и систематическое нарушение закона о правилах поведения несовершеннолетних, приговариваются к семи дням заключения в тюрьме для несовершеннолетних. Все обвиняемые сознались. Как смягчающее вину обстоятельство было принято во внимание, что они, хотя и с опозданием, осознали преступность своего поведения и добровольно предстали перед судом. Данное решение суда подлежит обжалованию в окружном суде, а также может быть опротестовано в письменном виде на предмет перенесения слушания дела в высшую инстанцию».

Судья захлопнул папку и добавил:

— Немедля отправляйтесь под арест!

Через несколько часов двери камеры отворились, и вошел генерал Вольцов. Он сделал знак рукой, надзиратель снова запер двери.

— Гильберт,— резким голосом сказал генерал.— В последний раз обиваю пороги в качестве твоего ходатая. Больше я и пальцем не пошевелю. Понял?

Вольцов поднялся со своих нар. Остальные стояли в смущении, устрашенные огромным количеством золота и орденов на генеральском мундире.

— Я добился, чтобы вас послали на работу,— уже дружелюбнее сказал генерал.— Колоть дрова, грузить шлак.

На другой день беглецов повели во двор. Они пилили сосновые бревна и кололи дрова. Здесь, в тюрьме, они впервые услыхали о массированных налетах на Берлин.

■

Через неделю их выпустили.

Стояло позднее дождливое лето. Сестры Денгельман встретили Хольта слезами и попреками. Он прошел в свою комнату. Дни, проведенные в тюрьме, оставили в нем ощущение пустоты и тоски. На столе лежало несколько писем от матери и еще какой-то серый пакет со штемпелем «Почтовым сбором не облагается». Хольт разорвал конверт.

«Вам надлежит явиться в качестве рядового вспомогательной службы военно-воздушных сил... 14 сентября... Гроскампфбан!» Наконец-то!.. Он распахнул дверь, заорал на весь дом:

— Начинается! В понедельник начинается! — И стремглав побежал к Вольцову.

Пробегая мимо виллы Барнимов, Хольт остановился, но вспомнил, что Ута рассталась с ним, не попрощавшись, и побежал дальше.

Ему отворил Вольцов. В руке он держал бутылку вина.

— Только что сообщили по радио: Италия тайно капитулировала третьего сентября. Сволочи! Предатели!

Хольт испугался так, что повестка задрожала у него в руке.

— У них не было для этого решительно никаких оснований. Они состояли в союзе с великой Германией! Какие же тут могли быть причины для капитуляции? — Вольцов протянул Хольту бутылку.— Твое здоровье! Нет, в Италии, очевидно, что-то стряслось. Дуче похищен, там провозглашено новое национальное фашистское правительство. Оборона европейских берегов лежит теперь на нас одних. Пойдем!

Они вышли. Вольцов запер двери снаружи.

— Пойдем в управление призывного района. Заявим, что желаем вступить добровольцами в армию. А потом — к Зеппу и Кристиану. Ведь должны же мы отпраздновать начало нашей военной службы.

В управлении призывного района они быстро покончили со всеми формальностями. Но Хольта потрясли вести об Италии. Он решил все-таки навестить Уту.

Близился вечер. Хольт долго стоял в нерешительности перед ее домом, наконец позвонил. Его провели наверх. Ута лежала на кушетке и читала. Когда Хольт вошел, она неохотно подняла глаза от книги.

— А!.. Вы уже отбыли наказание?

Его разочаровал этот ледяной прием.

— Я хотел... Мне хотелось...— сказал он беспомощно.— Мне хотелось поблагодарить вас.— Он чувствовал, как в нем закипает злость против такого унижения.— Простите... Я не так вел себя... Я думал...

Его возмущение уже улеглось. Он готов был выказать какое угодно смирение. Но Ута улыбнулась так насмешливо, как никогда раньше.

— Что это вы болтаете? Не так себя вел? Да я и внимания не обратила.— Она поднялась, книга упала на пол. Ута подошла к окну и со скучающим видом посмотрела на улицу.— Напрасно вы так много о себе воображаете, милый мой мальчик!

Хольта захлестнул прилив бешенства. Он едва поклонился и вышел, не оглянувшись. В вестибюле он услышал голос Уты.

— Да подождите же! — кричала она сверху.

Но он уже был за дверью. Прочь. Прочь отсюда!

■

В холле у Вольцова собралось чуть не полкласса.

— Вот он, отважный охотник! — вскричал Рутшер, увидя Хольта.— Зепп только что рассказал нам про оленя.

— Мы сварганили роскошный ликер! Пятидесятиградусный! — сказал Фетер, уже с трудом ворочая языком.

Хольт поднес к губам бутылку. Липкий напиток обжег ему горло.

Вольцов принес еще несколько бутылок красного вина.

— Пей, Вернер!

Хольт пил. Все пили. Горе и гнев его улетучились. К черту Уту!

Кто-то орал:

— Начинается, камрады!

Хольт тянул вино прямо из бутылки. Жизнь стала опять легка.

— Долой Бадольо! — кричал кто-то.

— Мы никогда не оставим ф-ф-фюрера!

— Никогда! — прокричал Хольт.

— Ни-ко-гда! — гаркнули остальные.

Все голоса перекрыл раскатистый бас Вольцова:

— Наше единственное предназначение — спасти отечество!

«Вот она Илиада!» — думал Хольт.— И только где-то глубоко-глубоко таилась мысль: «Я пьян...» Но уже все смешалось: гул голосов, крики, хохот. «К чертям Уту!..» Перед ним, громоздясь одна на другую, мелькали пестрые картины: холл в доме Вольцова. Улица. Рыночная площадь. «У Вольцова в петлице длинный тонкий кактус, кактус, просто умереть от смеха... А у Цемтцкого на голове цилиндр. Ну откуда он взял цилиндр? И почему они ухмыляются? Все эти вот? О господи! Банфюрер! И, разумеется, орет — убирайтесь домой... И кто это хватает меня за руку? Визе! Вот уж растяпа! Что там случилось? Нализался? Да, да! Сейчас! Иду!..»

Первый раз в жизни испытал Хольт это мерзкое ощущение. Словно оглушенный, лежал он в постели. Солнечный свет падал в комнату с левой стороны. Значит, время уже за полдень. Младшая фрейлейн Денгельман, Вероника, с головой в бигуди, стояла у его постели. Она принесла ему лекарственный чай.

— Срам какой! — бранилась Вероника.— В шестнадцать лет и так мертвецки напиться! Всю лестницу заблевал.

— Убирайтесь! — слабым голосом сказал Хольт.— Я болен!

— С перепоя! — злорадно согласилась Вероника.

— Убирайтесь! — заорал Хольт. Оставшись один, он принялся пить настой из перечной мяты.

В дверь постучали. Вошел Петер Визе.

— Как ты себя чувствуешь?

— Спасибо,— пробурчал Хольт.— Послушай... Что это было вчера вечером?

— Перепились вы все,— сказал Петер с легким упреком в голосе.— И на рыночной площади налетели прямо на банфюрера! Тот позвал полицию. Я случайно проходил мимо, еле успел тебя увести. В суматохе нас никто не заметил.

— А я, наверно, бранил тебя и безобразничал? — спросил Хольт.

— Да уж не без того,— Визе улыбнулся бледной улыбкой. Все как полагается — трус, тихоня, дуралей.

— Мне, право, жаль! — сказал Хольт.

— Да уж ладно! — Петер полез в нагрудный карман.— Ута Барним просила передать тебе письмо.

Хольт подошел к окну и повернулся спиной к Петеру.

«Дорогой Вернер! — писала энергичным почерком Ута.— Я не хотела вас вчера обидеть, но и вы не должны были так убегать. Сейчас я услышала, что вас призвали. Если в эту субботу вы еще не наденете военную форму и вам не предстоит ничего более заманчивого — очень прошу вас поехать со мной в наш загородный дом. Погода, надеюсь, будет теплая. Леса и там не лишены красот, хотя, к сожалению, в них отсутствуют пещеры». Хольт рассмеялся. Он был счастлив, читая эти слова. «Итак, приходите в субботу, не позже двенадцати, и передайте ответ через Петера Визе».

— Что же мне передать? — спросил Визе.

— Что я приду,— ответил Хольт.

Визе ушел. «Я обязательно должен принести ей цветы,— решил Хольт.— Розы, астры, гвоздики?.. Нет, все это у нее уже есть». Он вспомнил о питомнике орхидей доктора Цикеля в школьном саду. «Придется залезть туда»,— решил Хольт. Подойдя через час к саду, он увидел, что там возится несколько человек. Ночью он снова попытался забраться в сад, но наткнулся на большого дога. «Придется отравить собаку,— решил Хольт.— Я *должен* добыть орхидеи».

Рано утром в субботу он пришел снова. Возле оранжереи не было ни души. Хольт перемахнул через забор и, пригибаясь к земле, побежал между грядками спаржи к питомнику. Удушливый влажный воздух ударил ему в лицо. С потолка свисали плетеные корзины, в них виднелись цветы причудливой формы. Хольт вытащил из кармана нож и срезал самые красивые, белоснежные звезды на длинных стеблях с нежно-розовой сердцевиной. «Paphiopedilum villosum, Our King»,— прочел Хольт на табличке. Он без всяких препятствий вышел из сада.

Перед виллой Барнимов стояла двуколка, запряженная парой гнедых. Кучер повесил на шеи лошадям торбы с овсом.

Хольт нетерпеливо позвонил и, перепрыгивая через две ступени, взбежал вверх по лестнице. Ута стояла перед зеркалом и причесывалась. Он молча протянул ей орхидеи.

— Какая красота! Я никогда еще не видела ничего подобного,— сказала Ута и снова повернулась к нему спиной. Он смотрел, как она укладывает вокруг головы свои густые волосы и втыкает в них шпильки.

Они спустились вниз. Старый дряхлый кучер влез на козлы и, не говоря ни слова, погнал лошадей. Проехав мимо последних домов, лошади свернули на дорогу, убегавшую в поля. Они ехали долго, с горы на гору, потом целый час лесом. Ута говорила без умолку. Когда отца ее назначили в здешний гарнизон, сама она родом из Шварцвальда, рассказывала Ута, он снял дом в городе и дачу, чтобы было где проводить конец недели. Лошадей и коляску он держит у крестьянина в ближней деревне.

Дача, двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте, стояла у опушки густого леса.

Хольт вошел вслед за Утой в переднюю. Ворчливая старуха провела его на второй этаж и отворила комнату, всю обстановку которой составляли железная кровать, умывальник и шкаф. Дубы и сосны, росшие возле самого дома, протягивали ветви прямо в окно.

Из соседней комнаты вышла Ута. Они уселись друг против друга за обеденный стол. Старуха принесла печеную картошку и миску сметаны. В распахнутые двери, открывавшиеся прямо в лес, врывался шум ветра и шелест деревьев.

Они вышли из дому. Спускался тихий вечер. В долине виднелась деревня, со всех сторон окруженная полями. Папоротник и терновник уже затянула блестящая паутина, и тонкие нити — примета бабьего лета — носились в воздухе.

Ута шла на полшага впереди Хольта. Дойдя до опушки, она опустилась на траву. Здесь росла тьма ежевики. Густой орешник оставлял просвет только с западной стороны. Над горами поднималось небо, отливавшее всеми цветами радуги. С просеки ветер доносил запах сена. Хольт обнял Уту за плечи. Она упала навзничь в траву...

Он сидел рядом с ней и смотрел, как угасают краски на горизонте. Глаза ее были закрыты. Темнело. Ее познабливало. Когда они вернулись, была уже ночь.

Дома их ждал ужин. Ута принесла корзину спелых помидоров. Они сели за стол. Вдруг без всякой видимой связи она сказала:

— Меня очень заинтересовал твой рассказ об отце. Значит, он предпочел лишиться места, только бы не работать на войну?

Хольт посмотрел на нее с удивлением. Голос ее казался ему чужим и далеким.

— Побольше бы людей с таким характером.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь? — спросил Хольт.

В уголках ее губ задрожало что-то, напоминающее ее обычную насмешливую улыбку.

— Что же еще нужно после поражения на Волге, чтобы ты наконец проснулся?

— Я не понимаю тебя... А Германия? Что будет с Германией? — вскричал Хольт.

Она поглядела на него долгим взглядом.

— Забудь о том, что я сказала.— Она отодвинула тарелку.— Забудь. Ты отправляешься на войну. Это может тянуться еще долго-долго.— Ута смотрела куда-то сквозь него.— Правда слишком тяжела для вас. Все, все напрасно.

Она смотрела на него тем же долгим смущающим взглядом.

— Забудь нашу встречу. Вероятно, я скоро выйду замуж. Пожалуйста! Забудь про все.

Но он вовсе не желал, чтобы его так вот взяли, да и отставили.

— Я ухожу на войну. Ты лишаешь меня надежды... Ты должна...

Она схватилась левой рукой за горло — особый, ей одной свойственный жест,— словно ожидая, пока он договорит.

— ...Ты должна пустить меня сегодня ночью к себе.

Она встала так резко, что опрокинула чашки, стоявшие на столе.

Хольт услыхал, как наверху хлопнула дверь. Он выключил свет.

В доме была мертвая тишина. Он медлил все еще в нерешительности. Потом вышел в коридор, постоял секунду у соседней двери и повернул ручку. Дверь поддалась.

Ута обняла его обеими руками и притянула к себе. Он видел сквозь темноту ее лицо и широко открытые глаза. Углы ее губ дрожали от боли и наслаждения.

Он оставался у нее до рассвета. Занялся день. Но день этот показался ему только бледным пятном между двумя ночами. Впервые в жизни Хольт упивался зрелищем живой красоты. И она не пряталась от него.

■

Ученики седьмого класса в форме гитлерюгенда занимали первые ряды в актовом зале. Хольт сидел позади Вольцова, в третьем ряду, под готическим окном. Он опоздал. Директор уже начал свою речь, но Хольт его не слушал. «Мы еще увидимся на вокзале...» Он выскочил из коляски и побежал бегом. «Мы еще увидимся...» Хольт сидел, закрыв глаза и продолжая грезить наяву. Ему казалось, что он видит, как сквозь поля мчится лошадь, впряженная в шарабан. Он слышал, как Ута говорит: «Теперь я останусь с тобой!»

Послышались аплодисменты. И тотчас раздался грохот шагов.

Ступая по паркету ботинками, подбитыми гвоздями, на трибуну поднялся командир отряда гитлерюгенда банфюрер Кнопф.

— Камрады! — разнесся командирский голос Кнопфа.

Цемтцкий, уже успевший заснуть, вздрогнул в испуге.

— В этот серьезный час фюрер призывает свою молодежь... Смертельно раненный враг предпринимает новые гигантские усилия на Восточном фронте, чтобы вырваться из тисков железной руки, которой мы сдавили его горло...

Фетер громко высморкался.

— Перестань,— прошипел Вольцов.— Изволь соблюдать дисциплину!..

— ...Как сказал в своей замечательной речи фюрер... Воздушная война... Мы создаем технические и организационные предпосылки, чтобы раз навсегда положить конец террористическим налетам и должным образом воздать преступникам. А до тех пор, учащиеся, защищать немецкое небо выпало счастье вам!

Банфюрер шумно сошел с трибуны и пожал руку каждому присутствующему.

У дверей зала собрались учителя. Доктор Цикель сетовал:

— Кх-кх... Нет, право, посмотрю я на них, да ведь это еще сущие дети, нет, право, кх-кх... Подумать только, что они идут на войну. Жалость одна!

На улице впереди учеников толпой бежали к вокзалу родители и родственники.

— Внимание! Становись! — скомандовал Отто Барт.

— Смирно! Шагом — марш!

Хольт шел в колонне. Он пел: «Мы будем идти все дальше, пусть даже все умрем...» Наконец на вокзале ему удалось выйти из рядов. Он увидел Уту.

— Прежде я не мог дождаться, когда же наконец уйду на войну. Теперь я хотел бы остаться с тобою!

Раздался свисток паровоза. Подошел поезд. В руке у Хольта остался след пожатия и маленькая коробочка. В вагоне кто-то кричал:

— Экстренное сообщение! Воздушный десант освободил дуче!

Хольт слышал слова и не понимал их.

Поезд медленно, словно улитка, карабкался в гору. Хольт стоял в коридоре. Рядом с ним остановился Гомилка, казалось, он окаменел.

Хольт открыл коробочку. На черном бархате сверкал золотой чеканный крест. Он с трудом разобрал цифры и крошечные буковки, выгравированные старинным шрифтом: «Любовь — вот наш господь, живем мы все любовью. Сколь счастлив человек, что с ней не разлучен!»

Хольт открыл дверь в купе и сел на скамью, забившись в самый угол.

Засыпая, он услышал слова Фетера:

— Теперь мы все свободны, как фли-бус-тье-ры!

Часть первая

I

Город был до странности чужим. Растерянные, мрачные и подавленные ученики седьмого класса собрались у вокзала. Вечернее солнце сияло над плоской крышей скучного кирпичного здания.

В предписаниях значилось: «107-я батарея 3-го тяжелого зенитно-артиллерийского полка ПВО страны, Гроскампфбан». Это звучало таинственно. Вольцов спросил у прохожего, как туда пройти.

— Это за городом, очень далеко отсюда... Так называется стадион.

— Нет, ты подумай! — сказал Хольт, обращаясь к Гомилке.— Чего только я не навоображал! А это, оказывается, футбольное поле.

«Но почему же нас никто не встретил?» — продолжал размышлять Хольт. Никогда еще не ощущал он свою бездомность так остро, как после прощания с Утой.

— Я и шага больше не сделаю! — заявил Вольцов.— Они знали, что мы должны прибыть.

Хольт, Гомилка, Фетер, Цемтцкий, Рутшер, Вебер, Бранцнер, Кирш, Глазер, Катнер, Мёбиус, Шахнер, Тиле — все присоединились к Вольцову. Зато свита Надлера — Шенке, Шёнфельд, Шульц, Геце, Грубер, Хампель, Кибак, Клейн, Кульман, Эберт, Кунерт и Шлем,— точно сговорившись, заявили, что уж лучше они пешком отправятся на свою батарею. Надлер, на куртке которого красовался зеленый командирский шнур, построил своих людей, и вскоре маленькая колонна скрылась за углом.

— Ну и пусть идут, подхалимы проклятые! — сказал Вольцов и направился к телефонной будке. Быстро вернувшись, он подсел к Хольту, который уже заказал себе пиво.

— Сделано! Через полчаса за нами придет машина. Знаешь, я услышал голос телефонистки, ну и напустил на себя важность: транспортировка, мол, и прочее в этом роде! Она и давай величать меня «господин лейтенант»!..

Длинные тени уже ложились на площадь. Серый грузовик с грохотом выехал из-за угла. Из кабины выскочил шофер с артиллерийскими петлицами и ефрейторской нашивкой на рукаве.

— Мне приказано забрать отсюда лейтенанта Вольцова и двадцать семь солдат.

Вольцов прикинулся удивленным.

— Видно, телефонистка ошиблась...

Ефрейтор недоверчиво покосился на него.

— Влезайте. Усаживайтесь!

Они побросали в грузовик свою поклажу. Вольцов и Хольт влезли в кабину к шоферу.

Город состоял, казалось, из одних узких кривых улочек, вымощенных булыжником. Машина тряслась и громыхала, покуда не выехала на длинное шоссе. По обе стороны его тянулись крохотные домики и огороды. Хмурый ефрейтор молча сидел за рулем. Вольцов вытащил из кармана горсть сигарет. Ефрейтор равнодушно положил их в нагрудный карман, но сразу же подобрел.

— Как у вас тут? — спросил Вольцов.

— Житьишко спокойное! — ответил ефрейтор. Ему было лет девятнадцать, не больше.— Здесь у нас благодать.

Машина вскарабкалась на холм. Перед ними открылась ровная местность. По шоссе с самым угрюмым видом маршировал Надлер и его люди.

— Поезжай! — скомандовал Вольцов. Ефрейтор дал газ. Крик разочарования замер за ними.

Далеко впереди на холме, среди полей и лугов, вырисовался овал стадиона с высокими многоярусными трибунами.

Крошечные серые фигурки копошились на плоской крыше, где виднелся какой-то большой, накрытый брезентом прибор.

— Похоже на аппарат для подслушивания, правда? — спросил Хольт.

— Чепуха,— хмыкнул Вольцов.— Во-первых, то, что ты думаешь, называется звукоулавливатель, во-вторых, такой штуковиной ни одна сволочь уже не пользуется. Это просто радар.

— Ну, положим, радиолокационная станция,— заметил ефрейтор. Машина свернула с шоссе на широкую, посыпанную шлаком дорогу. Они подъехали к стадиону.

Здесь на холме еще ярко светило вечернее солнце. Точно так же светило оно и вчера, когда Хольт шел по лесу с Утой... «Подумать только, вчера...»

— Сейчас будем на месте,— сказал ефрейтор.

Хольт увидал несколько строений. Машина остановилась возле одного из них.

— Приехали!

Никто не вышел им навстречу.

— Видно, сюда,— сказал Вольцов, первым входя в барак.

Узкий коридор, две двери, одна против другой, две большие комнаты, уставленные нарами в два яруса и шкафами. Все казалось нежилым, грязным, запущенным.

— Может, нас заставят перебраться потом в другое помещение. Все равно — мы не можем просто слоняться здесь. Это действует разлагающе.

Вольцов выбрал комнату с окнами на юг. Кучи грязи, валявшиеся повсюду, произвели на Хольта угнетающее впечатление, зато Вольцов сразу взял власть в свои руки.

— Начали. Убрать все это дерьмо. И раздобыть поскорее метлу.

Неожиданно в комнате воцарилась тишина. Стоя за шкафом, Вольцов не увидел, как в дверях вырос плотный человек лет тридцати пяти. Он стоял, широко расставив ноги, сдвинув фуражку набок и сверкая серебром на кителе. Все так и замерли, вытаращив на него глаза.

Хольт попытался сделать знак Вольцову, но за шкафом продолжали раздаваться раскаты громового баса.

— Свинюшник! Тут, видно, хозяйничали готентоты!

Наконец. Вольцов заметил, что в комнату кто-то вошел.

— Неплохо,— сказал незнакомец.— Готентоты! Право, неплохо! — Он прошелся между шкафами, обвел взглядом новичков и остановил его на Кирше: — Имя?

Кирш, давясь, проглотил кусок хлеба, который жевал, и, пытаясь сообразить, что же означает звезда на погонах с серебряным кантом, отрапортовал:

— Кирш, господин фельдфебель.

— У нас фельдфебель зовется вахмистром. Ну-ка еще раз. Ваше имя?

— Кирш, господин вахмистр!

— Да неужели! Водолаз? Гинеколог? Тюремный надзиратель?

Вольцов осмелился улыбнуться. Да, улыбнуться! Прямо в лицо начальству. Вахмистр слегка приподнял брови. Кирш прокричал в третий раз:

— Рядовой вспомогательной службы Кирш, господин вахмистр!

— Великолепно! — вахмистр просиял. Хольт смотрел на него во все глаза.— Правильно! Молодец! Запомню вас. Но единицу вы не получите, ибо ответили правильно только с третьего раза. Ставлю вам двойку.— Он вытащил блокнот, сделал какую-то пометку и повернулся к Вольцову.

— Имя?

— Рядовой вспомогательной службы Вольцов, господин вахмистр!

— Профессия отца, Вольцов?

— Полковник, господин вахмистр. Он...

— Вот уж это напрасно! — воскликнул вахмистр.— Давайте считать, что я вас не слышал. Назовите мне поскорее профессию вашего дяди. Может, она больше подойдет.

— Генерал-майор, господин вахмистр!

— Ужасно!

Хольт старался понять, что же тут такого ужасного, но вахмистр произнес опечаленным голосом:

— Я вынужден поставить вам шестерку, Вольцов. И знаете почему?

— Нет, господин вахмистр!

— Эти молодцы,— он показал на стоящих вокруг,— стали бы утверждать, что я оказываю вам предпочтение из-за дядюшки генерала.— Он опять сделал пометку в блокноте.— Жаль мне вас, Вольцов. Солоно придется вам у меня.— Он засунул блокнот между двумя пуговицами кителя и обвел глазами всех по очереди.

— Я Готескнехт*. Вахмистр Готескнехт, инструктор боевой подготовки.— Лицо его оставалось серьезным и невозмутимым.— Говорят, что я слуга господа бога, но если кто вздумает хорохориться, тот, пожалуй, сразу убедится, что я слуга самого сатаны.

Он медленно прошелся по комнате.

— Я не кричу. Никогда. Только ставлю отметки. От единицы до шестерки, как в школе. Кто получит шесть единиц подряд, получит и внеочередной отпуск. Но это случается чрезвычайно редко.

Он остановился перед Хольтом и смерил его взглядом с головы до ног.

— Имя?

— Рядовой вспомогательной службы Хольт, господин вахмистр!

Готескнехт вынул блокнот и сделал пометку.

---

* Буквальный перевод — слуга бога.

— Профессия отца?

— Инспектор в пищевой промышленности, господин вахмистр,— осторожно сказал Хольт.

— Потрясающе! Вы должны будете послать ему кусок гарцского сыра, который нам здесь дают. Говорят, в него кладут гипс и еще кое-что, чтобы сильнее воняло.

Хольт засмеялся. Гомилка и Вольцов засмеялись тоже, остальные скорчили смущенные физиономии. Вахмистр так и сиял.

— Нет, право! Вы смеетесь моей остроте? Ставлю вам единицу.

Он обратился к Гомилке, спросил, как его зовут, и сделал пометку в блокноте.

— Люблю, когда смеются. Но если кто вздумает смеяться притворно, получит шестерку, а кто совсем не смеется, тому я ставлю тоже шестерку — за трусость. Гомилка!.. Профессия отца?

Гомилка замялся.

— Юрист, господин вахмистр!

— Прокурор? — насторожившись, переспросил вахмистр.

— Никак нет, господин вахмистр, адвокат.

— Вам повезло. Сыновьям большого начальства у меня приходится солоно.— Он направился к двери.— Два человека за мной. Взять метлы. Одеяла. Вычистить казарму. И на боковую.

Рутшер и Бранцнер направились за ним.

— Послушай,— обратился Хольт к Гомилке.— Как он тебе понравился?

— Сплошное притворство. Сплошное ломанье,— сказал Вольцов.— Совсем он не такой, каким прикидывается! Он холоден, как лед!

■

Комната была уже чисто прибрана, когда в коридор с грохотом ввалились Надлер и его команда. Он казался чрезвычайно расстроенным, и командирского шнура на нем уже не было. Вольцов указал ему вторую комнату.

— Вы поступили чрезвычайно не по-товарищески,— обиженно сказал Надлер.

— Всякий, кто откалывается от основных сил, должен считаться с плохими последствиями,— обрезал его Вольцов.

Катнер захлопнул дверь перед носом пришедших.

— Вот бедняги, угодили прямо в объятия Готескнехта,— сообщил Рутшер.— Он и закатил всем по шестерке за то, что они пришли п-п-позже, чем мы. А Надлер получил еще одну шестерку, потому что рядовой вспомогательной службы не имеет права носить к-к-командирский шнур.

Хольт сделал знак Гомилке, и они вышли из барака. Очутившись на воле, Хольт опасливо оглянулся. Солнце заходило, окутанное туманом. Огромный кроваво-красный диск повис над холмом. Возле самого барака тянулась к стадиону широкая, усыпанная шлаком дорога. В северном направлении, справа от стадиона, расположилась огневая позиция. От дороги к орудиям были проложены дощатые настилы. Приятели остановились перед одним из серых земляных сооружений. Земля здесь была насыпана примерно метра на два в высоту, сквозь вал был прорезан зигзагообразный проход, аккуратно обшитый досками.

Хольт вошел первым. Стены орудийного окопа были укреплены бревнами, дно посыпано шлаком. Вход в укрытие для расчета зиял, словно черная пасть. Орудие было покрыто брезентом защитного цвета. Из-под

брезента виднелась дульная часть ствола и станины лафета. Возле орудия стоял высокий худой парень, вероятно, ненамного старше Хольта, в куртке мышиного цвета без нашивок и без погон. У правого его уха виднелся большой наушник, на шее висел ларингофон с выключателем, прикрепленным зажимом к куртке. Парень занимался чем-то совершенно непонятным. Он отстегнул брезент, замкнул контакт кабеля, приложил второй наушник к левому уху, напряженно прислушался, потом опустил наушники и, включив ларингофон, сказал:

— Антон... Взрыватель в порядке.— После этого он перелез через станину, приподнял брезент с другой стороны и повторил свою непонятную игру.— Антон... Азимут в порядке.

Наконец парень скинул с себя мягкую синюю фуражку, сорвал наушники и ларингофон, повесил все это в укрытие и, обернувшись к Хольту и Гомилке, сказал:

— Слушаю вас.

— Мы прибыли сегодня. Моя фамилия Хольт.

— Старший рядовой вспомогательной службы Бергер.— Он слегка поклонился.

— Давно уже вы здесь?

— С полгода.

Хольт вынул сигареты. Они закурили.

— А что это ты только что делал? — спросил Гомилка.

— Да так, проверял проводку. Каждый день все то же дерьмо: утром, в полдень и вечером.

— А как здесь вообще? — спросил Хольт.

— Вообще здесь никак. Спокойное житьишко. До двенадцати занятия. После двенадцати — служба.

— А стрельба? Приходится вам стрелять?

— Стрелять? Кажется, один раз здесь заблудился какой-то разведчик. Так что стрельбы бывают только учебные.

— Да, неважная перспектива! — заметил Хольт.

Бергер насмешливо скривил губы.

— Ничего. Успеете еще хлебнуть,— сказал он.— Тут вы не останетесь.

Хольт и Гомилка переглянулись.

— Ну-ка, расскажи! Куда же нас отправят?

— Здесь вы пройдете только начальную подготовку — в этом районе все тихо. Вы приписаны к сто седьмой батарее третьего полка, мы к триста двадцать девятой батарее двенадцатого. К нам вы никакого отношения не имеете. Ваша подгруппа находится совсем в другом месте.

— Где? — в один голос спросили Хольт и Гомилка.

— До сих пор была в Гамбурге. Но ее разбомбили — одиннадцать убитых, шестнадцать тяжело раненных.

— Убитых? Тяжело раненных?

— Может, это только слухи? — сказал Хольт.

— У вас есть начальство, вахмистр и обер-ефрейтор, их и спрашивайте!

Хольт попытался подбодрить себя.

— Ну что ж, раз Гамбург уже прошел через это, значит, там вряд ли может повториться.

— Вот-вот! — сказал Бергер, посасывая сигарету и насмешливо глядя на Хольта.— Поэтому батареи теперь и пополняют заново и размещают их в Рурской области.

Хольт почувствовал, как у него задрожала рука, в которой он держал сигарету.

— Им здорово там досталось,— донесся до него голос.— На Кёльн и Эссен тоже были ночные налеты, в них участвовали тысячи бомбарди-

ровщиков... Так что здешняя спокойная жизнь чего-нибудь да стоит,— заключил Бергер.

Но Хольт поспешно перебил его:

— Не к чему нагонять страх. Мало ли что бывает...

Бергер улыбнулся.

— Но как же могла батарея понести такие потери? — спросил Гомилка.

— Вот попадешь под бомбежку, тогда узнаешь. Будешь потом подбирать свои косточки.

— Ночью? Верно, это была случайность?

— Случайность? — вскричал Бергер.— Они бомбили точно по цели. Ты думаешь, им сверху не видно, так, что ли? Как начнут палить наши шприцовки с их дульными тормозами, так тут уж видно с самой луны! — Он придавил ногой окурок сигареты.

— Погоди-ка,— сказал Хольт.— Мы все будем огневиками? Или, может быть, некоторые попадут в приборный взвод?

— Вас познакомят с радиолокатором, с прибором управления огнем, дальномером, оптической трубой и со средствами связи,— пояснил Бергер.— Самых крепких зачислят в огневой взвод, а самых сильных математиков — в приборный. Словом, распределят, как нужно. Мерзость всюду одна и та же. Я предпочитаю орудие.— Он показал на возвышение, напоминающее крепость.

■

Была уже ночь. Хольт и Гомилка направились в казарму. В темноте на дороге стоял, задрав голову, Готескнехт и следил за самолетом, круживший над городом. Миновать Готескнехта было невозможно.

— Подойдите!

— Сейчас пропишет нам,— шепнул Гомилка.— Господин вахмистр?

— Решили прогуляться вечерком?

— Прощупывали обстановку, господин вахмистр.

— Узнали интересные новости?.. О пополнении и прочем?

— Так точно, господин вахмистр! — «Зачем лгать?» — подумал Хольт.

— Ну-ка расскажите. Мне любопытно, о чем это вы наслушались?

— О Гамбурге, господин вахмистр,— ответил Хольт.— Будто там учинили настоящий разгром... И в Рурской области тоже.

— Да, вы действительно все разведали. Разгром! Просто блистательно сказано!.. Вас я уже знаю,— он обернулся к Хольту.— Вас зовут Хольт, а вас... погодите-ка. Ваш отец юрист, это я помню, но вот имя...

— Рядовой Гомилка, господин вахмистр! — прокричал Зепп.

— Почему вы кричите? Вам нехорошо? Разве можно орать в такой мирный вечер? — Готескнехт вытащил сигарету, и Хольт, поколебавшись, дал ему прикурить.

— Теперь послушайте,— сказал Готескнехт.— Вот вам добрый совет. Научитесь разбираться в обстановке. Это самое важное для прусского солдата. Когда вы в сборе, все должно быть раз-два и готово. На военной службе без этого нельзя, иначе воинское подразделение будет выглядеть словно сборище папуасов...

Приятели засмеялись.

— Вот именно! Но вечером, когда я обращаюсь к вам частным образом и когда нас не видит, к примеру, господин генерал, вот тут вы и можете показать, что хорошо воспитаны, обладаете хорошими манерами, знаете правила хорошего тона. Словом, вы поняли меня?

— Примем к сведению, господин вахмистр! — сказал Хольт.

— Великолепно! Ставлю вам единицу за то, что вы такие понятли-

вые! — Готескнехт вытащил свой блокнот, но тут произошло нечто необыкновенное. Он точно задумался и, подержав блокнот несколько секунд в руке, медленно засунул его за борт кителя, пристально глядя в какую-то точку. Готескнехт шевелил плечами, словно ему тесен китель, и двигал шеей, будто давит воротник. Да и в лице его произошла странная перемена. Изменилось все — выражение, манеры, даже голос. Казалось, с него спала маска. Наконец он сделал шаг к ним, и они увидели уже немолодого и очень усталого человека. Лицо его было покрыто морщинами, а глаза выражали глубочайшую тревогу.

— Забудьте все, что вы слышали,— тихо сказал Готескнехт.— Вам ничего не должно быть известно. Обещайте мне, что вы словом никому не обмолвитесь. А если поползут слухи, вы первые станете их опровергать. Поймите меня. Я категорически запрещу солдатам с других батарей разговаривать с вами. Вы слишком молоды. Я не могу допустить, чтобы вас деморализовали прежде, чем дойдет до дела. Вы поняли меня?

— Мы ничего никому не скажем. Обещаем. Вы можете положиться на нас!

— В порядке! — сказал, успокоившись, Готескнехт.— Ступайте сейчас же спать. Положение становится очень напряженным. Я должен выдрессировать вас как можно скорее. Томми не ждут. Они швыряют бомбы каждую ночь. Необходимо тотчас же укомплектовать батарею. Берегите силы. Они вам еще пригодятся. Спокойной ночи! Вам что-нибудь нужно? Вы хотите что-нибудь сказать?

— Не знаю, смеем ли мы просить... Но нам очень хотелось бы попасть в огневой взвод...

— Согласен! — и, круто повернувшись, Готескнехт ушел. Он шел медленно, заложив руки за спину и свесив голову.

Хольт смотрел ему вслед. Было темно, хоть глаз выколи. «Все напрасно»,— слышался Хольту голос Уты. Его познабливало.

2

Хольт вышел из барака. Он любил ранние предрассветные часы, те короткие мгновения между бледными сумерками и просыпающимся днем, когда начинают петь дрозды и сверкающая роса повисает на травах. Он шел и думал об Уте.

Вчера вечером Хольт решил написать ей письмо, но так устал, что полумертвым свалился на свой мешок с соломой. Проснулся он уже на рассвете. Десять приседаний, как обычно, потом — умыться из водопроводного крана во дворе, одеться, растолкать Гомилку и Вольцова...

В бараке прозвенел звонок. Вышел Гомилка.

— Как хорошо здесь ранним утром! Там, в помещении, они дерутся из-за умывальников.

Хольт слушал его, насвистывая песню: «А утром рано́ мы всех целуем...» Он остановился, стараясь припомнить слова.

— Почему ты не свистишь дальше? — спросил Гомилка и процитировал вторую строку: — «Новую землю, новую землю мы завоюем...»

— Русские взяли обратно весь Донецкий бассейн.

— И Сицилию мы тоже потеряли окончательно...— пробормотал Гомилка.

— Тут уж повинно предательство итальянцев,— заметил Хольт.

Гомилка молча чертил ногой по черной земле. Хольта охватил страх. И ему стало совсем жутко, когда Гомилка сказал:

— Вот я думаю о капитуляции Италии. Ничего не понимаю. Это дурной знак.

— Приходится терпеть иногда и неудачи,— пояснил Хольт.— Фюрер сказал, что без Италии мы сильнее.

Гомилка кивнул молча и задумчиво.

■

В семь часов в дверь просунул голову обер-ефрейтор.

— Выходи строиться! Да поживее!

Они вышли из барака.

— По ранжиру становись! Черт подери совсем! Я обер-ефрейтор Шмидлинг, ваш инструктор. Прошу поэтому, обращаясь ко мне, говорить «господин»... Вы почему это ухмыляетесь? Ну-ка, ну-ка, вот вы, третий во второй шеренге!

— Я не смеялся! — обиженно воскликнул Надлер.

— Прошу соблюдать дисциплину! — заорал Шмидлинг. Он с трудом выговорил это слово.

— Внимание! Сейчас я сделаю перекличку. Как только услышите свое имя, кричите «Здесь!». Поняли?

— Так точно! — прокричал Хольт в хоре с остальными.

Обер-ефрейтор зачитал список имен.

— Значит, все на месте и все в порядке! А теперь ступайте за обмундированием.

Не успели они вернуться со склада, как в дверях появился Готескнехт. Раздалась команда:

— Смирна-а! Равнение — направо!

— Спасибо! Вольно! — сказал, отвечая на приветствие, Готескнехт,— он выступал прямо-таки с генеральской осанкой.— В этот достопамятный момент начинается ваше обучение. Продлится оно недолго, месяц, самое большее полтора. Служба будет трудной, с семи утра до восьми вечера, перерыв на обед — час. Сон с десяти до шести. Отдых соблюдать с железной строгостью, не то я покажу вам, где раки зимуют. Никаких карт и прочего такого. Вы меня поняли? Да, вы ведь еще не знаете... Если я говорю «Поняли?», это просто так, у меня своя манера выражаться. Но если я говорю «Вы меня поняли?», значит, я жду ответа. Вы меня поняли?

— Так точно, господин вахмистр!

— Хорошо! Два раза в неделю ночные занятия по три часа. Заниматься вы будете почти исключительно огневой службой и боевой работой на приборах. Кроме того, я должен вдолбить в вас немного теории стрельбы зенитной артиллерии. Вот тут вы и сможете показать, что вы люди образованные! Ну, а все остальное — различие между начальством и простыми смертными, всякие там средства противохимической защиты, вопросы бдительности и всякая ерунда — это уж мы пройдем так, между прочим. Строевой подготовкой займемся сегодня и завтра. По два часа, и хватит. Если вы не научитесь быстро и правильно строиться, то в воскресенье после обеда будем заниматься дополнительно. Движения пойдут вам только на пользу. Вы вот, да, да! Толстяк со свинячими глазками, вас как зовут?

— Рядовой вспомогательной службы Фетер *, господин вахмистр!

— Прелестно! — вскричал Готескнехт.— Великолепно! Просто изумительно. Жирен, как свинья из стада Эпикура. Ставлю вам единицу! Надеюсь, у нас вы больше не разжиреете, слишком жирные в зенитной артиллерии не годятся.

Раздался общий хохот, Готескнехт с удовлетворением кивнул.

---

* Фетер — жирный *(нем.)*.

— Ну-с, вернемся к делу. Если вы хотите написать домой, вот наш адрес: «Почтовое отделение, Гроскампфбан. Полевая почта». Посылать без марок. О службе писать запрещается. Я имею право вскрывать ваши письма и иногда этим пользуюсь. Ужин возьмете вечером в кухне, после занятий. Обедаем мы в столовой.

Он подозвал к себе обер-ефрейтора.

— Отберите восемнадцать человек в огневой взвод, остальных — в приборный.

По рядам новичков прошло движение.

— А ну, тихо! — заорал Шмидлинг.

— Шмидлинг! — одернул его Готескнехт, и, хотя он понизил голос, они услыхали, как он сказал: — Вы имеете дело не с рекрутами, а с рядовыми вспомогательной службы. Сколько раз мне это вам еще повторять!

Хольт подтолкнул Гомилку. Тот незаметно кивнул в ответ.

Вахмистр отделил самых низкорослых и щуплых, среди них и Цемтцкого, и посмотрел на часы.

— До обеда огневая служба и боевая работа на приборах, после обеда два часа строевая подготовка.— Он подал знак новичкам, назначенным в приборный взвод, и ушел с ними и с обер-ефрейтором. Вольцов, Хольт, Гомилка и Фетер держались, как всегда, вместе. К ним присоединились еще Рутшер, Вебер, Бранцнер, Кирш и Катнер. Разделившись на две группы по девять человек, они отправились к орудиям.

■

Девять человек рядовых и обер-ефрейтор составляли орудийный расчет. Шмидлинг выстроил всех у орудия, приказал снять чехол и начал занятия.

«Интересно, кем он был до войны,— размышлял Хольт. Ему никогда еще не приходилось общаться с такими, как Шмидлинг.— Должно быть, у него хозяйство где-нибудь в горах. Крестьянин там только и делает, что пашет и сеет, ему и слово-то редко приходится вымолвить. А теперь он вынужден обучать нас. Уж, конечно, он гораздо охотнее остался бы хозяйничать в своем дворе. Ведь он просто себя не помнит, дрожит сейчас от волнения. Да что поделаешь, война. Обязан выполнять то, что от него требуют».

Шмидлинг приказал открыть одну из ниш для боеприпасов. Они бросились выполнять его приказание. Все было внове, все интересно. Пушка, настоящая пушка. Да, это вам не гимназия с ее неправильными глаголами и дурацкими математическими формулами.

— Это боевые патроны? — спросил Фетер, благоговейно глядя на блестящие шляпки гильз, величиной с ладонь.

Шмидлинг не ответил. Он указал на деревянный круг с цифрами от единицы до двенадцати, обозначавшие направления: двенадцать — север, шесть — юг, три — восток, девять — запад. По команде «Воздух! Направление девять! Самолет!» ствол орудия должен быть немедленно направлен на запад.

Пояснив это, Шмидлинг почесал затылок, снял фуражку, чтобы вытереть пот со лба, и объявил пятиминутный перерыв. Вольцов, Хольт и Гомилка закурили.

— Шмидлинг хороший парень,— сказал Хольт.— Давайте поможем ему.

— Да, но если дело не пойдет быстрее,— заметил Вольцов,— занятия буду проводить я.

Шмидлинг просунул голову в укрытие, где стояли приятели, и крикнул:

— Курить нельзя!

Хольт протянул ему пачку сигарет, Шмидлинг взял, и даже с удовольствием...

Перерыв кончился, Шмидлинг снова принялся объяснять. Для него это было сущим мучением.

— Так, теперь начинается самое трудное. Вот это — зенитная пушка. Поняли? Так вот она вовсе не пушка. Поняли?

Вольцов не выдержал и пришел ему на помощь. Шмидлинг был в восторге.

— Ну раз вы все знаете, то и объясните, пожалуйста. А я покуда помолчу.

— Орудие — это собирательное понятие для тяжелого огнестрельного оружия. Орудие в более узком смысле означает тяжелое огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы с закрытых позиций,— так примерно начал Вольцов.

Шмидлинг с удовлетворением кивнул и продолжал объяснять сам.

Потом вновь взялся за объяснения Вольцов. Он никак не мог перенести, что занятие тянется так медленно.

— Если я в чем-нибудь ошибусь, вы меня поправите,— сказал Вольцов, но у Шмидлинга не нашлось никаких замечаний.

— Ну и умная вы голова! — похвалил Шмидлинг, когда Вольцов, объяснив порядок закрепления орудия на грунте и устройство прицельных приспособлений, перешел к механизму наводки.

Никто не заметил, как к орудию подошел Готескнехт. Сколько времени он тут простоял?

— Смирно! — прорычал Шмидлинг.

— Вольно! — сделал знак Готескнехт.— Так-так, Вольцов. Что ж, давайте послушаем. Только, если вы хоть раз собьетесь, получите шестерку.

Вольцов смотрел на вахмистра, прищурив глаза и склонив голову набок.

— Господин вахмистр, разрешите обратиться!

— Да, слушаю вас,— откликнулся Готескнехт.

Вольцов выставил подбородок вперед, глаза у него сверкали.

— Я никогда этого не изучал и не знаю уставной терминологии. Если вы справедливы, то должны обращать внимание только на смысл моих объяснений.

У Шмидлинга на лбу выступили капли пота.

— Если я справедлив, я должен...— мечтательно повторил Готескнехт.— Начинайте.

— Дульный тормоз...— сосредоточенно начал Вольцов таким голосом, словно читал стихи.

Когда он кончил, Шмидлинг с облегчением вздохнул. Готескнехт посмотрел на Вольцова. Тот выдержал его взгляд.

— Верно с начала до конца,— сказал Готескнехт и вытащил блокнот.— Единица... Но вы воззвали к моему чувству справедливости, и поэтому я не могу позволить, чтобы рядовой, желая получить машину и отправиться на ней с вокзала, возводил себя в лейтенанты.

Вольцов побледнел.

— Вы будете являться ко мне каждый вечер ровно в двадцать один ноль-ноль и чистить мне сапоги. Надеюсь, вы согласитесь, что наказание справедливо!

Молчание.

— Господин вахмистр,— раздался голос Вольцова,— вы, в свою очередь, согласитесь, что вам не дано права налагать взыскания в форме услуг, оказываемых вам лично. Прошу наказать меня по уставу.

«Напрасно он это»,— подумал Хольт.

— Вольцов,— сказал Готескнехт,— мне очень хочется поставить вам единицу за смелость. Но это не смелость. Это неведение. Вы сами не знаете, что навлекаете на себя.— И, сразу же переходя на свой обычный тон, добавил: — После занятий извольте явиться для отбытия наказания.

— Слушаюсь, господин вахмистр!

— Продолжайте,— дружелюбно сказал Готескнехт и ушел.

Не успел он скрыться из виду, как Шмидлинг вздохнул так громко, что Хольт подумал: «Почему он так боится? Ведь он же инструктор, ему-то чего бояться?»

— Ну, Вольцов,— сказал Шмидлинг,— и наделали вы себе бед!

— А плевать я хотел...— Вольцов сделал презрительный жест.

■

Занятия кончились. Новички собрались в солдатской столовой, устроенной на стадионе в помещении ресторана. Новички с других расчетов все еще сидели за обедом. На нетесаных столах грудами валялась картофельная шелуха, окурки и обглоданные кости. Вольцов подошел к одному из столов и смахнул объедки прямо на колени обедавшим. Раздались крики протеста, но Вольцов сразу навел порядок.

— Ну-ка, заткнитесь!— сказал он с угрозой.— Не то худо будет!

Им подали картофель «в мундире» и жидкую подливку, в которой плавали редкие кусочки мяса.

— Плохо, чертовски плохо! — скулил Фетер.

За соседним столом все еще обсуждался телефонный разговор Гитлера с Муссолини и новые воздушные налеты. Эссен бомбили опять. Сообщают о тяжелых потерях и разрушениях.

Хольт машинально глотал картошку. Когда он уже лежал на койке, а Гомилка сидел за столом и писал что-то в блокноте, его все не оставляла мысль: разрушения, Эссен, Рурская область... «Я обязательно должен написать Уте»,— подумал он. Но мысль об Уте не смогла вытеснить тайный страх. Наоборот. «Все напрасно,— услышал он опять.— Что же будет с Германией?»

Он обрадовался, когда в комнате послышался голос Шмидлинга:

— Выходи строиться!

После строевых занятий перешли к изучению материальной части. Хольт уже слышать не мог: лафет, дульный тормоз, дистанционный взрыватель.

— Вы обязаны это помнить даже во сне! — твердил Шмидлинг.

— Это должно войти вам в плоть и кровь! — сказал вечером и Вольцов.— Пусть тебе изменит разум, пусть тебя подведет память, но эти понятия должны быть присущи тебе как рефлекс.

Перед тем как отправиться к Готескнехту отбывать наказание, Вольцов все-таки решил посоветоваться со Шмидлингом.

— Прежде всего вы должны как следует доложить. Оденьтесь по всей форме. И каску, непременно наденьте каску.

Стычка Вольцова с вахмистром уже получила огласку. Надлер долго смотрел, как Вольцов до блеска начищает сапоги.

— Когда Готескнехт приказывает, то и Вольцов смиряется!

Фетер запустил в Надлера сапогом и попал ему в спину. Надлер обратился в бегство.

■

Вольцов вернулся внешне спокойный, как всегда, но в душе он так и кипел от бешенства.

— Три месяца без увольнений! Подлец этакий!

Немного погодя он рассказал подробности.

— Готескнехт был очень разочарован, когда я пришел одетый по всей форме. Поставил мне единицу, фальшивый пес, за безупречную заправку и запретил увольнения на три месяца.

Гомилка засмеялся.

— А потом еще проверил по уставу, не превысил ли свои дисциплинарные права. Сволочь!

— Уж лучше бы я чистил ему две недели сапоги. По крайней мере, тихо-спокойно,— сказал Бранцнер, худой, черноволосый, с кривым носом и большим подвижным кадыком.

— Мне кажется, Готескнехт неплохой парень,— заметил Гомилка.— Когда мы попадем, наконец, в дело...

В дело! Вот оно, заветное слово, которое лишало Хольта покоя. Он ловил себя на том, что тоскует по безопасной жизни в маленьком городке, бранил себя за отсутствие стойкости. На листе писчей бумаги по-прежнему не было ничего, кроме слов: «Дорогая Ута! «Я хочу на войну»,— говорил я, теперь у меня пропало мужество».

Наконец он написал нечто вроде отчета о первом дне. «Неужели мы простились только вчера? — думал он.— Все это было так давно. Все миновало. Навсегда. Мои надежды — просто иллюзия. Я моложе ее почти на три года. Она помолвлена». Но в письме он обманывал себя. «Не бросай меня,— писал он.— Нам предстоят, быть может, очень тяжелые дни. Не оставляй меня одного».

■

— Угломерный круг,— сказал Шмидлинг,— имеет 6 400 делений.

Гомилка и Бранцнер, которые были хорошими математиками, немедленно принялись за дело и усердно все вычисляли. Это внесло разнообразие в их мысли. Им казалось, что они уже отупели от муштры.

Шмидлингу никогда еще не попадались такие смышленые новобранцы. Но он вовсе не собирался дать им вольничать и заставлял бесконечно долбить: угломерный круг, механизм вертикальной наводки, установщик взрывателя. Прошло много дней, прежде чем новички усвоили обязанности номеров орудийного расчета.

Они часто спорили между собой, полезна ли муштра, которой их подвергают.

— Бывают положения,— пояснял Вольцов,— когда мышление наше бессильно. Вот поэтому и необходимо выработать автоматизм. Наш метод обучения рассчитан на любую мелюзгу — на мусорщиков, подметальщиков, тупиц, которые вообще ничего не способны постичь. В них-то и вдалбливают премудрость, от которой нам рвать хочется.— И в подтверждение своих слов Вольцов ссылался на авторитет своего отца полковника: — Мой отец всегда говорил: все наши уставы и наставления написаны так, что их может усвоить даже бессловесная скотина.

Гораздо интереснее было тем, кто попал в приборный взвод. И они чрезвычайно этим гордились.

— Вахмистр знакомит нас с основами теории стрельбы зенитной артиллерии. Необыкновенно интересно!

Однажды Гомилка остановился с Хольтом у входа в барак, и они снова заговорили о своей учебе.

— Видишь ли,— заметил Гомилка,— во всем этом есть и своя обратная сторона. Муштровка нам так приелась, что мы уже без страха думаем о том, что нас ждет.

— Ты прав. Вначале стоило мне подумать, что нам предстоит участвовать в бою, и мне делалось дурно. А сегодня, когда Шмидлинг по-

требовал, чтобы мы в сотый раз сказали, какая установка азимута соответствует направлению семь, я подумал: «Ох, хорошо бы в Рурской области дела пошли еще хуже. По крайней мере, хоть этой дурацкой зубрежке придет конец».

Гомилка кивнул.

— Вот этого они и добиваются. Здесь-то у нас еще благодать. Я просто диву даюсь, как по-человечески к нам относятся. Обычно новичков так муштруют, что фронт представляется им раем... Хотя, разумеется, стоит только побывать на фронте, как сразу же начнешь мечтать о муштровке в казарме.

Хольт засмеялся.

— Ничего! Скоро наступит великая перемена.

— Да, но, спрашивается, какая?

— О, Зепп! — воскликнул с упреком Хольт.— Разве можно так говорить?

— Я говорю так только с тобой. Иногда мне кажется, что все мы закрываем глаза на истинное положение немецких войск на фронтах.

— Такие разговоры и такие мысли! — сказал Хольт.— Ведь это подрывает мораль, Зепп.

■

Артиллеристы, обслуживающие орудия, назывались номерами: первый номер, второй и так далее. до девяти.

— Надо говорить не просто «стрелять», а «вести огонь с максимальной интенсивностью»,— пояснял Шмидлинг и заставлял свою девятку по очереди повторять, что каждый орудийный номер абсолютно и беспрекословно подчиняется командиру орудия.

Все девять должны были знать свои обязанности, изложенные в форме девяти правил, и вытвердить эти правила наизусть. Вытвердить так, требовал Шмидлинг, чтобы помнить их даже во сне.

— Давай проверим,— сказал как-то вечером Вольцов, обращаясь к Хольту,— что это значит — помнить во сне?

В эту ночь Гомилка вскочил в два часа, разбудил Хольта, и они объединенными усилиями вытащили из постели Вольцова.

— Кого же нам испытать? — пробасил Вольцов.— Ну, разумеется, тупицу Бранцнера.

Вольцов включил свой карманный фонарик, все подошли к койке Бранцнера. Они стояли в одних рубашках, застиранных, залатанных, доходивших им только до колен. Вольцову рубашка была так тесна, что казалось, вот-вот лопнет на его могучей груди.

— Начали! — Гомилка и Хольт с двух сторон подхватили Бранцнера под руки и приподняли на постели. Вольцов направил фонарик прямо ему в лицо и прокричал:

— Начали! Второй номер!

— Второй номер, работая... работая...,— забормотал в испуге, все еще не проснувшись, Бранцнер. И, сразу очнувшись, отбарабанил как по-писаному:

— Второй номер, работая маховиком поворотного механизма, устанавливает на азимутальном лимбе скомандованный азимут.

— Так! Здорово!

А Бранцнер добавил к своему монологу:

— Ребята, вы что это, бредите? Среди ночи!

— Морда!!! Шестой номер! Начали! — Но Бранцнер не захотел больше отвечать.

Они оглянулись, ища новую жертву среди тех, кто еще не проснулся от раскатов вольцовского баса.

— Рутшер! Он так славно заикается! Начали!

И повторилось все то же самое. Только теперь в забаве принял участие весь барак.

Несколько секунд непроснувшийся Рутшер висел у них на руках. Но Вольцов ткнул ему под ребра и заорал:

— Начали! Раззява! Шестой номер! Слышишь?

— Шестой номер вставляет снаряд в раструб установщика взрывателя, отстопоривает рукоятку и вращает ее до отказа. При отсутствии установщика взрывателя устанавливает дистанционным ключом взрыватель согласно данным прибора управления огнем,— отбарабанил, заикаясь, Рутшер.

— Воистину! — воскликнул Вольцов.— Помнят во сне!

Неожиданно отворились двери, вспыхнуло электричество, и появился Готескнехт, без фуражки, в красном мохнатом халате и в ночных туфлях на босу ногу.

— Ага! Вот я вас и застукал,— злым голосом сказал Готескнехт.— Ночной отдых соблюдается железно. Кажется, я точно приказал? А вы? Беснуетесь в половине второго!

Первым опомнился Гомилка и встал по стойке «смирно», собираясь докладывать.

— Чепуха! — сказал Готескнехт.— Докладывать чуть ли не нагишом! В следующий раз вы еще вздумаете докладывать в клозете.

Кто-то засмеялся, но Готескнехт прикрикнул:

— Молчать!.. Что здесь происходит? — спросил он, оборачиваясь к Хольту.— Только по чести! Кого вы собрались бить и за что?

— Господин вахмистр! — ответил Хольт. — Мы никого не хотели бить, мы хотели только проверить, правда ли, что каждый орудийный номер может перечислить свои обязанности во сне, как того требует обер-ефрейтор Шмидлинг.

Готескнехт несколько секунд смотрел на Хольта. Лицо его смягчилось.

— Да? И как же? Может?

— Так точно, господин вахмистр. Бранцнер назубок ответил за второй номер, а Рутшер за шестой. Оба — во сне.

— Вы не лишены юмора,— сказал Готескнехт.— Марш по койкам! — Взгляд его задержался на Вольцове.— Ступайте-ка сюда. Хольта и Гомилку я могу отправить спать, они обулись, а вы стоите без сапог на грязном полу...

— Господин вахмистр, — перебил его Вольцов,— точно так же, как вы!

Готескнехт нахмурился. Продольная морщина прорезала его лоб.

— Вольцов! — крикнул он.— С меня довольно! — Он упер руки в бока, но голос его звучал уже совсем спокойно.— Я хотел велеть вам вымыть ноги и ложиться спать. А теперь — одевайтесь и марш! Ступайте за мной. Сейчас вы узнаете, что ждет того, кто ведет себя «точно так же, как я».

Наутро рассказы о ночном происшествии дошли до Шмидлинга.

— Вот уж понятия не имел, что наш вахмистр может дать такую выволочку, да еще ночью! — искренне сочувствовал он пострадавшему.

Теперь в перерыве между занятиями Шмидлинг все откровеннее беседовал с ними и много рассказывал о себе.

Хольт узнал, что он работал батраком в большом поместье. Дома его ждали жена и четверо ребятишек. На батарее Шмидлинг был единственный солдат ГС, то есть «годный к строевой службе в военное время». Ему давно уже полагалось быть на фронте, а он все еще находился в Германии. Он объяснял это тем, что майор, «вот тот, который наш командир», к нему расположен. Но все может измениться в любую

минуту, ведь расположение начальства утратить легко. Вот почему Шмидлинг так старался, чтобы сделать свой расчет образцовым, чтобы в стрельбе иметь наилучшие результаты, словом, чтобы к нему не могла придраться никакая «комиссия». Комиссий он очень боялся.

— Ничего! — сказал Хольт.— Пусть только кто-нибудь не захочет стараться. Придется ему иметь дело с нами.

Шмидлинг признательно кивнул.

— Родина везде родина, даже в Рурской области,— сказал он.

Хольт и Гомилка переглянулись.

Шмидлинг нечаянно выболтал то, что от них скрывали. Глаза их выражали полную растерянность.

— Ох, черт, да как же меня дернуло! Вам и знать-то этого не положено,— сокрушался Шмидлинг.

В обеденный перерыв об этом знали все.

3

Хольт с нетерпением ждал письма от Уты. Наконец во время раздачи почты выкликнули и его имя. Пришел пакетик от матери, она прислала сигареты. Но почему же не пишет Ута?

О матери он не тосковал нисколько. Зато чаще, чем прежде, думал об отце. Он не видел его почти четыре года. Слова Уты «Во всяком случае, он, очевидно, обладает характером» запомнилось ему. Может быть, у него вообще нет оснований стыдиться своего отца?

За обедом вахмистр опять принес почту. Хольт получил свое письмо последним и никак не решался вскрыть конверт. Потом ушел в казарму, лег на койку и принялся читать.

В маленьком городке жизнь текла, точно там никогда и не было гимназистов из седьмого класса. Слова, которые Хольт читал с таким нетерпением, звучали насмешливо и остроумно, как всегда. Только под конец тон их изменился. «Не думай,— писала Ута,— что для меня это лето прошло бесследно. Но не будем сейчас говорить ни о чем. Нас, королевских детей, как поется в народной песне, разделяет бездонный поток. Впрочем, если это доставит тебе удовольствие, можешь надеяться на мою привязанность. Насколько я тебя знаю, это подвигнет тебя на грандиозные патриотические деяния».

В тот же вечер. Хольт написал ей письмо, страстное и патетическое. У них завязалась регулярная переписка. Она отвечала на его влюбленность иронией и шутками. Письма ее всегда занимали ровно две страницы. Он тщательно их хранил. А крест носил в нагрудном кармане.

■

— Самое важное — это заряжание, — заявил в один прекрасный день Вольцов.

Заряжать боевыми патронами новичкам не разрешалось.

— Слишком тяжелая работа для мальчиков!— говорил Шмидлинг.

Каждый патрон весил около тридцати фунтов. Успеть за три секунды зарядить и выстрелить при угле возвышения семьдесят или даже восемьдесят градусов — дело нелегкое. Но Вольцов приставал до тех пор, покуда ему не разрешили надеть на правую руку огромную перчатку, чтобы не пораниться, и зарядить орудие боевым патроном, согласно пункту наставления, который Вольцов знал наизусть.

Обычно во время занятий над городом с громким жужжанием кружил древний-предревний самолет, служивший мишенью.

Скоро новички почувствовали себя опытными зенитчиками.

— Мы, старые вояки! — все чаще вставлял в разговор Вольцов.

Все, чему их обучали, действительно вошло им в плоть и кровь. Каждый день они усваивали что-нибудь новое.

Чистить орудие и протирать боеприпасы было не очень трудно. Они чистили, а Шмидлинг сидел вместе с ними, рассказывал о себе. Он показал им фотографии своих четверых ребятишек, и все хвалили маленьких крепышей, как называл их отец. Он показал Хольту и фотографию своей жены, маленькое фото, истертое оттого, что его так часто передавали из рук в руки.

— Вы только поглядите на нее! Ну и крепкая бабенка! Сильнее днем с огнем не сыщешь.

«Почему он так подчеркивает, что она сильная? — подумал Хольт.— Ведь для женщины это вовсе не так важно».

— Знаете, она прислуга в том самом поместье, где я был батраком. Просто счастье, когда женщина работает так споро! Теперь и оба старших паренька тоже не сидят без дела — пасут скот на горных лугах.

Но часы, когда все собирались у орудия, протирали патроны и болтали, перепадали редко. Усталые и разбитые, они валились вечером на свои койки, а часа через два раздавался звонок, приходилось вскакивать, и Готескнехт проводил с ними ночные занятия. Что касается Шмидлинга, то, обучая своих учеников, он проявлял воистину неистощимую фантазию.

— Теперь представьте, что боеприпасы у орудия кончились. Надо быстро доставить патроны из резервного боекомплекта,— говорил Шмидлинг.

И орудийные номера мчались в ночи от орудия к дальнему хранилищу боеприпасов, а оттуда обратно. Они задыхались от усталости, у них дрожали колени. Но Шмидлинг свистел в свой свисток, и, держа патроны в руках, все бросались на землю. И горе тому, у кого патрон касался земли. Каждый свисток означал разрыв снаряда.

Во время одного такого занятия Фетер получил прозвище Труп. Шмидлинг заставил их вести огонь по низко летящему самолету. Как только со стороны стадиона появился старый «клемм» и протарахтел над позицией, Шмидлинг громовым голосом закричал:

— Направление шесть! Самолет! В укрытие!

Они проделывали это уже сотни раз. Но сегодня Фетеру не повезло. Вместо того чтобы, увидев приближающийся самолет, броситься в укрытие под высоким бруствером, он в растерянности заметался и кинулся в противоположную сторону. А тем временем «клемм» с грохотом промчался у них над головой. Шмидлинг пришел в ярость. Он снова скомандовал «По местам!» и крикнул Фетеру:

— А вы, Фетер, извольте лежать! Вы мертвый! Мертвый! Труп идиотский! Вот вы кто!

— Какое зловещее прозвище! — сказал Хольт, когда остался наедине с Гомилкой.

Но даже Готескнехт теперь кричал:

— Эй, Фетер, труп, вы что, устали от жизни!

Ох уж этот Готескнехт! Все-то он знал, все-то он видел, все-то он слышал. И всегда появлялся в самые неподходящие минуты. В «газовые дни», когда всем приходилось с утра до вечера бегать в противогазах, Готескнехт превращался в истинного мучителя. Стоило только отвинтить соединительную трубку противогаза, чтобы дать доступ воздуху и хоть немножечко отдохнуть, как Готескнехт вырастал словно из-под земли, хватался за свой блокнот, и шестерки так и сыпались градом.

Проходя эту трудную службу, новички с напряженным интересом следили за сообщениями о ходе воздушной войны.

Бомбардировщики противника днем и ночью пересекали границу. Среди объектов воздушных налетов все чаще называлась Рейнско-Вестфальская область.

— Рейнско-Вестфальская область — это мы,— сказал как-то Хольт.

■

Наступил октябрь.

— Ты слышал? Вчера опять бомбили разные города, Бохуму особенно досталось,— сказал Вольцов и прочитал вслух сообщение о том, что во время налета на Бремен только отдельным самолетам противника удалось прорваться к городу.

Прошло еще несколько дней, и в печати появилось сообщение об успешном отражении воздушного нападения на Швейнфурт. «14 октября германская противовоздушная оборона еще раз доказала, что ее мощь непрерывно возрастает. Вражеской авиации пришлось убедиться, что ее разрушительному бешенству пришел конец». Сообщение вызвало взрыв оптимизма. «Мы трезво отмечаем, что в воздушной войне наступил перелом». И дальше: «Летчики сбитых самолетов находились в состоянии полной деморализованности, они говорили о «зенитном аде».

Перед такими сообщениями бледнели сводки с фронтов. Ну, кого там интересовало «расширение масштабов битвы на Востоке»?

— Кажется, мы вступаем в дело как раз в момент решающего поворота в ходе воздушной войны,— сказал Хольт.— Только бы кончилось наконец наше обучение.

В тот день они, как обычно, собрались на занятия в помещении столовой. Готескнехт оседлал своего конька — теорию стрельбы зенитной артиллерии. Тупица Хампель только что заработал третью шестерку, как вдруг раздался сигнал воздушной тревоги. Готескнехт тотчас сложил свои записки.

— Вот что,— сказал он,— давайте-ка и мы с вами включимся сегодня в боевую учебу.

Их стало знобить от страха.

Днем в боевой готовности находились только четыре орудия. Ночью на батареи прибывали рабочие и служащие из города, тогда к бою приводились шесть орудий.

Все тотчас бросились к двум свободным орудиям. Готескнехт отправился на командирский пункт.

Орудийный расчет Шмидлинга был страшно взволнован. Больше всех волновался сам Шмидлинг.

— Пожалуйста, не осрамите меня, прошу вас, пожалуйста,— твердил он без конца.— Если что и начнется... Не бойтесь... Обстрел не так страшен, как кажется, право же, не так страшен...

Через некоторое время послышалась команда «Отбой!»

■

Утром на построении Готескнехт во всеуслышание объявил:

— У меня есть для всех вас сюрприз! В нашем учебном плане предусмотрены четыре часа занятий по огневой подготовке. Мы начнем ровно в десять. Для обозначения цели специально выделен бомбардировщик, который будет лететь прямо на нас. Покажите, чему вы научились. Перестаньте улыбаться, Хольт! Чему вы улыбаетесь?

— Господин вахмистр! Этот бомбардировщик окажется на поверку нашим же старым «клеммом». Боюсь, как бы в один прекрасный день он не свалился нам на голову!

— Ерунда! — воскликнул Готескнехт.— Сегодня к нам летит настоящий «юнкерс-88» — это ведь итоговое занятие.

«Начинается,— думал Хольт,— наконец-то!» Он посмотрел на Готескнехта, излучающего спокойствие и уверенность.

— Во время занятий,— продолжал Готескнехт,— я со всей придирчивостью проверю орудийные расчеты. И если все будет в порядке,— он помолчал и закончил уже деловым тоном: — можете отнести в каптерку свои пожитки. Нашу батарею перебрасывают в район Эссена, Ваттеншейда и Гельзенкирхена. Местность идеальная! Отправляемся сегодня ночью.

Все давно уже ждали этого, но, услышав слова Готескнехта, вздрогнули, словно от удара.

— Святой Антоний! — воскликнул Готескнехт.— С чего это вы скорчили такие физиономии! Разве вы не понимаете, что нас ждет прекрасное житье? Я обещаю вам полное спокойствие, если только случайно в нас не станут стрелять или если вас не начнут обучать школьной премудрости, не пошлют разгружать боеприпасы, не заставят засыпать воронки от бомб или что-нибудь еще в этом же роде. Смирно! Вольцов, перестаньте болтать! Вы утверждаете, что вы сын офицера?! Вы позор батареи!

— Господин вахмистр, я протестую против «позора батареи». Это...

— Вольцов! Два шага вперед! Нале-во! Шагом — марш! Лечь!.. Встать!.. Лечь!..

Готескнехт повернулся к правому флангу.

— Шмидлинг, продолжайте! Помуштруйте-ка своего любимчика, нахала этакого! Десять минут, но как следует!

И, повернувшись к Вольцову, который лежал не двигаясь, Готескнехт крикнул:

— Га-а-а-зы! Так, прекрасно, очень хорошо, нет, не все, только Вольцов! Чтоб получше запомнил конец занятий!

Вольцов натянул противогаз.

Готескнехт приказал:

— Шмидлинг, проверьте, как натянута маска! Не мошенничает ли Вольцов?.. О господи, Шмидлинг, что вы делаете? Надо просто зажать трубку, и, если через пять минут он будет жив, значит, противогаз надет не плотно!

Все расхохотались.

— Вот и прекрасно, что вы все в таком чудесном настроении. Хольт! А вы? Почему вы не смеетесь?

— Господин вахмистр, Вольцов мой друг. Вы понимаете, что я не могу веселиться, если моего друга муштруют подобным образом.

— Как прекрасно иметь такого верного друга! — воскликнул Готескнехт.— Как вы сказали? Я понимаю? Да вы и понятия не имеете, что́ именно я понимаю! Хольт! Начали! Га-а-зы! — Хольт вытащил противогаз и тотчас надел его.— Шмидлинг, ну-ка, возьмите в работу вместе с Кастором и Поллукса. Вы что, не поняли меня? Поманежьте-ка Хольта! Ну как, Вольцов, разделенное горе — полгоря? Не правда ли, я справедлив?

В казарме только и разговора было что о предстоящем отъезде. Как все ни пыжились, им было очень страшно.

— Случится ли что с тобой, нет ли,— заявил Вольцов,— все предопределено заранее. Ничего ты не можешь поделать. Кому суждено погибнуть, тот и погибнет. От своей судьбы не уйти, где бы ни находиться: в Руре или на Восточном фронте.

— Велик Аллах,— заметил Гомилка,— все записано в книге бытия. Твоя покорность судьбе — удивительно удобная штука.

— Мой отец,— вскричал Вольцов,— мог бы порассказать немало историй о людях, которые думали, что они могут уйти от судьбы. Он проверил это на собственном опыте во время двух войн.

«Пусть будет, что будет»,— подумал Хольт.

Около десяти обер-ефрейтор повел их на занятия. Готескнехт целых полчаса пробыл возле орудия Шмидлинга. В его присутствии они повторили всю программу. У него не нашлось никаких замечаний.

— Что ж, Шмидлинг, вы подготовили очень неплохой расчет.

Шмидлинг передал похвалу своим подопечным.

— Отличные вы парни, нам надо держаться вместе.

Они лежали на соломенных тюфяках и усердно писали письма. Под вечер сходили за пайком. А едва вернулись, как в дверях показался Готескнехт.

— Милостивые государи, покорнейше прошу вас... Карета подана! Пора лить слезы на прощанье.

Огромный трехосный грузовик мчался в ночи. Сухое знойное лето сменил октябрь, пасмурный, иногда дождливый, иногда холодный. В дождь и в изморось стояли они у орудий. Потом опять наступили сияющие прозрачные осенние дни. Но эта ночь была темной, студеной, беззвездной. С потушенными фарами машина неслась на запад.

4

Уже светало, когда машина остановилась на пригорке. Было часов пять утра. Воздух, насыщенный белесым туманом, отдавал копотью и дымом. Они стояли, дрожа от холода и сырости.

Обер-ефрейтор вынырнул из тумана — через его левое плечо был переброшен желтый шнур дежурного унтер-офицера.

— Привет, Фриц! — обрадованно крикнул Шмидлинг.— Это наш оружейник, обер-ефрейтор Махт!

— Тише вы,— сказал Махт, человек лет тридцати пяти, маленький, толстый и белокурый,— тише, там командир спит!

— Как прошла ночь? — осведомился Шмидлинг.

— Здесь было спокойно,— ответил Махт,— но на севере задали жару.

— Ну, а вообще как?

— Каждую ночь,— сказал оружейник,— и чуть ли не каждый день.— И, повернувшись к вновь прибывшим, скомандовал: — Шагом марш!

В одном из бараков разместилась каптерка. Барак А, прозванный «Антоном», находился метрах в пятидесяти от нее. Хольт управился быстро. Он прошел несколько шагов по дороге, остановился и осмотрелся кругом.

Светало. Вот-вот взойдет солнце. Утренний ветер раздвинул завесу тумана, огневая позиция батареи теперь была ясно видна. Хольт постарался запомнить местность, окружающую батарею. Голый гребень холма, земля грязно-серая, поля скудные, каменистые. На востоке виднелся лес из иссохших, голых стволов — печальное напоминание о пышных и непроходимых горных чащах. Четыре далеко друг от друга отстоявших барака образовывали прямоугольник, стороны которого с запада на восток составляли приблизительно сто пятьдесят метров, а с юга на север — не более семидесяти пяти. В утреннем свете Хольт видел слева от себя «Антона», справа «Берту», а немного подальше — каменный домишко с вывеской «Столовая». Между «Антоном» и «Бертой» располо-

жилась кучка бараков поменьше — склад, канцелярия, кухня и квартира капитана. Слева к «Антону» вел решетчатый настил, к «Берте» и к столовой — широкая проезжая дорога, которая загибала на юг, шла вниз, пересекала железнодорожный путь и наконец сливалась с шоссе. По другую сторону шоссе, с востока на запад, тянулся канал. Над ним еще висел белесый непрозрачный туман. К северу от «Берты», на западном склоне холма, Хольту открылся барак «Цезарь», а к северу от «Антона» он уже различал барак «Дора» и одинокое большое дерево перед ним. Посередине этого прямоугольника расположилась батарея: на высоком холме — батарейный командирский пункт и вокруг него — шесть орудий. За командирским пунктом в окопе стояла радиолокационная станция. К западу от огневой позиции на перепаханном поле рядком вздымались четыре больших подземных склада резервных боеприпасов.

Глазам Хольта представился могучий индустриальный пейзаж. Куда ни глянь — гигантские фабричные трубы, извергающие серый дым, и снова трубы, снова доменные печи, из которых к небу рвется алое пламя. И все это в чаду, в тучах дыма, лениво расползающихся на ветру, связано воедино грохотом железных дорог, замкнуто в океане домов: Эссен на юге и западе, Гельзенкирхен на севере и северо-востоке, Ваттеншейд на востоке.

«И все это доверено мне»,— думал Хольт. Гордость шевельнулась в нем. Но позади грубый голос заорал:

— Нечего тут стоять! — Унтер-офицер, тридцатилетний малый в пилотке, надвинутой на глаза, подбежал к нему.— Вы чего дожидаетесь? Живо убирайтесь отсюда, через десять минут перекличка!

Батарея построилась на широкой дороге, которая проходила по краю огневой позиции и соединяла канцелярию со столовой. На правом фланге стоял унтер-офицер и десять обер-ефрейторов. Двадцать восемь новичков выглядели усталыми и невыспавшимися. Хольт смотрел на тех, кто уже давно служил на батарее, и с уважением думал: «Эти были в гамбургской передряге».

Перекличка прошла не совсем гладко. Вольцов сцепился с одним из «старичков», который хотел отодвинуть его в сторону.

— Веди себя прилично,— сказал Вольцов.

— Заткни пасть!

— Это почему же?

— Погоди, ты у меня еще попляшешь!

— Не разговаривать в строю! — прорычал унтер-офицер по фамилии Энгель.

Из второй шеренги послышался шепот:

— Оставь его, Гюнше, мы ему еще покажем.

«Плохо дело»,— подумал Хольт. Он видел, как Вольцов презрительно поджал губы. Сзади кто-то пробормотал:

— Этот желторотик еще нас узнает!

Энгель докладывал вахмистру. Готескнехт молча глядел на новичков. Из канцелярского барака с бешеным лаем выскочил рыжий сеттер, помчался к батарее, ворча, обежал строй и ринулся обратно к канцелярии, из которой в это самое мгновенье вышел командир батареи, капитан Кутшера.

— Батарея... смирно! — не своим голосом крикнул Готескнехт.

«Значит, и этот умеет кричать»,— подумал Хольт.

— Равнение направо...— Готескнехт доложил: — Личный состав батареи построен.

Капитан небрежным движением поднес руку к козырьку, шагнул вперед и громовым голосом крикнул:

— Здравствуйте!

Зенитчики дружно ответили.

— Вольно! — подал команду Кутшера. Даже когда он говорил тихо, голос его гремел.

Готескнехт повторил команду и остался стоять позади капитана. Кутшера некоторое время спокойно разглядывал строй.

Хольт смотрел на здешнего властелина. Это был пятидесятилетний огромный человек, ростом чуть ли не в два метра, словом, фигура устрашающая. На сером широком плаще, доходившем ему до щиколоток, никаких знаков различия не было. Только на фуражке у козырька — серебряный офицерский шнурок. Фуражка, лихо заломленная на удлиненной голове, торчавшей из серого плаща, бросала тень на лошадиную, резко очерченную физиономию. В этом лице все вытягивалось в длину — мясистый нос, толстогубый рот. Глаза из-под козырька глядели холодно и грозно. Сеттер лежал у ног капитана, положив голову на передние лапы.

— Вот что,— сказал Кутшера. Он едва разжимал губы, но голос его звучал сурово и отчетливо.— Распределить людей по орудийным расчетам. Если на это уйдет больше получаса, вам не сдобровать. В восемь ноль-ноль...— он вынул из кармана левую руку и взглянул на часы,— я докладываю о готовности батареи. Эти скоты там наверху зашевелились, и я им не покажу, где раки зимуют? Этому не бывать.— Он объяснил задачу батареи: — Оборона близлежащих промышленных объектов и жилых кварталов от налетов авиации противника.— Он круто оборвал свою речь и собрался уходить, собака уже вскочила на ноги. Вдруг Кутшера остановился и грозным голосом произнес:— Вот что я хочу сказать новичкам! Если кто-нибудь из вас в первом бою наложит в штаны, меня это не касается. Но горе тому, кто начнет паниковать. Если такого не отколошматят товарищи, то все равно «старички» спуску не дадут. Самовоспитание — вот надежнейшее средство.

Голос капитана вывел Хольта из задумчивости.

— И еще! Сегодня после обеда огневая служба в составе батареи. Я присмотрюсь к новичкам. Может быть, появится парочка «amis», это всего лучше... А, да что там! — вдруг проговорил он и повернулся. Пес запрыгал и залаял.

— Тише, ты! — Капитан пошел по направлению к канцелярии.

Готескнехт производил распределение по расчетам. Шмидлинг выкликал:

— Вольцов! Хольт! Гомилка! Сюда!

Они остались вместе в орудийном расчете «Антон». В состав расчета вошли также Вебер, Кирш, Бранцнер и Катнер, по ночам обслуживавшие орудие «Берта».

— Вот это здорово! — Шмидлинг обрадовался, что его подопечные опять все вместе.

Готескнехт назначил к ним еще одного «старичка» в качестве заместителя командира орудия. Его звали Гюнтер Цише. Это был коренастый белобрысый парень лет семнадцати, несколько полноватый, с женственным лицом, нечистой кожей и огромной бородавкой на левом виске.

— Барак «Дора» расположен всего благоприятнее, в отдалении,— сказал Вольцов,— туда дежурные унтер-офицеры редко наведываются!

Цише пояснил, что здесь только немногие из бывших тогда в Гамбурге — двенадцать человек — работают на радаре да двое дальномерщиками. Их не пожелал отпустить капитан Кутшера, все остальные остались в Гамбурге. Человек пятьдесят из вспомогательной службы были родом из близлежащих городов. Их набрали из других батарей и неделю назад прикомандировали к 107-й батарее. Она находится здесь всего неделю.

— Сущее издевательство,— говорил Цише, покуда они устраивались в крохотной комнатушке.— День-деньской строили, копали, таскали боеприпасы! Правда, основную работу делали русские из лагеря, им, конечно, покруче пришлось. Конвоиры подбадривали их дубинками.

— Дубинками? — переспросил Хольт.— Разве это практикуется?

— Ты. что, с луны свалился? — заметил Цише.— Почему бы нам обходиться без дубинок?

— А ты разве не слышал о международном праве? — поинтересовался Гомилка.

— Не ерунди! В этой войне речь идет о жизни и смерти, и тут уж не до правовых соображений!

■

Колокол прозвенел раз, два, три...

— К орудию! — крикнул Цише.— Живо каски, противогазы! Окна открыть, не то стекла вылетят!..

Шмидлинг уже развязывал чехол на орудии, парни стаскивали и складывали его. Шмидлинг надел на шею ларингофон и получше закрепил наушники. Маленький Вебер подбежал к поворотному механизму. Гомилка был первым номером и начищал до блеска маховик вертикальной наводки, а Фетер, несколько бледный, сидел у установщика взрывателей.

Шмидлинг то и дело переключал ларингофон.

— «Антон»... Слышу хорошо!

Вебер доложил:

— Есть азимут!

— Азимут готов!

Следом за ним Гомилка:

— Есть угол места!

Затем Фетер:

— Есть взрыватель!

Заряжающий Вольцов усмехнулся и надел на правую руку перчатку.

Хольт стоял в сторонке. «Ладно, пусть я только подносчик патронов. Это имеет свои преимущества — больше увидишь. Боюсь я или нет?» — вдруг спросил он себя.

Внезапно с батарейного командирского пункта унтер-офицер Энгель гаркнул:

— Воздушная тревога!

И в то же мгновение повсюду в этом огромном гнезде городов взвыли сирены, оглушительно и нестерпимо. Ну, значит, будет дело. Хольт увидел капитана. Держа каску в руках, в наброшенном на плечи плаще, он шел к командирскому пункту. Собака, по обыкновению, бежала за ним.

— Открыть ниши! Подготовить патроны! — приказал Шмидлинг.

Хольт с трудом отвалил одну из тяжелых досок, опустил ее на землю и поставил несколько патронов в ящике так, чтобы их сподручно было вынимать. Он был возбужден и непрерывно призывал себя к мужеству.

— Тихо! — заорал Шмидлинг. — Воздушная обстановка!

Хольт вслушивался так напряженно, что лицо у него кривилось.

— Над южной Голландией две группы тяжелых бомбардировщиков идут к границам рейха.

— Над южной Голландией? Значит, будут и здесь, — заметил Цише.

В орудийный окоп вошел обер-ефрейтор Махт, с желтым шнуром дежурного через плечо. Он курил, на руке у него болталась каска.

— Встань на третий номер, Фриц,— обрадованно выкрикнул Шмидлинг. И приказал: — Вольцов, давайте-ка сюда перчатку.

Вольцов запротестовал.

— Вы сказали, что мне нужно будет заряжать!

Шмидлинг стал красен как рак.

— Извольте повиноваться!

Вольцов, ворча что-то себе под нос, снял перчатку и швырнул ее в дежурного, который с озадаченным видом ее подхватил.

Шмидлинг был страшно взволнован. С момента, когда была подана команда «К бою!», он все время твердил:

— Только не осрамите меня, ребята, очень вас прошу... — Потом вдруг:— Чует мое сердце, что сегодня дело будет нешуточное.

— Воздушная обстановка! — крикнул Шмидлинг.— Бомбардировщики противника над Руром! Сейчас начнется!

На командирском пункте раздался отчаянный собачий лай, отчего возникло лихорадочное беспокойство.

— Капитанов Блиц нюхом чует пальбу! — заметил дежурный, сидевший рядом с Хольтом на станине.

На командирском пункте Кутшера опустил бинокль и окрысился на пса:

— Тише ты, старик, не то вылетишь отсюда! — Лай замолк.

Вдруг где-то вдали послышалось тонкое жужжанье. Хольт даже в висках чувствовал биенье сердца. Он не спускал глаз с командирского пункта, звонкий молодой голос крикнул оттуда:

— Шум моторов в направлении девять!

Гряда облаков все еще стояла на западе. С командирского пункта над позицией разнесся зычный голос капитана:

— По самолетам! Направление девять!

Все орудия повернулись к западу.

— Есть данные взрывателя! — крикнул Фетер, мертвенно-бледный от страха.

Хольт машинально нахлобучил на голову каску, выхватил патрон из ящика, подал Вольцову. Вольцов стал немедленно закладывать его в раструб установщика взрывателя, кивая при этом Хольту... Очень это, мол, здорово. Шмидлинг крикнул:

— Стрелять по данным ПУАЗО*!

Вебер уже докладывал:

— Есть азимут!

За ним Гомилка:

— Есть угол места!

— Взрыватель! — крикнул Шмидлинг. — Что случилось с взрывателем?

Все это Хольт видел и чувствовал как бы издалека, потому что его охватил страх. Страх перед первым выстрелом, страх перед бомбами, страх перед всем происходящим окутывал его, как утренний туман. Хольт с патроном под мышкой стоял за спиной Вольцова, жужжанье в небе все усиливалось, и вот уже послышался гром, грохот, словно надвинулась могучая гроза. Дежурный унтер-офицер, стоявший позади орудия, сказал:

— Это заработали батареи в Мюльгейме!

И тут наконец раздался голос Фетера:

— Есть взрыватель!

— «Антон» готов к открытию огня! — закричал Шмидлинг.

---

* Прибор управления артиллерийским зенитным огнем.

Потом все пошло гладко, как на маневрах. С командирского пункта до Хольта донесся голос Кутшеры:

— Огонь!

И тут же Шмидлинг повторил команду:

— Огонь!..

Сердце Хольта перестало биться. Махт выхватил снаряд из раструба установщика взрывателя и сунул его в ствол, клин затвора дернулся кверху, рука взялась за спусковой рычаг... «Надо рот открыть»,— едва успел подумать Хольт, как уже блеснула молния, раздался треск, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки, и все кругом заволокло пылью и чадом.

После нескольких выстрелов Шмидлинг подал команду:

— Стой!

Хольт обернулся к командирскому пункту. Там в это мгновенье поднялся отчаянный шум.

— Направление девять! Группа самолетов! — крикнул кто-то.

Хольт взглянул на небо. Вот оно! Стая крохотных точек, отливая серебром в солнечных лучах, выплыла из гряды облаков в синеву неба, а вокруг нее, словно завороженные, стояли облака разрывов зенитных снарядов. «Они минуют нас!» — с облегчением подумал Хольт. Далее все произошло очень быстро.

— Цель поймана! — послышалось на командирском пункте, и голос Кутшеры снова выкрикнул: — Заградительный огонь!

Махт удовлетворенно сказал:

— Стреляют без ПУАЗО, прямой наводкой. Ну, теперь им дадут жару.

— Заградительный... огонь! — кричал Шмидлинг.

«Открыть рот!» — опять мелькнуло в уме Хольта. Он видел Фетера — тот, как шарманщик, крутил рукоятку, видел, как после выстрела, словно в пляске святого Витта, исказилось лицо дежурного унтер-офицера, и видел также, что Шмидлинг наконец вздохнул с облегчением.

■

Несколько дней спустя Хольт, Вольцов и Цише шли по решетчатому настилу. Вдруг трое «старичков» разом вышли с командирского пункта — это были рослые, дюжие парни. «Одного тогда утром на построении называли Гюнше,— вспомнил Хольт, подозрительно их разглядывая.— Двое других скорей всего близнецы, до того они похожи друг на друга». Цише живо свернул налево и, ни слова не говоря, пошел своей дорогой. Хольт и Вольцов остановились.

— Послушай-ка, новичок... — сказал Гюнше.

Он был намного ниже Вольцова.

Вольцов тотчас же перебил его:

— Новичок? Меня зовут Вольцов, и тебе еще представится возможность это запомнить!

«До чего здорово и дерзко,— подумал Хольт.— Только бы не оробеть». Гюнше высоко вздернул брови, глаза его сверкали. Близнецы, стоявшие позади него, дружно выдохнули воздух и вытащили руки из карманов.

Гюнше с угрозой в голосе произнес:

— Замолчи! Еще слово, и тебе крышка.

Хольт заметил, что Вольцов нагнул голову, и быстро сказал:

— Ну, вы, гамбуржцы, чего пристали!

Гюнше на него накинулся:

— Заткни свою пасть, не то...

— Не то что? — заорал Вольцов.

Все остальное произошло очень быстро. Хольт получил удар в лицо и в мгновенье ока швырнул долговязого Гюнше на настил. Он еще видел, как Вольцов сбил с ног близнецов, но тут, ворча, подбежал сеттер, а вслед за ним немедленно появился капитан. Громовой голос пророкотал:

— Что у вас тут творится? Что вы себе позволяете, мерзавцы этакие?

Хольт отпустил ошалевшего Гюнше. Вольцов вытянулся перед капитаном. У одного из близнецов из носу по губам и по гимнастерке текла густая темно-красная кровь, другой корчился на земле, ловя воздух ртом. «Гильберт, видно, здорово двинул его в живот»,— подумал Хольт.

— Привязать к дереву и отодрать! — гремел Кутшера. — Новички колошматят «старичков», да где же это видано?

Его симпатии явно склонялись на сторону гамбуржцев.

Внезапно рядом с ним очутился Готескнехт. Кутшера бросил на него сердитый взгляд. «Если он сейчас предаст нас,— думал Хольт,— значит, Гильберт прав и Готескнехт сволочь». Но Готескнехт тихо, как всегда, проговорил:

— Прошу прощенья, господин капитан, я наблюдал за всем с командирского пункта. Новички на этот раз не виноваты. Гюнше первый полез в драку.

— Так-с! — недовольно пробурчал Кутшера. Но тотчас добавил:— В таком случае, я не вмешиваюсь... Гюнше! — заорал он вдруг и зашагал прочь, сопровождаемый своим псом. Готескнехт сказал:

— Ну а теперь, господа, спокойствие, не то ввяжусь я и накажу вас всех вместе!

Не успел Готескнехт скрыться, как Гюнше пробормотал:

— Смотрите, это вам недешево обойдется!

Вольцов сказал только:

— Молчать... — И вдруг, сжимая кулаки, всем телом подавшись вперед — Хольт никогда еще не видел его в такой ярости,— прохрипел: — Я вам еще покажу... Да так, что опомнишься в госпитале!

— Хватит! — сказал Хольт и потянул Вольцова за собой.

■

В комнате они занялись уборкой своих шкафов.

— Если эти скоты не оставят нас в покое, я с ними и один расправлюсь,— пригрозил Вольцов.

Цише не без иронии заметил:

— Не очень-то задавайся. Эти гамбуржцы сильные парни.

— Ты тоже хочешь заработать? — Вольцов впился в него глазами. Хольт сказал Цише:

— Ты просто трус. А разве мы не у одного орудия стоим? Не в одной комнате живем?

— Я здесь «старичок» и не буду портить отношения с товарищами.

— Через полгода мы все станем «старичками»,— возразил Хольт.

Вольцов с треском захлопнул шкаф.

— Меня вахмистр и без того терпеть не может, а за что — неизвестно. И капитан тоже. Так что мне на все наплевать! Я против всей батареи пойду. Выстраивай их, пожалуйста, этих господ «старичков», по мне, пусть все сразу приходят. Ты что, воображаешь,— закричал он, глядя на Цише,— я очень боюсь, что мне морду искровенят? Пусть уж

они лучше меня до смерти забьют, а не то я им попомню — око за око, зуб за зуб, покуда смогу хоть пальцем шевельнуть.

— Мне что же, с рапортом идти? — поинтересовался Цише.

— Если ты не будешь держать нашу сторону... — пригрозил Хольт.

Фетер крикнул из глубины комнаты:

— Смотри, шут несчастный, как бы мы тебя в порошок не стерли.

— Не надо этого делать! — сказал Готескнехт, внезапно выросший в дверях.— А то его мамочка себе все глаза выплачет.

«Он наверняка уже давно стоял у дверей и подслушивал,— подумал Хольт.— Плохо, что наш барак на отшибе! Надо бы хоть сигнализацию устроить...»

Готескнехт оглядывался вокруг. Цише наконец спохватился и скомандовал «Смирно!». Готескнехт втянул воздух носом.

— Господа изволили курить! А курить запрещено!

Он подошел к открытому шкафу — это был шкаф Цише,— двумя пальцами взял книгу, вытащил ее и прочитал заглавие:

— «Странник между двумя мирами». Ага! Кто же это из вас читает такие истинно немецкие книги?

— Я, господин вахмистр!

— Так-так! Вольцов, Хольт... пойдете со мной!

Он шел впереди них по решетчатому настилу.

— Так. Ну а теперь начнем. Бегом — марш!

Секунда недоумения, и оба побежали вниз по склону.

— Слушай мою команду!

Они, как два дерева, встали перед Готескнехтом, который, широко расставив ноги, казалось, прирос к настилу.

— Ложись!

Оба бросились наземь.

— Так, а теперь живо ко мне!

Они поползли вверх по крутому склону.

— Встать! — приказал Готескнехт.

Он смотрел им в глаза, он совсем не сердился.

— Вольцов, вы все еще в ярости! Жаль! — И тоном почти озабоченным добавил: — Я ведь прав, Вольцов, не так ли? Вы в ярости!

— Так точно, господин вахмистр!

— Вот видите! Я все узнаю по глазам. Это я у одного пастуха перенял, он по зрачку узнавал решительно все: беременность, рези в животе, переломы... Ну а теперь поупражняемся еще немного, покуда у Вольцова уляжется ярость, а то с ним ведь нельзя спокойно разговаривать. Хольт, вы уж его не покидайте, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Вам ведь хочется быть с ним рядом? — спросил он, и голос его снова звучал озабоченно.

— Так точно, господин вахмистр!

— Отлично! Видите, Вольцов, что значит дружба! Сейчас вы побежите со склона до шоссе, сто двадцать метров! А затем снова взберетесь наверх, вприпрыжку, заячьим скоком, знаете это упражнение?

Они ринулись вниз.

— Гильберт, я не пойму, чего он добивается, но ты не волнуйся.

— Я его еще спущу с этой горки! — прошептал Вольцов.

Они вприпрыжку взбирались вверх по склону холма. Ноги Хольта мучительно болели, мускулы сводила судорога, колени безудержно дрожали. Вольцов опередил его. Склон становился почти отвесным, Хольту не хватало дыхания. «Это оттого, что я курю»,— пронеслось у него в мозгу. Он боролся с желанием броситься на землю и передохнуть. С одеревенелыми ногами, с болью в спине, изнемогая и задыхаясь, добрался он наконец до настила.

— Ну, как дела? — осведомился Готескнехт. Сдвинув фуражку на

затылок, он курил сигарету и явно пребывал в наилучшем расположении духа.

— Упражнение трудное, а у нас недостает тренировки,— отвечал Хольт.

— Да? Значит, надо чаще упражняться, за мной дело не станет.— Он обернулся к Вольцову: — Ну как, все еще в ярости?

Вольцов не отвечал. Готескнехт ухмыльнулся.

— Господин вахмистр,— сказал Вольцов,— разрешите доложить, что я по горло сыт этим заячьим скоком!

Готескнехт так и вскинулся:

— По горло сыт! Вы слышали, Хольт? Вот это словцо, за него вам полагается единица. Ну и порадовали же вы меня!

Он вытащил из кармана записную книжку.

— Господин вахмистр, от этой единицы мне проку чуть, мне все еще не дают увольнительных.

— Не давали,— перебил его Готескнехт.— Начиная с сегодняшнего дня будут давать, вы же доставили мне неописуемую радость! А то, что сегодня вы впервые за время своей службы признали себя «сытым по горло», это надо еще и отпраздновать. В субботу вечером я вас приглашаю выпить пива, и вас тоже, Хольт, за то, что вы такой верный Поллукс при этом Касторе. Знаете что, Вольцов? Я с вами заключаю мир. А знаете еще, почему у меня был зуб на вас?

— Вполне могу себе представить,— буркнул Вольцов, совсем уж не по-военному,— из-за дяди Ганса!

— Уж эти мне офицерские сынки,— сказал Готескнехт,— они у меня вот где сидят! Один такой служил у нас — папаша у него был майор, ну тут и пошло, это еще в мою бытность унтер-офицером. Он только и знал, что жаловаться отцу, тот придирался к нашему командиру, а командир без устали срывал злобу на мне. С тех пор я всегда настороже, и вы должны меня понять, Вольцов. Вот я и думал, что в вашем случае меня примется травить все начальство до самого верха. Так нет же! Не такой оказался Вольцов. Нет! Не сделал мне гадости! А я-то думал — неужто он так глуп, чтобы в письме, которое проходит через мои руки, натравливать на меня генералитет. Неделю назад я специально поехал на машине вслед за подавальщицей из столовой, которой вы передали франкированное письмо. Ну, теперь я его поймаю, думал я. Черта с два! «Здесь у нас отлично» — стояло в письме. Я был прямо-таки разочарован.

Вольцов и Хольт захохотали.

— Почему, собственно, вы не отправили письмо полевой почтой?

— Потому, что я в нем просил прислать мне сигарет, и еще потому, что почта у вас всегда дня три валяется в канцелярии.

— С вашей этого больше не будет, она теперь будет уходить с курьером! И ваша тоже, Хольт! — Он ухмыльнулся.— Сумасбродная, видно, девчонка, ваша Ута!

— Господин вахмистр!..— Хольт почувствовал, что краснеет.— Очень вас прошу, это же сугубо частная корреспонденция!

— Кстати, для вас есть письмецо.— Он сунул руку в нагрудный карман и вручил Хольту хорошо знакомый тому узкий жесткий конверт.

— Ну разве я плохо к вам отношусь? Поищите-ка еще командира, который возьмет на себя роль postillon d'amour.

Он внезапно сделался серьезным.

— Шмидлинг докладывает, что вы хотели бы быть заряжающим, Вольцов. Капитан согласился, но хочет еще лично убедиться при следующей тревоге. Надо, чтобы вы это знали.

— Есть, господин вахмистр!

— А теперь перейдем к делу. Вы ставите меня в трудное положение, Вольцов! Вы восстановили против себя «старичков», и они, конечно,

отчаянно изобьют вас! Капитану это по душе. Такие расправы он называет самовоспитанием.

— Господин вахмистр,— надменно возразил Вольцов,— не хочу хвастать, но, уверяю, на батарее нет того, кто внушал бы мне страх.

— Да, но их явится целая дюжина!

— У меня тоже есть друзья. Хольт знает джиу-джитсу, а Гомилка, если выйдет из себя, уж сумеет задать им перцу.

— Вот это мне как раз и внушает опасения,— заметил вахмистр.— Я не боюсь, что вас хорошенько проучат, случись это, я был бы в восторге! Но стенка на стенку, как в старину... Это не годится... Вдобавок вы еще кого-нибудь убьете, Вольцов. Это отрицательно скажется на нашей боеготовности. До сих пор мы жили спокойно, но здесь уже бомбят, и батарея должна всегда быть на высоте.

— Господин вахмистр, не мы начали,— заметил Хольт.

— Знаю...

— Пусть они оставят нас в покое,— выкрикнул Вольцов.— Мы стреляем не хуже «старичков». Я против них ничего не имею, но пусть не привязываются и относятся к нам с уважением.

— Я был в «Берте» у гамбуржцев,— сказал Готескнехт.— «Вольцову надо задать основательную взбучку,— говорят они,— да и Хольту за компанию». Я им это запретил, но что толку? Капитан ведь ничего против не имеет!

— В таком случае, все пойдет своим чередом, господин вахмистр.

— Я знаю только один способ положить конец этой комедии,— задумчиво произнес Готескнехт и пристально взглянул на Вольцова.— Если бы капитан запретил гамбуржцам! Кто-нибудь должен втолковать ему... Сверху, вы меня понимаете? Вольцов, я оставлю вас одного в канцелярии для телефонного разговора с вашим дядей.

— У генералов и без того забот хватает, господин вахмистр.

— Жаль,— отозвался Готескнехт. Он поправил портупею.— Объявите, что занятия сегодня отменяются. После чистки орудия — свободное время. Всего.

■

Хольт взял из канцелярии свой личный знак и заодно захватил почту для Вольцова.

— Моего дядю произвели в генерал-лейтенанты! — крикнул Вольцов, прочитав письмо.— Вот это я понимаю — карьера!

Цише был поражен.

— Генерал-лейтенант! Ну, теперь многое становится понятно!

— Чур не завидовать! — благодушно буркнул Вольцов.

Вдруг раздалась команда «К орудиям!». У орудия сегодня было только шестеро новичков. Кирш, Бранцнер, Катнер и Вебер дежурили у «Берты». Взамен их прислали четырех подносчиков патронов. Невыспавшиеся, переутомленные парни курили, чтобы не заснуть.

Хольт был сегодня вторым номером и сидел у поворотного механизма. Цише надел наушники.

Шмидлинг потянулся за перчаткой заряжающего, но Вольцов запротестовал. В это мгновение послышался сигнал воздушной тревоги, в городах завыли сирены... Цише принял первое сообщение: «Большая группа самолетов противника проходит над Голландией в направлении Кёльн—Эссен...»

— Самолеты поворачивают на восток,— вскоре объявил Цише.

Но на командирском пункте уже залаял сеттер, капитан выругался. Считанные секунды, и над их головами снова послышался невыносимо назойливый шум моторов.

— Стрелять по данным ПУАЗО! — передал команду Цише. Но самолеты противника оставались за пределами досягаемости огня батареи. Не менее получаса в северном направлении шли эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. В небо вонзались лучи прожекторов. Вдали гремели тяжелые зенитные орудия.

— Самолеты противника бомбят район Ганновер—Брауншвейг,— сообщил Цише.

Хольт взглянул на свои часы. Циферблат чуть-чуть светился. Несколько минут до полуночи. «Спать, спать»,— думал он, но Цише крикнул:

— «Антон»... понял! Воздушная тревога!

Опять завыли сирены.

— Направление три! — крикнул Цише.

Шмидлинг спросил:

— Вольцов, перчатка у вас?

— Бомбардировщики противника подходят к району Кёльн — Эссен,— сообщил Цише.

В это мгновенье ярко-красным вспыхнуло небо на западе. Пламя рванулось к облакам.

— Это сталелитейные заводы, домна дает металл! — заорал Цише.

«Подумать, они задувают домну во время налета»,— мелькнуло в мозгу Хольта.

— Самолеты противника на большой скорости прошли над Дортмундом! — крикнул Цише.

— Батареи в Дортмунде,— сказал Шмидлинг,— не стреляют по самолетам-разведчикам. А Кутшера стреляет, когда есть по чему стрелять... Глядите-ка, бомбардировщики не сумели освободиться от своего дерьма и летят на нас.

Цише громогласно объявил:

— Командир батареи ставит две бутылки водки лучшему расчету.

— Вольцов! — заорал Шмидлинг.— Давайте же сюда перчатку!

Хольт услышал треск и скрип в своих наушниках: «Пятнадцать ноль-ноль, пятнадцать ноль-ноль, пятнадцать...» Повернув маховик, он крикнул:

— Азимут готов!

Нестерпимо яркая молния прорезала ночь, Хольта подняло с сиденья и тут же бросило обратно...

— Огонь!

Раздался выстрел, и в наушниках четко артикулированный голос произнес:

— Азимут пятнадцать-десять!

Опять грохот. Словно мощный раскат грома, донеслись до него выстрелы пяти остальных пушек...

На западе ночь трепетала от огня тяжелых зенитных орудий. Мрак отступил, ослепительный свет залил все кругом. Гряда облаков блестела, как серебро, и сияющий свет дождем ниспадал с нее... Это зрелище было великолепно, от него занималось дыханье, оно пригибало человека к земле в диком страхе.

— Осветительная ракета! Теперь начнется!

Шмидлинг простонал:

— Иисус... Мария... пресвятые апостолы, сохраните нас, бедных!

— Это в Оберхаузене! — крикнул Цише.

«Оберхаузен,— вдруг с необычайной ясностью осознал Хольт,— отсюда в каких-нибудь пятнадцати километрах...»

Капитан с обнаженной головой, как всегда в широком плаще, внезапно появился в окопе. Он кулаком ткнул Вольцова в ребра, и лицо того исказилось ухмылкой. Капитан прорычал:

— Сейчас начнется! Шмидлинг, будьте наготове, если Вольцов спасует.— С этим он ушел.

Шмидлинг крикнул:

— Запомни, Вольцов, две бутылки, можно считать, у нас в кармане!

Зенитный огонь на западе стих. Теперь орудия загремели ближе к востоку.

— Бохум стреляет! Бомбардировщики уже там! — И небо задрожало от грохота моторов.

— Направление три! Огонь!

И снова:

— Огонь!..

Сколько времени это продолжалось? Часы? Годы? Вечность? Вокруг стояла мертвая тишина. На западе, где все небо, увешанное ракетами, светилось, как в сказке, теперь только кроваво-красные языки пламени взмывали к облакам.

— Все! — произнес кто-то.

И Цише хрипло отвечал:

— Оберхаузен... горит и горит!

С командирского пункта во мраке разнесся крик:

— Отбой!

Хольт соскочил с сиденья наводчика. Он спотыкался о пустые гильзы, валявшиеся под ногами. Он почти оглох. Сейчас наконец-то он сорвал наушники. Лицо его было мокро. «Неужто я плакал?» Гигантский пожар на западе отбрасывал слабый свет в окоп. Хольт уставился на далекое огненное море. «Там сейчас люди, люди в огне»,— думал он. Но с этой мыслью не связывалось ни единое представление... Лицо у Гомилки было чужое и постаревшее. Цише крикнул:

— Сколько израсходовано снарядов?

— Ну кто вам будет среди ночи гильзы считать? — вопросом на вопрос ответил Вольцов.

Цише нетерпеливо сказал:

— Сосчитайте хотя бы пустые яшики.

Шмидлинг сидел в сторонке, не интересуясь происходящим, и курил. Вдруг он сказал Хольту:

— А мне здорово повезло с расчетом.

— Подсчитать расход снарядов! — снова крикнул Цише.— Ну и ленивые черти эти огневики!

Наконец доложили:

— Тридцать четыре пустых ящика.— Это составляло сто два выстрела.

Цише в последний раз сообщил воздушную обстановку:

— Самолеты противника повернули обратно и проходят над Голландией.

Свободным от дежурства зенитчикам разрешено было ложиться спать. Хольт шел с Гомилкой среди красной от пожаров ночи.

— Скажи по чести... ты боялся?

Гомилка помедлил с ответом.

— Да, боялся...

— Тут, видимо, стыдиться нечего,— отозвался Хольт.— Надо только уметь справляться со страхом.

■

— Слушать меня!— Кутшера, руки в карманах, стоял перед выстроенной батареей.— Махт, какой же вы, спрашивается, оружейник, если у вас от нескольких несчастных выстрелов развалилось орудие.

Он и всегда-то не говорил, а рычал, теперь его голос наводил ужас.

— Если не исправите орудие, я посажу под арест весь расчет.— Сеттер поднялся, сел на задние лапы и зарычал. Кутшера пнул его сапогом.— Заткнись, старик... Остальные орудия работали хорошо.— Затем добавил: — Вольцов отъявленный плут.— И немного тише Готескнехту: — Дайте ему увольнение вне очереди.— Несколько секунд он в нерешительности стоял перед батареей.— Ах, ерунда все! — сказал он вдруг, повернулся, и утренний туман мгновенно поглотил его.

На дороге уже стояли грузовики с боеприпасами. Ребята до обеда перетаскивали ящики. А потом спали чуть ли не до вечера.

День и ночь сигнал тревоги гнал их к орудию. Такова была теперь их жизнь.

5

Ноябрьские ночи принесли с собою звенящие морозы. Туман, по утрам упорно висевший над огневой позицией батареи, иной раз не рассеивался до полудня. Постоянные тревоги, ночи, напролет проведенные у орудий, и огонь, на который не скупился Кутшера, для двадцати восьми юнцов быстро вошли в привычку. Пятого ноября в середине дня Гельзенкирхен и Мюнстер подверглись интенсивнейшей бомбардировке. Бомбы, предназначавшиеся для окрестных индустриальных объектов, падали совсем близко от огневой позиции.

Неделю спустя, под вечер, Хольт лежал на своей койке. Вольцов читал учебник стратегии, несколько человек играли в скат. Цише, просматривавший газету, вдруг прочитал вслух:

— «В Германии имеются отдельные лица, стремящиеся нажиться на победе союзников, но мы разделаемся с этими преступниками!»... Что это такое? — сказал он в ответ на удивленный вопрос Гомилки.— Да ты что, с луны свалился? Речь фюрера от девятого ноября.

Цише стал читать дальше:

— «Да, воздушная война!.. Господа вольны верить или не верить, но час отмщения настанет!.. Присутствующие повскакали с мест, простерли руки в знак приветствия и с блестящими увлажнившимися глазами стали кричать «хайль» своему возлюбленному фюреру...»

— Прочитай-ка нам лучше сводку верховного командования,— спокойно сказал Гомилка,— от истории падения Киева глаза тоже могут увлажниться!

Цише сердито на него посмотрел и высоким, несколько хрипловатым голосом прочитал:

— «Солнечный свет вынесет каждый, но в непогоду и бурю узнается и сильный характер и малодушный...»

До очень утомленного Хольта доходили только обрывки фраз: «...в конце ждет победа... никогда не падать духом... исходя из этого с фанатической преданностью... с фанатической верой... победа ждет нас!»

■

Вечером Цемтцкий, как обычно, зашел в барак «Дора». Он получил назначение на командирский пункт. По ночам он слушал разговоры, которые велись на линии, связывавшей все батареи, и был всегда хорошо информирован. Сейчас он сказал:

— «Галифаксы», сбитые во вторник, решено числить за истребителями.

Фетер возмутился:

— За истребителями? Это же безобразие!

В последнее время были сбиты три четырехмоторных бомбардировщика. И каждый раз зенитчики яростно спорили, чья эта заслуга. Споры

привели к тому, что заслуга была приписана истребителям, базировавшимся неподалеку.

— Это низость,— пропищал Цемтцкий. Затем он откашлялся, чтобы придать своему голосу более низкое звучание: Готескнехт однажды влепил ему шестерку за «не по-военному» пискливый голос.

— Во вторник ночью я дежурил. Истребители уже час как улетели, когда рухнул «галифакс»!

— Черт знает, что за свинство,— выругался Вольцов. Он разделся и лег. В восемь утра начинались занятия.

Занятия эти были чистейшим фарсом. Почти ежедневно они прерывались тревогой. Пять дней в неделю на батарею являлись учителя гельзенкирхенской средней школы и три часа подряд обучали личный состав различным школьным предметам. Вторник был так называемым «учебным днем». Все молодые зенитчики ушли в Гельзенкирхен на занятия химией и физикой. Батарея пустовала.

Когда занятия проходили в бараках, юнцы томились, три часа кряду ожидая сигнала тревоги.

В первый «учебный день» соученики Хольта отправились в гельзенкирхенскую школу, но разве что по незнанию обычаев. «Старички», правда, тоже поехали в город, однако в школу послали только двоих. Потом уже и класс Хольта стал относиться к дням занятий, как к отдыху. От девяти до часу все сидели в кафе, попивая оранжад, да еще с подружками — ученицами эссенского и гельзенкирхенского женских лицеев.

В Гельзенкирхене им полюбилось маленькое кафе «Италия», на Роттхаузенерштрассе, ведущей к Эссену. Вокруг все лежало в развалинах. Только кафе еще оставалось целым и невредимым, несмотря на бесчисленные ночные бомбежки. К великой радости Вольцова, там даже имелся бильярд. В этом кафе у них завязалось знакомство с женским лицеем. У семнадцатилетних учениц (младшие классы были эвакуированы) считалось хорошим тоном дружить с зенитчиками. Даже Фетер не устоял перед соблазном и покорно сносил двусмысленные остроты, сыпавшиеся на него из-за того, что прельстившаяся им девица была суха, как палка. Однажды и Вольцов просидел довольно долго за столиком с роскошной блондинкой, а вечером во всеуслышание объявил, что договорился снова встретиться с нею и тогда уж, конечно, разыграются немалые события. Но его радость длилась недолго.

— Все кончено,— сказал он Хольту.— Я хотел залезть ей под блузку, а она невесть что из себя разыграла.

Он снова углубился в учебник стратегии.

■

Доктор Клаге, учитель математики из Эссена, выдержанный, серьезный человек, действительно старался, несмотря на крайне неблагоприятную обстановку, передать свои знания ученикам. Его строгая и при этом изысканно учтивая манера обхождения снискала ему нечто вроде признания среди учеников. Он был единственным из учителей, не считавшим свое еженедельное посещение батареи пустой формальностью. Хольт втайне восхищался долготерпением Клаге. Даже таким неслухам, как Вольцову и Фетеру, не удавалось вывести его из себя.

Но у Вольцова не находилось ничего, кроме бранных слов в адрес этого уже седого человека, который слыл тяжело больным, хотя никто толком не знал, чем он, собственно, болен. Ходил слух, будто у него камни в почках. Случалось, что доктор Клаге сидел за своим столом бледный, с обмякшим лицом, мучаясь коликами, и блестящие капельки пота выступали у него на лбу от невыносимых болей.

— Актеришка несчастный,— говорил Вольцов,— симулирует, чтобы не идти на фронт.

С первых же дней он схватился с Клаге и возненавидел его. Клаге вызвал Вольцова к доске решать задачу, но тот остался сидеть на месте, словно его это не касалось. Доктор Клаге, еще не знавший грубости Вольцова, подошел к скамье и повторил:

— Прошу вас к доске.

— Оставьте меня в покое! — заорал Вольцов и вскочил так резко, что учитель невольно отшатнулся, нечаянно толкнув Вольцова в грудь.

— Вы меня избить хотите! — не своим голосом крикнул Вольцов.— Меня... избить?..

Хольт — он сидел сзади — дернул его за ремень. Вольцов, несколько пришедший в себя, вышел из барака со словами:

— Я — лучший заряжающий батареи и не могу позволить, чтобы меня избивали.

В начале декабря Клаге уже был призван в армию и зачислен в 107-ю батарею.

Стояла морозная звездная ночь. Цише был свободен от ночного дежурства. Рутшер лежал в санчасти с воспалением миндалин. Внезапно у орудия «Антон» появился доктор Клаге и сказал:

— Добрый вечер!

У всех ребят слова замерли на языке. Клаге, видимо, только что перенес приступ колик, он выглядел измученным и больным. Вольцов постарался скрыть свое удивление и, растягивая слова, проговорил:

— А ну, ребята, надо браться за дело.— Потом обернулся к Шмидлингу.— У меня локоть вывихнут!

Они дали несколько очередей по истребителям противника. В перерыве между очередями Фетер протиснулся к Вольцову:

— Клаге все время отсиживается в окопе!

— Отлично! — с удовлетворением произнес Вольцов и крикнул: — Где рядовой Клаге?

Клаге, прижимая руки к животу, вынырнул из окопа.

— Вы все прячетесь! Немедленно убрать гильзы!

— Вольцов,— пробормотал учитель,— я...

Больцов прорычал:

— Десять раз обежать вокруг орудийного окопа! Бегом! Марш!

Хольт не успел вмешаться, так как Клаге, пробурчав что-то нечленораздельное, пошел на батарейный командирский пункт.

Но у Кутшеры нельзя было искать справедливости. Он был в прескверном настроении и накинулся на учителя:

— Вы что, спятили? Не выполнить приказа! Да где ж это видано?

Радиолокатор уловил приближение группы истребителей.

— Огонь! — проревел Кутшера.

Снова очутившись в окопе, Клаге пробежал под самым стволом в момент первого выстрела. Пламя ослепило его, и он отлетел в дальний угол окопа.

— Опять прячется,— решил Вольцов и, опьяненный властью, погнал своего учителя математики вокруг окопа. Хольт и Гомилка подтаскивали снаряды. Когда они заметили, что происходит у орудия, было уже поздно.

На следующий день доктор Клаге отправился к Кутшере и попросил откомандировать его на другую батарею.

Хольт много думал об этой истории. Ему не раз вспоминались разговоры с Петером Визе.

— Собственно говоря,— сказал он однажды Гомилке,— учителя ведь наши воспитатели, и нам следовало бы...

Гомилка молчал. Затем он процедил:

— Знаешь, этот Вольцов...— Он опять умолк и крепко сжал губы.

Отношения между Вольцовом и «старичками» оставались напряженными, наконец вспыхнула новая ссора.

Каждому зенитчику регулярно разрешались увольнительные в город на день или на ночь. Дневной «отпуск» начинался с двух часов, ночной — с шести вечера до семи утра. Новички увольнялись с обеда или с вечера до полуночи.

Из-за этих увольнительных и вышел спор. График увольнений вел гамбуржец Вильде, близкий друг Гюнше. Вскоре Хольт заметил, что гамбуржцы получают увольнения в первую очередь. Вольцов решил это выяснить. Когда Цише был в городе ночью, они устроили совещание. Фетер заявил, что не стоит затевать склоку.

— Поскольку мы уже «старички», мы без отпусков не останемся!

Гомилка запротестовал.

— Если бы я вел график, все было бы по справедливости.

Хольт поддержал его. Решено было поймать Вильде с поличным. Три недели подряд они вели точный учет, покуда все не стало ясно. За три недели Гюнше трижды получал увольнительную, Хольт один раз, близнецы — четыре, Кирш — два раза. Вечером девять человек из расчета «Антон» написали жалобы. Коллективные жалобы считались мятежом; даже совместная подача отдельных жалоб и та не допускалась. Итак, каждый написал рапорт, а потом они в течение полутора часов поодиночке являлись в канцелярию и передавали рапорты дежурному унтер-офицеру. Жалобы пошли положенным путем и попали в руки Готескнехту. В тот же вечер он явился к ним в комнату. Для виду осмотрел шкафы, перерыл вещи у двух или трех и приговорил Вольцова и Фетера к двадцати пяти приседаниям за «недозволенные ухмылки при осмотре шкафов».

Капитан два дня не отвечал на жалобы.

— Не хочет огорчать своих любимчиков,— сказал Вольцов.

Однако на утреннем построении Кутшера рявкнул:

— Старший рядовой вспомогательной службы Вильде, выйти из строя! Парни с «Антона», эти бандюги, подали жалобы. Они утверждают, что вы жульничаете с графиком увольнений. Я произвел проверку. Обвинение правильно! — И затем Готескнехту: — Вильде на две недели останется без отпуска! — А обалдевшему Вильде он крикнул: — Если мошенничать, то уж так, чтобы мне не докучали с этой ерундистикой!

Цише, весь вечер околачивавшийся в бараке у гамбуржцев, сказал:

— Ну накликали вы на себя беду. Ребята с ума сходят от ярости!

В субботу Хольт получил увольнительную. Он поехал на трамвае в Эссен. «Может, встречу знакомых девчушек»,— думал он, шагая по Кайзерштрассе. Все люди на улице куда-то спешили. «Из-за вечных воздушных тревог»,— решил Хольт. Он постарался не заметить двоих фюреров гитлерюгенда, зато почтительно приветствовал майора-танкиста с золотым германским крестом. Потом остановился у кинотеатра. «Великий король» с Вейтом Харланом, на выставленных фото Густав Фрёлих и Кристина Зедербаум.

Зенитчик с изящной девушкой прошли мимо него. «Бог ты мой, да это же Цише!» Хольт ускорил шаг, обогнал их и поздоровался.

Нет, не девушку вел под руку белобрысый и немного одутловатый Цише. Это была темноволосая женщина лет двадцати пяти. Она повернула к Хольту свое узкое красивое лицо, и взгляд ее вопросительно скользнул по нему, прежде чем она кивнула в ответ на его приветствие. Они стояли посреди тротуара, а вокруг бурлил людской поток. Цише откашлялся и познакомил их:

— Мой товарищ, Вернер Хольт, моя мать...

— Может, ты будешь так любезен пояснить, что я твоя мачеха,—

живо перебила его немного уязвленная молодая женщина и, взглянув на Хольта, добавила: — Не то можно подумать, что этот увалень и вправду мой сын!

Цише принужденно засмеялся:

— Итак, моя мачеха.

Только сейчас она протянула руку Хольту. Ее взгляд поверг его в смятение. На секунду, когда он склонил голову для приветствия, все мысли и чувства его смешались: мать Цише, мачеха, она, как девочка, тонкая, изящная. Он поднял голову. «Что я так на нее уставился?» Словом, он был в смятении.

Дальше они пошли втроем. Через несколько шагов Цише не без раздражения заметил:

— Мы собирались в кино.

Капризно, как ребенок, она протянула:

— А знаешь, я передумала. Мне не хочется.

— Тогда уж лучше было сидеть дома! — Цише явно сердился.

— Вот что,— сказала фрау Цише, видимо, настроенная очень весело,— пойдем обратно. Я вскипячу чай, мы посидим и поболтаем.

— Нет! — Цише остановился.— Я лично иду в кино, а ты как хочешь. Хайль Гитлер!

Весь красный, он повернулся и исчез в толпе.

Хольта неприятно поразила эта сцена. Как ему теперь вести себя? Она шла рядом и неумолчно болтала.

— Да, хлопот с этим парнем не оберешься. Его мать была блондинка, чисто арийский тип, и он никак не может со мной примириться. А вы, вы тоже собираетесь оставить меня одну? — Она была намного меньше его ростом и смотрела на него снизу вверх, испуганно и беспомощно.

— Если разрешите,— смущенно сказал он,— я провожу вас...

Она улыбнулась. Ее узкое лицо было так хорошо знакомо ему, словно он ежедневно видел его с давних пор.

— Куда мне вас проводить? — спросил он.

— Домой.

Ему нелегко было приноравливаться к ее шагам.

— Вы не здешний? Что вы делаете в свободное время?

— Хожу в кино, сижу от нечего делать в кафе, играю в бильярд...

— А девушки? Красотки из гимназии?

— Нет,— с неудовольствием отвечал он. Ему не нравилась такая манера выспрашивать.

— В шестнадцать лет изнывать на зенитной батарее — это ужасно! Вы же еще дети!

Он искал слов для ответа, который должен был быть остроумно-ироническим, колким... Но слова не шли на ум. Он думал: «Я не должен позволять ей говорить то, что для меня обидно». Но когда у подъезда большого доходного дома она спросила:

— Не хотите ли выпить со мной чашку чая? — он просиял, торопливо ответил:

— С удовольствием...— и пошел следом за нею.

Он помог ей снять черную шубку. Теперь она стояла перед ним в коричневом шерстяном платье, стройная, узкобедрая, как мальчик. Она ввела его в комнату. Он смущенно остановился на пестром ковре. Его взгляд приковала к себе большая фотография в рамке на столе, рядом с лампой. С нее смотрело широкое, грубое, немного одутловатое лицо человека лет пятидесяти в эсэсовском мундире. Оно напоминало лицо Гюнтера Цише... Видимо, это его отец! Хольт перевернул фотографию и прочитал: «Краков. 1942. Любимой Герти в день двадцатишестилетия от Эрвина». Значит, ей уже двадцать восемь. Он взволнованно смотрел на

портрет, на это одутловатое, грубое лицо. И ненависть наполняла его сердце.

Скрипнула дверь. Фрау Цише ловкими движениями накрывала на стол. Она дружелюбно улыбалась и без конца болтала.

— У нас теперь неуютно. Мы почти все вывезли. В один прекрасный день и этот дом рухнет.

Он сидел напротив нее, огорченный и молчаливый. Она участливо спросила:

— Что с вами?

— Ничего. Просто мне неспокойно. Я уверен, что скоро объявят тревогу.

Она склонилась над радиоприемником. Хольт невольно следил за движениями ее стройной руки: «...Ни один самолет противника не проникнет в воздушное пространство рейха». Фрау Цише стала искать музыку в эфире.

— Ну, теперь вы спокойны? — Она удобно откинулась в кресле.

«Надо уходить,— думал Хольт.— И почему я не пошел в кино!» Он, казалось, чувствовал на своей спине взгляд белобрысого широколицего мужчины. Невозможно все время смотреть на ковер. Он ощутил неодолимую потребность снова увидеть, как она, поджав под себя ноги, сидит в кресле. Тонкий профиль, длинные темные волосы, собранные в широкий узел на затылке...

— Пожалуй, мне лучше уйти.— Он поднялся.— У меня на душе неспокойно.

Она удивленно взглянула на него и сказала с любезностью, которая ни к чему не обязывала:

— Что ж, не смею вас задерживать.

В передней он торопливо надел шинель. Она подала ему руку. Вдруг он забормотал:

— Прошу вас... не сердитесь...

Фрау Цише удивленно вздернула брови. Он не смел поднять на нее глаза.

— Можно мне будет прийти опять?

— Конечно. У меня есть телефон. Гюнтер даст вам номер.

Он стремглав сбежал с лестницы, потом бродил по улицам и раньше времени уехал на батарею.

В этот вечер ему долго не удавалось уснуть. Фетер тихонько похрапывал. Хольт лежал, уставясь в темноту. Ему виделись миндалевидные глаза и темные волосы, стянутые в широкий узел.

«А Ута?»

Он решил избегать фрау Цише.

6

В воскресенье Кутшера был зол как черт и за небрежное приветствие полтора часа промучил батарею маршировкой. Только сигнал тревоги освободил зенитчиков от этого занятия.

После воскресного обеда, как всегда состоявшего из жаркого с соусом, кислой капусты и картошки «в мундире», батарею, по обыкновению, стал заливать поток посетителей: родители и знакомые — местные жители.

Хольт писал письмо Уте. Вдруг чья-то голова просунулась в дверь:

— Цише, к тебе гости, в столовой дожидаются.

Цише немедленно исчез. «Это может быть только *она*»,— подумал Хольт. Ута была забыта. Может, пойти посмотреть, действительно ли это она?

В комнату вошел Цемтцкий.

— Гильберт,— пропищал он,— иди к «Цезарю», там обер-ефрейторы испытывают гидравлический зарядный лоток.

Вольцов отложил книгу.

— Это я должен посмотреть! — И захлопнул за собой дверь.

«Нельзя мне идти в столовую,— думал Хольт,— я буду смешон».

— А что это за штука зарядный лоток? — поинтересовался кто-то.

— У зенитных орудий крупного калибра снаряды так тяжелы,— объяснял Фетер,— что вручную заряжать невозможно. У 88-миллиметровых — дело другое.

«Да. У 88-миллиметровых — дело другое,— думал Хольт.— Зарядный лоток — чушь...»

— Зепп! — вдруг крикнул он, вскакивая и тряся за плечо Гомилку.— Зепп! Там что-то не так! Бежим! Живо!

Орудие «Цезарь» было расположено западнее на склоне холма, немного пониже батарейного командирского пункта. Еще на бегу Хольт увидел, что пушка стоит в чехле. Вокруг нее мелькали фигуры. Хольт ринулся наперерез через поле и мгновенно оказался у орудия, около которого кишели «старички».

Они напали на Вольцова, прижали к станине, верхняя часть его туловища до пояса была замотана в брезентовый чехол. В этот узел коленями упиралось человек пять, не давая Вольцову пошевелиться. Его ноги держали шестеро парней. Гюнше стоял возле и стегал Вольцова по спине многохвостой ременной плеткой. Хольт бросился между ними. В ту же секунду подоспел Гомилка со своей дубинкой, которую немедленно пустил в ход. Хольту удалось высвободиться, но его тут же сбили с ног. Зато Вольцов вскочил. И если до сих пор вся сцена протекала в безмолвии, то теперь Вольцов рычал от ярости.

Неожиданно перед ними вырос Готескнехт. У Хольта из носу хлестала кровь. Прошло немало времени, покуда Вольцов успокоился. С искаженным лицом он стоял перед Готескнехтом и пожирал его глазами.

Несколько «старичков» валялись на земле. Гюнше был без сознания. Один из близнецов стонал, присев на обильно посыпанную шлаком землю. Он закрыл лицо обеими руками, между пальцами у него сочилась кровь. Он расшиб себе голову, стукнувшись об орудие. Двое парней, задыхаясь, корчились на земле. Кровь из носу текла у всех, у всех были распухшие, разбитые губы. Цел остался только Гомилка.

— Гомилка,— крикнул Готескнехт,— вызовите санитаров! — Затем он взглянул на все еще недвижимого Гюнше. Только когда санитар сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, Гюнше открыл глаза, его сразу же вырвало, и подняться без посторонней помощи он так и не смог. Сотрясение мозга! У одного из близнецов от лба до скулы зияла рваная рана, левый глаз запух.

— Господин вахмистр, двоих необходимо отправить в госпиталь.

— Забирайте! — сказал Готескнехт.

На месте драки остались только Хольт, Вольцов и Гомилка. Готескнехт молча наблюдал за ними.

— Господин вахмистр,— сказал наконец Вольцов,— я был вынужден защищаться.

Готескнехт ничего не ответил.

— Они заманили меня сюда и набросились, одиннадцать против одного.

— Придержите язык, Вольцов,— устало отозвался Готескнехт,— меня это не интересует. Меня интересует только то, что в ближайшие дни у радиолокатора будет не хватать двух человек.

■

В понедельник капитан Кутшера проводил в столовой занятия. Он снял свой широкий плащ, бросил его на руки Готескнехту и уперся кулаками в бока.

— Слушать меня! Вчера вы кое-кого вздрючили. Двоих пришлось отправить в госпиталь! Где это видано? Кто тут виноват, меня не интересует. Батарея на неделю останется без увольнений. Можете поблагодарить ребят, которые вам это подсудобили! — И он приступил к занятиям.

Положение на фронтах, политическая ситуация, танковые бои под Житомиром, небывало мощный налет на Берлин, фанатическое сопротивление... Хольт не слушал. «Это про нас — «которые вам это подсудобили», — думал он.

Вечером Вольцов объявил:

— Я сыт по горло. Сейчас пойду на «Берту» и переговорю со «старичками».

— В логово льва? — спросил Гомилка.— А какая от этого польза?

— Надо попытаться.

— Один ты, во всяком случае, не пойдешь! — запротестовал Хольт.— Зепп, Кристиан, пошли за ним!

«Старички» выказали немалое удивление, когда эти четверо вошли к ним в комнату. Несколько человек лежали на кроватях, другие сидели у стола. «Уютная комната»,— решил про себя Хольт. Шкафы здесь были сдвинуты так, что образовывали стену, за нею стояли кровати. Перед окном был большой аквариум, на подоконниках цвели азалии и цикламены.

Вольцов стоял посреди комнаты.

— Высокие гости пожаловали! — съязвил кто-то.

Вольцов спокойно сказал:

— Впредь мы будем жить в мире.

— В мире? — завопил один из близнецов и подскочил на кровати.— В мире, когда мой брат навек изуродован?

— Я ни на кого не нападал,— ответил Вольцов.

Тут поднялся Вильде.

— В военной среде существуют неписаные законы. В мире мы будем жить после того, как хорошенько вас излупцуем.

Вольцов шагнул к Вильде, который быстро загородился столом, и выкрикнул:

— Еще одно такое нападение из-за угла и... помилуй вас бог!

«Старички» насмешливо захохотали, но хохот их звучал неубедительно.

— Все это бессмыслица,— сказал позднее Хольт.— Теперь товариществом называется, когда один бьет другого.

Хольт и его друзья оказались изолированными. Ребята из их класса, служившие в приборном взводе, примкнули к «старичкам».

■

В декабре начались массированные воздушные налеты на близлежащие города.

Хольт получал иногда письма от матери и регулярно — сигареты от дяди из Гамбурга. Изредка он просил прислать ему немного денег. Его ходатайство о краткосрочном отпуске на рождество было удовлетворено. Он раздумывал, как быть. Ута еще в ноябре писала, что ее семья намеревается провести праздники в Шварцвальде. Ехать к матери у него не было ни малейшего желания. Он чувствовал себя одиноким и позвонил фрау Цише.

Готескнехт сидел в канцелярии батареи, беседуя с кругленькой телефонисткой, которая, если верить батарейным сплетням, была возлюбленной капитана. Хольт подозрительно взглянул на Готескнехта. Прошла, казалось, целая вечность, пока ему удалось дозвониться. Наконец в трубке послышался голос фрау Цише, искаженный и дребезжащий:

— Конечно же, приходите. У меня как раз гости.

Он пустился в дорогу, сердце его было полно захватывающего ожидания.

У подъезда стояли две старые потрепанные машины. Дверь открыла горничная, она помогла Хольту снять шинель. До него донеслись смех и танцевальная музыка.

Эту комнату он знал. Двустворчатые двери в соседние комнаты стояли раскрытыми. Гостей было человек двадцать. Фрау Цише встала ему навстречу, торжественная, недоступная — хозяйка дома, и протянула ему кончики пальцев. Высокого бледного унтер-офицера в мундире мотопехотного полка «Великая Германия» все так и называли — «Великая Германия». Когда он брал ликер с подноса, который горничная держала перед ним, кто-то крикнул:

— Великую Германию ничем не удовлетворишь! — Все засмеялись.

Хольт, все еще очень смущенный, сидел в кресле рядом с фрау Цише, а она любезно и даже доверительно говорила ему:

— Это все прежние мои коллеги, певцы из оперетты. Вы, наверно, и не знаете, что я танцовщица. Я несколько лет была здесь прима-балериной... И даже неплохой. Я и за границей гастролировала. Если вас это интересует, я покажу вам фотографии.— И засмеялась.— Бог мой, вот были времена!

Хольт был взволнован и счастлив ее близостью.

— Я хочу, чтобы вы повеселились,— он уловил шутливую интонацию в ее голосе,— но, предупреждаю, берегитесь девушек! Это все хористки, я не очень люблю принимать их у себя, но надо же мужчинам с кем-нибудь танцевать!

Хольт остался один. Он не спускал с нее глаз. На ней был домашний туалет из коричневого шелка — длинная юбка-штаны и казакин с такими широкими рукавами, что во время танца они соскальзывали к плечам, обнажая белые руки. Волосы ее были собраны в греческий узел. На ней не было никаких украшений, кроме двух маленьких блестящих камешков в мочках ушей. В Хольте затлела искорка ревности ко всем этим мужчинам, окружавшим ее. Он завидовал им и сердился на нее за каждое слово, за каждую улыбку.

— А ну, камрад, выпьем с вами! — Бледный унтер-офицер протянул Хольту коньяк. Вокруг танцевали под патефон.

— В отпуску? — спросил унтер-офицер, с трудом ворочая языком.— Или здесь расквартированы? Я лично... в отпуску... камрад... старина.— Он обтер рукавом пот со лба.— Через три дня мне опять на Восточный фронт... Ваше здоровье! — Рюмки были снова наполнены.— Камрад... это же черт знает что. Мир до того заевреился, что в конце концов эти евреи нас сожрут.

Внезапно перед ними очутилась фрау Цише и сказала звонким, чуть резковатым голосом:

— Я же тебе запретила говорить о войне.— Она подсела к Хольту и наигранно сердито продолжала:— Вы невоспитанный молодой человек! Почему вы не приглашаете хозяйку дома?

— Я не танцую,— признался он.

Фрау Цише крикнула девушке, стоявшей у патефона:

— Фокстрот! — Потом взяла его за руку и повела. Он быстро усвоил этот простой танец.

— Да у вас отлично идет дело,— заметила фрау Цише.

С бьющимся сердцем держал он ее, осторожно и бережно, словно она была из фарфора. Пластинка кончилась.

— Еще раз... я вас очень прошу,— взмолился он.

Танцуя, Хольт все время находился в возбужденном и восторженном состоянии.

Когда и этот танец быстро пришел к концу, она показалась ему еще более недоступной. Мучаясь ревностью, он следил, как она танцует с другими. Горничная внесла поднос с бутербродами. Сардины! Он отказался, хотя был голоден, подсел к хористкам, выпил рюмку коньяку и сразу же потянулся за второй. Потом собрался с силами, вскочил и снова пригласил фрау Цише на танец. Коньяк придал ему смелости, и он попросту отодвинул в сторону одного из актеров, который намеревался его опередить. Фрау Цише рассмеялась.

— Видишь, Фриц, храбрым воинам всегда предпочтение!

Он посмотрел на нее. Алкоголь бурлил в его крови. «Если бы мы были одни, я бы поцеловал ее». Что-то грохнуло, бокалы разлетелись вдребезги, хористки завизжали. Унтер-офицер «Великая Германия» лежал на полу. Двое актеров его подняли. Фрау Цише едва повернула голову.

— Снесите его в ванную!.. Он пьян,— пояснила она Хольту.— Так боится фронта, что пьет с утра до ночи! — Она взглянула на часы.— Через десять минут я вышвырну вон всю эту компанию.

В радиоприемнике послышался шорох, голос диктора объявил:

— ...Бомбардировщики противника приближаются к рейху.

«Воздушная тревога! — пронеслось в мозгу у Хольта.— Надо уходить! Если поймать машину, я поспею вовремя...» Вдруг он заметил страх на лице фрау Цише... «Я останусь!»

Полагалось, хотя инструкция к этому и не обязывала, по сигналу воздушной тревоги немедленно возвращаться на батарею.

Гости торопливо сбегали по лестнице, пьяного унтер-офицера втащили в машину. Фрау Цише, между тем, отдавала приказания горничной:

— Оставьте в покое посуду, сносите чемоданы в убежище! — Она уже надела шубу и вдруг бессильно опустилась в кресло.

Сирены выли, оповещая о налете большой группы бомбардировщиков. Хольт распахнул окно сумрачной комнаты. Холодный воздух ворвался в прокуренное помещение. На лестнице стоял топот — жильцы дома спешили в бомбоубежище.

Фрау Цише была испугана и беспомощна, как ребенок.

— Это что-то немыслимое. Беспрерывные тревоги! С ума можно сойти!

— Почему вы остаетесь в Эссене? — спросил Хольт.

— Мой муж считает, что произвело бы плохое впечатление, если бы я...

— Чепуха! А если вы погибнете, впечатление будет хорошее? — Его ненависть к толстому белобрысому человеку, ее мужу, была нестерпимой.

А сирены то стихали, то снова начинали выть.

— Надо идти в убежище!

— Спешить некуда,— отвечал он с видом знатока.— Они еще в ста пятидесяти километрах отсюда...

Она опустилась на колени рядом с ним, у радио. Шкала приемника освещала ее лицо.

Где-то неподалеку забили зенитные орудия, в открытое окно ворвался устрашающе близкий грохот. Хольт вслушался.

— Это стреляют по разведчикам.

— Откуда у вас такое спокойствие? Мне страшно здесь, я хочу в убежище.

Она уцепилась за его руку, и он свел ее в подвал. Дежурный по бомбоубежищу, с мрачным видом стоявший у двери, не без любопытства взглянул на Хольта.

— Пора уж идти вниз!

Подвал был глубокий, с креплениями из толстых балок. В коридорах толпилось множество народу. Фрау Цише открыла какую-то дверь в глубине помещения:

— Не могу я сидеть со всеми этими людьми.

Маленькая, опрятная комнатка также была укреплена мощными балками. «Вряд ли это что-нибудь даст»,— скептически подумал Хольт. Он жаждал вернуться к себе на батарею, под открытое небо.

Они сели. Она все еще крепко держала его за руку и, дрожа, как в ознобе, прижималась к нему. В подвальном коридоре мерцал слабый огонек. Грохот зенитных орудий лишь глухо доносился сюда.

Они молча сидели друг подле друга. Немного погодя она сказала:

— Эти люди там всегда сводят меня с ума, а вы на меня действуете успокоительно.

— Здесь внизу я бы, пожалуй, тоже боялся. Но мне так радостно быть с вами.— Он почувствовал, что она взглянула на него, а потом опять стала смотреть в пространство.

Из коридора до них доносился шум голосов и плач детей. Но Хольт ничего не слышал. Он смотрел на молодую женщину рядом с собой, закутанную в шубку так, что виднелось только узкое и сейчас очень бледное лицо. Шпильки выпали у нее из пучка, и волосы, густые, матово-блестящие, рассыпались по плечам, едва отличимые от меха.

— Почему вы убежали тогда? — вполголоса спросила она.

— Я и сегодня готов был уйти...

— Но почему?

— Когда... вы танцуете с другим... Я не могу этого вынести.— Она улыбнулась.— Я не виноват, я знаю, что это глупо...— Ответа не последовало.

Дежурный крикнул:

— Отбой!

Хольт взглянул на часы. Было начало двенадцатого.

— Мне надо идти! — Как и в первый раз, он стоял потупившись, держал ее руку в своей и спрашивал: — Можно мне будет прийти опять?

Она сказала, растягивая слова:

— Вы уже достаточно взрослый и сами должны знать, что вам можно и что нельзя.

Он еще никогда не видел такого непроницаемого лица.

■

Хольт непрерывно думал об этом странном знакомстве. Во время праздного ожидания у орудия, во время занятий мысли его возвращались к темноволосой женщине. Поначалу его отвлекало воспоминание об Уте. Но вскоре он капитулировал перед новым своим чувством, оно, видимо, было сильнее. Правда, ему сопутствовали угрызения совести.

Накануне своего увольнения в город он позвонил фрау Цише. Можно ли ему прийти?

— Конечно, если вам ничего лучшего не предстоит.

Она сама ему открыла. И опять она была совсем другой, чем в прошлые его посещения. Каким-то ошеломляющим жизнелюбием веяло от нее. В гостиной она опустилась на кушетку. Он придвинул свое кресло. Оба закурили.

— Почему вы сказали «если вам ничего лучшего не предстоит»? — спросил он.— Для меня ничего не может быть лучше, чем видеть вас.

— Ах так! — она слегка потянулась.— А писать письма некоей фрейлейн Барним?

Он был до того поражен, что в своей беспомощности сделался дерзок.

— Вы за мной шпионите?

— Чуть-чуть.— Она бросила сигарету в пепельницу.— Во всяком случае, мне удалось выпытать у своего пасынка кое-что важное.

— И это?..

— Я теперь знаю, вы не из тех, что хвалятся своими победами.— Она проговорила это медленно, вызывающе глядя на него,— короче говоря, вы умеете держать язык за зубами.

Он словно замер в своем кресле, покуда его взгляд не упал на фотографию в рамке. Возбуждение, которое его кровь гнала по жилам, в мгновенье ока переплеснулось в бессмысленную ярость. Он схватил портрет толстого белобрысого мужчины и грохнул его о паркет так, что осколки разлетелись по комнате. Она испуганно вскрикнула. Он бросился к ней. Она потянула его книзу.

Хольт остался у нее до позднего вечера. Они лежали в спальне на широкой кровати. Он не отрываясь смотрел на ее лицо, теперь совсем расслабленное, словно стараясь угадать, какие мысли теснятся за этим лбом. И вдруг спросил:

— Ты меня любишь?

В удивлении она открыла глаза. Ее взгляд заставил его позабыть нелепость своего вопроса. Вот она опять закрыла глаза, с легким вздохом сказала «да» и улыбнулась уже с закрытыми глазами.

«Она лжет!»

— Неправда, ты не любишь меня!

Она повернула к нему голову.

— Любовь! — презрительно произнесла она,— А что это такое, любовь? Я же не девчонка! Я принадлежу тебе... Чего ты еще хочешь?

— А... сердце? — растерянно пробормотал он. Она прижала его голову к своей груди.

— Молчи, молчи!

Когда он уходил, она спросила:

— А разве ты не можешь получить отпуск на ночь, как другие?

(Продолжение следует)

МАРГЕРЕТ ХОИЗЛЕР *(ГДР)*
«1945 год».

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

О ПОЛЬША! КАК ТЫ МНЕ БЛИЗКА...

Мне эта земля всех дороже,
С нее не могу я сойти,
Здесь Висла ветрами Мазовше
Мои обдувала пути.

Я вижу и тополь и поле...
О Польша! Как ты мне близка!
Наполнен и счастьем и болью,
Я слов поднимаю войска.

Земля моя их понимает,
Пусть горестно в сердце моем,
Ведь даже тюрьма обрастает
Поэзией, словно плющом.

Доверчивы тополь и верба,
Меж нами беседа течет.
Ты, сердце, все знаешь... Наверно,
Я здесь и умру... Где ж еще?

Укрой ты меня потеплее,
До боли родная земля.
Пусть траурной, грустной аллеей
За мною пойдут тополя.

И пусть у серебряной Вислы
Они продолжают шуметь,
Расскажут все чувства и мысли,
Все, что не успел я допеть.

Перевод М. СВЕТЛОВА

АПРЕЛЬ

Если белых черешен воззвания
и крики желтых цветов, имен которых
не знаю,
раздались намного ранее —
и я в их шуме призывы
провозглашаю.

В этом апреле
есть особая прелесть!
Плотью сделалось слово
(раньше сказали б — святое),
земнее всего земного,
безбожное и простое.

Буйствуй, всякая зелень,
гимн твой повсюду слышен:
уже облетели Землю
всего лишь за час с лишним!

Хотел писать о красотах
природы,
о Первом мая
и спустя годы
я такой вот стих весенний слагаю:

руки прочь от чужих территорий,
пусть нас не пугают грядущим —
на тетиве Истории
Правды стрела всемогуща.

ВАЛКАТ

И сбежали ветлы вниз по бугорочку,
а там берег обрывист —
выстроились ветлы в цепочку,
склонились.
Гей! Край родимый!
И пошли себе рядами ветлы
песочком белесым.

Может, песня старая зовет их к лесу?
Гей! Край родимый!
Нет, полями мазовецкими, куявскими
идут-поспевают,
чтобы некий музыкант варшавский *
воспевал их.
Гей! Край родимый!
А в конце пути, в дальней дали,
запоют, как умеют, зальются,
может быть, иногда рассмеются
или листья зашепчут в печали?
Гей, листья усыпали берег,
Гей, Фридерик...

* * *

ВАНДЕ ВИЛКОМИРСКОЙ

Стоит ли струны мучить,
если молчание лучше,
если молчание
стих не постиг,
если против молчания
есть только крик?!

Нет! Против молчания
кое-что все же есть!
Скрипки твоей звучание,
мой жест.

Переводы ВЛ. БУРИЧА

ДУБ

Я иду, и на ходу меня шатает.
Жизнь с меня, как лист осенний, облетает.
Что за лист? Дубовый ли, кленовый?
Все равно не вырастает новый.

Что ж? Любви немного было,
Было и добро и зло,
Много гнева, нежности и пыла —
Все прошло.

Листья, листья рвутся, и на каждом —
Имя! Имя — на любом листке.
Назови торжественно и важно
Имена родные те.

Нет! Осенний ветер
Снова принимается качать
Цепкие, нагие ветви.
Больше мне счастливым не бывать.

Голый ствол один белеет,
А над ним — метели белый клуб.
Ну так что ж! Смелее!
Это я — тот дуб.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

* Автор имел в виду Фридерика Шопена.

СЕМЕН КИРСАНОВ

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ

(О Владиславе Броневском)

Некогда — может быть, и сейчас где-нибудь — с лица умиравших великих людей снимали гипсовый слепок, с точностью сохранявший для потомков черты лица, каждую его складку, каждую морщинку. Настоящие большие поэты в этом не нуждаются. Поэзия Владислава Броневского — точнейший слепок с его личности. В ней сохранен весь он: саркастический уголок рта, лоб, исполненный широты ума и мужественного терпения, голубизна добрых и познавших боль глаз, вся жизнь — подполье, тюрьма, эмиграция, лагерь, солдатский строй, любовь, утраты любимых, упорный труд и счастье удачи, объятия друзей,— весь Броневский стоит живой перед нами в своей поэзии, от первых книг, от «Дыма над городом» до «Анки» и «Новых стихов», до оставшихся в замысле «Польских деревьев»...

Ему не нужно было умирать, чтобы быть признанным. Он был узнан в лицо советскими поэтами, как самый свой, самый близкий. Для польского народа Броневский — поэт революционной борьбы и победы, его биография во всех своих решающих датах совпадает с биографией польской революции, его лирика светла, как лучшая польская песня. И так же, как мы не мыслим современную Чехию без Незвала, Россию без Маяковского, Латинскую Америку без Неруды, Францию без Элюара, Турцию без Хикмета,— трудно представить себе Польшу без Владислава Броневского. Он — поэт настоящего и будущего Польши и одновременно поэт первого ряда мировой поэзии, поэзии принципиально новой, поставившей в центре своего внимания человека, судьбу мира, судьбу жизни, восставшей против равнодушия и затворничества. Такие поэты, а среди них Броневский, написали первые страницы поэзии будущего человечества.

Нет, это не некролог. Я принадлежу к тем, кто предпочитает дарить цветы при жизни, и живые, а не восковые их подобия. Я хочу и сейчас говорить с живым и реальным Броневским, как говорил с ним в конце двадцатых годов, в дни первого знакомства. Тогда, в конце двадцатых годов, я прислал ему маленькую книжку, она называлась «Поэзия революционной Польши». Книжка содержала мои переводы первых стихов Броневского, Вандурского и Стандэ. В этом товариществе Броневский начал свой поэтический путь. И так сложилось, что я встречался с Броневским в самые трудные и подчас трагические дни его жизни, узнавал его стихи еще не остывшими от подлинных переживаний. Я знал, что он бесстрашен, когда дело касается его взглядов, его чувств. В Варшаве 1935 года, затравленный воем реакции и преследуемый полицией, он, рискуя многим, пришел к нам, советским поэтам, находившимся проездом в Варшаве. Официальная, открытая встреча с польскими поэтами нам была запрещена. Поздней ночью мы встретились с Броневским и Юлианом Тувимом на перекрестке и всю ночь шагали по пустынным варшавским улицам. Я знаю, чего стоила Броневскому эта встреча. Но я помню и слова, которые Броневский просил передать московским товарищам...

Нет, это не некролог. Навсегда живым останется для нас поэт, написавший строки:

Кланяюсь русской революции
шапкой до земли, по-польски...

Это одно из самых глубоких стихотворений Броневского и вообще одно из самых сильных — о нашей революции, написанных за рубежом. Скупо, лаконично оно выражает сложное и многостороннее содержание. Нужно вдуматься в это слово «кланяюсь», найденное вместо торжественного «славлю» или «приветствую». В нем выражена прозорливая признательность Октябрю и за польское будущее. И это слово — начало большого и перспективного образа. «Шапкой до земли, по-польски» — сколько в этом исторического достоинства, чувства своей народности и права от народа говорить. Но дальше этот образ раскрывается еще шире, еще принципиальней. Это не шляхетская шапка с пером, это шапка политического ссыльного Варынского * — шапка революционера, носившего кандалы на царской каторге. Вот поклон такой шапкой, поклон до земли, по-польски, объясняет нам мировоззрение Владислава Броневского.

Я видел Броневского в 1939 году — беженца из Варшавы, захваченной Гитлером. Его лицо выражало муку и негодование. Я встретил Владислава в 1941 году, перед вступлением его в ряды андерсовской армии. Эта армия не оказалась способной принести Польше свободу. Не за Польшу пришлось ей сражаться на африканских берегах. Но и там Броневский остался самим собой — революционером и поэтом революции. И как естественно было увидеть его в новой Варшаве, шагать с ним среди развалин Старого Мяста и первых новостроек Варшавы будущего, Варшавы социализма!

Несколько лет назад он подарил мне свою новую книжку. На ее обложке было имя Анка, а в глазах Владислава стояли слезы. Когда я сейчас раскрываю ее страницы, с каждой строки на меня глядят его глаза, наполненные слезами. В этом великая ценность поэзии — она сохраняет для людей не только общий облик человека, но и такие состояния, такие мгновения жизни, какие не способны записать ни фото, ни живопись, ни пластинка, ни пленка. Физики знают, как трудно уложить в опыт даже мгновение существования частицы, биологи знают, как малодоступна наблюдению клетка, пока она жива. Поэзия этой способностью владеет. Она оставляет живым неповторимое состояние человека, фиксирует судорогу боли рифма за рифмой, оставляет жить счастливую улыбку такой же точно, какой она была на живых губах. И этой способностью владеет Броневский.

Я не оговорился, сказав «владеет». Ибо самый смысл поэзии — в сохранении всего, чем содержательна личность поэта. Поэт остается, чтобы вызывать у нас те же слезы, ту же улыбку, остается влиять, владеть нами.

В нынешней сложной борьбе нового со старым и старого против нового во всех областях человеческой практики и идей поэзия не стоит в стороне. Она — двойник современного человечества. В ней существуют и голоса приверженных к прошлому, замкнувшихся в одиночество и безразличие, и голоса общности, ответственности за настоящее и будущее людей. Будучи поэтом польским, в самом прекрасном смысле этого эпитета, Владислав Броневский принадлежит и революционной России. Объятия Пушкина и Мицкевича, братские рукопожатия польских и русских революционеров-ссыльных «во глубине сибирских руд», смешавшаяся в боях кровь советских бойцов и бойцов Войска Польского, строки «Кланяюсь русской революции шапкой до земли, по-польски» — это соединяет нас больше и прочнее, чем то, что когда-то разъединяло. Но Броневский принадлежит и человечеству. Он сохранил для будущего в состоянии живого движения черты человека этой грандиозной эпохи, человека, прошедшего сквозь тюрьмы и окопы, чтобы их никогда на свете не было, черты поэта, о котором каждый честный человек, человек будущего, сможет сказать — мой друг, мой брат, мой поэт.

Такова поэзия Владислава Броневского, такова его жизнь.

---

* Варынский Людвик (1856—1889) — выдающийся деятель польского социалистического движения, создатель и руководитель первой революционной партии рабочего класса Польши «Пролетариат». В 1883 г. был арестован и в 1885 г. осужден на 16 лет каторги.

ЛЕОНАРДО ШАША

Сова появляется днем

ПОВЕСТЬ

Перевод с итальянского
Г. БРЕЙТБУРДА

...Я не учел должным образом тех пределов, которые устанавливают законы, государство, и обидчивость того, кто им служит, и должен был приняться за бесчисленные сокращения... Может быть, повесть от этого выиграла. Не подлежит, однако, сомнению, что писал я ее без того чувства полной свободы, которым должен пользоваться писатель...

(Из послесловия автора)

«...Словно сова, когда появляется днем».
Шекспир. «Генрих IV».

Автобус должен был вот-вот отправиться: глухо ворчавший мотор хрипел и внезапно всхлипывал. Серый рассвет занялся над затихшей площадью, разорванные клочья тумана окутали соборную колокольню. Только и слышно что гул мотора да голос уличного торговца, то умоляющий, то насмешливый: «Булочки, горячие булочки!» Кондуктор захлопнул дверцу, автобус тронулся, будто камень с горы покатился. Кондуктор бросил последний взгляд на площадь и заметил догонявшего автобус мужчину в черном. Кондуктор сказал водителю: «Минутку!» — и, прежде чем машина успела остановиться, открыл дверцу. Два выстрела разорвали тишину: человек в черном, готовый было вскочить на подножку, повис на мгновенье в воздухе, затем стал падать, словно чья-то невидимая рука тащила его вниз; портфеля он из рук не выпускал и наконец медленно на него опустился.

Кондуктор выругался, лицо у него стало пепельного цвета, он весь дрожал. Торговец, стоявший метрах в трех от убитого, стал осторожно отходить к воротам церкви. В самом автобусе никто не двинулся с места; шофер словно окаменел, правая рука застыла на рукоятке тормоза, левая — на баранке. Кондуктор обвел взглядом все эти немые лица, лица без глаз, и сказал:

— Они убили его.— Потом снял фуражку и начал лихорадочно приглаживать волосы, ни на минуту не переставая ругаться.

— Где карабинеры? — крикнул шофер.— Нужно позвать карабинеров! — Он вскочил, открыл дверцу и бросил кондуктору: — Я пошел.

Кондуктор взглянул на убитого и потом снова на пассажиров. В автобусе были и женщины, старые женщины, по утрам таскавшие тяжелые полотняные мешки и корзины, полные яиц; их одежда пропахла сеном, хлевом, гарью; обычно они проклинали все на свете, ругались, ворчали, теперь же притихли, казалось, они навеки замолкли.

— Кто он такой? — спросил кондуктор, показывая на покойника.

Ни слова в ответ. Кондуктор опять выругался. Пассажиры давно его знали как отчаянного сквернослова, ругаться он действительно умел, ему однажды даже пригрозили увольнением, но пристрастие к этому пороку было в нем столь велико, что он не мог сдержаться даже тогда, когда среди пассажиров оказывались попы и монахини. Сам он родом из Сиракуз, необычной сицилийской провинции, где люди не слишком привыкли к убийствам из-за угла,— вот почему он сегодня ругался еще яростней, чем обычно.

Появились карабинеры, небритое лицо старшины казалось черным от бессонницы. Их приход, словно сигнал тревоги, нарушил летаргический сон пассажиров, один за другим они стали покидать автобус через дверцу, расположенную за спиной у кондуктора. Дверцу открыл шофер. Пассажиры с напускным равнодушием некоторое время медлили, словно выбирая точку, с которой можно лучше всего разглядеть колокольню, затем отходили к самому краю площади, окидывали ее прощальным взглядом и исчезали. Старшина и карабинеры не замечали этого медленного бегства. Вокруг убитого теперь собралось человек пятьдесят рабочих из расположенных по соседству учебных мастерских; всех их только обрадовал неожиданный перерыв. Старшина велел карабинерам очистить площадь и всех пассажиров усадить в автобус. Карабинеры стали оттеснять любопытных к улочкам, выходившим на площадь, а пассажиров приглашали занять свои места.

Площадь очистилась, но и автобус оказался пустым: в нем остались только шофер и кондуктор.

— В чем дело? — спросил старшина у шофера.— Разве сегодня не было ни одного пассажира?

— Кое-кто был,— ответил шофер с видом человека, утратившего память.

— Кое-кто — это значит пять-шесть пассажиров,— заметил старшина,— а я ни разу не видел, чтоб в этом автобусе оказалось хоть одно свободное место.

— Не знаю,— возразил шофер с таким видом, будто все его силы ушли на припоминание,— не знаю, я ведь сказал «кое-кто», а это вовсе не значит пятеро или шестеро, конечно, их было больше, автобус был даже полон... Я никогда не гляжу на пассажиров, сяду за баранку и пошел... Только на дорогу гляжу, мне и платят, чтоб я на дорогу глядел.

Старшина нервно провел рукой по лицу.

— Понятно,— сказал он,— ты только на дорогу глядишь, ну, а вот ты,— и он в ярости обернулся в сторону кондуктора,— ты ведь и билеты отрываешь, и деньги берешь, и сдачу даешь, и пассажиров считаешь, глядя им в лицо... Если не хочешь все это припомнить, сидя за решеткой, ты мне сразу же скажешь, кто был в автобусе, десяток имен по меньшей мере назовешь... Вот уже три года ты работаешь на этой линии, и три года я каждый вечер встречаю тебя в кафе «Италия»: ты здесь всех знаешь наперечет...

— Лучше вас никто местных жителей знать не может,— сказал кондуктор улыбаясь, словно решил отразить нападение при помощи комплимента.

— Ладно,— сказал старшина со вздохом,— сначала ты, потом я, пусть так... Будь я тогда в автобусе, я бы теперь припомнил имена всех пассажиров, всех до единого, но меня там не было, значит, придется вспомнить тебе, ты должен назвать хоть десятерых.

— Не могу,— сказал кондуктор,— памятью матери клянусь: ничего сейчас не припомню, все как во сне...

— Я тебя разбужу,— набросился на него старшина,— посидишь несколько деньков и сразу проснешься...— но тут же умолк и пошел навстречу претору*. Старшина докладывал начальству об опознании личности убитого и бегстве пассажиров, и в это самое время взгляд его остановился на автобусе, и он почувствовал, будто ему чего-то не хватает или что-то находится не на месте,— так бывает, когда наши привычки внезапно нарушатся, либо что-нибудь совсем обыденное, затрагивающее лишь поверхностный слой чувств, вдруг исчезает, оставляя в памяти ощущение неудовлетворенности, не проходящее до тех пор, пока не поймешь, в чем дело.

— Что-то здесь не так,— сказал старшина карабинеру Спозито, он имел диплом счетовода и являлся одним из столпов полицейского поста в С.,— не хватает чего-то или кого-то...

— Уличного торговца!..— воскликнул карабинер Спозито.

— Черт возьми! Именно торговца! — обрадовался старшина и подумал, что уж, конечно, у него на родине не выдадут диплом счетовода первому встречному.

Сразу же снарядили карабинера и велели ему доставить торговца: он знал, где его искать; после отправления первого автобуса, торговец обычно появлялся во дворе начальной школы и продавал там свежие булочки. Через десять минут он предстал перед старшиной, и вид у него был такой, будто его разбудили в момент, когда ему снился самый безобиднейший из снов.

— Его ты видел? — спросил старшина у кондуктора, показывая на торговца.

— Видел,— ответил кондуктор, разглядывая кончик собственного ботинка.

— Итак,— с отеческой лаской в голосе произнес старшина,— сегодня утром ты, как обычно, пришел сюда продавать булочки, и, как обычно, первый автобус в Палермо...

— У меня разрешение,— сказал торговец.

— Знаю,— ответил старшина, подымая к небу глаза, полные мольбы о долготерпении,— знаю и наплевать мне на твое разрешение, я только об одном хочу узнать: скажи, кто стрелял, и я тут же отпущу тебя продавать твои булочки мальчишкам.

— А что,— спросил торговец удивленно и вместе с тем заинтересованно,— разве кто-нибудь стрелял?

■

...Да, в шесть тридцать, на углу улицы Кавура, возможно, из двенадцатимиллиметровки, а может, из ружья с нарезным стволом... Те, кто сидел в автобусе, ничего не видели; когда я прибыл, они уже разбежались... Торговец булочками только спустя два часа припомнил, что на углу улицы Кавура и площади Гарибальди он видел нечто похожее на

* Претор — здесь следователь по уголовным делам.

мешок с углем, прислоненный к стене собора; по его словам, из-за этого мешка с углем сверкнуло дважды пламя выстрела. Он обещал подарить кооперативу «Санта Фара» мешок чечевицы — ведь, находясь совсем рядом, он и сам только чудом избежал гибели... Нет, кондуктор не видел мешка с углем... Пассажиры, сидевшие по правую сторону, утверждают, что в автобусе окна такие грязные, словно их наждаком натерли: может, они и правы...

Да, он был председателем строительного кооператива: кооператив небольшой, должно быть, ни разу ему не доставался подряд более, чем на двадцать миллионов лир, строили жилые дома для простонародья, дороги внутри острова, прокладывали канализацию... Сальваторе Коласберна, да, Ко-ла-сбе-рна: он был каменщиком, десять лет назад вместе с двумя своими братьями и четырьмя или пятью другими каменщиками из местных сколотил кооператив; вел дело он один, хотя директором и числился землемер... Тянули лямку из последних сил; он, как и все его компаньоны, довольствовался малым. Нет, нельзя сказать, чтобы их дома разваливались после первого дождя... Я видел дом для батраков, совсем новый, так тот развалился оттого, что корова потерлась боком об стену... Говорят, братья Коласберны строили прочно; и в самом деле, взять дорогу в Мадонна ди Фатима, построенную их кооперативом: сколько там грузовых машин проходит, а она и на сантиметр не осела; другие дороги, построенные фирмами покрупнее, через год напоминают верблюжьи горбы... Был ли он под следствием? Да, в тысяча девятьсот сорок... да, в сороковом году... третьего ноября сорокового года... В автобусе ехал — все его беды от автобуса,— пассажиры заговорили о войне в Греции. Кто-то сказал: «Через пятнадцать дней мы ее высосем», Грецию то есть, а Коласберна возразил: «Что она вам, сырое яйцо?» В автобусе оказался чернорубашечник... Ну, донес... Как?! Простите, вы меня спросили, был ли он под следствием, вот я вам с документами в руках докладываю: был... Слушаюсь, не был... Это я фашист?.. Стоит мне фашиста издали увидеть, как я начинаю плеваться.. Так точно, господин начальник, будет исполнено...

Он с необычайной осторожностью повесил трубку и платком отер пот со лба.

— Этот воевал вместе с партизанами. Мне только и надо было нарваться на такого, что воевал вместе с партизанами,— сказал старшина.

Оба брата Коласберны и остальные члены строительного кооператива «Санта Фара» ждали прихода капитана: они уселись в ряд, все как один одетые в черное; у обоих братьев головы были повязаны черными платками, лица давно не бриты, глаза красные; они ждали капитана в приемной, сидя неподвижно, уставившись на раскрашенную мишень и надпись: «Оружие складывать здесь». Теперь, попав в такое место, да еще томясь от ожидания, они сгорали со стыда. Смерть ничто в сравнении с позором!

Поодаль на краешке стула сидела молодая женщина: она пришла после них и сказала вестовому, что хочет говорить со старшиной; вестовой ответил: старшина занят, вот-вот должен прибыть капитан, но и у него много хлопот; она сказала: «Я подожду»,— и уселась на краешек стула; в дрожь бросало того, кто глядел на ее руки, так они все время дергались. Ее знали в лицо, она была женой садовника, только не из этих мест, а из селенья С.; после войны садовник переехал в С., женился там; благодаря приданому жены и собственному ремеслу он считался в бедном селении человеком состоятельным. Члены кооператива «Санта Фара» решили: «Видно, поругалась с мужем, вот и пришла жаловаться»,— и это была единственная мысль, которая отвлекла их от ощущения собственного позора.

Слышно было, как во двор въехал автомобиль, как затих мотор, как по коридору застучали каблуки. Капитан вошел в приемную, где ждали люди, а старшина открыл дверь его кабинета и замер, вздернув голову так высоко, будто хотел достать ею до потолка. Капитан был молод, строен, светлолиц; после первых произнесенных им слов члены кооператива с чувством презрительного облегчения решили: «Он с континента *, люди с континента всегда любезны, но ровно ничего не понимают».

И снова они уселись в ряд у письменного стола в кабинете старшины; капитан сел в кресло с подлокотниками, где обычно сидел старшина, старшина стоял, а рядом за пишущей машинкой расположился карабинер Спозито. У него, у этого карабинера Спозито, было лицо ребенка, но именно его присутствие вызывало у братьев Коласберн и их товарищей смертельную тревогу, чувство страха перед беспощадной инквизицией, чувство ужаса перед черным семенем письмен. «Белое поле, черное семя: кто на нем сеет, беды не оберется».

Капитан выразил сожаление по поводу случившегося, затем извинился, что пригласил всех в казарму и сам вдобавок прибыл с опозданием. Присутствующие же еще раз подумали: «Человек с континента; до чего ж они все хорошо воспитаны, эти люди с континента»,— но при этом не спускали глаз с карабинера Спозито, который, слегка касаясь пальцами клавиш машинки, был спокоен и внимателен, как охотник, который держит палец на курке и подстерегает зайца при свете луны.

— Любопытно,— сказал капитан, словно продолжая прерванный разговор,— как у вас здесь любят отводить душу в анонимных письмах: вроде все хранят молчание, но, на наше счастье, я имею в виду нас, карабинеров, письма шлют охотно. Письма посылать не забывают, но подпись поставить забывают. Что ни случись — семейная ссора, злостное банкротство, убийство из-за угла,— сразу же у меня на столе с десяток писем, стоит кому-либо из карабинеров завести роман — пишут и об этом...— это он сказал с улыбкой, обернувшись к старшине, и члены кооператива «Санта Фара» решили, что он намекает на связь карабинера Саварино с дочерью торговца табаком Палиццоло, о чем знало все селение, ждавшее в скором времени перемещения этого Саварино.

— По делу Коласберны,— продолжал капитан,— я уже получил пять анонимок. И это совсем неплохо, если вспомнить, что убийство произошло лишь позавчера; уверен, придут и новые письма. «Коласберна был убит из ревности»,— говорится в одной из анонимок и даже называется имя ревнивого мужа.

— Все это ерунда,— заметил Джузеппе Коласберна.

— Я тоже так думаю,— сказал капитан и добавил: — По другой версии, он был убит ошибочно, он попросту очень походил на некоего Перриконе, который, как утверждает тот же анонимный осведомитель, сам вскоре получит положенную ему порцию свинца.

Члены кооператива быстро переглянулись, как бы советуясь друг с другом.

— Может, так оно и вышло,— сказал Джузеппе Коласберна.

— Нет, не вышло,— ответил капитан,— дело в том, что Перриконе, о котором говорится в письме, уже пятнадцать дней назад получил заграничный паспорт и сейчас находится в бельгийском городе Льеже: вы этого, может, и не знали, и уж, конечно, об этом не знал автор анонимки, но для того, кто намеревался отправить Перриконе на тот свет, такое обстоятельство не могло пройти незамеченным. Не говорю вам о других предположениях, еще более бессмысленных, но есть одно письмо, над

* Людьми с континента, континентальными сицилийцы называют жителей полуостровной Италии.

которым я прошу вас крепко призадуматься, оно, на мой взгляд, прямо наводит на верный след... Все это связано с делами, с конкуренцией, с подрядами. Вот где нужно искать.

Снова все присутствующие быстро переглянулись.

— Не может этого быть,— сказал Джузеппе Коласберна.

— Еще как может,— возразил капитан,— и я вам скажу почему... Помимо данных по вашему делу, у меня есть сведения о других подрядах. К сожалению, все это только предположения, вот если б иметь доказательства... Допустим, в некоем районе, в некоей провинции существуют десять фирм, и все десять стремятся получить подряды; у каждой фирмы свои машины, свои материалы; все это на ночь оставляется под открытым небом, рядом с прокладываемой дорогой или со строящимся зданием, а машины — штука деликатная, стоит вывинтить болт, хотя бы один, и понадобятся часы или даже дни, чтобы снова пустить машину в ход; ну, а потом еще и стройматериалы, и нефть, и асфальт, и лес — как легко украсть все это или поджечь! Правда, на строительстве имеется барак, где обычно спят рабочие; но у них сон крепкий, а здесь есть люди — вы меня понимаете,— которые никогда не дремлют. Разве не естественно обратиться к таким никогда не дремлющим людям с просьбой о помощи? Тем более, что они сами тотчас же предлагают эту помощь. Если же вы поступите опрометчиво и отвергнете их покровительство, непременно случится что-нибудь такое, что заставит вас согласиться... Встречаются, конечно, и упрямцы: те отказываются — ничего, мол, нам не нужно — и не хотят ни на что соглашаться, даже если вы им нож к горлу приставите. Сдается мне, вы и есть такие упрямцы, по крайней мере, таким, видно, был Сальваторе Коласберна...

— Мы об этом ничего не знаем,— сказал Джузеппе Коласберна, а остальные, напряженно глядя на капитана, кивали в знак согласия.

— Может быть,— сказал капитан,— может быть... Но я еще не кончил. Значит, есть десять фирм, девять соглашаются или просят о покровительстве. Но сообщество, о котором я говорю,— а вы прекрасно знаете, о чем я говорю,— было бы слишком ничтожным, если бы ограничилось ролью сторожа и соответствующими доходами: покровительство, предлагаемое им, носит более широкий характер. Для фирм, выражающих свое согласие, оно получает подряды на льготных условиях; оно снабжает их сведениями, полезными для участия в торгах, содействует сдаче готовых работ, заставляет рабочих не предъявлять чрезмерных требований... Если девять фирм идут на такое дело, образуя нечто вроде консорциума, а десятая отказывается, то эта десятая конечно же выглядит в данном случае, как белая ворона; разумеется, большого вреда от этого нет, но уже одно то, что она существует, звучит как вызов и служит дурным примером. Тогда нужно любыми средствами заставить ее либо вступить в игру, либо исключить ее из этой игры навсегда — в таком случае ее и уничтожают.

Джузеппе Коласберна сказал:

— Я о таких вещах не слыхал ни разу,— а брат его и компаньоны снова закивали в знак согласия.

— Допустим,— продолжал капитан, словно не слыша их ответа,— что кооператив «Санта Фара» и был такой белой вороной в нашем районе, что он не хотел вступать в эту игру и рассчитывал получить подряды, не пользуясь ничьим покровительством, и что ему иногда удавалось добиться этого именно потому, что он вел свои дела честно... И вот один почтенный, как здесь у вас говорят, человек однажды явился к Сальваторе Коласберне и повел с ним речь о некоторых вещах; разговор был такой, что вроде ничего и сказано не было, одни только намеки, разговор запутанный, как обратная сторона вышивки, сплошные узлы и нити и лишь на другой стороне рисунок. Коласберна не желает или не умеет

взглянуть на эту другую сторону — и вот уважаемый и почтенный человек обижен. Сообщество переходит к действиям: в виде первого предупреждения сгорает небольшой склад или происходит что-либо иное в таком же роде, затем следует второе предупреждение — вечером, часов в одиннадцать, когда Коласберна возвращается домой, мимо его уха пролетает пуля...

Члены кооператива «Санта Фара» избегали смотреть на капитана, они внимательно разглядывали собственные руки, затем портрет начальника корпуса карабинеров, портрет президента республики, наконец распятие.

После небольшой паузы капитан нанес удар, которого они опасались более всего.

— Мне кажется, нечто подобное произошло и с вашим братом,— сказал он.— Месяцев шесть назад, когда он возвращался домой, часов в одиннадцать вечера... не так ли?

— Я и понятия не имею об этом,— пробормотал Джузеппе.

— Они не хотят и не будут говорить,— вмешался старшина.— Им, видно, лучше, чтоб их перестреляли всех по очереди, а говорить они все равно не станут: довольствуются тем, что подставляют себя под пули...

Капитан прервал его жестом:

— Послушай, там ждет какая-то женщина.

— Сейчас иду,— ответил слегка обиженный старшина.

— Мне вам больше сказать нечего,— закончил капитан.— Я и так многое сказал, а вы, видимо, ничего сообщить мне не можете. Я хотел бы, чтоб каждый из вас перед уходом написал на этом листке имя, фамилию, место и дату рождения, адрес...

— Я очень медленно пишу,— сказал Джузеппе Коласберна. Другие тоже сослались на свою малограмотность.

— Неважно,— сказал капитан,— время у нас есть.

Он закурил сигарету и принялся внимательно наблюдать за усилиями членов кооператива «Санта Фара»; тем, кто смотрел, как они писали, могло показаться, что перо тяжелее электробура, оно, так же как бур, дрожало от неуверенности, и дрожь их пальцев передавалась капитану. Когда они кончили, капитан позвонил и вызвал вестового, тот вошел вместе со старшиной.

— Проводи этих синьоров,— приказал капитан.

«Черт возьми, он умеет быть обходительным»,— подумали компаньоны. Обрадованные тем, что отделались так дешево, ибо чего стоят каракули, которые капитан заставил их вывести на бумаге, а также тем, что офицер карабинеров назвал их «синьорами», компаньоны вышли, почти позабыв о своем трауре. Им захотелось поскорее уйти отсюда, словно ребятам, которым не терпится удрать из школы.

Тем временем капитан сравнивал почерк каждого из них с почерком анонима. Он не сомневался, что письмо написано кем-то из этих людей; несмотря на неестественный наклон букв и нарочитые искажения, не было никакой нужды прибегать к помощи графолога, чтобы установить: автор анонимного письма — Джузеппе Коласберна. Следовательно, сведения, которые в нем сообщались, были надежными, заслуживали доверия.

Старшина не понимал, к чему капитану понадобилось так тщательно изучать эти каракули.

— Сколько ни выжимай точильный камень, ни капли не выжмешь,— сказал он, имея в виду братьев Коласбернов и членов кооператива, все селенье, где он служил, да и всю Сицилию в целом.

— Кое-что всегда добыть все-таки удается,— ответил капитан.

«Раз ты доволен — значит, все будут довольны»,— подумал старшина, в мыслях своих говоривший «ты» даже самому начальнику корпуса.

— Что с этой женщиной? — спросил капитан, собираясь уходить.

— Ее муж,— ответил старшина,— позавчера ушел корчевать деревья и до сих пор не вернулся... Должно быть, застрял у кого-нибудь в гостях — жирный барашек да вино,— а потом пьяный свалился и спит где-нибудь на сеновале. Сегодня к вечеру вернется, ручаюсь своей головой.

— Позавчера... Будь я на твоем месте, я бы уже объявил розыск,— сказал капитан.

— Есть объявить розыск,— ответил старшина.

■

— Не нравится мне он,— с гримасой отвращения сказал человек в черном костюме, и при этом на его умном лице было такое выражение, будто он только что отведал кислых слив и набил оскомину,— совсем не нравится.

— Но и тот, другой, что был здесь до него, тоже тебе не нравился. Что ж, прикажешь менять их каждую неделю? — улыбаясь, ответил ему элегантный блондин, сидевший рядом; он тоже был сицилийцем, но отличался от первого своей внешностью и манерами.

Они беседовали в одном из римских кафе: тихий, полный розового света зал, зеркала, люстры, походившие на большие букеты цветов, и полненькая шатенка — гардеробщица, словно соблазнительный плод, выглядывавшая из своего черного платья...

— Тот мне не нравился — ведь он был замешан в историю с разрешениями на хранение оружия,— сказал темноволосый.

— А до него был другой, так тот тебе не нравился из-за истории с высылкой.

— А что, по-твоему, вся история с высылкой — пустяк?

— Знаю, что не пустяк, но тебя по той или иной причине вообще никто не устраивает.

— Нет, данный случай — особый. Для тебя еще важней, чем для нас, чтоб на таком посту был наш человек. Этот же воевал вместе с партизанами. И вот к нам, в Сицилию, где и так полным-полно коммунистов, присылают бывшего партизана? Конечно, теперь дела наши пойдут под откос...

— Разве точно известно, что он сочувствует коммунистам?

— Скажу тебе вот что. Сам знаешь, что происходит сейчас на серных рудниках: я проклинаю тот день, когда вошел в компанию со Скарантино, владельцем рудников, теперь мы разоряемся, капитал мой тает, и скоро из-за этих рудников я сам пойду по миру...

— Итак, ты разорен,— сказал блондин недоверчиво и насмешливо.

— И если еще не до конца, то лишь благодаря вам и правительству, которое, нужно признать, по-серьезному отнеслось к кризису в серно-добывающей промышленности...

— Но правительство взимает немалые налоги и могло бы регулярно и справедливо оплачивать труд рабочих, даже не заставляя их спускаться в рудники...

— Так вот, дела идут плохо; конечно, это касается всех, но не один же я должен терпеть убытки, рабочие тоже должны поступиться чем-нибудь... Именно поэтому они в течение двух недель и не получали денег за свой труд...

— Не двух недель, а трех месяцев,— уточнил, усмехаясь, блондин.

— Ну, я точно не помню... И вот, пожалуйста, они заявляют протест: свистки под окнами, ругань такая, что и повторить неловко, словом, бог знает что... Ладно, отправляюсь я к нему... И что же слышу в ответ? «Вы,— говорит,— сегодня обедали?» — «Ну, да»,— отвечаю. «А вче-

ра?» — «И вчера, разумеется».— «А ваша семья не страдает от голода?» — «Благодарение богу,— отвечаю,— не страдает».— «А эти люди, которые подняли шум у вас под окнами, сегодня ели?» Я хотел было ему ответить: «Наплевать мне на то, ели они или нет»,— но из вежливости только сказал: «Не знаю». А он мне в ответ: «Вам бы не мешало осведомиться об этом». Я ему: «Обращаюсь к вам потому, что они стоят под окнами моего дома и угрожают, моя жена с дочерьми не могут даже в церковь отправиться к мессе».— «О,— говорит он,— мы их доставим в церковь, мы,— говорит,— здесь только для этого и существуем... Вы не будете платить своим рабочим, а мы будем сопровождать вашу жену и дочерей в церковь»,— и смотрит на меня вот так... Ты ведь знаешь, я человек горячий, прямо руки зачесались...

— Ах, ах, ах,— произнес блондин с возрастающим неодобрением. Он осуждал несдержанность и призывал к осторожности.

— Нервы у меня прочней канатов, не то что тридцать лет назад. Но и я говорю: где это видно, чтоб полицейский так разговаривал с благородным человеком? Он — коммунист, только коммунисты и говорят таким языком.

— К сожалению, не только коммунисты, есть и в нашей партии люди, которые думают и говорят так же... Если б ты только знал, какую борьбу нам приходится вести ежедневно и ежечасно...

— Знаю и потому говорю: они тоже коммунисты.

— Не коммунисты они,— меланхолически возразил блондин, поглощенный своими мыслями.

— Допустим, они не коммунисты. Тогда достаточно папе сказать свое твердое слово и притом четко и ясно — они и пикнуть не посмеют...

— Не так все это просто... Но хватит, вернемся к нашим делам. Как звать этого вашего... коммуниста?

— Беллоди, если не ошибаюсь, он командует ротой карабинеров в К. Он там всего три месяца и уже успел нам навредить... Теперь он сует нос в подряды; коммендаторе* Дзарконе тоже говорит, что вся надежда на вас, он мне так и сказал: «Надеемся, что господин депутат вернет его в те места, где он сможет есть поленту **».

— Дражайший Дзарконе — как он поживает?

— Мог бы и лучше,— таинственно произнес брюнет.

— Мы сделаем все, чтобы ему стало лучше.

■

Перед капитаном Беллоди, командиром роты карабинеров в К., сидел осведомитель из С. Вызвали его с обычными в таких случаях предосторожностями для того, чтобы узнать, что он думает по поводу убийства Коласберны; когда в деревне случалось что-либо серьезное, осведомитель, как правило, являлся сам, на этот же раз его пришлось вызвать. Это был человек с темным прошлым. Сразу же после войны он попался на краже овец, а теперь, по имевшимся сведениям, доставлял клиентов ростовщикам; осведомителем он стал отчасти по призванию, отчасти потому, что ошибочно предполагал, будто таким способом обеспечит себе возможность безнаказанно заниматься своим ремеслом, которое сам он, по сравнению с вооруженными грабежами, считал делом честным и справедливым, вполне достойным отца семейства. Грабежи на большой дороге он относил к заблуждениям своей молодости, теперь же, не имея ни единой лиры, он пропускал через свои руки чужие деньги, и это позволяло про-

* Почетное звание в Италии.

** Полента — блюдо из кукурузы, очень распространенное на севере Италии.

кормить троих детей и жену да еще откладывать кое-что про запас. В будущем он надеялся обзавестись небольшим торговым делом — всю свою жизнь он мечтал о прилавке, за которым будет стоять и отмеривать ткани. Но именно «заблуждениям молодости» и тому, что он побывал в тюрьме, этот человек был обязан своим нынешним благополучием, именно благодаря всему этому он и получил возможность заняться столь легким и прибыльным делом; стоящие выше всяких подозрений, вполне благородные люди, любившие порядок и мессу с пением, доверили ему деньги именно в расчете на эту его репутацию, из страха перед которой должники аккуратно оплачивали векселя и не заблуждались насчет необходимости хранить тайну. Такой посредник и в самом деле внушал страх. («Я позабыл свой пиджак в Уччардоне *»,— говорил он в шутку или в виде угрозы. Это должно было означать, что он может кого угодно прикончить, чтобы затем вернуться за своим пиджаком туда, где он его оставил, хотя на самом деле при одной мысли о тюрьме он весь покрывался холодным потом.) Итак, должники выплачивали сто процентов роста, а редкие отсрочки предоставлялись на таких условиях, что человек, который, предположим, получил деньги и купил мула, чтобы обработать участок земли, должен был через два года вернуть сумму, равную стоимости не только мула, но и земельного участка.

Если бы не страх, мучивший его, осведомитель почитал бы себя человеком счастливым и вполне почтенным. Но страх вселился в него и вел себя подобно бешеному псу: выл, хрипел, исходил пеной, внезапно врывался своим рычаньем в сон и больно кусал, вгрызаясь в печень и в сердце. От этих укусов у него была постоянная изжога, искра боли неожиданно вспыхивала в сердце, и оно вело себя, как живой кролик в пасти у гончей; врачи поставили диагноз и надавали ему кучу лекарств, которыми он заполнил целую полку, но что могли знать врачи о страхе, терзавшем его?!

Он сел поодаль от капитана, стараясь не глядеть ему в лицо, и нервно вертел в руках шапку, а тем временем забравшийся внутрь пес ворочался, выл и кусался. Вечер был холодный, небольшая электрическая печка грела столь слабо, что в этой просторной комнате было как будто еще холодней, чем на улице. Мебели в кабинете почти никакой, пол выстлан старинными каменными плитами из Валенсии, цвет эмали и шедший от них холод придавали им сходство со льдом, холодный пот выступил у этого человека, словно уже одетого в саван.

Едва только осведомитель узнал об убийстве Коласберны, у него уж была наготове своя ложная версия; теперь же он прибавлял к ней новые подробности и, уподобившись художнику, который после каждого нового мазка отходит от картины, чтобы насладиться ею заново, он говорил самому себе: «Превосходно! Тут уж и добавлять нечего»,— но затем снова добавлял что-либо и вносил поправки. Даже сейчас, сообщая свою ложную версию капитану, он в лихорадочной спешке все еще вносил изменения и добавления. Ознакомившись с личным делом Калоджеро Дибеллы, озаглавленным «Осведомитель Попик», капитан узнал, что из двух ветвей мафии, существовавших в этом селении (эти ветви, как ему объяснили, называют «коска», то есть побеги артишока), его человек близок к той, которая, несомненно (хоть это до сих пор и не доказано), имеет отношение к подрядам; другая же ветвь мафии в этом приморском селении состояла из людей помоложе и посмелее, занимающихся контрабандной торговлей американскими сигаретами. Вот почему он заранее предвидел лживость сообщения осведомителя, но считал, что выслушать его все же будет полезно.

Он не прерывал осведомителя и все более и более смущал его тем,

---

* Название тюрьмы.

что рассеянно соглашался со всем, о чем бы тот ни говорил. Слушая его, капитан думал о тех осведомителях, чьи кости теперь покоились под легким слоем земли и сухих листьев в Аппенинах; ничтожные люди, похожие на комки грязи, олицетворение страха и порока, они все же ставили на карту свою жизнь, лавируя между партизанами и фашистами на самом острие лжи. Человеческой в них была лишь эта агония страха, к которой они пришли из-за собственной низости; из-за этого страха смерти они ежедневно рисковали жизнью, пока наконец смерть не появлялась на их пути — раз и навсегда, и больше не было этой роковой игры, не было этого ежечасного умирания двойника.

Осведомитель из С. ставил на карту жизнь: когда-нибудь одна из ветвей мафии его уничтожит — выстрел из охотничьей двустволки, либо автоматная очередь,— ветви мафии отличались друг от друга также и пристрастием к определенному виду оружия. С одной стороны мафия, с другой карабинеры — вот предоставленный ему выбор. Но смертью угрожала лишь одна сторона. И конечно не карабинеры; здесь был лишь этот превосходно выбритый блондин, в превосходно скроенном мундире; в отличие от сицилийцев он глотал букву «с» при разговоре. Он не кричал на него, не угнетал своим презрением, и все-таки именно этот человек был для него воплощением закона, страшным, как сама смерть: для осведомителя закон не являлся порождением разума, не был разумным, закон для него был только этим человеком, закон зависел от его мыслей, от настроения, от легкой царапины при бритье, от того, пил ли этот человек скверный или хороший кофе. Словом, закон для осведомителя был чем-то предельно безрассудным, закон всегда зависел от того, кому дано повелевать: от муниципального стражника, от старшины карабинеров, от квестора или судьи — от того, в чьих руках сила. Осведомитель никогда не верил, что действие закона, писаного закона, может быть неизменно равным для всех людей. Он не мог в это поверить; на свете есть богачи и бедняки, есть люди сведущие и невежды — носители закона стоят меж ними, и лишь одна их рука стала карающей десницей правосудия, ибо другая обязана не карать, а охранять и защищать. Перед ним была стена, изгородь из колючей проволоки. И этот человек — вор, отбывший наказание,— теперь служил мафии, помогал ростовщикам и шпионил; этот человек искал лишь одного — бреши в стене, отверстия в изгороди. Скоро у него в руках окажется небольшой капиталец, скоро он откроет лавку, старшего сына он отдал в семинарию, пусть станет священником или уйдет оттуда, чтобы стать адвокатом — ведь это лучше, чем быть священником.

По ту сторону стены закон уже не страшен: как приятно разглядывать оттуда тех, кто остался, кто отделен стеной, изгородью. Терзаемый страхом, он лелеял мечту о покое, добытом несправедливым путем, за счет разорения других, и все эти мечты его тешили, хоть уже плавился где-то предназначенный для него смертельный свинец.

Капитан Беллоди, уроженец Пармы, в провинции Эмилия, республиканец в силу семейной традиции и собственных убеждений, посвятил себя тому, что прежде называли «военным ремеслом». Теперь он служил в полиции, сохраняя идеалы участника антифашистской революции, установившей свои законы, которые призваны были обеспечить свободу и справедливость, законы республики, которым он служил и которые заставлял уважать. Если сейчас Беллоди носил этот полицейский мундир,

надетый им при неожиданных обстоятельствах, если он все еще не покинул службу, чтобы стать адвокатом, в чем он видел свое назначение, то лишь потому, что служение законам республики изо дня в день становилось все более трудным и все трудней было заставить эти законы уважать. Осведомитель был бы просто растерян, если бы узнал, что сидевший перед ним человек в мундире карабинера, более того, в офицерском мундире, относился к власти, которой облечен, как хирург к своим инструментам, считая, что пользоваться ею нужно осторожно, точно и уверенно; и уж, конечно, осведомитель был бы ошеломлен, узнав, что этот человек считает закон воплощением справедливости. Словом, ремесло нелегкое и горькое: а ведь осведомитель считал Беллоди счастливцем, полагая, что степень счастья, основанного на силе и насилии, тем выше, чем больше мера страданий, которые можно причинить другим людям.

Попик разворачивал придуманную им ложь подобно тому, как приказчик разворачивает на прилавке рулоны ситца перед крестьянками... Кличка Попик была не случайной, в ней отражалась его наклонность к краснобайству и сквозившее в его речах лицемерие, но все эти таланты осведомителя сводились на нет молчаньем капитана. Слова Попика звучали плаксиво и явно отдавали фальшью, его рассказ был непоследователен, бессвязен, неправдоподобен.

— Не думаете ли вы,— спросил наконец капитан тоном спокойным, дружеским, доверительным,— не думаете ли вы, что полезней обратить внимание на иные обстоятельства? — Все «с» в последнем слове оказались проглоченными, и само оно как бы повисло в воздухе, что на мгновенье заставило осведомителя позабыть о своем страхе.

Попик промолчал.

— Не думаете ли вы, что Коласберну могли убить, скажем, из корыстных соображений: за то, что он не согласился на кое-какие предложения, за то, что он, невзирая на угрозы, брал те подряды, какие мог получить?

Те, кому принадлежал этот кабинет до капитана Беллоди, обращались к осведомителю обычно с вопросами, смысл или угрожающий тон которых позволяли ему видеть перспективу ссылки под надзор полиции или привлечения к суду за ростовщичество, и это внушало Попику не страх, а известную уверенность: складывались вполне ясные отношения— полицейские принуждали его совершить подлость, а он вынужден был совершить ее, чтобы успокоить и задобрить их. Но когда человек говорит с тобой любезно, доверительно, все принимает другой оборот. Именно поэтому на вопрос капитана он ответил каким-то неопределенным жестом: дескать, могло быть и так.

— А вы,— спросил капитан, не меняя тона,— не знаете ли вы кого-нибудь, кто был бы заинтересован в подобных делах? Не из тех, кто сам берет подряды, нет, а вот из тех, кто этим людям помогает, им покровительствует... С меня было бы вполне достаточно узнать, кто несколько месяцев назад сделал Коласберне кое-какие предложения. Поймите меня правильно: только предложения, не больше.

— Я ничего не знаю,— ответил осведомитель, поощренный любезностью капитана, высоко в небо взметнулся жаворонок шпионского вдохновения, и сердце у него радостно заколотилось от возможности кому-либо причинить страдания.— Ничего я не знаю, но если б мне предложили просто так, наугад, назвать первое пришедшее на ум имя, то я бы мог сказать, что кое-что ему предложил некий Чиччо Ла Роза либо Саро Пиццуко.— Здесь стремительный взлет радости уже сменился падением, падением камня, нацеленного в самое сердце, в самую сердцевину страха, который его терзал и жил в нем.

■

— Еще один запрос в парламенте,— объявил его превосходительство: — «Известно ли вам о последних серьезных и кровавых событиях в Сицилии, и какие меры вы готовы предпринять...» И т. д. и т. п. Как всегда, запрос исходит от коммунистов. Если я не ошибаюсь, здесь имеется в виду убийство этого подрядчика... как там его звали?

— Коласберна, ваше превосходительство.

— Коласберна... Если я не ошибаюсь, он был коммунист!

— Социалист, ваше превосходительство.

— Вы все время настаиваете на этом различии, вы упрямы, друг мой, позвольте мне вам это сказать. Коммунист, социалист — какая разница?

— В нынешней обстановке...

— Ради бога, только не надо объяснений, я ведь тоже иной раз читаю газеты...

— Но я бы никогда себе не позволил...

— Превосходно... Итак, постараемся избежать того, чтобы этот... Коласберна превратился в мученика коммунистической... простите... социалистической идеи... для этого нужно сразу же установить, кто его убил, сразу же, не медля ни минуты, и тогда министр сможет сообщить: Коласберна пал жертвой корысти или ревности, а политикой здесь и не пахнет.

— Следствие идет успешно. Убийство, бесспорно, совершено мафией, но политика здесь действительно ни при чем. Капитан Беллоди...

— Кто такой Беллоди?

— Вот уже несколько месяцев как он командует ротой карабинеров в К., в Сицилии.

— Тут-то мы и добрались до сути: я уже давно должен был потолковать с вами насчет этого Беллоди. Мой дорогой, Беллоди — это человек, которому на каждом шагу мерещится мафия, он из тех северян, чьи головы полны предрассудков, стоит им только сойти с парома в Сицилии, как они тотчас же обнаруживают мафию на каждом перекрестке... Если он утверждает, что Коласберна убит мафией, значит, плохи наши дела... Не знаю, знакомы ли вы с тем, что он несколько недель назад наговорил одному журналисту о похищении этого крестьянина... Как только его звали...

— Мендолия.

— Вот-вот... Он там такого наговорил, что волосы дыбом встают: мафия, мол, существует, мафия — это сила, мафия контролирует все на свете — овец, огороды, предоставление подрядов на общественные работы и даже судьбу греческих ваз, обнаруженных при раскопках... Греческие вазы я оставляю на его совести, это годится для фельетона... Но, бог ты мой, о чем, собственно, идет речь, нельзя ли немного посерьезней... Вот вы верите в мафию?

— Как вам сказать...

— Так и скажите...

— Не верю.

— Превосходно. Нас тут двое сицилийцев, и оба мы в мафию не верим.

— Ну, а вы, как будто в нее верите, и наше мнение должно вас кое в чем убедить. Впрочем, я вас понимаю, ведь вы не сицилиец, а предрассудки искореняются с трудом и медленно. Со временем вы убедитесь, что все это сплошные выдумки. Но пока, ради бога, следите повнимательней за ходом следствия, которое ведет этот Беллоди... Вы вот не верите в мафию, так постарайтесь что-либо предпринять, пошлите туда какого-

нибудь умелого человека, чтоб он только не натворил чего-нибудь с этим Беллоди, но...

Вот уж пять дней, как без вести исчез Паоло Николози, садовник по профессии, родившийся в Б. 14 декабря 1920 года, постоянно проживавший в С., улица Кавура, 97. На четвертый день жена его, доведенная до отчаянья, вновь явилась к старшине, и тот начал всерьез заниматься этим делом. Его донесение теперь лежало на столе у капитана Беллоди, красным карандашом подчеркнуты были слова «улица Кавура, 97». Капитан, нервно покуривая, шагал по комнате: он ждал сведений об этом Паоло Николози из архива и прокуратуры, сведений о том, состоял ли он ранее под судом и привлекался ли к уголовной ответственности.

Убийца Коласберны притаился на углу улицы Кавура и площади Гарибальди. Выстрелив, он, разумеется, не выбежал на площадь, где стоял автобус с пятьюдесятью пассажирами и где в двух шагах от убитого находился торговец с лотком. Логично будет предположить, что убийца бежал по улице Кавура. Здесь, в доме номер 97, проживал Николози. Шесть тридцать утра. Николози должен был в это время отправиться на работу в поместье Фондакелло, которое, как сказано в донесении, находится на расстоянии часа ходьбы от его дома. Возможно, что в ту самую минуту, когда убийца спасался бегством по улице Кавура, Николози как раз выходил из дому. Он опознал убийцу. Впрочем, кто знает, сколько других людей его видели: убийца вполне мог рассчитывать на молчание Николози, так же как и на молчание торговца и многих других, если даже допустить, что его можно было опознать, поскольку он был местным жителем или его просто знали в этих местах; однако ясно, что такое преступление мог совершить лишь наемный убийца, прибывший издалека,— этому учит Америка.

«Поменьше фантазии!» — советовал майор. Ладно, поменьше фантазии. Но вся Сицилия фантастична, как же тут обойтись без фантазии? Ладно, пусть одни факты. А о чем говорят эти самые факты? Некий Коласберна убит при посадке в автобус, отходящий в Палермо с площади Гарибальди в шесть тридцать утра; убийца стоял на углу улицы Кавура и площади Гарибальди, отсюда он стрелял и затем спасся бегством по улице Кавура.

В тот же день и в тот же час некто, проживавший на той же улице Кавура, вышел или собирался выйти из дому; он должен был, по словам жены, вернуться вечером, в час вечернего благовеста, но не вернулся, хотя с тех пор прошло уже пять дней. В поместье Фондакелло его ждали в тот день, но он не появился. Вместе с ним где-то на пути от дома до поместья Фондакелло исчез его мул и рабочие инструменты и притом — совершенно бесследно.

Если бы оказалось, что Николози был под судом и следствием или что в той или иной степени он связан с преступным миром, можно было бы предположить, что он куда-то скрылся, или допустить, что кто-то убил его в отместку за какие-то старые дела и замел следы. Но раз под судом он не был, следовательно, не было причин для бегства; а если он не был человеком, прямо или косвенно связанным с преступным миром, который мог отплатить ему или от которого он мог потребовать расплаты, то становилось очевидным, что его исчезновение имело прямое отношение к убийству Коласберны, а фантазия здесь ни при чем.

Капитан оставил без внимания намеки на связь между исчезновением Николози и поведением его жены; он оставил в стороне столь полюбившуюся как мафии, так и полиции версию «убийства из ревности».

С тех пор как в наступившей тишине, когда смолк оркестр и внезапно прозвучал возглас: «Они убили кума Туридду *»,— впервые оцепенели от ужаса любители оперных спектаклей, в уголовной статистике Сицилии установилось постоянное численное соотношение между рогоносцами и застреленными любовниками. Убийство из ревности раскрывается сразу, и это считается заслугой полиции; наказание за убийство из ревности умеренное, и это считается заслугой мафии. Природа подражает искусству: Туридду Макка, умерщвленный музыкой Масканьи и ножом кума Альфио, переселился с оперной сцены на туристские карты Сицилии и столы патологоанатомов. Но порой удар ножа или выстрела из двустволки (к счастью, без сопровождения музыки) выпадал на долю кума Альфио: в данную минуту капитан Беллоди не сумел принять это во внимание, за что и должен был впоследствии поплатиться.

Из прокуратуры и архива бригадиры Д'Антона и Питроне доставили сведения о Паоло Николози: он нигде «не проходил», не было у него ни судимостей, ни приводов. Узнав об этом, капитан испытал чувство глубокого удовлетворения: ему не терпелось побыстрее отправиться в С., переговорить с женой Николози, с кем-либо из друзей пропавшего, с местным старшиной карабинеров и допросить людей, знавших его в поместье Фондакелло, чтобы затем, взвесив все, приступить к допросу тех самых Ла Роза и Пиццуко, на которых указал осведомитель.

Наступил полдень. Капитан приказал приготовить машину и быстро спустился вниз; от возбуждения хотелось петь, и он в самом деле что-то напевал, спускаясь по лестнице в бар, где съел две слойки и выпил чашку очень горячего кофе, который бармен из карабинеров готовил специально для него, заваривая определенное количество кофе и применяя все то уменье, какое бармен-карабинер родом из Неаполя готов употребить, желая добиться особого расположения начальства.

День был прохладный, но солнечный; четко вырисовывались стволы деревьев, квадраты полей, скалы, которые казались от холода льдисто-стеклянными и выглядели такими хрупкими, что от одного только порыва ветра или толчка могли рассыпаться со звоном. Даже воздух, сотрясаемый гулом мотора, был прозрачен и ломок, как стекло. Большие черные птицы кружились в этом стеклянном лабиринте, то совершая неожиданные виражи, то падая почти отвесно, словно их полету мешали невидимые стены. Дорога была пустынной. Бригадир карабинеров Д'Антона, устроившись поудобней на заднем сиденье, держал палец на спуске автомата, а дуло выставил в окно машины. Месяц назад направлявшийся по этой дороге из С. в К. автобус был остановлен — всех пассажиров ограбили. Бандиты, еще совсем молодые ребята, уже сидели в тюрьме Сан-Франческо.

Бригадир тревожно поглядывал на дорогу, раздумывая о расходах и о своем жалованье, о жене и жалованье, о телевизоре и жалованье. Карабинер, сидевший за рулем, думал о фильме «Европа ночью», который видел накануне вечером, и о том, каким настоящим мужчиной был герой фильма, и как все это в фильме хорошо получилось, и о том, что надо бы посмотреть, как этот герой поведет себя дальше; а за всеми этими мыслями, напоминавшими скорее виденья, где-то приглушенно, в самой глубине, ворочалась другая, о которой капитан не должен был догадываться: шофер не успел пообедать в казарме и думал о том, поспеет ли он на обед к карабинерам в С.; капитан, не человек, а просто дьявол, отгадал его мысль и сказал, что в С. оба они, бригадир и шофер, должны будут раздобыть себе еду, и даже высказал сожаление, что не подумал об этом до отъезда. Шофер покраснел и решил: «Он добряк, но читает

* Персонаж из популярной оперы Масканьи «Сельская честь».

мои мысли». Так было не впервые, а бригадир сказал, что у него нет аппетита и он может не есть хоть до завтрашнего дня.

В С. старшина, который не был предупрежден об их приезде, вышел им навстречу, дожевывая кусок мяса, и покраснел от неожиданности и досады: оставшееся на блюде жаркое из ягненка остынет и совсем потеряет вкус, а подогреть — еще хуже; ягненка надо есть горячим, чтобы жир стекал каплями. Но хватит о еде, узнаем лучше, что нового.

А новости были, на лице старшины отразилось нечто вроде одобрения, но на самом деле он был не слишком убежден в существовании связи между убийством Коласберны и исчезновением Николози. Он велел вызвать двух-трех приятелей Николози, его шурина, вдову; карабинеру он так и сказал: «Приведешь вдову»,— сомнений в том, что Николози мертв, у него не было, такой тихий человек, как Николози, мог не появляться так долго лишь по одной причине — по причине собственной смерти. Тем временем старшина предложил капитану перекусить. Капитан не захотел: сказал, что уже поел. «Ах, ты уже поел»,— подумал старшина, и злость его стала такой холодной, как капли жира вокруг застывшей баранины.

Вдова оказалась хорошенькой женщиной: каштановые волосы, черные-пречерные глаза, тонкое, спокойное лицо, только на губах блуждает лукавая улыбка. Она не была застенчива.

Объяснялась вдова на диалекте, вполне доступном пониманию, и капитану не понадобился старшина в качестве переводчика: он у самой женщины спрашивал о значении отдельных слов, и ей иной раз удавалось либо найти соответствующее итальянское слово, либо целой фразой на диалекте разъяснить непонятное. Капитан, будучи партизаном, а потом служа в полиции, познакомился со многими сицилийцами: он читал Джованни Мели с комментариями Франческо Ланца и стихи Иньяцио Буттитты с построчным переводом Квазимодо.*

...В тот день муж ее встал примерно в шесть утра. Она слышала, как он, не зажигая света, чтобы ее не будить, поднялся с постели. Он поступал так каждое утро и вообще был человеком очень деликатным, она так и сказала «был», очевидно, разделяя мнение старшины о судьбе своего мужа. В то утро она, проснувшись, сказала ему, как обычно: «Кофе готов, стоит в буфете, нужно только разогреть»,— а затем снова уснула и даже не то чтоб уснула, а погрузилась в окутавшую ее дремоту. Она слышала, как муж ходил по кухне, как он спустился по лестнице, открыл с улицы дверь, ведущую в хлев. На время, какое потребовалось мужу, чтобы оседлать мула — минут на пять-десять,— она снова уснула, и разбудил ее звук падения какого-то металлического предмета: муж снова поднялся наверх, чтобы взять позабытые им сигареты, но, ища в темноте, уронил стоявший на ночном столике небольшой серебряный медальон, изображавший «сердце господне»,— подарок ее тетки, монахини из монастыря святой Иммаколаты. Почти совсем проснувшись, она спросила: «Кто там?» Муж ответил: «Не беспокойся, спи, я позабыл сигареты». Она сказала ему: «Зажги свет». Сон ее все равно был нарушен. Муж ответил, что обойдется без света, а потом спросил, не слыхала ли она, как поблизости раздались два выстрела: он хотел узнать, что ее разбудило — эти выстрелы или он сам, невзначай обронивший «сердце господне», такой уж он был человек: целый день мучился бы из-за того, что ее разбудил.

— Но вы слышали эти два выстрела?

— Нет, я просыпаюсь от малейшего шороха в доме, даже от шагов

---

* Джованни Мели (1740—1815) — известный сицилийский поэт, писавший на диалекте; Иньяцио Буттитта — современный, пишущий на диалекте сицилийский поэт.

мужа, что до улицы, то меня не разбудит даже фейерверк в день святой Розалии.

— Ну, а что было потом?

— Потом я сама зажгла свет: маленькую лампочку у самой кровати. Присела в постели и стала расспрашивать мужа о том, что случилось, в кого стреляли. Муж сказал мне: «Не знаю, но видел, как пробегал...»

— Кто? — спросил капитан, едва не перегнувшись через письменный стол от внезапно охватившего его волнения. Неожиданный испуг исказил черты лица женщины, и на мгновение она показалась уродливой. Капитан снова откинулся на спинку кресла и уже спокойно переспросил: — Кто?

— Он назвал имя, которое я не запомнила, может, даже не имя, а кличку, да, если припомнить хорошенько, то это была кличка.

Она употребила слово «инджурия», и капитан впервые ощутил желание испытать переводческий дар старшины. «Инджурия» — это значит обидная кличка, пояснил старшина, попросту оскорбление. Здесь почти у всех существуют клички, а у некоторых такие, что звучат как оскорбление.

— Возможно, это была кличка,— сказал капитан,— а возможно, необычная фамилия, которая звучит как кличка... Доводилось вам когда-либо прежде слышать ту самую фамилию, какую произнес ваш муж? Постарайтесь припомнить, это очень важно.

— Должно быть, я ее прежде никогда не слыхала.

— Постарайтесь припомнить... а тем временем расскажите мне, что еще сказал или сделал ваш муж?

— Больше ничего не сказал, сразу же после этого он ушел.

Вот уже несколько минут — с того самого мгновения, когда женщину охватил внезапный страх,— на лице у старшины господствовало выражение грозного недоверия. По мнению старшины, складывалась вполне подходящая ситуация, нужно только припугнуть ее как следует, и она тут же произнесет эту самую фамилию или кличку: сомнений быть не может, она ее помнит. А капитан стал еще любезнее. «Он, должно быть, считает себя Арсеном Люпеном *»,— подумал старшина, который так давно не заглядывал в книги, что даже перепутал вора с полицейским.

— Постарайтесь припомнить эту кличку,— сказал капитан,— старшина окажет нам любезность и угостит нас кофе.

«Этого еще не хватало,— подумал старшина,— ну, ладно, бог с ней, оставим ее в покое, но при чем тут кофе...» Однако ответил:

— Будет исполнено.

Капитан заговорил о Сицилии, о том, что Сицилия всего красивей там, где природа резче, обнаженней. И о сицилийцах, людях разумных; один археолог рассказал ему, с каким уменьем, с какой ловкостью и стараньем крестьяне работают на раскопках — лучше рабочих с севера, прошедших особую подготовку... Неверно, будто сицилийцы ленивы и бездеятельны.

Подали кофе, а они все еще продолжали толковать о Сицилии. Женщина пила кофе мелкими глотками, с известным изяществом, даже чрезмерным для жены садовника. Набросав общую картину развития сицилийской литературы, от Верги до «Леопарда» **, капитан решил

---

* Арсен Люпен — «благородный преступник», персонаж многих романов французского писателя Мориса Леблана.

** «Леопард» — роман Томази ди Лампедузы, посвященный Сицилии. Книга вышла на русском языке в 1961 году.

остановиться на том особом литературном жанре, к которому, как он сказал, относятся клички, с большой остротой, зачастую в одном слове выражающие характер человека. Не только женщине, но даже старшине теперь было не слишком понятно, о чем он говорит, но есть вещи, которые умом не понять, их можно постигнуть только сердцем, а в сердце сицилийца слова капитана звучали словно музыка. «Приятно слушать, когда он говорит»,— думала женщина, а старшина решил: «Как ни верти, а говорить он мастер: не хуже Терracини». Если, конечно, отвлечься от его политических убеждений, то Терracини был, по мнению старшины, самым великим оратором из всех, каких ему довелось слушать на митингах, где он присутствовал по долгу службы.

— Есть клички, в которых подчеркиваются физические особенности или недостатки человека,— пояснил капитан,— а иной раз и нравственные его черты, некоторые из кличек порождены каким-либо особым событием или происшествием, бывают унаследованные клички, они распространяются на всю семью, а порой даже заносятся на карту в земельной управе. Но давайте все по порядку: итак, вот самые обычные клички, определяющие физические особенности или недостатки: Одноглазый, Хромой, Шаркун, Левша... Нет ли здесь клички, названной вашим мужем?

— Нет,— сказала женщина, покачав головой.

— Далее идет сходство со зверями, деревьями, какими-либо неодушевленными предметами... Например, Кот — так называют человека с серыми глазами или с иными чертами, напоминающими это животное... Я знал человека, которого прозвали Тополь, он был огромного роста и всегда дрожал во время ходьбы... Существуют также клички, основанные на сходстве человека с неодушевленными предметами...

— Я знал человека по прозвищу Бутыль,— сказал старшина,— он и в самом деле походил на бутыль.

— Если позволите,— вмешался карабинер Спозито, который сидел неподвижно, как изваяние,— если позволите, я мог бы тоже назвать несколько таких кличек: Фонарь — так зовут тех, у кого глаза навыкате, Вареная Груша — эти болеют дурной болезнью. Не скажу, чем объяснить кличку Абрикос, может, так называют людей с очень уж невыразительным лицом; Святые Дары — так обычно зовут тех, у кого лицо белое, точно облатка...

Старшина многозначительно кашлянул: он не допускал в своем присутствии шутливых намеков на людей или на предметы, имеющие какое-либо отношение к религии. Спозито умолк.

Капитан вопросительно взглянул на женщину. Она несколько раз отрицательно покачала головой. Старшина, чьи глаза под набрякшими веками, казалось, превратились в две злобные щели, стал разглядывать ее с яростью, и тогда она поспешно произнесла: «Дзеккинетта»,— словно имя это возникло у нее в памяти совсем внезапно.

— Дзеккинетта,— быстро повторил Спозито,— азартная сицилийская игра в карты.

Старшина строго взглянул на него: урок филологии кончился, теперь они знали имя, и неважно, обозначает оно игру в карты или библейского святого (охотничий рог протрубил с такой силой, что ему показалось, будто библейский святой уткнулся носом прямо в карты).

Однако капитан неожиданно ощутил приступ мрачной тоски: им овладело чувство разочарования, чувство собственного бессилия. Имя или кличка наконец установлены, но произошло это лишь в ту минуту, когда женщина ощутила в поведении старшины угрозу пыток, угрозу произвола. Должно быть, она помнила эту кличку с той самой минуты, как ее произнес муж, неправда, будто она ее позабыла. А может, лишь внезапный приступ отчаяния и страха заставил ее вспомнить позабытое?

Но, не будь здесь старшины, не будь здесь этого воплощенного насилия, этого жирного, добродушного человека, который вдруг превратился в сплошную угрозу, они, быть может, так и не узнали бы нужного имени.

— Сколько времени требуется для того, чтобы побриться? — спросил старшина.— Именно столько мне понадобится, чтобы установить, кто такой этот Дзеккинетта. Мой парикмахер знает здесь всех и каждого.

— Сходи,— устало произнес капитан, и старшина спросил самого себя: «Какая муха его укусила?» После испытанного разочарования капитан затосковал по родным местам; он видел золотистую полосу заката, видел веселых девушек, едущих на велосипедах по дорогам родной Эмилии, ему мерещились филигранные очертания деревьев в мягком свете и большой дом, стоящий там, где кончается город и начинаются поля; нежный свет вечерней зари окрасил воспоминание об этом доме, где, говоря словами поэта-земляка, «тебя уж нет в часы старинного вечернего обряда». Жалость к самому себе, тоска по родному дому, только что испытанное разочарование — все эти чувства внезапно охватили капитана Беллоди, которому казалось, что какая-то частичка его собственного «я» мертва.

Женщина глядела на него настороженно. Теперь их уже разделяла не только полоска солнечного света, падавшая на середину стола, а целая пропасть, капитану она казалась призрачной, а в женщину вселяла страх.

— Что за человек был ваш муж? — спросил капитан и тут же понял, что, задавая этот вопрос, он сам уже говорил о нем, как о покойнике.

Погруженная в свои мысли, она его не сразу поняла.

— Я хочу знать, какой у него был характер, какие привычки, какие друзья?

— Добрый он был, только и знал, что дом и работу. В свободные дни заглядывал в клуб. По воскресеньям — кино, всегда только со мной. Друзей у него было мало, и все люди хорошие: брат мэра, муниципальный стражник...

— Были у него с кем-либо ссоры, споры о деньгах?

— Никогда, его все любили, он из другой деревни, а здесь всегда хорошо относятся к чужим.

— Ах да, он ведь не местный. Как вы с ним познакомились?

— Мы познакомились однажды на свадьбе: мой родственник женился на девушке из его мест, я отправилась на свадьбу вместе с братом. Он меня там увидел; когда мой родственник вернулся из свадебного путешествия, он попросил его посетить моего отца и узнать, отдадут ли меня за него. Отец навел справки, потом поговорил со мной. Сказал: «Парень он хороший, в руках у него ремесло — чистое золото». А я ответила: «Не знаю, каков он с лица, неплохо бы прежде познакомиться». И однажды в воскресенье он пришел — не свататься, а так, просто как знакомый. Разговаривал мало, все больше глядел на меня, словно завороженный. Мой родственник тогда сказал: «Ты его околдовала»,— будто я в чем-то действительно была повинна... Конечно, он сказал это в шутку. И тогда я решила выйти за него.

— И полюбили?

— Конечно, ведь мы были женаты.

Вернулся старшина. От него несло парикмахерской.

— Ничего,— сказал он входя и затем за спиной у женщины стал при помощи неистовой мимики объяснять капитану, что тот должен отослать ее, так как у него новости, насчет этой женщины он узнал нечто невероятное; рука, которой он размахивал у самого лица, казалось, говорила: чего стоит добытая вами кличка Дзеккинетта по сравнению со всем тем, что стало известно мне!

С женщиной расстались быстро. Задыхаясь от нетерпения, старшина выложил свою новость:

— У нее был любовник, некто Пассерелло, агент электрокомпании. Сведения надежные, сообщены самим парикмахером доном Чиччо.

Капитан не выразил удивления, однако вновь осведомился о Дзеккинетте, отказавшись тем самым от издавна предпочитаемых при всякого рода расследованиях мотивов любовного характера.

— Дон Чиччо,— заявил старшина,— решительно утверждает, что в этом селении никогда не было человека с такой кличкой, а в таких вопросах за доном Чиччо последнее слово, вроде как за кассационным судом... Если он утверждает, что бедняга Николози носил рога, то можно приложить печать и приклеить гербовую марку в знак того, что так оно и было. Следовательно, нужно взять Пассерелло и хорошенько его прижать...

— Нет,— сказал капитан,— вместо этого мы совершим небольшую прогулку, навестим твоего коллегу в поселке Б.

— Понятно,— сказал старшина, недовольный принятым решением. Всю дорогу в Б. они молча сидели в машине. В море, полном покоя, гасли краски южного неба.

Старшину в поселке Б. застали на службе. У него на столе лежала на видном месте папка с надписью: «Дьего Маркика, по прозвищу Дзеккинетта». Дьего несколько месяцев назад был выпущен из тюрьмы по амнистии, теперь его дело появилось на столе у старшины в связи с некоторыми секретными сообщениями относительно карточной игры, называемой дзеккинетта, которой Маркика увлекался в Клубе охотников; проигрывал он обычно довольно большие суммы и быстро уплачивал проигрыш; безработный батрак не мог бы этого делать, если бы не обладал тайными и бесспорно незаконными источниками дохода.

Маркика родился в 1917 году, а начал свою карьеру в 1935 кражей со взломом, отсидел. В 1938 — злостный поджог. Те, кто давал против него показания на первом процессе о краже, внезапно обнаружили, что у них на току сгорел хлеб. Но прямых улик не было, и потому Маркику оправдали. Август 1943 года — вооруженное ограбление, незаконное хранение оружия военного образца, участие в преступной шайке, привлечен к суду американцами. И оправдан, хотя мотив оправдания до сих пор непонятен. 1946 год — участие в вооруженной банде: Маркика был захвачен во время перестрелки с карабинерами, осужден. В 1951 году — участие в убийстве; оправдан за недостаточностью улик. В 1955 году — попытка совершить убийство во время драки, осужден. В 1951 году он убил, выполняя чужую волю,— это явствовало из показаний соучастников, данных карабинерам; во время слушания дела в суде эти показания, конечно, растаяли, как снег: те, кто дал их на предварительном следствии, затем продемонстрировали судье и врачам синяки, ссадины и кровоподтеки, иначе говоря, следы пыток, примененных карабинерами при допросе. И только один Маркика не сказал ни слова, и никаких синяков судье не показывал. Любопытно! Бригадир и два карабинера были отданы под суд за применение пыток при дознании, но их потом оправдали «за отсутствием состава преступления», тем самым подтвердив, что показания не были получены силой, но дело не пересматривалось, где-то в лабиринтах правосудия, возможно, скрывались какие-то новые документы.

Из материалов досье было видно, что Маркика — ловкий и опытный преступник, убийца, на которого вполне могли положиться те, кто им руководил; однако из тех же документов следовало, что под влиянием азартных игр или вина Маркика был способен на неожиданные вспышки, о чем, к примеру, свидетельствовала предпринятая им попытка совершить убийство во время драки. К досье было подшито донесение поли-

ции о митинге, на котором выступал депутат Ливиньи: он появился на центральном балконе дома Альварец в окружении цвета местной мафии, по правую руку от него стоял старейшина мафии — дон Калоджеро Гвиччардо, по левую — Маркика; произнося свою речь, депутат сказал дословно следующее: «Вы обвиняете меня в том, что я поддерживаю отношения с членами мафии и, следовательно, с самой мафией, но я отвечаю вам, что мне до сих пор непонятно, что же такое эта самая мафия, и неизвестно, существует ли она вообще. Полностью сознавая свой долг католика и гражданина, могу поклясться, что за всю свою жизнь не знал ни одного ее члена». В момент произнесения этих слов со стороны улицы Ла Лумия, где обычно собирались коммунисты, в то время как их противники проводили свой митинг, прозвучал заданный весьма ясно вопрос: «А кто же, по-вашему, те двое, что стоят рядом с вами? Семинаристы, что ли?» В толпе раздался смех, а депутат, сделав вид, что не расслышал вопроса, поспешно принялся излагать свою программу оздоровления сельского хозяйства.

Это донесение, обнаруженное в деле, свидетельствовало о том, что Маркика, в случае его ареста, может рассчитывать на помощь своих покровителей. Старшина из селения Б. знал свое дело.

■

Старик сказал:

— Кое-кто зашевелился, что-то пришло в движение... мне это все не нравится... сыщики плетут сети.

— Языком они плетут,— ответил ему молодой.

— Не думай, что все сыщики глупы: есть среди них и такие, кто, скажем, стащит у тебя туфли с ног, ты босой пойдешь и не заметишь... Помню, был здесь году в тридцать пятом бригадир: нюх, как у ищейки, да и морда собачья. Только что-нибудь стрясется, он сразу бросался на след и хватал человека, как новорожденного зайчонка. Ну и нюх же у него был, у этого сукиного сына, прямо-таки прирожденный сыщик, как бывают прирожденные попы или рогоносцы. Ты думаешь, человек становится рогоносцем лишь оттого, что жена решает наставить ему рога, а священником — потому, что чувствует к этому влечение? Ничего подобного — попами и рогоносцами рождаются. Так и сыщиком человек не становится оттого, что вдруг захотел чего-то доискаться или просто прочел объявление о наборе в полицию. Нет, сыщиком тоже рождаются. Как же звали того благородного человека, который был здесь старшиной карабинеров во время войны? Того самого, что так хорошо ладил с американцами? Что ж, ты и его назовешь сыщиком? Ящики с макаронами и бутыли с оливковым маслом — вот что мы от него имели. Одни одолжения делал он нам, ну и мы ему, конечно. Благороднейший человек... Он не родился сыщиком, нет, но и дураком не был... Иной раз считают сыщиком того, у кого на шапке язычок пламени и королевская эмблема...

— Они их в старое время носили, эти эмблемы.

— Да, я все забываю, что короля-то больше нет... Но среди них есть дураки, есть и люди благородные, есть и настоящие, прирожденные сыщики. То же самое с попами: разве ты можешь назвать отца Фраццо попом? Ничего, кроме хорошего, о нем не скажешь, он мог бы стать примерным отцом семейства. А вот отец Спина, тот прирожденный поп.

— А рогоносцы?

— Дойдет черед и до них. Человек узнает, что его обманывает жена, и устраивает дома скандал,— такой человек не прирожденный рогоносец. Если же он делает вид, будто ничего не случилось, если он себе на хлеб зарабатывает рогами, значит, он с этими рогами родился... Теперь я тебе

расскажу, что́ есть прирожденный сыщик. Прибыл он в твой город, ты с ним знакомишься, говоришь ему любезности, словом, всячески заискиваешь перед ним: если он женат — ведешь к нему в гости свою жену, ваши жены становятся подругами, да и ты сам с ним дружишь, люди всегда видят вас вместе, думают, вас водой не разольешь. Ты и сам начинаешь заблуждаться на его счет, полагаешь, что он видит в тебе человека любезного, с добрыми чувствами, доказавшего, что ты ему друг, на самом же деле ты для него всегда будешь тем, что он узнал о тебе по бумагам, которые хранит в своем сейфе. Раз уж ты нарушил закон, то для него ты всегда лишь преступник, даже когда вы кофе пьете в гостиной, он глядит на тебя, как на вора. Стоит тебе совершить что-либо запретное, пусть даже самый пустяк, и он немедленно притянет тебя к ответу, хоть были при этом лишь ты да он и сам господь бог вас не видел. А уж если ты действительно совершишь какой-нибудь серьезный проступок — тут и вовсе пощады не будет. Помню, в двадцать седьмом году служил здесь старшина, так он все время сидел у меня дома, дня не проходило, чтоб его жена с детьми не бывали у нас в гостях, до того мы с ним подружились, что его трехлетний сынишка считал мою жену родной тетей. А вот однажды появился он в моем доме с ордером на арест. Знаю, он выполнял свой долг. Скверные были тогда времена, времена Мори *... Но как он со мной обращался — словно мы никогда друг друга не знали и ни разу до того и не виделись... Как с женой моей обращался, когда она приходила в казарму, чтоб разузнать обо мне,— хуже бешеного пса... Верно говорят: с сыщиком поведешься — готовь табак да вино. Ради этого старшины пришлось мне потратиться и на вино, и на табак, немало выпил он моего винца, да и сигары мои жаловал.

— В двадцать седьмом был фашизм, времена были другие: Муссолини сам назначал депутатов и начальников, делал все, что ему в голову придет. Теперь депутатов и мэров выбирает народ...

— Народ,— усмехнулся старик,— народ... Народ всегда носил рога да так рогоносцем и остался: вся разница в том, что фашизм народу на рога навешивал только один флаг, а демократия позволяет каждому носить на своих рогах тот флаг, какой ему нравится, того цвета, что ему по душе... Но вернемся к рогоносцам: не только люди, но и целые народы рогоносцами рождаются, есть народы, которые с незапамятных времен носят рога.

— Я рогоносцем себя не считаю,— сказал молодой.

— Я тоже. Но мы, дорогой мой, шагаем по чужим рогам, мы пляшем на них...— и старик вскочил, показывая, как он пляшет, перескакивая через чужие рога и сохраняя при этом равновесие.

Молодой засмеялся: слушать старика — одно удовольствие. В юности он славился жестокостью и ловкостью, пристрастием к насилию, расчетливым азартом, быстрым умом и тем, что скор был на расправу,— за все эти качества его уважали и боялись, но порой эти качества отступали назад, словно море во время отлива, и оставляли на берегу ракушки мудрости. «Иной раз старик рассуждает, как философ»,— подумал молодой, философию он считал чем-то вроде кривого зеркала — память долгих лет и недолгое будущее обмениваются предзакатными лучами мысли, искаженными, блеклыми видениями мира. Но временами старик показывал свое подлинное лицо, лицо человека жестокого и беспощадного, и любопытно, что именно в те минуты, когда он высказывал свои самые жестокие и самые обоснованные суждения насчет происходящего в мире, именно в эти минуты он любил пересы-

---

* Мори — чиновник итальянского правительства, осуществлявший во времена фашизма некоторые меры по борьбе с мафией в Сицилии.

пать свою речь словами «рога» и «рогоносцы», которые употреблял в самых различных значениях, придавая им разнообразнейшие, но всегда презрительные оттенки.

— Народ, демократия,— сказал старик, снова усаживаясь на место и тяжело дыша после демонстрации своего уменья шагать по чужим рогам,— все это чудесный, очаровательный вымысел, все это выдумали люди, сидящие за письменными столами, люди, научившиеся вставлять одно слово в другое, а потом подсовывать все эти слова вместе взятые человечеству. Лес из рогов — вот что такое человечество, лес, погуще рощи Фикуццы, когда она еще была настоящей рощей. А знаешь, кому приносят пользу и доставляют удовольствие эти прогулки по чужим рогам? Во-первых, запомни хорошенько, попам, во-вторых, политикам,— чем больше они твердят про то, что идут вместе с народом и любят народ, тем крепче они наступают ему на рога,— в-третьих, людям вроде нас с тобой... Верно, что всегда есть риск, занесешь ногу не туда и застрянешь: риск есть и для меня, и для попов, и для политиков, но что бы вы мне ни говорили, рога есть рога, а те, кто носит их,— рогоносцы... Нет, черт возьми, я доволен, доволен: пусть мне плохо, пусть я подохну, но все вы — рогоносцы.

— Кстати, этот рогоносец Попик у меня на подозрении, недаром сыщики так зашевелились, уж он-то приложил к этому свою лапу, не иначе. Вчера повстречался мне на улице и сразу в лице переменился, сделал вид, что не заметил меня, и тотчас же ускользнул... Вот я и говорю, я позволил тебе шпионить, потому что знаю: хочешь прокормиться, но шпионить тоже нужно разумно, и уж, во всяком случае, не набрасываться на святую церковь — церковь ведь святая, а это значит, что она неприкосновенна, не смей набрасываться на святые узы дружбы...

По-прежнему обращаясь к Попику, словно тот стоял перед ним, он произнес с холодной, как лед, торжественностью:

— А раз ты набрасываешься на святую церковь, ты, дорогой мой, должен знать, что я могу с тобой сделать. Впрочем, могу только сказать тебе, что для друзей ты мертв.

Они с минуту посидели молча, словно читали про себя заупокойную по человеку, который для них уже мертв. Потом старик сказал:

— Что до Дьего, то я бы отослал его на несколько дней куда-нибудь поразвлечься, кажется, у него сестра в Генуе.

■

Дьего Маркика был арестован в Клубе охотников в девять часов вечера.

Старшина из селенья Б., решивший сразу убить двух зайцев, сумел подстрелить только одного: в его намерения входило захватить врасплох участников азартной игры дзеккинетта и одновременно арестовать Дьего, однако игроки, в том числе и Дьего, увлеклись вполне невинной игрой в брисколу, и было очевидно, что кто-то успел предупредить их о приближении карабинеров. Но как бы там ни было, а Дьего, сначала упиравшегося, а потом ставшего податливым, препроводили в казарму, за ним по пятам следовали комментарии встречных. В ушах у Дьего и у сопровождавших его карабинеров эти комментарии звучали как выражение удивления и сожаления. А что он такого сделал? Разве он занимался не своим делом? Разве он кому-либо мешал? Вместе с тем, одновременно едва слышным шепотом высказывались совсем противоположные и почти единодушные суждения, стоило к ним прислушаться, и становилось ясно: Дьего предстояло провести остаток жизни в тюрьме.

Пока в Б. арестовывали Дьего, Попик ходил по улицам с видом человека, которому суждено умереть насильственной смертью: теперь это была для него единственная перспектива, если, конечно, позабыть о бессмертии души.

Последние двадцать четыре часа своей жизни Калоджеро Дибелла, прозванный Попиком, провел словно во сне; порой ему казалось, что он шагает по бескрайним лесным чащам, куда не проникает луч света и где растут высокие, колючие, как терн, деревья. Впервые, с тех пор как он стал осведомителем, Попик вручил карабинерам нить, которая, если за нее умело потянуть, помогла бы распутать весь клубок, состоящий из круговой поруки и корысти, клубок, куда была вплетена и нить его собственного существования. Обычно его доносы касались только людей, далеких от этого переплетения приятельских уз и взаимной выгоды: то были безрассудные ребята, которые вечером смотрят в кино гангстерский фильм, а на следующее утро пытаются ограбить автобус, мелкие преступники, словом, люди незащищенные, лишенные покровительства. Но на этот раз дело обстояло по-другому: правда, он назвал два имени, и один из названных им — некий Ла Роза — к этому делу касательства не имел; но второе имя было названо верно, вело по правильному следу. С той минуты, как Попик произнес его, он совсем лишился покоя: его тело походило на губку, вымоченную в страхе, даже печень не жгло. Казалось, боль в сердце тоже прекратилась.

Пиццуко, как бывало уже не раз, сидя в кафе «Гулино», хотел его угостить горькой настойкой. Сначала Пиццуко был просто удивлен отказом Попика и его уходом, напоминавшим бегство; как человек, соображавший не слишком быстро, он раздумывал над этим весь день.

Попик, в свою очередь, на протяжении целого дня думал о том, что горькая настойка, ему предложенная, означала не что иное, как смерть, и он связывал с этим зельем свои представления о горьком предательстве и горькой кончине, совершенно позабыв о той распространенной болезни, врач называл ее «цирроз», которую Пиццуко приобрел благодаря своему пристрастию к этой горькой настойке, разумеется, сицилийского происхождения, производимой фирмой «Братья Аверна»; эта настойка поддерживала остатки сепаратистских взглядов Пиццуко, который, по его словам, в прошлом сражался в отрядах ЭВИС *, а по мнению полиции, лишь оказывал содействие бандиту Джулиано.

Многие обнаружили растерянность Попика, обратили внимание на беспокойную походку этого человека, за которым по пятам мчатся гончие: прежде всего это заметили те, кого он более всего опасался и от кого в первую очередь хотел ускользнуть. И еще эта встреча с человеком, который мог знать или догадываться о том, что он сообщил капитану в его кабинете. Попик притворился, будто этого человека не заметил, и быстро свернул за угол, но ведь тот видел его, следил за ним угасшим взглядом, скрытым под тяжелыми веками.

Эта минута стала началом последних суток в жизни осведомителя, двадцати четырех безумных и жестоких часов его бытия. Неясные мысли о побеге, который, он это знал, невозможен, чередовались с виденьями собственной смерти. Побег — это протяжные гудки паровозов, поля, простирающиеся за окном вагона, селенья, медленно проплывающие мимо, женщины у окон, живые цветы, но затем внезапно поезд с грохотом въезжал в туннель, и колеса отстукивали зов смерти, и черные воды расступались перед ним.

Своими ошибками, страхом, которого он не мог побороть, дрожью, его охватившей, он на протяжении этих трех дней сам рыл себе могилу,

---

* Организация сторонников отделения Сицилии от Италии в годы второй мировой войны.

не ведая, что творит. Теперь его должны были только свалить в нее. «Как пса»,— думал он, считая, что смерть настигнет его, карая за совершенную подлость, а не в результате этого взрыва безумного страха, который превратил его самого в законченное воплощение предательства. Оба имени, сорвавшиеся у него с языка, хранил в памяти только капитан Беллоди: не желая, чтобы к его ногам свалился еще один покойник, он твердо намеревался оградить своего осведомителя. Но Попик, чьи нервы уже были истощены страхом, видел, как его донос разворачивается, подобно нитке, вьющейся вокруг челнока. Он уже считал себя погибшим и на рассвете того дня, которому суждено было стать его последним днем, написал на тонком листе бумаги два имени, добавив: «Я мертв»,— и, заканчивая письмо, подписался: «С уважением. Калоджеро Дибелла». Это адресованное капитану письмо он опустил в почтовый ящик в тот час, когда улицы еще были пусты, и затем целый день бродил по селенью, десятки раз решая то запереться в доме, то дать возможность прикончить себя на улице, когда же наконец он твердо решил укрыться в доме, его сразили двумя пистолетными выстрелами у самого порога.

Капитан прочел это письмо лишь после того, как узнал о смерти осведомителя. Капитан Беллоди приказал старшине карабинеров из Б. задержать Маркику, после чего вернулся в К. и, ощутив сильную усталость, отправился к себе домой. Однако, узнав о смерти Дибеллы, он поспешил в свой служебный кабинет и там среди доставленной после полудня почты обнаружил письмо осведомителя. Письмо потрясло его.

Этот человек покидал мир в то время, когда поступил его последний донос: самый точный и действенный из всех, когда-либо им сделанных. Два имени на самой середине листка и внизу, почти на полях послания, полные отчаянья слова, затем «С уважением» и подпись. Это отчаянье, эта агония потрясли капитана еще больше, чем содержание письма. Последние слова пробудили в нем чувство жалости и вместе с тем болезненную досаду: за непривлекательной внешностью осведомителя он неожиданно для себя обнаружил трагически обнаженное человеческое сердце. Своим последним посланием и своей смертью этот сочинитель «доверительных» сообщений вдруг вызвал в нем чувство настоящего человеческого доверия; послание Дибеллы, который ему всегда был отвратителен, теперь нашло в его сердце полный милосердия отклик.

Но внезапно его охватил яростный гнев. Капитан ощутил, сколь узки рамки закона; подобно своим унтер-офицерам, он возжаждал чрезвычайных полномочий, свободы действий, хоть сам и осуждал своих подчиненных, когда у них возникали такие устремления. Стоит на несколько месяцев отменить в Сицилии конституционные гарантии, и зло будет искоренено навеки. Но он тотчас же вспомнил о репрессиях Мори, вспомнил о фашизме и сразу же овладел своими мыслями и чувствами. Однако гнев его не стихал, гнев человека, пришедшего с Севера, гнев, направленный против всей Сицилии, единственной в Италии области, получившей в годы фашистской диктатуры ту «свободу», которая обеспечивала жизнь человека и сохранность имущества от покушений уголовников. Сицилийцы не ведали и ведать не желали, какой ценой была оплачена именно эта «свобода», но во время больших процессов против мафии, проходивших в те годы, они видели на скамье подсудимых всех этих «донов» и «дядюшек», главарей мафии, всемогущих начальников и кавалеров короны, врачей и адвокатов, связанных с уголовным миром и ему покровительствовавших; сицилийцы знали также и то, что безвольные или подкупленные судьи, как и потворствовавшие мафии чиновники, были смещены. С крестьянином, с мелким собственником, с пастухом, с рабочим серных рудников фашистская диктатура говорила в Сицилии языком этой «свободы». «Возможно,— думал капитан,— из-за

этого в Сицилии столько фашистов: они не видели ни шутовства фашизма, ни трагедий, принесенных им, не выстрадали всего того, что по вине фашизма выстрадала вся страна после 8 сентября*». В том состоянии, в каком они находились, им достаточно было одной лишь «свободы» от мафии, они просто не знали бы, как поступить с другими свободами. Но и это тоже еще не было выводом, окончательным и ясным.

Так мысли разумные и мысли путаные, основанные на неведении, мешались в его голове в то время, как машина мчалась в С., разрывая холодным светом фар мрак ночи, казавшийся непроницаемым и всепоглощающим; скалы по обе стороны дороги походили на внезапно вспыхнувший в пещере сланец.

Нелегкий выдался день у старшины из С., да и ночь не обещала ничего веселого, к тому же чертовски хотелось спать. Из соседнего селения он перевез Маркику к себе: по правде говоря, тот вел себя спокойно, даже казался заспанным — ни дать ни взять щенок, оторванный от материнских сосков; в таком состоянии ангельского спокойствия Маркика перешагнул порог камеры. и, прежде чем захлопнули дверь, упал, как мешок костей, на нары.

Потом, словно мало было одного Маркики, старшине пришлось заняться последней сенсацией — убийством осведомителя. Даже самого спокойного человека это вывело бы из равновесия, но старшина, голодный и усталый, думал теперь только о сне.

Вдобавок, в ту минуту, когда он заходил в бар, чтобы выпить кофе, его на пороге окликнул капитан. Нет, все вместе взятое свидетельствовало лишь о том, что родился он под несчастливой звездой, и уж конечно с начальством ему не везет. Капитан вошел в бар вслед за ним, вместе с ним выпил кофе и заплатил за двоих, хотя бармен принялся разглагольствовать о том, какая честь для бара — он так и сказал: для бара! — предложить чашечку кофе господину капитану и господину старшине; от всех этих разговоров досада в нем бурлила, как пивная пена («капитан, конечно, решит, что я бесплатно угощаюсь в этом баре»). Но капитан в эту минуту думал совсем о другом.

Труп осведомителя еще лежал на мостовой, прикрытый голубым полотнищем. Дежурившие здесь карабинеры приподняли полотнище: раздавленный смертью Попик лежал, скрючившись, как ребенок во чреве матери. Он написал: «Я мертв»,— и вот лежит недвижимо почти у самого порога своего дома; за закрытыми окнами слышен плач жены и бормотанье утешающих ее соседок. Капитан взглянул на него и знаком велел накрыть труп: вид мертвеца его всегда тревожил, сегодня же это зрелище действовало на него особенно сильно. Капитан решил вернуться в казарму, а старшина зашагал вслед за ним.

План был таков: сразу же арестовать тех двух, на которых указал в своем последнем донесении Попик, допросить их, каждого отдельно и почти в одно время — что ж, тогда оба они и тот третий, что уже взаперти, будут обезврежены. Старшина нашел, что арестовать Розарио Пиццуко проще простого, тем самым он хотел сказать, что этот арест не повлечет за собой никаких неприятностей; но, узнав о втором имени, какое осмелился назвать в своем письме осведомитель, он тотчас же представил себе ту илиаду бед и горестей, которые, катясь, подобно резиновому мячику, со ступеньки на ступеньку, в конце концов свалятся прямо на голову ему, старшине Артуро Ферлизи, начальнику поста карабинеров в С., и даже подумал, что эти беды, если принять во внимание весь ход событий, не заставят себя долго ждать. В состоянии полной растерянности он почтительно доложил капитану о том, что думает по

---

* 8 сентября 1943 года произошел крах фашистского правительства в Риме, за которым последовала немецкая оккупация значительной части страны.

этому поводу. Но капитан уже все взвесил. Ничего не поделаешь: осла надо привязывать там, где велит хозяин. Старшина Ферлизи решил, что, поскольку осла велят привязывать посреди лавки с фаянсовой посудой, ему удастся, по крайней мере, увидеть, какой разгром он там учинит.

■

— Не понимаю, ровно ничего не понимаю... Такой человек, как дон Мариано Арена, такой благородный человек!.. Вся его жизнь поделена между семьей и церковью... Человек пожилой, обремененный болезнями и заботами... И его сажают в тюрьму, как рядового преступника, хотя, позвольте мне вам это прямо сказать, немало преступников спокойно разгуливает рядом с нами или, точнее говоря, рядом с вами... О, я знаю, лично вы пытаетесь сделать многое, я очень ценю вашу деятельность, хоть не мне дано оценить ее в полной мере...

— Спасибо. Но мы делаем все, что можем.

— Э, нет, позвольте мне сказать... Когда ночью раздается стук в дверь почтенного дома, да, да, почтенного, когда с постели волокут такого человека, уже в годах и вдобавок больного, когда его тащат в тюрьму, как злоумышленника, когда тревога и горе поселяются в его семье... Нет, нет, этому нет оправдания! Это несправедливо и, позвольте мне сказать, бесчеловечно.

— Но есть вполне обоснованные подозрения...

— Кем и как обоснованные? Кто-то теряет рассудок и шлет вам записку с моим именем, и тогда вы среди ночи приходите ко мне и, позабыв о моих годах, не посчитавшись с моим безупречным прошлым, просто так, без всяких околичностей, тащите меня в тюрьму.

— По правде говоря, прошлое Арены далеко не безупречно...

— Не безупречно?... Друг мой, позвольте мне как сицилийцу и мужчине, чья деятельность должна вызывать у вас доверие, заявить вот о чем: печально знаменитый Мори здесь выжимал из людей слезы и кровь... Ради бога, лучше не касайтесь этой стороны фашизма, и это вам говорит не его хулитель. Ведь есть газеты, которые даже называют меня фашистом... А разве в фашизме не было ничего хорошего? Вся эта свора, кричащая сейчас о свободе, швыряет комья грязи даже в людей незапятнанных, оскверняет самые чистые чувства... Но хватит об этом. Мори, как я уже вам сказал, считали здесь божьей карой: он проходил по улицам и хватал людей, виновных и невинных, запятнанных и незапятнанных, бандитов и порядочных по одному лишь своему произволу или по навету тех, кто для него шпионил... Это было мучительно, друг мой, мучительно для всей Сицилии... Вот вы теперь мне говорите о каких-то темных пятнах на репутации дона Мариано Арены. Если бы вы знали его лично, вы бы не стали так говорить... Позвольте мне сказать вам, на свете мало таких людей, как он. Я не говорю уже о его непоколебимой вере в бога, не знаю, прав я или нет, но вас такие вещи могут и не интересовать... Однако честностью своей, любовью к ближнему, мудростью этот человек выделяется среди всех... Смею вас заверить, это человек исключительных качеств, особенно если вспомнить, что он ведь нигде не учился, не получил, так сказать, образования... Но вы-то знаете, чистота сердца гораздо дороже дипломов. Схватить такого человека, бросить его в тюрьму, как вора! Нет, нет, позвольте мне вам сказать со всей искренностью, это напоминает о временах Мори.

— Но общественное мнение считает, что именно Арена — руководитель мафии.

— Общественное мнение... Но что собой представляет это самое общественное мнение? Пустой звук, пустой звук! Только и всего: одна лишь клевета, диффамация, подлое стремление мстить. Ну а затем, что же такое мафия?.. Мафия тоже пустой звук: о ней говорят все, но никто не знает толком, где она и что она, эта самая мафия... Только звук пустой, и не звук даже, а эхо в пустых головах... Позвольте вам это сказать... Помните, что говорил Витторио-Эмануэле Орландо*? Я приведу его слова, а в моих устах, в устах человека, далекого от его взглядов, слова Орландо, позвольте вам это сказать, приобретают особенный вес. Он говорил...

— Но мафия, насколько я сам мог убедиться на деле, все же существует.

— Вы огорчаете меня, друг мой. Вы причиняете мне боль как сицилийцу; мне, человеку рассудительному, тяжело слышать все это от вас... Разумеется, тут не имеет значения мое положение, я сам его не достоин; но как сицилиец, как человек рассудительный, не могу не возмущаться такой несправедливостью, направленной против Сицилии, таким оскорблением разума... Хочу обратить ваше внимание на то, что слово «разум» лично я никогда не писал с заглавной буквы... Ну, посудите сами, можно ли предположить, будто существует столь обширная, столь сплоченная, столь секретная, столь мощная организация преступников, которой под силу господствовать не только над половиной Сицилии, но даже и над всеми Соединенными Штатами Америки, и что такой организацией руководит человек, живущий здесь, в Сицилии, и что его, вдобавок, посещают журналисты, после чего газеты изображают этого беднягу в самых мрачных красках... А вы знакомы с ним? Я же его хорошо знаю: человек он добропорядочный, примерный отец семейства, неутомимый труженик. Он разбогател, это, конечно, верно, но лишь благодаря своему трудолюбию. Ему тоже пришлось немало пережить при Мори... О чем же тогда в действительности должна идти речь? Есть почтенные люди, люди, уважаемые за свои достоинства, за свое уменье вести дела, общаться с другими, устанавливать с ними отношения, полные симпатии и дружбы. И вот против таких людей восстает ваше хваленое общественное мнение, сеющее ветер клеветы, и о них смеют говорить: «Вот вожаки мафии»... Но вы не знаете самого главного: эти люди, хоть их почему-то и считают главарями мафии, обладают достоинством, которое мне хотелось бы обнаружить в каждом человеке, ибо его одного достаточно, чтобы спасти человека перед судом господним,— они обладают чувством справедливости... Чувство это даровано им природой, оно естественно, оно проявляется как инстинкт... И оно обеспечивает им уважение...

— Все дело вот в чем: отправление правосудия есть функция государства, и нельзя допускать, чтобы...

— Я говорю не об отправлении правосудия, а о чувстве справедливости. Допустим, мы с вами затеяли тяжбу из-за участка земли, из-за наследства, из-за неуплаченного долга, и тут появился третий человек, решил наш спор и примирил нас... В известном смысле он подменил государство, но знаете ли вы, что стало бы с нами двоими, если бы мы вели нашу тяжбу перед лицом *вашего* правосудия? Годы шли бы, и, может быть, один из нас двоих или мы оба не стерпели бы или озлобились бы и прибегли к насилию... Короче, не верю я в то, что человек, стремящийся к миру, несущий людям мир, способен лишить государство принадлежащего ему по закону права отправлять правосудие.

— Если рассматривать все это в таком плане...

— А в каком же еще плане вы хотите все это рассматривать? Неужто в том, какой избрал ваш коллега, настрочивший о мафии книгу,

---

* Орландо, В.-Э. (1860—1952) — итальянский буржуазный политический деятель.

полную, позвольте вам это сказать, таких домыслов, каких нельзя и ожидать от лица ответственного...

— Мне эта книга показалась весьма поучительной.

— Верю вам, если вы хотите сказать, что узнали из нее кое-что новое. Отсюда все же совершенно не следует, будто все то, о чем в ней рассказано, существует на самом деле... Но попробуем подойти к этому вопросу по-иному: разве было когда-либо установлено судом, что преступное сообщество, называемое мафией, действительно существует и что его деятельность можно бесспорно считать незаконной? Разве был когда-либо обнаружен документ, это подтверждающий, или приведено хоть какое-нибудь доказательство того, что имеется несомненная связь между каким-либо преступлением и так называемой мафией? На самом деле такая связь отсутствует. Если при этом допустить, что мафия все же существует, то я могу сказать вам: мафия есть тайное общество взаимной помощи, не отличающееся, таким образом, ничем от масонства. Почему же некоторые преступления не приписывать и масонам? Ведь есть немало доказательств того, что масоны тоже совершают преступления, и таких доказательств не меньше, чем направленных против мафии...

— Я полагаю...

— Поверьте мне! Видит бог, вас не хочет и не может обмануть такой человек, как я, недостойный ответственности, которая на меня возложена...— И вот что я скажу: вы облечены властью... И если вам, как бы это помягче выразиться, приходится обращать внимание на определенных лиц лишь на том основании, что их называют членами мафии, не имея при этом никаких конкретных доказательств ни самого существования мафии, ни принадлежности к ней этих лиц, то вы, не убоявшись бога, санкционируете несправедливые преследования... Здесь мы как раз подходим к делу дона Мариано Арены... Офицера, столь неосмотрительно и безрассудно его арестовавшего, офицера, который, позвольте вам это сказать, повел себя с легкомыслием, не достойным традиции корпуса карабинеров, мы аттестуем, прибегнув к латыни Светония: «ne principum guidem virorum insectatione abstinuit...» * В переводе на язык обыденный это означает, что дона Мариано Арену любят и уважают все, что он любимый друг мой (а, уж поверьте, я-то умею выбирать друзей) и что, вдобавок, он очень дорог депутату Ливиньи и министру Манкузо...

■

Уже истекли двадцать четыре часа с того момента, как полиция задержала Маркику; вскоре для Арены и Пиццуко тоже должен был подойти к концу срок, в течение которого полиция была обязана предъявить им обвинение. Ровно в девять Маркика стал стучать кулаками в дверь камеры, требуя уважения к своим правам, о которых он был превосходно осведомлен; старшина известил его, что распоряжением прокурора республики срок его задержания полицией продлен до сорока восьми часов. Тогда Маркика, в известной мере успокоенный насчет соблюдения формы, вновь проявил тупое равнодушие к самому существу дела и снова не без некоторого удовольствия растянулся на тюремной скамье. Старшина вернулся в свой кабинет и призадумался над тем, каким образом Маркика сумел вызвать его ровно в девять, ведь часов у задержанного не было: вместе с его бумажником, галстуком и шнурками от ботинок часы хранились в полиции.

В десять часов утра старшина разбудил Маркику и вернул ему его вещи. Маркика решил, что его выпускают на свободу: тревожное выра-

* Он не воздерживался даже от преследования важных лиц.

жение его небритого лица тотчас же сменилось торжествующей ухмылкой. Но у ворот казармы стояла машина. Старшина толчком усадил его рядом с карабинером, затем в машину вошел еще один карабинер; Маркика был, таким образом, зажат между двумя полицейскими на заднем сиденье малолитражки «фиат-600». Он тотчас же воззвал к правилам пользования автотранспортом; старшина, усевшийся тем временем рядом с шофером, был этим столь удивлен, что ответил ему с уклончивой любезностью: «Вы ведь все трое худые».

В камере для задержанных при роте карабинеров в К. находились Пиццуко и Арена. Капитан решил, что им полезно будет провести сутки в душных камерах, поскольку это облегчит его задачу; допрос начнется после ночи и дня, полных тревоги и неуверенности, что не может не повлиять на арестованных.

Начал он с Маркики.

Штаб роты размещался в старинном монастыре, здании, напоминавшем прямоугольник,— вдоль каждой стены шел ряд комнат, разделенных коридором. С одной стороны все окна выходили во двор, с другой — на улицу. В те времена, когда у власти находилось обремененное заботами правительство сицилийца Франческо Криспи, к этому довольно пропорциональному зданию добавили уродливую, безобразную пристройку, которая должна была в уменьшенных размерах воспроизводить основное строение. На деле же пристройка походила на основное здание лишь в той степени, в какой ребенок способен передать чертеж инженера: вместо дворика — просто темный колодец, бесчисленное количество лестниц и переходов, в которых можно было разобраться лишь после длительного ознакомления. Преимуществом этой новой пристройки был больший размер комнат, помещения первого этажа предназначались для служебных нужд, а на втором находилась квартира начальника. Широкое окно его кабинета выходило прямо во двор, как раз напротив окна в кабинете лейтенанта, расстояние между окнами было столь незначительно, что, высунувшись, удавалось передавать бумаги из одного помещения в другое.

Стол в кабинете капитана расположен так, что Маркику пришлось усадить прямо перед окном, по правую сторону от двери.

— Вы родились в Б.? — спросил капитан.

— Именно так, синьор,— ответил Маркика тоном снисхождения к собеседнику.

— Вы постоянно проживали в Б.?

— Не всегда. Служил в армии, несколько лет провел в тюрьме.

— У вас в Б., вероятно, много знакомых?

— Я родом оттуда, но знаете, как бывает, уедешь года на два, вернешься и видишь — мальчишки стали подростками, старики еще больше состарились, о женщинах лучше не говорить: когда уезжаешь, девчонки щелкают на улице орехи, вернешься через несколько лет и видишь — детишки цепляются за их юбки.

— Но ваших сверстников, людей, всегда живших в одном с вами квартале, тех, с кем вы в детстве играли, узнать нетрудно? Не так ли?

— Конечно,— сказал Маркика, уже встревоженный не столько самими вопросами капитана, сколько спокойным тоном допроса.

Капитан с минуту помолчал, словно внезапно погрузился в свои мысли. Маркика глядел на окно кабинета, расположенного напротив, он был пуст и хорошо освещен: капитан позаботился, чтобы в его кабинете зажгли только настольную лампу, и повернул ее так, чтобы свет падал лишь на ту часть стола, где сидел бригадир, составлявший протокол допроса. Таким образом, Маркика ясно видел все, что происходит в кабинете, расположенном напротив.

— И вы, конечно же, знали некоего Паоло Николози...

— Нет,— поспешил ответить Маркика.

— Это невозможно,— возразил капитан.— Может быть, в данную минуту вы просто не в состоянии припомнить: Николози несколько лет провел вдали от Б., но я постараюсь вам помочь, и вы вспомните... Николози жил на виа Джусти, у самого угла виа Монти, где, если не ошибаюсь, всегда жили и вы... У его отца был небольшой участок земли, но сам он работал садовником и обучил своему ремеслу сына, который теперь проживает в С., где и женился...

— Вот когда вы мне обо всем этом рассказали, я как будто и сам начинаю припоминать...

— Рад слышать... Не так уж трудно вспомнить некоторые обстоятельства, некоторых людей, особенно когда они связаны с самой счастливой порой нашей жизни, с детством...

— Теперь припоминаю, мы с ним вместе играли, но он был младше меня. Когда меня в первый раз отправили в тюрьму — видит бог, ни за что ни про что,— он был еще совсем мальчиком, а с тех пор я его больше не видел...

— Каков он из себя?.. Выглядит как?

— Он моего роста, волосы светлые, глаза голубые...

— Усики у него,— уверенно продолжал капитан.

— Прежде были,— добавил Маркика.

— Когда именно?

— Когда?.. До того, как он их сбрил.

— Значит, вы сначала его видели в ту пору, когда он еще носил усы, а затем и тогда, когда он уже их сбрил...

— Должно быть, я что-то напутал... Да, если подумать хорошенько, я его с кем-то спутал.

— Нет,— успокоил его капитан.— Вы все точно припомнили. До женитьбы он носил усы, а потом сбрил: должно быть, жене не понравились... Вы его встречали в Б. Не знаю только, бывал ли там Николози после того, как вас выпустили из тюрьмы. Вероятно, бывал... Ну, а может, вы с ним повстречались в С.?

— Я не был в С. вот уж несколько лет.

— Странно,— сказал капитан, словно охваченный внезапной тревогой.— Более чем странно. Ведь именно Николози утверждает, что повстречал вас в С., никак не пойму, что могло бы его заставить солгать в этом случае...

Маркика больше ни в чем не мог разобраться, капитан глядел на него, догадываясь, какие муки он испытывает: мысли его метались, как пес под палящими лучами солнца, им овладели тяжкие сомнения и тревожные предчувствия, свойственное ему звериное чутье на этот раз сдавало.

Внезапно открылась дверь, и Маркика инстинктивно обернулся — посмотрел, кто пришел. У порога кабинета старшина из С. отдал честь и произнес:

— Он наконец решился.

За спиной у старшины стоял Пиццуко. Одежда его была в беспорядке, лицо небритое, волосы нечесаны. Капитан жестом велел старшине удалиться, и тот быстро захлопнул за собой дверь. Маркика почувствовал, что им овладевает тревога. Пиццуко не выдержал побоев и, несомненно, проговорился (в действительности Пиццуко как раз в эту минуту был вырван из объятий сна; душа его хранила рубцы тревожных сновидений, но тело не подвергалось никаким истязаниям). Затем Маркика увидел, как в расположенный напротив и беспощадно ярко освещенный кабинет вошли Пиццуко, старшина и лейтенант. Едва усевшись, лейтенант задал краткий вопрос, и тогда Пиццуко принялся говорить и говорить без конца.

а старшина стал писать и писать. На самом же деле лейтенант задавал Пиццуко совсем обычные вопросы: какой образ жизни он вел, на какие средства жил, а Пиццуко принялся выкладывать поучительную историю честной и безупречной жизни, полной напряженного труда,— эту-то историю поспешно и записывал старшина Ферлизи. Но Маркике внутренний голос подсказывал, что исповедь Пиццуко ему в лучшем случае обойдется в двадцать семь лет заключения в тюрьме Уччардоне, и даже сам господь бог не сможет снять с его плеч эту тяжкую ношу.

— К чему вообще,— продолжал капитан,— говорить неправду? Я имею в виду не вас, а Николози. Зачем понадобилась ему столь нелепая, столь пустая выдумка?

— Он не мог этого сказать,— решительно ответил Маркика.

— Почему же?

— Потому что... потому что он не мог этого сказать.

— Может быть, потому, что, как вы совершенно обоснованно и справедливо полагаете, Николози мертв...

— Мертвый он или живой, мне все равно.

— Да нет, вы правы... Николози мертв.

Лицо Маркики выразило явное облегчение: до этой минуты он сомневался в том, умер ли Николози и не назвал ли перед смертью его, Маркику, убийцей. (А в кабинете напротив Пиццуко пел свои песни: «Рогоносец, продажная шкура, сын потаскухи, несколько раз его стукнули, и он выложил все. Ну, ты за это заплатишь — мне или другим, а заплатишь...»)

— Да,— сказал капитан.— Николози мертв, но вы ведь знаете, что иной раз говорят и покойники...

— На дыбе,— с презреньем произнес Маркика.

— Нет, просто иной раз перед смертью люди делают записи... А Николози, повстречавшись с вами, решил на клочке бумаги записать ваше имя и кличку: Дьего Маркика, по прозвищу Дзеккинетта, да еще указал время и место встречи и вдобавок приписал одно свое, впрочем для всех очевидное, соображение насчет того, что смерть Коласберны связана с присутствием Дзеккинетты в С. в тот самый час и в том самом месте, где произошло убийство... Словом, оставил свое письмо. Если принять во внимание, что Николози мертв, судьям оно покажется важнее любого свидетельского показания, которое Николози мог бы дать, если был бы жив... Какая это с вашей стороны ошибка! Свое письмо Николози оставил жене, предупредив, чтобы она передала его нам лишь в том случае, если с ним самим что-либо приключится. Если бы вы его оставили в живых, я уверен, он никогда бы не посмел выступить свидетелем обвинения и уж тем более не донес бы сам... Да, его убийство было, конечно, страшной ошибкой...

Пиццуко в кабинете напротив наконец умолк, старшина привел в порядок исписанные листки бумаги и стал листок за листком подавать этому подлецу на подпись все, что тот выболтал. Затем старшина вышел и через минуту появился в кабинете капитана, которому и вручил эти листки. Холодный пот выступил на лице у Маркики.

— Не знаю,— сказал капитан,— что вы думаете о Розарио Пиццуко...

— Он, как губка водой, пропитался подлостью.

— Никогда бы этому не поверил, но, впрочем, не будем спорить. Ведь, кажется, вы, сицилийцы, подлецом считаете всякого, кто проливает свет на дела, о которых, мол, никто и знать не должен, хотя они вполне заслуживают справедливого вмешательства закона. Если это так, то Пиццуко совершил подлость... Хотите послушать?.. Читай,— приказал он бригадиру, передавая ему принесенные старшиной листки. Капитан закурил сигарету и, сидя неподвижно, чуть-чуть прикрыв глаза, прислушивался

к тому, как тяжело дышал от ярости покрывшийся испариной Дьего Маркика.

В тщательно подготовленном ложном протоколе допроса значилось, что Розарио Пиццуко («Плетка,— подумал Дьего,— не иначе как плетка».) вдруг решил сознаться в том, что некоторое время назад повстречался с Маркикой и доверительно сообщил об оскорблениях, нанесенных ему Коласберной, и тогда Маркика сам предложил использовать себя в качестве орудия мести. Но Розарио Пиццуко, будучи человеком твердых моральных принципов, совершенно чуждый мстительности и ненавидящий насилие, отверг это предложение. Маркика же настаивал, он упрекал Пиццуко в том, что тот ведет себя недостойно, не отвечая на оскорбление, нанесенное ему Коласберной. К этому Маркика добавил, что лично у него свои счеты с Коласберной, отказавшим ему то ли в работе, то ли в деньгах, Пиццуко не помнил точно, в чем, и что он все равно «погасит» Коласберну, а это означало, что он погасит его жизнь, как гасят свечу. И он, вне сомнения, осуществил свое намерение. Через несколько дней после убийства Коласберны Пиццуко отправился в Б. по своим семейным делам и случайно встретил там Маркику. Без всяких просьб с его стороны тот поведал ему страшную весть о двойном убийстве: «Хотел погасить одного, а пришлось пришить двоих...» На уголовном жаргоне Маркики это означало, что он убил вначале Коласберну, а затем, надо думать, и Николози. Пиццуко был весьма напуган этим откровенным признанием и вернулся домой в удрученном состоянии. Зная, сколь опасен такой человек, как Маркика, и боясь за себя, он никому не доверил этой тайны. На вопрос о том, какие мотивы могли побудить Маркику довериться ему, Пиццуко ответил: возможно, Маркика, долгое время живший в других местах, считал, что может довериться Пиццуко, ведь в смутные времена сепаратистского движения оба они сражались в отрядах ЭВИС, однако Пиццуко находился там по соображениям исключительно идейного характера, а Маркика преследовал лишь преступные цели. На вопрос о том, можно ли считать, что в этом деле замешаны третьи лица, поручившие ему совершить преступление, Пиццуко ответил, что он об этом ничего не знает и что такого рода предположение кажется ему совершенно необоснованным. Таким образом, мотивы преступления следует искать лишь в пристрастии самого Маркики к насилию, в его неискоренимых преступных наклонностях, направленных против собственности и жизни других граждан, о чем свидетельствует вся жизнь Маркики.

Это была превосходная фальшивка, она казалась совсем правдоподобной, поскольку именно таким языком должны говорить люди, подобные Пиццуко, и сам Пиццуко иначе говорить бы не стал. Фальшивка была плодом сотрудничества трех старшин, особенно последняя часть протокола дознания являлась мастерским финальным мазком и придавала целому особую достоверность именно тем, что полностью исключала возможность участия в этом деле подстрекателей. Упоминание имени Мариано Арены в этом подложном протоколе оказалось бы непоправимой ошибкой: одна фальшивая нота, одна неправдоподобная деталь, и подозрительный ум Маркики сразу же разгадал бы все. Но точная техника, при помощи которой вину полностью свалили на стрелочника, то есть на Маркику, причем начисто отвергалась как собственная вина Пиццуко, так и подозрение в подстрекательстве,— все это заставило Маркику встревожиться и поверить без всяких колебаний в подлинность документа. Голос читавшего протокол бригадира звучал в его ушах, словно магнитофонная запись речи того, кого он видел сейчас через окно в кабинете напротив.

Маркика был потрясен всем услышанным и так сильно ослеплен яростью, что, попадись ему сейчас под руку Пиццуко, он быстро бы его

прикончил. После долгого молчания Маркика объявил: раз дело обстоит так, то ему остается только последовать примеру библейского Самсона, который, как он выразился, «умер вместе со своими товарищами». Разумеется, теперь он готов сказать всю правду о тех обстоятельствах, какие этот грязный пес Пиццуко изложил в выгодном для себя свете.

Первая после стольких лет встреча с Пиццуко действительно произошла в Б., в начале декабря прошлого года. Пиццуко предложил ему прикончить Коласберну, который нанес Пиццуко страшное оскорбление. За это Пиццуко предложил награду в триста тысяч лир. Маркика, всего лишь несколько месяцев назад выпущенный из тюрьмы, хотел хоть немного пожить на свободе и потому ответил, что у него не лежит душа к такому делу. Однако в то время он находился в стесненных денежных обстоятельствах, а Пиццуко был настойчив: пообещал тут же дать аванс и остальное уплатить, как только Коласберна будет убран; вдобавок, он обещал Маркике место стражника. Маркика уступил, но сделал это, повторил он, только потому, что уж очень нуждался в деньгах. Страшная вещь — нужда. Тогда же они с Пиццуко договорились и о том, как осуществить убийство; причем Пиццуко обязался помочь ему, сказав, что Маркика возьмет оружие, принадлежащее ему, Пиццуко, в загородном домике, куда Маркика обязан был отправиться в ночь накануне убийства. Из этого расположенного не так уж далеко домика Маркика должен был по заранее установленному маршруту дойти до того места, где улица Кавура выходит на площадь, с таким расчетом, чтобы оказаться там к моменту отправления первого автобуса в Палермо, поскольку этим автобусом каждую субботу пользовался Коласберна. Совершив убийство, Маркика должен был спасаться бегством по улице Кавура, а затем укрыться в том самом загородном домике, откуда Пиццуко на машине отвезет его в Б.

За несколько дней до убийства Маркика отправился в С., чтобы ознакомиться с местом, где ему предстояло действовать, и разглядеть как следует самого Коласберну во избежание каких-либо недоразумений. Во время этого приезда в Б. Пиццуко и назначил день убийства.

Шестнадцатого января в шесть тридцать утра Маркика, в точности выполнив придуманный Пиццуко план, убил Сальваторе Коласберну. Спасаясь бегством по улице Кавура, Маркика неожиданно столкнулся со своим земляком Паоло Николози, который, вне всякого сомнения, узнал его и даже окликнул. Маркика был этим встревожен и сообщил о своем беспокойстве Пиццуко, когда тот пришел за ним в свой домик. Пиццуко взорвался, стал ругаться, а затем вдруг успокоился и сказал: «Не твоя забота, мы об этом сами подумаем». Усадив его в свою машину, Пиццуко довез Маркику до Гранчи — примерно в километре от Б., но еще до этого передал ему сто пятьдесят тысяч лир, которые вместе с авансом и составили обещанную сумму в триста тысяч.

Когда Пиццуко через несколько дней приехал в Б., Маркика узнал от него, что ему больше нечего бояться Николози, детишкам которого, как выразился Пиццуко, теперь начнут дарить сахарные куклы. Он имел в виду местный обычай дарить детям куклы из сахара в день поминовения мертвых. Из этих слов Пиццуко Маркика понял, что Паоло Николози убит.

На вопрос о том, действовал ли Пиццуко по воле третьих лиц, поручая ему убить Коласберну, Маркика ответил, что об этом он ничего не знает и что, по его мнению, это совершенно необоснованное предположение. Не означают ли слова Пиццуко «не твоя забота, мы об этом сами подумаем» участие или содействие в убийстве неизвестных Маркике сообщников Пиццуко? На этот вопрос Маркика ответил, что он такую возможность исключает, и даже добавил, что точно не помнит, сказал ли

Пиццуко «мы об этом сами подумаем» или «я об этом сам подумаю». На вопрос о том, знает ли он или, может, подозревает, где и как был убит Николози, Маркика ответил, что ему ничего не известно.

Маркика все больше успокаивался по мере того, как говорил. Когда капитан читал ему запись показаний, он довольно кивал головой и затем с неменьшим удовлетворением подписал протокол. Объяснив, таким образом, все во вред этому прохвосту Пиццуко, да и самого себя не пощадив, он вместе с тем не нарушил доброго обычая, предписывавшего не втягивать третьих лиц, если только они этого не заслужили,— так он примирился с собственной совестью и со своей судьбой. Возможно, остаток жизни ему придется провести в тюрьме, однако он к этому привык, поскольку тюрьма в какой-то мере стала для него родным домом, куда охотно возвращаешься после тягот странствия, да и не была ли тюрьмой вся его жизнь? Или по меньшей мере непрерывной мукой — вечно не хватало денег, игра в карты все время влекла и манила, полицейские глаз с него не спускали, люди только и знали, что давать добрые советы, а работа, в сущности, стала сплошным проклятьем, повседневным проклятьем обреченных, от которого человек становится бесправнее осла. Хватит! Теперь лучше заснуть и ни о чем не думать; сон и на самом деле свалил его, бесформенная черная туча заволокла все мысли.

Капитан поместил его в тюрьму Сан-Франческо, в отдельную камеру, отложив тем самым до окончания следствия радостную встречу Маркики с другими заключенными.

Теперь наступил черед Пиццуко. Была уже поздняя ночь.

При иных обстоятельствах Пиццуко вызывал бы жалость: он весь закоченел от холода, его скрючило от ломоты в суставах, а в довершение всего он внезапно схватил насморк, глаза слезились, из носу текло; встревоженный случившимся, он глядел по сторонам своими слезящимися глазами, то и дело открывая и закрывая рот, словно утратил дар речи.

Капитан приказал бригадиру зачитать показания Маркики. Пиццуко поклялся святым евангелием, христовым распятием, душой своей покойной матери, жены своей и сына своего Джузеппе, что все, сказанное Маркикой, сплошь черная ложь. Он грозил Маркике и всем потомкам его до седьмого колена включительно справедливой и страшной карой небес, где за него, Пиццуко, помимо уже упомянутых ранее умерших родных, возносил молитву также дядя его, бывший при жизни каноником, а в момент кончины своей заподозренный (это слово было здесь вполне уместно) в святости. Несмотря на волнение и насморк, он оказался превосходным оратором, его речь была густо пересыпана образными сравнениями и символическими гиперболами. Говорил он на своем сицилийском диалекте с примесью итальянского, порой красочном, а порой казавшемся еще непонятней, чем чистый диалект. Капитан дал ему выговориться.

— Итак,— спросил он холодно,— вы даже не знаете Маркику? (Капитан решил, что именно в этом весь смысл высказанной им длинной речи.)

— Если уж говорить о том, знаю ли я его, господин капитан, так я отвечу, что знаю, и лучше б меня убили прежде, чем я его узнал. Может, так было бы лучше... Я знаю его и цену ему тоже знаю. Что до того, будто меж нами были настолько тесные связи, что мы, упаси боже, сообща покушались на жизнь человеческую... то я скажу, господин капитан, не было никогда ничего подобного. Для Розарио Пиццуко жизнь любого человека священна, как икона! Да, господин капитан, священна!

— Итак, вы знаете Маркику.

— А я этого и не отрицал. Я его знаю, но это все равно, как если б я его и не знал: мне хорошо известно лишь, из какого теста он сделан, и потому я всегда держался от него подальше.

— Чем же вы объясните его показания?

— Чем же их можно объяснить? Он выжил из ума или решил меня погубить. Кто же может читать в мыслях такого человека, как он?.. Голова его — как горький плод граната, мысли его сотканы из хитрости, стоит такому, как я, прочесть эти мысли, и у него зуб на зуб не попадает от страха... Ведь он способен убить запросто, если кто-нибудь с ним не поздоровался или чей-то смех ему не понравился... Словом, прирожденный преступник...

— Вы его, однако, хорошо изучили.

— А как же? Ведь он всегда вертелся у меня на пути...

— Он и в последнее время тоже вертелся? Постарайтесь припомнить.

— Давайте подумаем... Я встретил его впервые, когда он вышел из тюрьмы... Затем второй раз в Б... Потом он приехал в С., и там я увиделся с ним в третий раз.

— О чем же вы разговаривали?

— Да, собственно, ни о чем, господин капитан, просто ни о чем, болтали о всяких пустяках, которые тотчас же забываешь, вести такой разговор все равно, что писать по воде вилами... Поздравил его с освобождением, а сам тем временем подумал: «У нас злоупотребляют амнистией»,— пожелал ему хорошенько насладиться свободой, а сам подумал: «Немного времени пройдет, и ты снова угодишь за решетку...» Поговорили об урожае, о погоде, о том, как поживают друзья, словом, никчемный разговор...

— Итак, вы считаете, что показания Маркики в той части, которая касается вас, лживы от начала до конца... Но оставим на время Маркику... Нам совершенно точно известно, что месяца три назад — если хотите, я назову вам точную дату,— у вас была беседа с Сальваторе Коласберной, вы сделали ему предложения, и Коласберна их отверг. Эти предложения касались...

— Не предложения, а советы, господин капитан, только бескорыстные дружеские советы...

— Раз вы в состоянии давать советы, значит, вы человек хорошо осведомленный...

— Хорошо осведомленный... Ведешь свои дела — и кое о чем приходится слышать, ведь я не сижу на месте, сегодня услышишь одно, завтра другое...

— Что же вы услыхали такое, что заставило вас давать советы Коласберне?..

— Я слышал, что дела его идут плохо, и посоветовал ему поискать протекции, помощи...

— Чьей?

— Протекции друзей, банков; пусть бы он попытался проникнуть в политические круги.

— Какие же пути наверняка ведут в эти самые круги?

— Пути власть имущих: законы пишут те, кто управляет, и, значит, те, кто хочет пользоваться благами закона, должны помогать тем, кто управляет.

— Словом, вы Коласберне ничего конкретного не советовали?

— Нет, господин капитан.

— Вы, так сказать, давали ему советы самого общего порядка и только по дружбе?

— Совершенно справедливо.

— Но ведь вы не были так уж близки с Коласберной?..

— Мы были с ним знакомы.

— И вы утруждаете себя советами мало знакомым людям?

— Да, такой уж у меня характер: едва замечу, что кто-либо поскользнется, сейчас же спешу протянуть руку помощи.

— Вы когда-либо подавали руку помощи Паоло Николози?

— А он тут при чем?

— После того как вы помогли Коласберне, было бы вполне естественно оказать помощь и Николози.

Зазвонил стоявший на столе телефон. Капитан слушал, что ему говорили, не сводя при этом глаз с Пиццуко, который теперь выглядел как-то спокойнее, увереннее, даже терзавший его насморк как будто утих.

Положив телефонную трубку, капитан сказал:

— Теперь мы можем начать все сначала.

— Сначала? — спросил Пиццуко.

— Да. Сейчас мне позвонили из С. и сообщили, что найдено оружие, при помощи которого убили Коласберну. Хотите знать, где оно найдено?.. Только не подумайте дурно о собственном зяте: он как раз выполнял тот наказ, какой дали ему вы... когда за вами пришли; поздно вечером он поспешил в поле, чтобы избавиться от ружья, но тут-то и нагряну ли карабинеры... Неудачное совпадение... Ну, зятя своего вы знаете хорошо. Он понял, что попался, и рассказал, как по вашему поручению должен был запрятать оружие в кьярокьяро, близ Грамоли. Точь-в-точь, как вы ему наказали...— Обратившись к бригадиру, капитан спросил:— Что значит это слово «кьярокьяро?»

— Так у нас в Сицилии,— ответил бригадир,— называют каменистый участок земли, где сохранились пещеры и ямы, возникшие в результате горных обвалов...

— Так я и думал,— заметил капитан.— Теперь у меня появилось одно предположение, не знаю только, насколько оно правильно, но не мешает все же проверить... А что, если в этом кьярокьяро обнаружится и труп Николози?.. Что вы скажете по этому поводу? — обратился он с холодной улыбкой к Пиццуко.

— Что ж, может, это и неплохая мысль,— невозмутимо произнес Пиццуко.

— Раз вы согласны, я спокоен,— сказал капитан и позвонил на пост карабинеров в С., чтобы отдать распоряжение начать поиски в кьярокьяро.

Пока он звонил, Пиццуко быстро продумал план действий.

— Теперь вы можете, следуя примеру Маркики, сознаться в том,— сказал капитан,— что поручили ему убить Коласберну, а сами убили Николози. В противном случае вам остается выгородить Маркику и признать, что вы убили и Коласберну, и Николози.— В эту минуту у Пиццуко уже оказался наготове третий вариант: он странным образом совпадал с тем подложным протоколом допроса, ознакомившись с которым сознался Маркика. Этот вариант расходился с ним лишь в одном пункте.

Сочинители подложного протокола хорошо знали свое дело, в психологии такого человека, как Пиццуко, они разбирались с научной точностью; нет ничего удивительного, что Дьего Маркика так легко попался на их удочку.

Пиццуко теперь поведал о том, как примерно месяца три назад ему повстречался Коласберна и как он, движимый добрым чувством, хотя они и не были столь близкими друзьями, пожелал дать ему кое-какие советы, касавшиеся подрядов на строительство; однако вместо благодарности, на что Пиццуко рассчитывал, Коласберна в выражениях, которые совестно даже повторить, порекомендовал ему не лезть в чужие дела; следовало воздать хвалу богу за то, что Коласберна, как выразился Пиццуко, не пересчитал ему при этом все ребра. Такой ответ Коласберны был воспринят Пиццуко как незаслуженное оскорбление; сам Пиццуко — человек добросердечный, мягкий и лишь в силу своей неисправимой доброты иной раз попадающий в неприятное положение;

после этого он случайно встретил Маркику и рассказал ему о полученном оскорблении; Маркика предложил отомстить за него, притом совершенно бескорыстно, ведь и у него были основания скверно относиться к Коласберне. Пиццуко с ужасом встретил это предложение и решительно отверг его. Но несколько дней спустя Маркика появился в С. и попросил разрешения переночевать в загородном домике, принадлежащем жене Пиццуко и расположенном в Поджо, вблизи С.; он хотел провести в этом домике всего лишь одну ночь, поскольку в С. у него были дела, а там, как известно, нет гостиницы. Маркика попросил также одолжить ему ружье — он намеревался поохотиться в округе, где, как ему сказали, водилось особенно много зайцев. Вручая Маркике ключ от домика, Пиццуко добавил, что там есть совсем старое ружье, может, не очень подходящее для охоты, но все же такое, что может еще сгодиться. Будучи по натуре человеком доверчивым и услужливым, он и не подозревал о преступном замысле Маркики. Даже узнав о смерти Коласберны, он все еще ни о чем не догадывался: лишь в ту минуту, когда в доме у него появились карабинеры, перед ним со всей ясностью предстало то ужасное дело, в которое Маркика втянул его, воспользовавшись проявленной им доверчивостью. Вот отчего он поручил своему зятю запрятать ружье, и, как теперь стало ясно, Маркика подло использовал оружие для своих целей. Такое решение показалось ему наилучшим; зная о мстительности Маркики, он опасался сразу же сообщить властям о тех обстоятельствах, жертвой которых стал сам.

■

— О, ваше превосходительство...— произнес его превосходительство, выскальзывая из постели с ловкостью и быстротой, поистине удивительной для человека столь почтенного возраста и положения.

Зловещие волны звуков, шедшие от телефона, настигли его посреди сна, и в ту минуту, когда он схватился за трубку, собственная рука показалась ему какой-то бесконечно далекой; пока смутные вибрации голоса доносились до его слуха, он успел зажечь свет, разбудив неосторожно супругу, которой в эту ночь уже более не удастся забыться сном, столь редко посещавшим ее полное тревоги тело.

Но вот звуки обрели форму, и он услышал далекий, раздраженный и властный голос. Тогда его превосходительство в пижаме соскочил с постели и, стоя босыми ногами на полу, стал раскланиваться и улыбаться, словно эти поклоны и улыбки можно было каким-либо образом передать по телефону.

Супруга метнула сердитый взгляд и, прежде чем повернуться к нему спиной и обнажить свои роскошные плечи, пробормотала:

— Он же не видит тебя, можешь не вилять хвостом!

Его превосходительству в ту минуту и в самом деле недоставало лишь хвоста, чтоб выразить всю меру своей преданности.

Он вновь произнес:

— О, ваше превосходительство...— и тотчас же добавил: — Но, ваше превосходительство... Нет, ваше превосходительство... Да, ваше превосходительство... Согласен, ваше превосходительство...— Произнеся еще раз сто «ваше превосходительство», он услыхал, наконец, что раздраженный голос стих, после чего, не выпуская из рук телефонной трубки, шепотом высказал в сторону некоторые не слишком цензурные мысли насчет матери его превосходительства, который, находясь в Риме, позволил себе в два часа ночи внести столько замешательства в его и без того достаточно нелегкую жизнь. Он взглянул на супругу, по-прежнему лежавшую к нему спиной. Затем положил трубку на аппарат, снова снял

ее, набрал номер. Супруга повернулась в его сторону, словно разъяренная кошка.

— Завтра,— заявила она,— я буду спать в комнате для гостей.

— Очень жаль, друг мой, но меня самого только что подняли с постели,— произнес он голосом раздраженным и непоколебимым, совсем похожим на тот, какой всего лишь несколько минут назад звучал в его собственных ушах.— И мы проследуем по цепочке святого Антония: разбудили меня, теперь я разбужу вас, а вы окажете мне удовольствие и разбудите того, кого надлежит разбудить вам... Мне только что звонили из Рима, не буду говорить кто, догадаетесь сами... Ну да, насчет этого Беллоди. Ведь, помните, я же это все предвидел. Словом, начинается скандал в национальном масштабе... Национальном,— подчеркнул он.— Знаете, один из тех самых скандалов... Стоит таким людям, как мы с вами, оказаться замешанными, и тогда бед не оберешься... Друг мой... Вы знаете, о чем сегодня вечером писала одна из римских газет?.. Ах, вы не знаете? Ну что ж, рад за вас, а мне об этом пришлось услышать от заинтересованного лица и, смею вас заверить, он был до крайности взбешен... В газете помещен фотоснимок на полполосы... Рядом с доном Мариано Ареной стоял, вы сами понимаете, кто... Невероятная вещь... Фотомонтаж? Какой там фотомонтаж: снимок подлинный... Ладно, значит, вас это не беспокоит... Вы, кажется, в самом деле весьма оригинальны... Я тоже превосходно знаю, что мы с вами не повинны в том, что его превосходительство, проявив, так сказать, наивность, решил сфотографироваться вместе с доном Мариано... Да, я слушаю вас...

Супруга, блистая красотой обнаженного тела, выскочила из постели, подобно одной известной актрисе,— она укладывалась спать, облаченная лишь в духи «Шанель»: это возбуждало чувства его превосходительства, ослабленные столь энергичной административной деятельностью во времена республики Сало*.

Укутавшись в пуховое покрывало, озаренная нимбом презрения, супруга вышла, сопровождаемая тревожным взглядом его превосходительства.

— Замечательно! — продолжил его превосходительство после двухминутной паузы.— Поступим так: либо этой же ночью вы пригвоздите дона Мариано Арену к скамье подсудимых такими доказательствами, против которых бессилен даже сам господь бог, либо сегодня же ночью вы его вышвырнете вон из тюрьмы, а журналистам будет сообщено, что он был задержан лишь впредь до получения разъяснений... Прокурор республики наблюдает за следствием и согласен с Беллоди? Какая неприятность! Какая путаница!.. Ну, словом, сделайте что-нибудь... Да, я отдаю себе во всем отчет... Но... знаете, что он мне сказал? «Дон Мариано Арена,— сказал он,— благородный человек... а здесь у нас кто-то,— уж не знаю, на кого он намекает, на вас или на меня,— действует на руку коммунистам...» Откуда свалился на нашу голову этот Беллоди?.. Какого черта его прислали к нам? Здесь, друг мой, нужна сдержанность, здесь нужен нюх, спокойствие, рассудительность, вот что здесь нужно... А сюда прислали человека, которого терзает лихорадка подозрительности... Нет, ради бога, я ничего не ставлю под сомнение... Я с уважением, даже с почтением отношусь к корпусу карабинеров... Словом, поступайте, как хотите...— и он швырнул телефонную трубку с такой силой, будто намеревался одним ударом разнести аппарат.

Стоявшая теперь перед ним задача требовала решений еще более смелых, чем предыдущая, хотя и та была совсем нелегкой: ему надлежало успокоить собственную жену.

* «Республика Сало» — так именовалось последнее правительство Муссолини, сформированное на севере Италии, в г. Сало, перед окончательным разгромом фашизма.

■

Золотисто-алая полоса зари подымалась над землей. Казалось, ее породила нежная зелень полей, влажные поутру стволы деревьев, прибрежные скалы; незаметно отрываясь от земли, заря двигалась навстречу темному, еще слепому небу. Расположенное посреди этой зеленой долины кьярокьяро походило на огромную, ни с чем не сравнимую, нелепую, испещренную черными отверстиями губку, вбиравшую в себя свет, подымавшийся с полей.

Увидев кьярокьяро, капитан Беллоди подумал: «Здесь господь уронил на землю губку». Капитан теперь дошел до того предела, за которым усталость и бессонница оборачиваются прозрачной ясностью лихорадки или как бы совсем стираются, чтоб уступить место скольжению прозрачно-светлых образов по зеркальной глади сознания. Так бывает и с чувством голода, когда оно вдруг сменяется чувством безразличия, вытесняющим даже самую мысль о еде. Картина, которую он здесь увидел, говорила о борьбе и поражениях в душе человека. То ли в шутку, то ли памятуя о пристрастии капитана к народным поговоркам, бригадир вспомнил:

И кукушка птенцам своим говорит:
Все мы свидимся в кьярокьяро.

Капитан сразу же заинтересовался и попросил перевести эту поговорку с сицилийского диалекта на итальянский. Бригадир выполнил его просьбу, добавив, что смысл поговорки, должно быть, в том, что всех сведет друг с другом смерть, а кьярокьяро почему-то и есть место встречи со смертью. Капитан отлично понял смысл поговорки и тотчас же представил себе, как плотной стаей слетаются сюда птицы, как содрогается мрачный воздух ночи под слепыми взмахами их крыльев. Ему показалось, что для смерти трудно подыскать образ страшней этого.

Машину они оставили на шоссе и теперь по узкой тропинке приближались к цели. Отсюда уже можно было разглядеть, как посреди кьярокьяро возились карабинеры, которым, должно быть, помогали в их розысках крестьяне.

Тропа привела их к хуторку: теперь приходилось шагать по засеянным полям, чтобы добраться туда, где старшина из С., а его уже можно было разглядеть, руководил поисками, отчаянно при этом жестикулируя.

Когда они приблизились к старшине на расстояние голоса, тот прокричал:

— Нашли, господин капитан! Труп здесь, но вытащить его трудно.— В его голосе слышалось чувство удовлетворения, столь неуместное в данном случае. Но таково ремесло, при котором и такая находка может вызвать ощущение торжества.

А труп лежал здесь, на дне девятиметрового оврага, глубину которого уже измерили веревкой с привязанным, для верности, камнем. Лучи ручных электрических фонарей, с трудом проникая сквозь росший по краям кустарник, едва освещали и дно оврага. Но снизу вполне явственно доносился трупный запах. К великой радости карабинеров, которые опасались, что им придется это делать самим, один из крестьян согласился спуститься вниз, обвязать труп веревками и затем поднять на поверхность. Веревок было мало, и теперь все ждали возвращения карабинера, посланного за ними в деревню.

Капитан вернулся в хуторок, казавшийся совсем заброшенным. Здесь тропа обрывалась. В самом дальнем его конце раздался злобный лай: на душившем ее ошейнике словно повисла красивая дворняга каштановой масти с фиолетовыми полукружьями под желтыми глазами. Из хлева вышел старик, чтобы успокоить собаку.

— Ну, Баруджьеду, ну, хватит, чего разлаялся...— Увидев капитана, старик вместо приветствия сказал: — Целую руки.*

Капитан подошел к дворняге и хотел ее приласкать.

— Нет,— встревожился старик,— не надо. Собака злая, сначала позволит незнакомому человеку себя погладить, а потом укусит... Сущий дьявол.

— А как ее звать? — спросил капитан, заинтересовавшись необычной кличкой.

— Баруджьеду,— ответил старик.

— Что это значит? — спросил капитан.

— Так кличут злых,— сказал старик.

— Никогда не слыхал такой клички,— вмешался бригадир и уже на диалекте попросил старика объяснить, что значит это слово.

Старик ответил, что правильнее было бы назвать пса Баричьеду или, может, даже Барджьеду, но в любом случае имя это означает злобу и жестокость тех, кто вправе повелевать другими; в былые времена эти баруджьеду или барджьеду** держали в страхе целые деревни и посылали людей на виселицу по одной лишь своей злобной прихоти.

— Я понял,— сказал капитан.— Барджелло — так звали главаря всех шпионов.

Старик смущенно промолчал.

Капитан хотел было спросить у старика, не видел ли он в последнее время кого-либо вблизи кьярокьяро и вообще не заметил ли он чего-нибудь подозрительного в этих местах? Но теперь он понял, что ничего не добьется от человека, который считает своего пса таким же злобным, как главарь шпионов.

«Нельзя сказать, чтоб он был неправ,— подумал капитан.— Веками «главари шпионов» обращались с людьми точно так же, как этот пес: вначале подпускали поближе, а затем набрасывались. Чем же были здесь все эти Барджелло, если не орудием насилия и произвола?»

Он распрощался со стариком и по тропе дошел до шоссе. Натянув до предела привязь, пес в последний раз угрожающе залаял. «Барджелло,— подумал капитан,— ты точь-в-точь как я, я ведь тоже на привязи и мне тоже не вырваться, на мне тот же ошейник, во мне та же злость». И он ощутил свою близость если не к Барджелло, герою не столь уж отдаленного прошлого, то к псу, прозванному в его честь Баруджьеду. Мысленно назвав себя «псом закона», капитан подумал о «псах господних» — ведь именно так звали себя монахи-доминиканцы, и затем вспомнил об инквизиции; слово это запало глубоко в душу, словно в пустую, темную могилу, пробудив мрачные воспоминания, порожденные историей и вымыслом; с мукой душевной спросил он себя: а разве он сам не сторожевой пес, фанатически уверовавший в закон?

Он вернулся назад, но, прежде чем отправиться к себе и хоть немного поспать, решил заглянуть к прокурору. Хотел рассказать о ходе следствия и добиться у него разрешения продлить срок задержания Арены, которого намеревался допросить в полдень, собрав и должным образом оценив все собранные улики.

На лестницах и в коридорах здания суда журналисты уже разбили свой бивуак. Они набросились на него всей сворой, вспышки блицев резнули по его воспаленным от бессонницы глазам.

— Как проходит следствие, к каким выводам оно пришло?.. Дон Мариано Арена — подстрекатель убийц?.. Не стоит ли за спиной у дона Мариано еще кто-либо повлиятельнее?.. Сознались ли уже Маркика и

---

* Распространенная в феодальную эпоху форма обращения крестьян к сеньору.

** Все приведенные клички — вариации имени Барджелло на сицилийском диалекте. Барджелло — глава флорентийской стражи в дни мятежей. Имя, ставшее нарицательным,— шпион, сыщик.

Пиццуко?.. Останутся ли они по-прежнему под арестом? И выписаны ли уже ордера на арест?.. Что известно о связях дона Мариано с министром Манкузо?.. Верно ли, что депутат Ливиньи вчера нанес капитану визит?

— Нет, неверно,— ответил капитан.

— Правда ли, что некоторые политические деятели выступили в защиту дона Мариано?.. Верно ли, что министр Манкузо звонил по телефону из Рима?..

— Никто из политиков в мои дела не вмешивался,— сказал он громко,— и вмешаться не может. Что же касается связи одного из задержанных с некоторыми политическими деятелями, то мне о них известно только из ваших же сообщений. Допустим, такие связи существуют — ведь я не хочу подвергать сомнению вашу профессиональную честность,— но не мне заниматься ими, устанавливать их подлинное значение. Если следствие найдет, что эти связи имеют особый характер и требуют вмешательства закона, то мы, прокурор республики и я, свой долг выполним до конца.

Одна из вечерних газет напечатала это его заявление, снабдив шапкой через всю полосу: *«Следствие, которое ведет капитан Беллоди, не минует и министра Манкузо»*. Как известно, вечерние газеты выходят до полудня; на юге это как раз обеденное время, в этот час гневные окрики лиц, задетых репортерами, подожгли телефонные провода, словно фитиль, поток угроз донесся до весьма тонкого слуха людей, которые в эти минуты стремились растворить в винах Салапарута и Виттори бремя собственной тревоги.

■

— В руках у карабинеров три звена цепи, вот в чем суть. Первое звено — Маркика, им за это звено удалось ухватиться крепко, и вырвать его теперь трудней, чем кольцо, к которому в деревне привязывают мулов...

— Дьего Маркика не такой человек, чтобы проболтаться: он прошел сквозь огонь, воду и медные трубы.

— Позабудем о воде, огне и медных трубах. Ваш недостаток в том, что вы не можете понять, как человек, способный убить десять, тысячу или даже сто тысяч других, может оказаться самым обыкновенным подлецом... Позвольте мне сказать вам, что Дьего уже проболтался, а теперь к его кольцу привязали и Пиццуко... Если Пиццуко заговорит, тогда к его кольцу накрепко присоединят третье — кольцо Мариано; либо Пиццуко будет молчать, и тогда он останется прикованным к Дьего, хотя и и не слишком прочно. Хорошему адвокату не так уж много потребуется усилий, чтобы его оторвать, ну вот, тогда на этом все... и кончится, Мариано окажется свободным.

— Пиццуко будет молчать.

— Не знаю, дорогой мой, не знаю. Я всегда привык рассчитывать на худшее. Допустим, Пиццуко заговорит, тогда Мариано обеспечена тюрьма. Можно заранее сказать: теперь карабинеры будут пытаться припаять кольцо Пиццуко к кольцу Мариано; если им это удастся, то цепь либо оборвется на Мариано, либо Мариано — человек больной и старый — также начнет читать свои молитвы. А уж в этом случае, дорогой мой, цепь до того растянется, станет такой длинной, что захлестнет и меня, и министра, и самого господа бога... Катастрофа, дорогой мой, катастрофа...

— Вы, должно быть, хотите, чтоб сердце мое стало чернее золы... Святая мадонна, разве вы не знаете, что́ за человек дон Мариано? Не человек — могила.

— В молодости был таким, а теперь сам уже стоит одной ногой в могиле... «Человек слаб»,— сказал Гарибальди в своем завещании, он боялся, как бы в минуту крайней слабости не выложить какому-нибудь попу свои колючие, словно кактус, грехи. Так вот я о чем толкую: может статься, что Мариано не выдержит, начнет каяться в своих грехах, а их у него, между нами говоря, немало... В двадцать седьмом я сам держал в руках его дело, потолще вон той книги,— и он указал на том Бентини.— Не дело, а прямо-таки целая энциклопедия по уголовному праву: все тут есть — от кражи скота до поножовщины... Потом, к счастью, это дело исчезло... Да не глядите вы на меня, как баран на новые ворота... Не я приложил руку к этому... здесь поработали другие, повлиятельнее меня, пасьянс раскладывали, так дело из одного ведомства шло в другое, потом в третье, и вот, помнится, государственный прокурор, человек просто страшный, обнаружил, что у него утащили это дело из-под самого носа... Помню, он метался тогда как бешеный, сыпал угрозами направо и налево... конечно, больше всего подозрений выпало на долю тех простаков, которые ни малейшего касательства к этому не имели. Затем прокурора перевели в другое место, и гроза миновала. Ты и сам, дорогой мой, знаешь, как это бывает на свете: сменяются и прокуроры, и судьи, и офицеры, и квесторы, и капралы...

— Ну уж это и вовсе смешно, при чем здесь капралы?..

— Смешного тут нет ничего, дорогой мой. От всей души желаю тебе никогда не попадаться на глаза капралу... Значит, капралы тоже сменяются, а вот мы остаемся... Намек на обвинения, легкий испуг, но нас с места не сдвинешь.

— А дона Мариано?

— Дон Мариано пока тоже отделался легким испугом...

— Но ведь он все еще в тюрьме. Кто знает, какие муки ему приходится выносить.

— Никаких мук, какие там муки? Ты только не думай, что его избивают, привязав к скамье, или пытают электрическим током, другие теперь времена. Теперь закон существует и для карабинеров...

— Закон? Черта с два... Три месяца назад...

— Оставь, мы ведь говорим о доне Мариано... Дона Мариано Арену никто и пальцем не тронет: личность уважаемая, человек со связями, могущий нанять таких адвокатов, как де Марсико, Порцио и Делитала всех вместе... Конечно, он страдает от кое-каких неудобств: тюремная камера — не «Гранд отель», на нарах спать жестко, от параши несет, и ему, бедняге, не подают кофе; а ведь он привык выпивать по чашке каждые полчаса, да еще самого крепкого... Но через несколько дней его выпустят на свободу, и он по-прежнему будет излучать невинность, как сам архангел Гавриил, и по-прежнему жизнь его потечет спокойно, а дела станут процветать...

— Только что вы подсекли меня под корень, убили мою надежду, а теперь...

— Была решка, а теперь будет орел: не сомневаюсь, что должен быть орел и что дела должны пойти хорошо, но может случиться и так, что выпадет решка.

— На всем тогда придется поставить крест.

— Нет, выпадет орел, а крест оставим Иисусу Христу.

— Тогда запомните хорошенько мой совет: нужно вырвать из цепи первое звено. Нужно освободить Дьего.

— Если только он не проболтался...

— Даже если он и проболтался, вы должны его выручить. Пусть следствие идет своим ходом. Тем более теперь, когда оно в руках у этих двух пожирателей поленты... их уж никто не остановит, пусть оно себе идет, дайте им его закончить, пусть дело поступит к судебному следова-

телю, а вы пока что готовьте для Дьего такое железное алиби, чтоб они на нем зубы сломали...

— Какое же?

— А такое: в тот самый день и час, когда был убит Коласберна, Дьего находился за много тысяч миль от места преступления, в обществе достойнейших, ничем не запятнанных лиц, ни одно слово которых ни один судья не вправе подвергнуть сомнению...

— Но ведь он сознался...

— Если сознался, пусть откажется от своих показаний, пусть заявит, что его подвергли физическим и моральным пыткам, ведь бывают и моральные пытки, а мы приведем свидетельства таких, скажем, достойных глубочайшего доверия лиц, как Тицио, Филано и Мартино, которые докажут, что Дьего физически не мог участвовать в совершенном преступлении. Только святые обладают даром одновременно находиться в двух различных местах. Не думаю, чтоб судья мог обнаружить у Дьего признаки святости... Ну, а затем взгляни на эту газету, прочти вот эту краткую заметку: «При расследовании убийств в С. карабинеры пренебрегли одним из фактов...»

■

Капитан Беллоди читал заметку в сицилийской газете, обычно весьма осторожной и отнюдь не стремящейся воздвигать препятствия на пути правосудия. По мнению этой газеты, Беллоди пренебрег одним существенным обстоятельством. Речь шла об убийстве на почве ревности. Само собой разумеется, даже человеку, не знавшему о данных, имеющихся в руках следствия, это предположение могло объяснить причину лишь одного из убийств и никак не объясняло причины двух остальных. Возможно, автор этой заметки, будучи в С., отправился в парикмахерскую к дону Чиччьо, и рассказ о любовной интриге между женой Николози и Пассерелло возбудил его фантазию. Словом, утверждал журналист, ищите женщину — и это было достойно добропорядочного журналиста и добропорядочного сицилийца, хотя, как представлялось капитану, здесь, в Сицилии, полиция должна прежде всего отказаться именно от этих «поисков женщины»; рано или поздно, женщина все равно будет обнаружена и нанесет свой удар правосудию.

«Здесь, в Сицилии,— думал капитан Беллоди,— такие преступления никогда не порождаются ревностью в обычном смысле слова, а в основе их всегда лежит рассудочное чувство, вернее, даже не чувство, а забота о формальной или, если можно так выразиться, юридической стороне дела; в силу некой абстракции законы, проходя через различные этапы судопроизводства, как бы уменьшаются в объеме, достигая под конец той формальной прозрачности, при которой сама сущность фактов, то есть их конкретная связь с человеком, более ничего не значит. Когда устранено все человеческое, закон отражается лишь в законе. Некий персонаж из «Треугольной шляпы» Пиранделло * вел себя так, словно в нем нашла свое отражение целая пленарная сессия всех отделов кассационного суда. Он тщательно разрезал на части и затем вновь собрал воедино рассеченную юридическую форму, даже не касаясь при этом сущности дела».

Беллоди как раз и наткнулся на такого Чампу в первые дни после своего прибытия в К. Этот человек, точь-в-точь напоминавший персонаж Пиранделло, ввалился к нему в кабинет, конечно, не в поисках

* Чампа — действующее лицо в пьесе Пиранделло «Треугольная шляпа».

автора *, поскольку уже нашел для себя в лице Пиранделло великого писателя, но ради того, чтобы установить некие процедурные тонкости в беседе с полицейским офицером, полагая, что простому бригадиру не под силу разобраться в его грязных делишках.

«Все это зависит от того, — думал капитан,— что в сознании сицилийца единственным подлинно живым институтом является семья, в которой он видит драматическое средоточие правовых отношений, а не естественное, порожденное чувством установление. Семья есть государство сицилийца. Государство, вернее, то, чем для нас является государство, находится где-то вне семьи. Государство реально, оно обладает силой, облагает налогами, призывает на военную службу, навязывает войны, шлет карабинеров. Но лишь внутри семьи сицилиец преодолевает свое врожденное, свое трагическое одиночество и приспосабливается к совместной жизни с другими людьми, прибегая для этого к ложнодоговорным отношениям. Было бы чрезмерным требовать от сицилийца преодоления границы между семьей и государством. Он может порой вдохновиться идеей государства и даже возглавить правительство, но окончательным проявлением закона и долга для него будет лишь семья, позволяющая сократить шаг, ведущий к победному одиночеству».

Эти мысли, навеянные как хорошими, так и дурными образцами литературы, не покидали капитана Беллоди, ожидавшего в своем кабинете, когда доставят Арену. И еще капитан думал о том, как точно приспосабливается мафия к начерченной им схеме... Но в эту минуту ввели дона Мариано Арену.

Прежде чем отправиться к капитану, дон Мариано потребовал к себе парикмахера, один из карабинеров побрил его, чем принес ему подлинное облегчение. Теперь он то и дело касался рукой лица, довольный, что больше не натыкается на шершавую, как наждак, щетину, в течение последних дней досаждавшую ему больше, чем его собственные мысли.

Капитан сказал:

— Прошу сесть,— и дон Мариано уселся. Из-под нависших век он посмотрел на капитана неподвижным, тяжелым взглядом, но стоило ему отвести глаза, и этот взгляд погасал, словно механически сработавшая пружинка заставила веки приподняться и вновь опуститься.

Капитан спросил, был ли Арена когда-либо связан с Калоджеро Дибеллой, по прозвищу Попик.

Дон Мариано, в свою очередь, спросил, что он имеет в виду: простое знакомство, дружбу или общие интересы?

— Вам это лучше известно,— сказал капитан.

— Истина лишь одна и не дает права выбора: простое знакомство.

— Какого мнения вы были о Дибелле?

— Он мне казался человеком рассудительным. В молодости он допускал ошибки, но потом, казалось мне, избрал правильный путь.

— Стал работать?

— Вам лучше знать.

— Хотелось бы услышать, что *вы* об этом думаете?

— Если иметь в виду работу мотыгой, для которой его предназначал отец, то Дибелла работал ровно столько, сколько мы с вами... Может, он работал головой...

— Какой же умственной работой он занимался?

— Не знаю и знать не хочу.

— Почему?

— Просто неинтересно: Дибелла шел своим путем, я — своим.

— Почему вы сказали — шел?

---

* Намек на известную пьесу Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора».

— Потому что его убили... Я узнал об этом за час до того, как вы прислали ко мне в дом карабинеров.

— В сущности, карабинеров в ваш дом послал сам Дибелла.

— Вы запутать меня хотите.

— Нет, я покажу вам, что написал Дибелла за несколько часов до смерти,— капитан протянул ему фотокопию письма.

Дон Мариано взял ее и стал разглядывать на расстоянии вытянутой руки, объяснив капитану, что только так может читать.

— Что вы теперь скажете? — спросил капитан.

— Ничего не скажу,— ответил дон Мариано, возвращая письмо.

— Ничего?

— Ровным счетом ничего.

— Вам не кажется, что это обвинительный документ?

— Обвинительный?! — удивился дон Мариано.— Мне кажется, это просто ничего не значащий клочок бумаги, на котором написано мое имя.

— Там упоминается не только ваше имя.

— Ах да, тут и Розарио Пиццуко.

— Вы его знаете?

— Я знаю здесь всех.

— Но Пиццуко особенно хорошо.

— Нет, я с ним знаком, как и со многими другими.

— У вас были деловые отношения с Пиццуко?

— Позвольте мне задать вам вопрос: какого рода делами я, по вашему мнению, занимаюсь?

— Самыми различными.

— Я делами не занимаюсь: живу на ренту.

— Какую?

— Земельную.

— Сколькими гектарами вы владеете?

— У меня двадцать два сальмо... иначе говоря, девяносто гектаров.

— Они приносят хороший доход?

— Не всегда, год на год не приходится.

— Какой доход может в среднем принести гектар ваших земель?

— Значительную часть своей земли я оставляю под пастбища... Поэтому не могу сказать, какой доход получаю с гектара невспаханной земли; какой доход приносят овцы... сказать могу. Если округлить — полмиллиона... Что ж до остального — пшеница, бобовые, миндаль и оливки, то это зависит от урожая...

— Сколько же у вас обрабатываемых земель?

— Гектаров пятьдесят-шестьдесят.

— Тогда я могу сообщить вам, какой доход вы получаете с гектара: не меньше миллиона.

— Изволите шутить.

— Ну, нет, шутите вы... Ведь вы мне сами сказали, что у вас нет иных источников дохода, помимо земли, что вы не причастны ни к промышленности, ни к торговле... И я вам верю, вот почему считаю, что те пятьдесят четыре миллиона, какие вы в прошлом году внесли в три различных банка, не переводя ни одной лиры из другого банка, являются доходом, полученным исключительно с ваших земель. Значит, по миллиону с гектара... И должен вам признаться, что запрошенный мною эксперт по аграрным вопросам был этим просто потрясен: по его мнению, в этой зоне нет земель, которые приносили бы чистой прибыли более ста тысяч с гектара. Вы полагаете, что он заблуждается?

— Нет, он не ошибся,— сказал дон Мариано, помрачнев.

— Итак, мы избрали ложную отправную точку... Вернемся назад: каковы источники ваших доходов?

— Нам совсем незачем возвращаться назад, я перемещаю свои капиталы по собственному усмотрению... Могу лишь уточнить, что я не всегда держу их в банке: порой одалживаю их друзьям без векселей, на веру... А в прошлом году мне вернули все мои долги, и я сделал эти вклады в банки...

— Где у вас уже были текущие счета? На ваше имя? И на имя вашей дочери?..

— Долг отца — заботиться о будущем своих детей.

— Совершенно верно. И вы обеспечили своей дочери вполне безбедное будущее... Не знаю только, удастся ли вашей дочери оправдать все то, что вы сделали для приобретения вашего богатства... Знаю лишь, что сейчас она обучается в одном из самых известных и дорогих коллежей Лозанны... Когда она вернется, вы, как мне кажется, увидите в ней много перемен: она станет с симпатией относиться к тому, что вы презираете, будет уважать то, чего не уважаете вы, вообще станет доброй...

— Оставьте мою дочь в покое,— сказал дон Мариано, и мучительная ярость исказила его лицо. Затем, успокоившись, или, вернее, стараясь успокоить самого себя, он произнес:— Дочь у меня такая же, как я. Моя дочь во всем походит на меня.

— На вас?.. Хочу думать, что это не так: вы же сами делаете все, чтобы ваша дочь не походила на вас... Вы сами не узнаете ее, настолько она станет иной, и тогда-то вы в какой-то мере поплатитесь за богатство, нажитое путем насилия и обмана...

— Что это — проповедь?

— Проповедника вы обычно слушаете в церкви, а здесь вы предпочитаете видеть только сыщика, вы правы... Поговорим лучше о том, во сколько ваша дочь вам обходится, сколько денег внесли вы на ее имя... Много, очень много денег и притом весьма сомнительного происхождения... Взгляните, вот фотокопии банковских вкладов, сделанных на ваше имя и на имя вашей дочери. Как видите, мы не ограничились местными агентствами, а добрались и до Палермо... Крупные, очень крупные суммы, могли бы вы объяснить, откуда такие деньги у вас?

— А вы могли бы? — бесстрастно спросил дон Мариано.

— Попробую. Ведь в деньгах, которые вы накопили столь таинственным образом, и следует искать причины расследуемых мною преступлений; я это должен доказать, предъявляя вам обвинение в подстрекательстве к убийству... Попытаюсь это сделать. В любом случае вам придется дать объяснения налоговому управлению, куда мы теперь передадим все эти данные...

Дон Мариано равнодушно пожал плечами.

— У нас есть также копия вашей декларации о доходах и выписка об уплаченных вами налогах, доходы ваши якобы...

— ...равны моим,— вмешался бригадир.

— ...налогов вы уплатили...

— ...чуть меньше меня,— снова сказал бригадир.

— Вот видите,— заметил капитан,— здесь многое требует разъяснения, вы многое должны пояснить...

И снова дон Мариано равнодушно пожал плечами.

«Отсюда,— подумал капитан,— и нужно все начинать. Бесполезно пытаться разоблачить такого человека как уголовного преступника, ибо ничего никогда не удастся доказать. Его защитит молчание честных и бесчестных. Здесь, как и в Америке, таких людей нужно застигнуть врасплох, предъявляя им обвинение в жульничестве при уплате налогов. Речь идет не только о таких людях, как Мариано Арена, и не только об одной лишь Сицилии. Нужно совершить внезапную ревизию банков, опытной рукой взяться за отчетность больших и малых фирм (обычно это поистине двойная бухгалтерия), нужно проверить описи земельных

владений. Было бы лучше, если б все эти ищейки старого или нового образца, совершенно зря привлекающие внимание к политическим идеям или закулисным связям самых беспокойных членов того большого семейства, в которое превратился нынешний режим, или соседей этого семейства, или его противников, пригляделись бы попристальнее к виллам, несерийным автомобилям, расходам жен и любовниц некоторых чиновников. Неплохо было бы сопоставить весь образ их жизни с их служебными окладами и сделать необходимые выводы. Лишь после этого у людей, вроде дона Мариано, почва действительно заколебалась бы под ногами... В другой стране такое сокрытие доходов было бы строго наказано, а у нас дон Мариано только посмеивается. Знает, что ему нетрудно будет спутать все карты...»

— А отношения с налоговым ведомством вас не беспокоят?

— Меня ничто и никогда не беспокоит,— ответил дон Мариано.

— Как же так?

— Я человек невежественный, но с меня достаточно и тех двух-трех вещей, какие я знаю: во-первых, мне известно, что под самым носом у каждого из нас — рот, во-вторых, я знаю, что рот служит скорее для принятия пищи, нежели для болтовни...

— И у меня ведь тоже есть рот,— сказал капитан.— Но хочу заверить вас, что питаюсь я лишь тем, что вы, сицилийцы, называете «казенной коркой».

— Мне это известно, но ведь и вы — человек.

— А бригадир? — иронически спросил капитан, показывая на бригадира Д'Антона.

— Этого я не знаю,— сказал дон Мариано, взглянув на бригадира с оскорбительной пристальностью.— У меня,— продолжал затем дон Мариано,— есть кое-какой опыт, я хорошо знаю, что такое белый свет, известно мне также и то, что принято называть высокопарным словом «человечество», у всех это слово уже навязло в зубах. Что ж, звучит оно красиво, а внутри — пустое, я это самое человечество делю на пять разрядов: люди, полулюди, человечки и, если так позволительно выразиться, мокрицы да инфузории... Людей на свете очень мало, полулюдей тоже, я был бы очень доволен, если бы человечество в своем развитии остановилось на полулюдях... Однако оно опустилось еще ниже, так появились человечки, которые походят на детей, считающих себя взрослыми, и пообезьяньи повторяют жесты старших... А еще ниже — мокрицы, их теперь целые полчища... и, наконец, инфузории, которым пристало жить в лужах, так как их существование совсем уж бессмысленно и бесполезно... Что же касается вас, то вы останетесь человеком, даже если сумеете распять меня, как Христа, на этих листках бумаги...

— Вы тоже человек,— произнес капитан не без волнения. И для того чтобы оправдать этот вызвавший у него чувство неловкости обмен любезностями с главарем мафии, припомнил, как однажды, в самом разгаре национального праздника, пожал руки выступавшим в окружении знамен и труб «представителям нации» — министру Манкузо и депутату Ливиньи. При сопоставлении с ними дон Мариано несомненно выигрывал — он был человеком.— Почему вы относите меня к разряду людей, а не полулюдей? Или даже не к разряду инфузорий? — спросил капитан с грубой откровенностью.

— Потому что на вашем месте легко наступить человеку ногой на лицо,— ответил дон Мариано.— Вы же проявляете уважение... Люди, которые занимали ваше место и место бригадира много лет назад, нанесли мне оскорбление, которое хуже смерти: такой же, как вы, офицер дал мне пощечину, а там внизу, в камере, старшина прижигал мне пятки зажжен-

ной сигарой и смеялся при этом... Вот я и спрашиваю, можно ли спокойно спать после таких оскорблений?

— Значит, я вас не оскорбил?

— Нет. Вы — человек,— снова подтвердил дон Мариано.

— А вы считаете убийство или подстрекательство к убийству тоже достойным человека?

— Я никогда ничего подобного не делал. Но раз уж вы спросили меня, то я, так вот запросто беседуя с вами о всякой всячине, какая порой случается на свете, скажу: прежде чем ответить на вопрос, можно ли лишить жизни человека, нужно сначала поглядеть, что это за человек и человек ли это вообще...

— А Дибелла был человек?

— Мокрицей он был,— презрительно сказал дон Мариано,— он позволил себе слишком много, а слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

— У вас были особые причины, чтобы судить о нем так?

— Нет, никаких. Я едва его знал.

— И все же вы его верно оценили. Должно быть, вы о нем кое-что знали... Знали, что он шпионил, служил осведомителем у карабинеров?

— Меня это не интересовало.

— Но вы знали об этом?

— Об этом знали все.

— Наши секретные источники информации...— с иронией произнес капитан, обернувшись в сторону бригадира.— А может, Дибелла пытался услужить кое-кому из друзей, передавая карабинерам сведения определенного свойства,— сказал он, снова обращаясь к дону Мариано.— Что вы скажете об этом?

— Я ничего об этом не знаю.

— И все же, по крайней мере, один раз Дибелла выжал из себя правду: это было тут же, в кабинете, дней десять назад, он сидел там, где сейчас сидите вы... Как вам удалось об этом узнать?

— Ничего я не узнавал, а если б и узнал, то мне от этого не было бы ни холодно, ни жарко.

— Может, Дибелла, мучимый угрызениями совести, пришел и во всем вам сознался...

— Его мог мучить только страх, а не угрызения совести, и ему незачем было ходить ко мне.

— А такого человека, как вы, могут мучить угрызения совести?

— Я никогда не испытываю ни угрызений совести, ни страха.

— Кое-кто из ваших друзей утверждает, что вы человек верующий.

— Бываю в церкви, даю деньги на сиротские приюты...

— Думаете, этого достаточно?

— Да, величие церкви в том, что каждый связан с ней по-своему.

— Читаете евангелие?

— Слушаю по воскресеньям.

— Что вы о нем думаете?

— Красиво... Церковь вообще красива.

— Вижу, для вас красота ничего общего с правдой не имеет.

— Правда — на дне колодца: глядишь в колодец и видишь луну или солнце, если бросишься вниз головой, не найдешь ни луны, ни солнца, там на дне одна правда.

Бригадир начал уставать, как гончая, вынужденная следовать за охотником по голой каменистой пустыне, где дичью и не пахнет. Путь, избранный капитаном, казался ему извилистым, долгим и путаным. Беседа, едва коснувшись убийства, тотчас же уходила в сторону — церковь, человечество, смерть. Светская беседа в клубе, а не допрос преступника, черт возьми!

— И многим вы помогли найти правду на дне колодца? — спросил капитан.

Дон Мариано взглянул ему прямо в лицо своими холодными стальными глазами. И ничего не ответил.

— Дибелла уже нашел правду,— продолжал капитан,— когда рядом с именем Пиццуко написал ваше имя.

— Не правду он нашел, а рассудок потерял.

— Нет, он находился в здравом уме... Я вызвал его тотчас же после убийства Коласберны — сведения из анонимных писем позволили мне предположить, что это убийство связано с определенной игрой интересов... Я знал, что Коласберна получил определенные предложения, что ему угрожали, в него даже стреляли, так сказать, для острастки, и спросил у Дибеллы, не может ли он сообщить мне, кто предлагал Коласберне сделки, кто ему угрожал. Растерявшись, но не настолько, чтоб указать мне единственный верный след, он назвал два имени: одно из них, как я потом убедился, должно было сбить меня с толку... Я хотел защитить Дибеллу, хоть и не мог рисковать, арестовав сразу обоих; одного я должен был взять наверняка: оба названных человека принадлежали к двум враждующим ветвям мафии, кого же из них следовало исключить — Ла Роза или Пиццуко?.. Тем временем внезапно исчез Николози, и меня поразило совпадение некоторых обстоятельств. Даже Николози, прежде чем уйти из жизни, назвал нам одно имя. Мы задержали некоего Дьего Маркику, которого вы, конечно, знаете. Он сознался...

— Дьего! — недоверчиво воскликнул дон Мариано.

— Дьего,— подтвердил капитан и приказал бригадиру зачитать показания.

Дон Мариано выслушал их, тяжело дыша, как астматик. На самом деле он задыхался от ярости.

— Итак, Дьего без лишних просьб с нашей стороны привел нас к Пиццуко, а Пиццуко — к вам...

— Ко мне вас не приведет даже сам господь бог,— вызывающе произнес дон Мариано.

— Вы с большим уважением относитесь к Пиццуко,— заметил капитан.

— Никто не пользуется моим уважением, но я знаю здесь всех.

— Не хочу разочаровывать вас в Пиццуко, тем более что Дьего уже сам достаточно разочаровал вас.

— Он рогоносец,— сказал дон Мариано, и лицо его выразило величайшее отвращение, что свидетельствовало о неожиданной уступке.

— Не кажется ли вам, что вы не совсем справедливы: в словах Дьего не было даже и намека на вас.

— А я-то здесь при чем?

— Отчего же вы сердитесь, если вы здесь ни при чем?

— Я не сержусь, мне просто жаль Пиццуко, он человек порядочный... А меня всегда волнует, когда я сталкиваюсь с подлостью.

— Вы можете поручиться, что все сказанное Маркикой по адресу Пиццуко лишено оснований?

— Я никогда ни за что не ручаюсь, даже за грошовый вексель.

— Но вы же не верите, что Пиццуко виновен?

— Не верю.

— А что бы вы сказали, если бы Пиццуко не только сам сознался, но и назвал вас своим сообщником?

— Я бы сказал, что он сошел с ума.

— А не вы ли поручили Пиццуко любым путем уладить дело с Коласберной?

— Нет, не я.

— Участвуете ли вы своими капиталами в строительстве или вы сами заинтересованы в этом деле?

— Я? Нисколько.

— Не вы ли порекомендовали передать фирме Смиральдо большой подряд, и она получила его только благодаря вам на необычных, мягко говоря, условиях?

— Нет... То есть, да, но я даю бесконечное множество рекомендаций.

— Какого рода рекомендации?

— Любого рода: для получения подрядов, места в банке, аттестата зрелости, субсидии...

— И кому вы рекомендуете своих подопечных?

— Друзьям, которые что-либо могут сделать.

— К кому вы обычно адресуетесь?

— К тем, кто больше всего может сделать.

— Приносят ли эти рекомендации вам какую-либо выгоду или, скажем, выражения признательности?

— Мне платят дружбой.

— И все же, иной раз...

— Иной раз под рождество угощают мороженым.

— Или чеком: бухгалтер Мартини из фирмы Смиральдо помнит о чеке на большую сумму, выписанном на ваше имя инженером Смиральдо, чек прошел через его руки... Не было ли это благодарностью за полученный фирмой крупный подряд? Может быть, вы оказали фирме какие-либо иные услуги?

— Не помню, возможно, мне просто вернули долг.

— Раз вы не можете это припомнить, мы арестуем инженера Смиральдо.

— Правильно, тогда мне не придется утруждать свою память... Я стар, моя память иногда сдает.

— Могу ли я, по крайней мере, еще один раз затруднить вашу память в связи с недавними событиями?

— Попробуйте.

— Речь идет о подряде на строительство дороги Монтероссо—Фальконе, вам удалось добиться финансирования строительства совершенно ненужной дороги, проходящей по местности с немыслимым рельефом. То обстоятельство, что именно вы добились финансирования этого строительства, подтверждается статьей одного из местных журналистов, приписывающего вам эту заслугу. Разве не вам обязана фирма Фацелло получением подряда? Мне сказал об этом сам господин Фацелло, и я не думаю, чтобы он лгал.

— Нет, он не лгал.

— И господин Фацелло выразил вам свою признательность?

— А как же? Вот он пришел сюда, к вам, и выболтал всю эту историю — он заплатил мне сполна, даже с излишней щедростью.

■

Двое сицилийцев получили входные билеты на улице делла Миссионе за час до начала работы парламента. Побродили немного по Галерее, вблизи кафе Берардо, поглазели на выставленные в киосках обложки иллюстрированных журналов. Рим, освещенный мягким светом, волшебно красив в этот час тишины, нарушаемой лишь скольжением машин и протяжными сигналами троллейбусов. Где-то далеко и призрачно звучали голоса разносчиков газет, которые сразу вслед за словом «преступление» выкрикивали название их селенья. Два дня назад они уехали

из дому, с тех пор они беседовали с двумя крупными криминалистами, одним министром, пятью или шестью депутатами, тремя или четырьмя разыскиваемыми полицией преступниками, которые наслаждались бездельем Рима в тратториях квартала Тестаччьо. Теперь они обрели спокойствие. Когда депутат пригласил их в парламент на заседание, во время которого правительство должно было ответить на запрос о поддержании общественного порядка в Сицилии, им показалось, что трудно найти более удачное завершение этого напряженного дня. Вечерние газеты сообщили, что прокурор республики подписал ордера, превратив простое задержание Арены, Маркики и Пиццуко в арест. Судя по тому, что удалось разнюхать журналистам, Маркика сознался в совершении одного убийства и взвалил вину за второе на Пиццуко, а Пиццуко, в свою очередь, признал, что невольно содействовал двум убийствам, совершенным Маркикой, двум, а не одному, в котором сознался Маркика; что касается Арены, то он вообще ни в чем не сознавался, и ни Маркика, ни Пиццуко не обвиняли его в соучастии. Но прокурор республики подписал ордера на арест Маркики по обвинению в предумышленном убийстве и на арест Пиццуко и Арены по обвинению в подстрекательстве к убийству. Все складывалось скверно. Но здесь, в Риме, который казался в этот час светлым и легким, как воздушный шар, в Риме, который сверкал всеми огнями, переливался броскими красками женских нарядов и витрин, эти ордера на арест казались чем-то легким, невесомым, уносящимся в небо, как бумажный змей.

Близилось время начала заседания. Они вошли в туннель, чтобы перейти на другую сторону площади. В жестком фосфоресцирующем свете неона, от которого еще ярче сверкала всеми своими красками многоцветная толпа римлян, черная одежда двух сицилийцев, их черные лица, походившие на лики местных святых, знаки траура на рукавах одежды, молчаливый язык локтей, когда они подталкивали друг друга, выразительные взгляды, которыми они обменивались, отвечая на появление красивых женщин в толпе, их походка — все это на какую-то минуту привлекало внимание прохожих. Большинство принимало их, однако, за двух агентов полиции, преследовавших карманного вора. В действительности же они были живым осколком Сицилии, живым воплощением «проблемы юга».

Швейцары в парламенте поглядели на них с недоверием, покрутили в руках предъявленные ими билеты, потребовали удостоверения личности, затем заставили снять пальто. Наконец их проводили в ложу, такую же, как в театре, хотя зал внизу совсем не походил на театральный. Высунувшись из ложи, они как бы заглянули через край огромной пропасти и увидели внизу копошащийся черный муравейник. Освещение в этом зале напоминало предгрозовой час; в Сицилии это бывает часто: тучи, гонимые ветрами из Сахары, постепенно сгущаются так, что лучи солнца не в силах пробиться через завесу песка и водяной пыли. Странное освещение, при котором все кажется атласно-гладким!

Прошло немало времени, пока их отвлеченные представления о левой, центре и правой части парламента совпали с конкретной топографией зала, причем опознавательными вехами для них здесь служили наиболее известные лица. Когда из-за газеты показалось лицо Тольятти, они поняли, что перед ними левая сторона. С медлительной точностью стрелки компаса они перевели взгляд поближе к центру и через некоторое время обнаружили лицо Ненни, лицо Фанфани, пока наконец не добрались до лица того депутата, которому были обязаны присутствием здесь. Казалось, он тоже разглядывал их, они даже помахали ему рукой, но депутат, погруженный в свои мысли, ничего не заметил. Самое сильное впечатление произвели на них курьеры, сновавшие от одной скамьи к другой, их непрестанное мелькание придавало всему происхо-

дящему в зале автоматический ритм ткацкого станка. Ровный и непрестанный гул, доносившийся до них, казалось, шел откуда-то из глубины сводов, а не из зала, который заполнен людьми, погруженными в собственные мысли.

Время от времени раздавался звук колокольчика. Затем в мареве света чей-то голос, словно маслянистое пятно, расплывался над глухим и все усиливающимся рокотом. Нелегко было им обнаружить, кто именно говорит, и только колокольчик председателя помог добраться взглядом до правительственных скамей, где они увидели, что рядом с выступавшим сидит министр Пелла.

— Пусть отвечает министр,— неслось со скамей левых депутатов.

Председатель позвонил в колокольчик и сказал, что министр лишен возможности выступить... Однако здесь его помощник, а это одно и то же... В конце концов ни у кого не было намерения проявить неуважение к палате. Пусть же помощнику министра дадут возможность говорить. Но слова председателя никто не принял во внимание.

— Министра! Министра! — по-прежнему кричали слева.

— Господи, дайте же ему говорить,— сказал один из сицилийцев на ухо своему товарищу.

И ему дали говорить.

Он сказал, что правительство не видит причин для особой озабоченности состоянием общественного порядка в Сицилии.

Бурные протесты слева. Когда шум начал стихать, чей-то голос на скамьях справа прокричал:

— Двадцать лет назад в Сицилии даже ночью дверей не закрывали!

Депутаты, начиная с тех, кто сидел на скамьях слева, и почти до самого центра, бурно протестуя, вскочили с мест. Тогда оба сицилийца высунулись из ложи, чтобы разглядеть стоявшего под ними фашиста, который бычьим голосом ревел: — Да, двадцать лет назад в Сицилии был порядок, а теперь вы его уничтожили,— и по-прокурорски обвел рукой зал, от Фанфани до Тольятти.

Оба сицилийца не видели ни лысины депутата, ни обвиняющего жеста, но одновременно пробормотали:

— Какой там, к черту, порядок!

Колокольчик бешено заливался. Оратор снова заговорил. Он сказал, что происходящие в С. события, на которые ссылались уважаемые авторы интерпелляции, не могут стать предметом обсуждения правительства, поскольку судебное следствие еще продолжается. Тем не менее правительство полагает, что речь идет об обычных преступлениях, и категорически отвергает версию, выдвинутую авторами запроса; правительство с презрением отметает инсинуации левых газет, утверждающих, будто члены парламента или даже члены правительства в какой-то степени связаны с элементами так называемой мафии, само существование которой, по мнению правительства, вообще является плодом фантазии социалистов и коммунистов.

Левая сторона зала, до отказа заполненная теперь депутатами, поднялась, как один человек, и гневно протестовала.

Высокий, седой, лысеющий депутат встал с места и направился к правительственным скамьям. Трое служителей преградили ему путь, он крикнул что-то по адресу помощника министра, и тогда наши сицилийцы решили: «Сейчас пойдут в ход ножи». Колокольчик окончательно взбесился. Бритоголовый депутат-фашист взвился, как пружина, со своего места и добежал до середины зала. Служители преградили ему путь, и он стал выкрикивать оскорбления по адресу левых. Слово «кретин», посланное по его адресу, пролетело мимо этой головы подобно тому, как стрелы индейцев проносятся мимо ковбоев в американских фильмах.

«Здесь понадобится целый батальон карабинеров»,— подумали сицилийцы, впервые в жизни допуская, что и карабинеры могут на что-то сгодиться.

Они взглянули туда, где сидел знакомый им депутат. Тот был спокоен: он заметил их и, улыбаясь, помахал рукой.

■

Теперь, когда уже прошла почти половина отпуска, он узнал из газет, присланных ему бригадиром Д'Антона, что вся точная схема раскрытия совершенных в С. преступлений сметена, словно карточный домик, серией неоспоримых алиби. По существу же, все разваливалось из-за одного лишь доказательства алиби Дьего Маркики. Лица, стоявшие вне всяких подозрений, никогда не привлекавшиеся ни к суду, ни к следствию, заслуживающие благодаря своему положению и цензу самого высокого уважения, на допросе у следователя показали, что Дьего Маркика не мог стрелять в Коласберну и не мог быть опознан Николози, поскольку в день и час совершения преступления находился на расстоянии семидесяти шести километров от того места, где произошло убийство. И там в селении П., в саду доктора Баккареллы, в присутствии самого доктора, человека, обычно рано вставшего и любящего лично наблюдать за работами, Дьего Маркика в этот самый день и час занимался спокойным и мирным трудом, поливал лужайки с помощью специального насоса. Не только доктор, но и крестьяне, и прохожие — люди, безошибочно опознавшие Дьего,— свидетельствовали об этом как о несомненном факте, отчетливо запечатлевшемся в их памяти.

О показаниях, данных им раньше, Дьего сказал: капитан заставил его поверить в предательство Пиццуко, и тогда, ослепленный гневом, он решил нанести ответный удар, причем даже оговорил самого себя, стараясь во что бы то ни стало привлечь к ответу Пиццуко.

Узнав о подлом поступке Дьего, Пиццуко разразился целым фейерверком лжи, взвалил на себя ряд мелких обвинений, стараясь изо всех сил оговорить Маркику, который его предал.

Ну, а ружье? Пиццуко согласен: он должен нести ответственность за его незаконное хранение и за то, что поручил зятю его припрятать.

Что касается дона Мариано, чьи интервью и фотографии появились в газетах, то излишне добавлять, что столь тщательно собранные капитаном и прокурором республики улики как бы испарились: ореол невинности окружал теперь массивную голову дона Мариано, а на газетных снимках его лицо сияло мудрым лукавством. Одному из журналистов, который спросил его о капитане Беллоди, дон Мариано ответил: «Это — человек». Когда же журналист осведомился, не следует ли из сказанного, что капитан Беллоди, как всякий человек, не чужд ошибок и не следует ли к слову «человек» добавить какое-либо прилагательное, дон Мариано ответил ему: «Какое там прилагательное! Человек не нуждается в прилагательных. Если я утверждаю, что капитан Беллоди человек, значит, это человек, и точка». Журналист счел такой ответ достойным пророчества Сибиллы и решил, что он продиктован раздражительностью, а может, и дурным расположением духа. Однако слова дона Мариано являлись только спокойным суждением выигравшего битву генерала о своем поверженном противнике. Эта двусмысленная похвала лишь внесла смятение в душу капитана Беллоди: с одной стороны, она возмущала его, с другой — вызывала чувство удовлетворения.

В заметках, отчеркнутых красным карандашом бригадиром Д'Антона, сообщалось, что полиция, само собой разумеется, возобновила след-

ствие по делу о трех убийствах и специальная бригада службы общественной безопасности уже напала на верный след, ведущий к выяснению обстоятельств убийства Николози: арестована вдова Николози и ее любовник, некий Пассарелло, против которого имелись веские улики, почему-то не принятые во внимание капитаном Беллоди. Еще в одной заметке хроники местной жизни сообщалось, что начальник поста карабинеров в С. Артуро Ферлизи по его собственной просьбе переведен в Анкону; корреспондент газеты, отдавая должное его служебному рвению, на прощанье выразил ему свои наилучшие пожелания.

Капитан бесцельно бродил по улицам Пармы, перебирая в памяти все эти события, то и дело вскипая от бессильного гнева; однако со стороны могло показаться, что он идет на свидание. Капитан не расслышал, как его окликнул старый приятель Брешанелли, и был раздосадован, когда тот догнал его и, улыбаясь, преградил путь, шутливо требуя, чтобы в память о далеких, но таких счастливых школьных годах ему хотя бы отвечали на приветствия. Беллоди, не поняв шутки, извинился и сослался на нездоровье, сказав, что плохо себя чувствует. Он совершенно позабыл, что Брешанелли врач и, конечно, сразу предложит свои услуги.

Тот и в самом деле отступил на шаг, чтоб лучше разглядеть приятеля. Он нашел, что капитан сильно похудел, пальто висит на нем, как на вешалке; затем, заглянув ему в глаза, объявил, что цвет белка свидетельствует о болезни печени, и тут же порекомендовал лекарства. Беллоди слушал его с рассеянной улыбкой.

— Ты меня слышишь? — спросил Брешанелли.— Может, я тебе помешал?

— Нет, нет,— возразил Беллоди,— я очень рад встрече...

— Кстати, куда ты направляешься?

И, не дождавшись ответа, взял своего друга под руку.

— Я тебя провожу.

Теперь, идя рука об руку с другом, как уже давно он не ходил, капитан по-настоящему ощутил потребность в общении, ему захотелось отвлечься от всего, что его угнетало, вспомнить о чем-то далеком и милом.

Но Брешанелли расспрашивал его о Сицилии, он хотел знать, какова она, какие там обычаи и каковы бывают преступления. Беллоди сказал, что Сицилия — страна неправдоподобная.

— Да, ты верно сказал, страна неправдоподобная... Я тоже знал сицилийцев, это люди необычные... Теперь они добились автономии, у них свое правительство... правительство двухстволки... как ни странно, но именно такое слово более всего подходит... Неправдоподобна и сама Италия: нужно побывать в Сицилии, чтобы убедиться в том, насколько неправдоподобна Италия. Может быть, вся Италия становится сплошной Сицилией... Когда я читал в газетах о скандальных делах в Сицилии, мне пришла в голову фантастическая мысль: ученые говорят, что «линия пальмы», то есть граница, за которой растут пальмы, ежегодно отодвигается к северу на пятьсот метров. Линия пальмы... Я бы сказал, линия сверхкрепкого кофе по-сицилийски. Она подымается, как ртуть в термометре, эта линия пальмы, линия густо-черного кофе, линия скандалов — она шагает вверх по Италии, и сейчас она уже змеится где-то севернее Рима...— тут он внезапно остановился и, глядя на молодую женщину, которая, улыбаясь, шла им навстречу, произнес: — Ты тоже неправдоподобна...

— Как, и я? А кто же еще?

— Сицилия... Она совсем как женщина: загадочна, неумолима, мстительна и прекрасна... Позволь представить тебе капитана Беллоди. Он рассказывал мне о Сицилии...

— А это Ливия,— произнес он, повернувшись к Беллоди.— Ливия Джаннелли, которую ты, может быть, помнишь еще девочкой, теперь эта прелестная женщина и знать не хочет обо мне.

— Вы приехали из Сицилии? — спросила Ливия.

— Да,— сказал Брешаннели,— он приехал из Сицилии. Там его называли «вонючей ищейкой»,— он произнес эти слова, подражая тому грудному тону и неистребимому акценту, с которым говорил знаменитый актер Анджело Муско из города Катаньи.

— Обожаю Сицилию,— сказала Ливия и взяла их обоих под руку.

«Это Парма,— подумал Беллоди, ощутив внезапный прилив счастья.— И женщина эта из Пармы: ты у себя дома, к черту Сицилию». Но Ливия тоже хотела слушать рассказ об этой невероятной Сицилии.

— Однажды я побывала в Таормине*; потом в Сиракузах**, на постановках классических пьес, но мне сказали, что Сицилию можно узнать, только побывав в глубине острова... В каком же городе живете вы?

Беллоди назвал город, но ни Ливия, ни Брешанелли о нем никогда не слыхали.

— Как он выглядит? — спросила девушка.

— Старый поселок, дома с плоскими белыми крышами, крутые, ступенчатые узкие улицы, и каждая ведет к уродливой церкви.

— А мужчины? Мужчины там очень ревнивы?

— В известной мере,— ответил Беллоди.

— А мафия? Что такое эта мафия, о которой не перестают писать газеты?

— Да, в самом деле, что такое мафия? — вмешался Брешанелли.

— Это очень трудно объяснить,— сказал Беллоди.— Это... неправдоподобно.

Запорхали снежинки, белесое небо обещало долгий снегопад. Ливия предложила зайти к ней домой. Придут подруги, можно будет послушать великолепные, чудом сохранившиеся записи старого джаза, есть хорошее шотландское виски и коньяк «Карлос Примеро».

— А поесть дадут? — спросил Брешанелли. Ливия обещала и еду.

В доме они застали сестру Ливии и еще двух девушек, они лежали на ковре перед камином, рядом с ними — бокалы; четко звучал ритм «Похорон на Вье Коломбье», пластинки, привезенной из Нового Орлеана. Девушки тоже обожали Сицилию, они мило ужасались при одном лишь упоминании о кинжалах, сверкающих в руках у ревнивцев. Жалели сицилийских женщин и в то же время слегка завидовали им. Красный цвет крови превращался в красный цвет полотен Гуттузо. Петух Пикассо на обложке «Бель Антонио» Бранкати*** мог стать прелестной эмблемой Сицилии.

Мысль о мафии не оставляла их, и они потребовали разъяснения тех страшных вещей, свидетелем которых, конечно, не раз бывал капитан. Беллоди рассказал им историю сицилийского тюремного врача, вполне справедливо решившего очистить тюремный госпиталь от разместившихся там вожаков мафии: в тюрьме было много больных, в том числе туберкулезных, все они сидели в общих камерах, в то время как совершенно здоровые вожаки мафии засели в госпитале, чтобы чувствовать себя вольготней. Врач приказал вернуть их в общие камеры, а в госпиталь перевести больных. Однако ни начальник тюрьмы, ни надзиратели не выполнили его распоряжения. Врач обратился с письмом

---

* Таормина — известный курорт в Сицилии.

** В городе Сиракузы классические трагедии играются в сохранившихся древнегреческих амфитеатрах.

*** «Бель Антонио» — сатирический роман известного писателя Виталиано Бранкати.

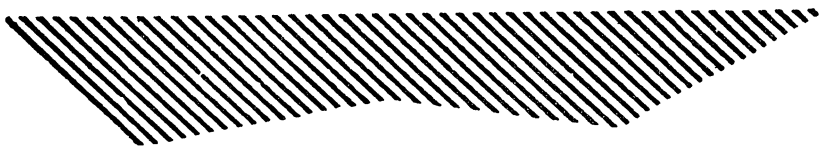
в министерство. После этого однажды ночью его под предлогом срочной помощи больному вызвали в тюрьму. Там он оказался один на один с заключенными. Вожаки мафии жестоко избили его, а тюремная стража сделала вид, что ничего не замечает. Врач пожаловался министру и прокурору республики. Кое-кого из вожаков мафии перевели в другую тюрьму, а министр освободил врача от занимаемой должности, поскольку его служебное рвение вызвало столь прискорбный инцидент. Как член одной из левых партий, он обратился к своим товарищам за поддержкой; те ответили ему, что это дело лучше замять. Не имея иной возможности отомстить за оскорбление, он обратился к руководителю мафии, чтобы тот покарал одного из обидчиков, переведенных в тюрьму, где врач теперь служил. Вскоре он получил извещение, что виновный надлежащим образом наказан.

Девушки нашли этот эпизод очаровательным. Брешанелли он показался ужасным. Девушки приготовили бутерброды. Все ели, пили коньяк и виски, слушали джаз, говорили о Сицилии и о любви... Беллоди вел себя, как выздоравливающий: он был нежен, чувствителен и жаден до всего. «К черту Сицилию, и все остальное тоже к черту!»

Он воротился домой к полуночи, пройдя пешком через весь город. Тихая, пустынная, окутанная снегом Парма казалась волшебной. «В Сицилии редко увидишь снег,— подумал он.— Может, и цивилизация зависит от снега и солнца, от того, чего больше,— снега или солнца». Мысли слегка путались. Но, прежде чем добраться до дому, он с предельной ясностью понял, что любит Сицилию и возвратится туда.

— И там я сверну себе шею,— произнес он вслух.

РЕНАТО ГУТТУЗО «Смерть рабочего»



МИХ. МАТУСОВСКИЙ

КОГДА ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ПОЭТАМИ

(К годовщине первого полета советского человека в космос)

Бывают в жизни такие минуты, когда люди, никогда не писавшие стихов и даже об этом не помышлявшие, вдруг становятся поэтами, ощущают в себе непреодолимую потребность говорить стихами. Событием, заставившим биться сердца людей, был полет Юрия Гагарина — первого человека, поднявшегося к звездам, облетевшего землю так легко, будто она и впрямь всего лишь небольшой глобус, стоящий на нашем столе.

Мы хорошо помним весенний день 12 апреля 1961 года, помним волнение, с каким ждали вестей из космоса, испытывая чувство гордости за человека, которому отныне все доступно. С пристальным вниманием вглядывались мы впервые в лицо майора Гагарина. Каков он, этот человек, побывавший т а м, своими глазами увидевший сквозь иллюминатор все краски Вселенной?

Сняв с себя фантастический скафандр, он оказался вдруг простым гжатским пареньком, улыбающимся нам своей доброй улыбкой, о которой завтра заговорит весь мир. Незнакомые люди поздравляли друг друга в вагонах метро и трамвая, стояли в очередях у киосков, нетерпеливо расхватывая номера газет, в которых впервые был помещен портрет космонавта. Как же можно было не писать об этом стихов, не стараться найти слова для того, чтобы передать все то, что мы чувствовали и переживали?!

Из разных городов и стран шли в Москву письма со стихами — в изящных конвертах, отмеченных крылатым штемпелем авиапочты, и в простых, на скорую руку склеенных самодельных пакетах, написанные на прозрачной рисовой бумаге и на листках, вырванных из ученической тетради, оклеенные со всех сторон пестрыми марками, вероятно, снящимися всем филателистам. Листки, испещренные замысловатыми иероглифами или мелкой арабской вязью, похожей на рисунки, которыми покрывают чеканщики в Марокко изделия из серебра или меди. Страницы писем, пахнущие копрой и мятой, морской солью и горячим ветром.

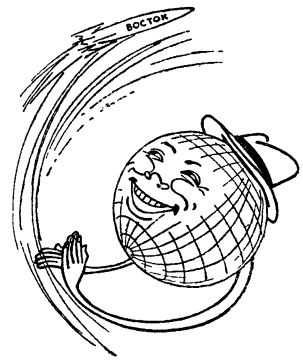
Конечно, не со всеми письмами я имел возможность познакомиться — поток их не прекращается до сих пор. Но все они, написанные людьми, не считающими себя профессиональными поэтами, продиктованы большим чувством любви и уважения к народу, который первым сумел создать и вывести на орбиту космический корабль с человеком на борту. И пусть этим стихам порою не хватает поэтического мастерства, но зато в них нет недостатка в самых высоких чувствах и самых восторженных эпитетах. Давайте же перелистаем с вами страницы этих писем.

Вот большая пачка писем из Италии. Признаюсь, приятно держать в руках эти письма из страны, в которой мне не так давно довелось побывать. Когда узнаешь страну и увидишь ее своими глазами, она из географического понятия сразу превращается для тебя во что-то очень конкретное, живое, памятное тебе по множеству деталей и подробностей. Для меня Италия — уже не только то, что я знал и вычитал из учебников и путеводителей,— она и одинокий извозчик, дремлющий на площади в порту Неаполя, и безжалостно бьющее в глаза ослепительное солнце Кампаньи, по которой мчится наш маленький поезд в Рим, и веселый многоголосый рожок автобуса, оглашавший своей музыкальной фразой дорогу на Сорренто, и гулкие каменные своды какой-то темной улочки, и неаполитанские рыбаки, совсем по-волжски тащившие бесконечные сети, поразительная тишина воскресного вечера на Капри, которую не могут нарушить ни удары волн, ни бой часов на городской башне. Как привет из Италии, как голоса далеких друзей, звучат для меня эти письма.

Вот взволнованное письмо Марио Ро, присланное в Москву авиапочтой из Милана: «Товарищ Юрий, подвиг, который ты совершил, делает честь коммунистам всех стран и всем твоим близким, всем сотрудникам, которым я и приношу самые горячие поздравления». Дальше идут стихи.

С большим воодушевлением написано письмо в стихах видной общественной деятельницей, директором Академической библиотеки в Риме Адой Алессандрини. Вот эти стихи в моем переводе:

Колумб, и Галилей,
И славный Леонардо
Вступали в спор с природой
В одиночку.
С тобой же был весь мир в твоем полете.
Вселенная склонялась над тобой,
Как мать над новорожденным ребенком.
Мы с гордостью
Следили за тобой,
С тобою, Юрий,
Все мы были рядом,
Когда ты в черной бездне пролетал
И, преодолевая невесомость,
Писал, и ел, и пил на корабле,
И, может быть, по-своему молился.
Мы те, кто оставались на земле,
Слова твои с волнением ловили,
Следили за дыханием твоим,
Удары сердца твоего считали.
И в час, когда, бесстрашный сын земли,
Ты возвратился на родную землю,
Когда ты улыбнулся всей земле
Своею удивительной улыбкой,
Какой любовью и какой надеждой,
Какою верой в будущее наше
Людские переполнились сердца.
Спасибо, Юрий, за твою улыбку,
За подвиг твой,
За то, что ты такой!



Ада Алессандрини справедливо говорит о полете Юрия Гагарина, как о подвиге, совершенном для человека, во имя человека.

Я не знаю Эдоардо Каппони, и он ничего не рассказывает о себе, но мне понравилось его письмо, написанное строгим, почти каллиграфическим почерком.

«Дорогой Юрий,— пишет Эдоардо,— посылаю эти стихи, написанные на римском диалекте, которые посвящаю твоему замечательному подвигу, самому великому из всех времен. Надеюсь, что стихи тебе понравятся». Вот что говорит Эдоардо Каппони:

Сегодня
люди разных стран и наций
Образовали хоровод живой.
Гомер, Вергилий, Данте и Гораций —
Вот кто бы мог прославить подвиг твой.
Ты поднялся в немыслимые дали,
Спокойствие
И выдержку храня.
И люди все друг друга поздравляли
С приходом исторического дня.
И столько было радости на свете,
И так сильна твоей улыбки власть,
Как будто бы для нас
в мгновенья эти
История лишь только началась.

Разве не вернулось к нам в это апрельское утро то ощущение юности, когда мы, закрыв книгу Уэллса, задумывались вдруг, глядя в бездонную синеву? Каждому хотелось хотя бы мысленно представить себя в узкой кабине межпланетной ракеты, рядом с советским космонавтом, человеком завтрашнего дня. В своих стихах Франческо Джермано именно об этом хочет нам рассказать:

Как я хочу вместе с ним оказаться в полете,
Чтобы взглянуть сквозь прозрачную сферу
скафандра
В тот океан, что пред нами раскинула Вечность.
Солнце, о солнце, прими космонавта, как друга.
Вот он в своей металлической тесной кабине
К нам возвращается вновь на зеленую землю.
Первый из первых, Колумб беспредельных
просторов.
Знаю я, завтра он снова отправится в космос,
Тысячи солнц он увидит своими глазами
И мириады миров, до сих пор не открытых.
Мерно и тихо вздымается грудь мирозданья,
И на полет его в самые недра Вселенной
Смотрит с надеждою Мать космонавта — Земля.

И еще одно итальянское письмо. Оно прибыло из Петрелла Лири. Синьора Анна Роза отправила его товарищу Пальмиро Тольятти с просьбой помочь переслать ее стихи нашему космонавту. Уважаемая синьора, ваши стихи дошли до адресата. Вот они:

Я тебе привет свой посылаю,
Юрий Алексеевич Гагарин,
Покоривший то, что в этом мире
Никому еще не покорялось.
Человек с фигурою спортсмена
И с улыбкой ангела, с душою
Твердой и надежною, как сталь,

Ты летишь сквозь время и пространство,
И корабль твой, названный «Востоком»,
Озаряет путь для всех народов,
Виден человечеству всему.
Ты для всех для нас в заветной книге,
В книге человеческих свершений,
Открываешь новую страницу —
Потому-то в честь твою сегодня
Из конца в конец, на всей планете
Повторяют люди: Слава... Слава... Слава...

Нам хочется поблагодарить итальянскую женщину Анну Розу за эти сердечные строки.

Настоящий поэтический венок в честь первопроходца Вселенной могли бы составить стихи наших друзей из социалистических стран. Вьетнамский студент и корейский солдат, маленький немецкий школьник и старая румынская крестьянка — авторы этих строк. По-солдатски, треугольником сложил свое письмо корейский солдат Ким Ён. Давно уже кончилась война для всех его друзей-однополчан, они вернулись домой к своим женам и успели собрать за это время не один урожай риса. И только у Ким Ёна не кончены счеты с войной. Он и сегодня не смог выписаться из госпиталя для инвалидов. Оттуда и прислал он нам свои стихи:

В тот вешний день, когда цветы
Покрыли все лицо земли,
Ты смог за час дорогой звезд
Промчаться сотни тысяч ли.
И в этот час перед тобой
Прошли за дымкой облаков
Пять океанов, тыщи рек
И шесть земных материков.

Своему корейскому собрату вторит вьетнамский юноша студент Фан Хоанг Мань. Он вспоминает старинные легенды и предания о людях, мечтавших когда-то увидеть лунных дев, побывать в небесном царстве:

Дыонг Минь Хоанг устремлялся в небесный дворец,
Чтоб встретиться там с круглолицей богиней Луною.

Бросался Ли Бо прямо с берега в омут речной,
Увидев, как в нем золотая луна отражалась.
Еще до жюль-верновских книг поколенья людей
К далеким созвездьям в мечтаньях своих устремлялись.

Калужский мечтатель приблизил сегодняшний день,
Сумев разорвать те тяжелые ржавые цепи,
Которыми прочно прикован к земле человек.
И вот наконец он открылся сегодня тебе,
Простор мирозданья бескрайний, безбрежный, бездонный.

И вот ты теперь не во сне и не в сказке летишь,
И крылья твои попрочнее, чем крылья Икара,—
От близости к солнцу они не сгорят никогда.
Все выше тебя поднимают могучие крылья,
Те сильные крылья тебе коммунизмом даны.

Обращают на себя внимание строки, написанные семидесятилетней Элеонорой Гуешу. Румынская женщина хорошо понимает, какая сила подняла и направила в полет серебристую космическую стрелу:

Когда ты по просторам мчал весенним,
Сыновним сердцем родину любя,
С какой надеждой и с каким волненьем,
С какою верой мир встречал тебя!
И там, где горизонт вдали терялся,
Где люди не бывали никогда,
В распахнутом космическом пространстве
Тебе светила Ленина звезда.

Рядом с мелким старческим почерком семидесятилетней румынской женщины старательно выстроены на тетрадочном листке строки письма девятилетнего школьника из города Карл-Марксштадта:

«Юрий, я радуюсь твоему успешному полету в космос и посылаю тебе пионерский галстук. Сердечный привет от пионера Томаса Клаюса».

Приветы от синей Вислы, от старых, почерневших с годами улиц Познани, от уцелевших в годы войны, не сдавшихся огню и железу акаций Варшавы посылают в своих письмах Диониза Бенска и Евгения Луцка. Памятной дате двенадцатое апреля посвящает свое стихотворение житель небольшого местечка Пшехлево Мирослав Станьчиц:

Разве нам позабыть этот первый полет,
Эту радость, которой не будет конца?!
Эта дата в учебники наши войдет,
Как в апреле вошла она в наши сердца.

Словно подводя итог всему, что было сказано ее земляками, завершает свое стихотворение Евгения Луцка:

Когда ты плыл на звездном корабле,
Любой из нас как будто стал крылатым.
Недаром все народы на земле
Тебя, Гагарин, называют братом.

Но не только друзья из социалистических стран называют пилота корабля «Восток» своим братом. К ним присоединяют свои голоса многие и многие читатели и радиослушатели всего мира. Мы слышим веселые французские песенки, и мы читаем строфы, написанные в стиле древних английских баллад. И кого не тронут бесхитростные строки шотландца Томаса Броди, решившего написать в честь Гагарина песню на мотив знаменитой русской песни о Степане Разине! Песня сложена на старую мелодию, но говорится в ней не об удалом волжском атамане и прекрасной персидской княжне, а совсем о другом:

Благородный сын России
Волей тверд и сердцем чист,
На просторы мировые
Первым вышел коммунист.

Наши друзья понимают, что полеты Юрия Гагарина и Германа Титова, как и полеты новых советских космонавтов — третьего, четвертого или десятого, служат и будут служить делу мира и справедливости. Это поняли даже дети. И это по-своему хорошо сумела выразить лондонская девочка Мэри Глэдстон Смит. Но ведь о том же самом пишет и Мухаммед Саид аш-Шейбани из Триполи...

Я припоминаю сейчас свою первую встречу с Африкой: вот вы миновали Средиземное море, которое негостеприимно встретило вас десятибалльным штормом, и мед-

ленно входите в Гибралтар. Здесь в проливе, как в большом коридоре, в котором забыли закрыть двери, всегда гуляет ветер. Направо от вас в последний раз проходят очертания Европы. А слева по борту уже смутно угадываются берега беспокойного континента, к которому приковано сегодня внимание всего мира. Кажется, даже ветер с этой стороны горячее — он доносит сюда дыхание пустыни, запахи незнакомых растений. И вот я снова припомнил эту встречу с Африкой, когда читал письмо далекого ливийского друга. Неторопливо движутся фразы, неспеша ложатся арабские буквы на белые страницы, адресованные Юрию Гагарину:

«Слава Аллаху, ты благополучно вернулся, чтобы быть для нас источником знаний, величайшим примером. Каково было твое самочувствие, когда ты возвращался на Землю? Пролетал ли ты над нашей страной Ливией? По этому случаю я не могу не направить выражение своей искренней благодарности и почтения ученым и рабочим, создавшим для тебя такие условия, при которых ты облетел наш космический мир без выездной и въездной визы».

Так говорит Африка, обращая к советским людям слова признательности и дружбы!

А вот письмо еще из одной страны, встречу с которой я никогда не забуду. Я говорю об Индии. Я закрываю глаза, и снова передо мной розовеют, словно подкрашенные утренней зарей, дворцы Джайпура, с печальной песней обходят паломники улицы священного города Бенареса, не вянут желтые ноготки на том месте, где было предано огню тело Махатмы Ганди, шумит в Бомбее выставка, где можно увидеть все, что сегодня изготовляет Индия,— от тончайших женских украшений до сложных механизмов, и так же, как сотни лет назад, словно освещаются изнутри лунным сиянием теплые стены Тадж-Махала. Я с радостью переводил стихи и песни простых людей Индии, сложенные в честь космонавта номер один. Из Бангалора прислала свои по-женски нежные стихи Р. Сундаравадана. Из Бомбея прилетели в Москву певучие строки Кешава Аджгаонкара. Своими раздумьями над событиями нашего времени делится доктор Венкатараманайя. Прочтите эти строки, написанные магистром медицинских наук из Маданапатха:

Есть на древнем, как мир, санскрите
Слово солнечное «гаганам» —
Так назвали когда-то небо,
Что объемлет всю нашу землю.
И, наверное, не случайно
Имя первого космонавта
С этим словом санскрита схоже.
Это знак, что майор Гагарин
Завоюет просторы неба,
Сможет сделать легенду явью
И несбыточное возможным.

А рядом с письмом ученого-медика мы находим послание студента Сурджита Баведжа из Нового Дели. К стихам приложена фотография. С нее смотрит на нас молодой чернобородый смуглый человек — таких парней я встречал в садах Бенаресского университета. Вот его стихи:

Браво, русские, вы по праву
Заслужили, чтоб мир вас славил,
Чтобы назван был днем победы
День двенадцатого апреля.
Так стремитесь к высотам новым,

Обживайте любые звезды
И свое поднимите знамя
Над одним из кратеров лунных.

Эти строки написаны на английском языке. А вот стихи на языке Рабиндраната Тагора. Реба Рай прислал эти строфы из Бенгалии — земли, где родился великий автор «Горы» и «Крушения»:

Я сплету ожерелье из слов бенгальских
И его, как венок, на тебя надену.
Это все, чем могу я венчать твой подвиг.
Миллионы сердец пред тобой открылись,
Как цветы открываются на рассвете.
Ты — узнавший оттенки и краски неба,
Ты — сумевший ворваться в холодный космос,
Что веками внушал человеку ужас,
Принимай от меня мой подарок скромный,
Благодарность всей Индии принимая...

Я бы мог приводить еще и еще немало отрывков из стихов, поэм и пьес в стихах, написанных людьми, над землями которых пролетал Юрий Гагарин. Неиссякаемым потоком приветствий откликнулись народы всего мира на подвиги Юрия Гагарина и Германа Титова. На всех наречиях слагаются песни в честь советской науки. Все увереннее и смелее чувствует себя человек в космосе. Голубые экраны телевизоров доносят до нас улыбку первых советских космонавтов. Об этом невозможно говорить прозой. И самые различные люди берутся за перо. А разве вдохновение является уделом только одних поэтов?

Б. МЕЙЛАХ

ЛЕНИН И ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Недавно вышла чрезвычайно ценная книга — «Библиотека В. И. Ленина в Кремле». Это объемистый, прекрасно оформленный том, содержащий библиографическое описание личной библиотеки Ленина. Читая его, мы снова и снова убеждаемся, насколько беспредельным был круг интересов Владимира Ильича, как энциклопедически широки его знания. Нет ни одной области политической жизни, науки, культуры, которая не занимала бы Ленина в его гигантской, титанической работе по созиданию нового общества. Здесь книги по теории и практике марксизма; по вопросам промышленности, сельского хозяйства, транспорта, организации труда; по истории — древней, новой, средних веков; по физике, биологии, медицине; по языкознанию, эстетике, литературоведению; по истории и теории различных видов искусства — живописи, музыки, театра... В каталоге описано более 8400 названий книг, периодических изданий, и это, разумеется, лишь небольшая часть тех книжных богатств, которые прошли через руки Ленина, которые получили тот или иной отклик в его трудах. Но как много дает этот каталог для читателя и исследователя, сколько новых тем поднимает эта книга, любовно подготовленная большим коллективом составителей!

Одна из таких тем (которой мы в этой статье можем коснуться пока лишь в порядке постановки вопроса) — «В. И. Ленин и иностранная литература». Интересы Ленина в области русской литературы у нас изучались специально (хотя предстоит еще сделать немало). Что же касается названной выше темы, то здесь не проведена даже необходимая систематизация материала. Между тем, и сочинения Ленина, в которых по тому или иному поводу упоминаются имена и образы классиков, и обширная ленинская переписка, и воспоминания современников свидетельствуют о поистине всеобъемлющем охвате Лениным явлений мировой культуры.

Ленин с увлечением читал Шекспира и Мольера, Гете и Байрона, Гейне и Гюго, Верхарна и Барбюса — многих и многих иностранных писателей. Не имея возможности завести в своих дореволюционных скитаниях личную библиотеку, Ленин немало времени провел в крупнейших библиотеках мира — Румянцевского музея в Москве, Британского в Лондоне, в Парижской национальной, в швейцарских библиотеках и других. Здесь он интересовался и художественной литературой, и книгами по искусству. Например, в написанном рукой Ленина списке книг из каталога библиотеки Бернского народного дома значатся имена Данте, Гете, Доде, Гюго, Гейне, Фрейлиграта, Лессинга, Шиллера, Байрона, Ибсена и другие, работы по истории немецкой и французской литературы, по эстетике, истории живописи.

После Октябрьской революции, руководя в сложнейшей обстановке молодым государством рабочих и крестьян, Ленин, по свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича (в то время управделами Совнаркома), «брал... из библиотеки множество книг на всех языках, читал их, изучал, готовясь к новым работам и изысканиям». Об этом говорят и пометки Ленина на экземплярах «Книжной летописи» 1917—1919 годов. Он успевал просматривать огромное количество изданий, не только выходивших в России, но и присланных из-за рубежа. «Появлялись ли новые изыскания о Гегеле, выходила ли в свет потрясающая книжка Барбюса или бьющая по фронту революции брошюра Каутского, он немедленно, урывками, крайне занятый, между заседаниями и приемами умудрялся читать и читать их, делая бисерным, ровным почерком многочисленные выписки».*

Вот одно из характерных поручений Ленина в письме к Л. Фотиевой 6 июня 1921 года:

«Попросите библиотекаршу достать мне на время Гейне, томика 2 стихов и Гете Фауст, обе по-немецки, лучше бы малого формата».**

Круг авторов, упомянутых в разделе каталога, посвященном иностранной художественной литературе, исключительно широк. Один этот факт опровергает мелькавшее было раньше утверждение, будто Ленина интересовали только произведения, которые могут быть непосредственно использованы в практике политической агитации. В Кремлевской библиотеке Ленина находятся произведения Аристофана, Данте, Шекспира ***, Вольтера, Дидро, Байрона, Диккенса, Вальтер-Скотта, Шиллера, Гете, Гейне, Беранже, Ибсена, Лондона, Мицкевича, Мопассана, Стендаля, Роллана, Синклера, Рабиндраната Тагора и других; стихи Поля Верлена и Теофиля Готье, произведения Метерлинка и Эдгара По... Конечно, отношение и степень интереса к этим писателям у Ленина были разными (вспомним, с какой иронией писал Ленин в письме Горькому в первой половине мая 1913 года о «научном мистицизме», который Луначарский открыл у Метерлинка). Читатель, который решился бы судить о литературных вкусах Ленина только на том основании, что в его библиотеке имеется та или иная книга, совершил бы несомненную ошибку.

Дарственные надписи на книгах самых разных авторов в библиотеке Ленина говорят о том, каким огромным уважением пользовался Владимир Ильич во всех концах земного шара. Приведем только некоторые из этих надписей:

«Ленину, который первый написал не написанные великие законы, горячее уважение. Анри Барбюс» (на книге «Свет из бездны». К чему стремится группа «Кларте»).

«Товарищам Крупской и Владимиру Ульянову-Ленину с благодарностью и добрыми пожеланиями. Любящий их Мартин Андерсен Нексе (Москва. 11.XI.22)» (на книге «Пелле Завоеватель»).

«Николаю Ленину, который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту. 16 июля 1921, от Бернарда Шоу» (на книге «Назад к Мафусаилу»).

■

Задача изучения интересов Ленина в области иностранной художественной литературы требует не только тщательного исследования огромного фактического материала, но и освещения его на основе четких методологических принципов, выдвинутых самим Лениным. Среди этих принципов одним из главных является прочно вошедшая в арсенал нашего литературоведения ленинская теория «двух культур» внутри национальной культуры в антагонистическом обществе.

Разоблачая реакционную выдумку о возможности единой национальной культуры в эксплуататорском обществе, культуры, одновременно отражающей интересы трудящихся и их угнетателей, Ленин четко разграничивал культуру народную, демократическую и псевдокультуру эксплуататорских классов. «Есть две нации в каждой современной нации...— писал Ленин.— Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская куль-

---

* В. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин в мире литераторов и ученых. «На литературном посту» № 20, 1927, стр. 18. О широте интересов Ленина дают представление также воспоминания Ш. М. Манучарьянц «Работа в библиотеке Владимира Ильича» и М. И. Гляссер «О последних днях работы Владимира Ильича» — Сб. «Воспоминания о Ленине», т. 2, М., 1957.

** «Ленинский сборник», XXX, стр. 259—260.

*** Шекспир представлен двумя собраниями сочинений (Брокгауза-Эфрона и Маркса) и 11 отдельными изданиями.

тура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть *такие* же *две* культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.»*.

Развивая эту мысль, Ленин утверждал, что в каждой национальной культуре есть, хотя бы неразвитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую.

Всякие попытки превратить эти мысли Ленина в схему, по которой «справа» и «слева» распределяются классики, представляли собою грубую вульгаризацию. Речь идет (если говорить о применении этих ленинских идей к литературе) об анализе сущности творчества того или иного писателя на основе критерия народности, степени близости его творчества к целям борьбы за народные интересы. О том, что такой подход единственно верен и что на этом пути могут встретиться чрезвычайно сложные, внутренне противоречивые явления, свидетельствуют статьи Ленина о Толстом. А. В. Луначарский верно сказал, что эти статьи представляют собой «блистательный образец применения ленинского метода к литературоведению» **. Они высоко оценивались не только в России. Ромен Роллан, много лет изучавший Толстого, так отозвался о новаторском научном значении ленинских статей: «Для историка литературы интересно было бы разобраться в том, что у Руссо, у Дидро, у Вольтера, у всех великих художников — предтеч революции опережало их самих, что в них принадлежало будущему, хотя они и не замечали этого, от чего они отреклись бы, если бы могли предвидеть это будущее. Это та работа, которую Ленин с присущей ему стремительной и зоркой прямотой начал по отношению к самому любимому своему писателю...» ***. Выдающиеся деятели славянских культур пропагандировали ленинскую характеристику Толстого как величайшее открытие в изучении литературных явлений. Так оценил ее один из виднейших болгарских писателей Людмил Стоянов, а прославленный чешский писатель-борец Юлиус Фучик видел в ленинском анализе Толстого основу исследования закономерностей художественного творчества.

Наиболее проницательные из писателей — даже далекие от пролетарской борьбы — видели стремление буржуазии использовать в своих интересах культуру, образование. Сохранились интереснейшие пометки Ленина (1921) на предисловии выдающегося английского писателя Б. Шоу к его книге «Назад к Мафусаилу».

Ставя вопрос о том, «можно ли возлагать надежды на образование», Шоу писал: «В наших школах детям внушают феодальную мораль с тлетворной примесью торгашеского духа... Вот и выходит, что у нас от образованного человека еще больше вреда, чем от необразованного». Против каждой из этих фраз Ленин пометил: «bien dit» («хорошо сказано»).

Ленин внимательно следил за ростками новой культуры в разных странах, за новыми формами приобщения к ней масс. В его статьях упоминаются революционные песни, в том числе французские, немецкие... В статье «Развитие рабочих хоров в Германии» Ленин писал: «...никакие полицейские придирки не могут помешать тому, что во всех больших городах мира, фабричных поселках и все чаще в хижинах батраков раздается дружная пролетарская песня о близком освобождении человечества от наемного рабства» *. Автора «Интернационала» Потье Ленин назвал «одним из самых великих пропагандистов посредством песни».

Бесценным сокровищем народного языка и поэтического мышления были для Ленина пословицы и поговорки, в которых острота мысли сочетается с яркой образностью выражения: он использовал их не только в ходе развития того или иного своего положения, но иногда и в качестве заголовков для статей. В своих произведениях Ленин широко применял пословицы и поговорки не только русские, но и других народов.

Восхищался Ленин и эпическим устным творчеством народа. Однажды, ознакомившись с фольклорными сборниками, он отметил их важность для изучения народной психологии. В сказках Ленин видел своеобразное, в фантастических образах преломл-

* В. И. Ленин. Сочинения, изд. IV, т. 20, стр. 16.

** А. В. Луначарский. Ленин и литературоведение. М., 1934, стр. 84—85

*** Ромен Роллан. Ленин. Искусство и действие. Сб. «О Ленине», М., 1939, т. 1, стр. 78.

* Сочинения, изд. IV, т. 36, стр. 188.

ленное отражение народных помыслов и чаяний, народной жизни и быта. «Во всякой сказке,— говорил он,— есть элементы действительности...» *

Было бы ошибочно полагать, будто Ленин считал, что литература, которая не относится к реалистической, не заслуживает никакого внимания. Прежде всего, само литературное развитие — процесс настолько сложный, что и произведения писателей, далеких от реализма, порой содержат ценные познавательные элементы. Даже реакционную литературу надо знать, чтобы выступать против нее во всеоружии, нейтрализовать ее влияние. В письме М. И. Ульяновой Ленин писал: «...видел новую пьесу Бурже «La barricade». Реакционно, но интересно» **. Необходимостью изучать, знать врага, чтобы с ним бороться, объясняется и наличие в личной библиотеке Ленина не только таких книг, как, например, «Очерки русской смуты» Деникина, на которой Ленин сделал много пометок, заключив: «Автор подходит к классовой борьбе как слепой щенок», но и ряда книг на иностранных языках, авторы которых ненавидели молодое государство рабочих и крестьян.

■

В изучении литературных интересов и вкусов Ленина следует руководствоваться непосредственно эстетическими принципами, которые он выдвинул.

Ленин любил повторять слова Гете о «вечнозеленом дереве жизни». Идеалистическую философию он называл пустоцветом, растущим на живом дереве могучего, всесильного человеческого познания.

Идеалистическая философия, которая считает, что мир непознаваем, разоружает человека, порождает у него ощущение бессилия перед загадками действительности, сознание невозможности изменить существующий порядок вещей. Идеалистическая эстетика не может объяснить ни истинной сущности искусства, ни его роли в историческом развитии. Ведь, с точки зрения идеалистов, искусство — это таинственный, необъяснимый акт творчества, результат божественного вдохновения: художник в момент творчества отрешается от жизни, погружается в сферу «чистого искусства». Только марксизм, установив, что развитие идей определяется материальными условиями, что сознание определяется бытием, сделал возможным подлинно научное изучение законов искусства.

«Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания»,— писал Ленин в своем бессмертном труде «Материализм и эмпириокритицизм» *. «Точка зрения жизни» означала для Ленина одновременно и научное познание окружающего мира и борьбу за его революционную переделку. Это была платформа класса, на долю которого выпала историческая миссия открыть новую эру в истории человечества.

В каталоге личной библиотеки Ленина раздел эстетики включает наряду с трудами Плеханова и Луначарского книги представителей идеалистической эстетики, содержащие идеи, против которых Ленин выступал в «Материализме и эмпириокритицизме». Произведений же авторов эстетических концепций, которые Ленин подверг уничтожающему разбору в своем труде, в кремлевском книжном собрании нет. Известно, что в мае 1908 года Ленин специально приехал в Лондон для того, чтобы поработать в читальном зале Британского музея в связи с «Материализмом и эмпириокритицизмом». Еще предстоит уточнить круг литературы, в том числе и специально эстетической и философской, содержащей отдельные суждения по вопросам эстетики, для того чтобы в полной мере представить объем этой литературы и раскрыть глубже содержание порой попутных замечаний Ленина в его исследовании. Напомним о некоторых из этих замечаний, чтобы подчеркнуть, насколько важна такого рода работа.

Один из примеров — критика Лениным Гельмгольца, взгляды которого отразились также и в его выступлениях по вопросам эстетики. В то время как на Гельмгольца обычно ссылались как на субъективного идеалиста, Ленин охарактеризовал его на основе четкого методологического критерия иначе. «Он склонялся к кантианству, но и этой точки зрения не выдерживал в своей гносеологии последовательно»,— так пишет о Гельмгольце Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» **, показывая совмещение в его мировоззрении материалистических и идеалистических взглядов. В качестве од-

* Сочинения. изд. IV, т. 27, стр. 79.
** Сочинения, т. 37, стр. 371.

* Сочинения. изд. IV, т. 14, стр. 130.
** Там же, стр. 220.

ной из иллюстраций философской непоследовательности Гельмгольца Ленин приводит отрывок из его речи о «фактах в восприятии». Утверждение, будто систему самого крайнего субъективизма, «который пожелал бы рассматривать жизнь, как грезу», опровергнуть невозможно, соседствует в этой же речи с признанием того, что «реалистическая гипотеза», допускающая существование материального мира вне нас, является «в высшей степени пригодной и плодотворной, как основа для действия». Подобное совмещение различных взглядов у Гельмгольца дало Ленину основание квалифицировать его взгляды как «полуматериализм».*

С точки зрения гносеологической, верное понимание прекрасного коренится в закономерностях познания человеком окружающего мира. В этом плане существен ряд мыслей, высказанных в «Материализме и эмпириокритицизме». Махисты считали окружающий мир со всеми его качествами, так же как и оценки человеком этого мира, «комплексом ощущений». С презрением писал Ленин о таком буржуазном теоретике, как Ганс Корнелиус, утверждавшем, что материализм будто бы превращает человека в автомат. Об этой книге Корнелиуса «Введение в философию», где жизненная практика как нечто «временное», «преходящее» противопоставлялась «вечным» и «неизменным» понятиям морали и красоты, Ленин писал: «...воспитание (очевидно, молодежи, оглупляемой этим мужем науки) необходимо не только для деятельности, но «прежде всего» «воспитание для почтения (Ehrfurcht) — не перед временными ценностями случайной традиции, а перед нетленными ценностями долга и красоты, перед божеским началом (dem Göttlichen) внутри нас и вне нас» **.

Противопоставление прекрасного объективной реальности и проповедь «незаинтересованности» эстетического наслаждения характерны и для писаний одного из известных махистов Петцольдта. Критерий прекрасного, как утверждает этот философ, абсолютно субъективен, не зависит от жизни. Идеалом человеческого существования является для него «устойчивость»: в «тенденции к устойчивости» он видел основу построения теории познания, этики и эстетики. Ленин показал, в чем заключается сущность этой «тенденции»: в ней со всей отчетливостью отразилась идеология сторонника застоя в обществе, врага революции. Изложенные Петцольдтом основы «этики, эстетики и формальной теории познания» Ленин охарактеризовал как «беспредельное тупоумие мещанина, самодовольно размазывающего самый истасканный хлам под прикрытием «новой» «эмпириокритической» систематизации и терминологии»*.

Любопытно, что в той же книге Петцольдта, которую Ленин подверг уничтожающей критике, содержалось обоснование эстетики безобразного, доказывалась возможность положительной эстетической характеристики того, что кажется уродливым. В этом есть своя логика: ведь для Петцольдта, как и для всякого субъективного идеалиста, «эстетический комплекс» — это «все, что человек рассматривает или привык рассматривать с эстетической точки зрения, то есть без теоретических или практических мотивов»**. Поэтому, уверяет Петцольдт, путем «упражнений» можно научиться и не воспринимать уродливое как таковое. Подобного рода теоретизирование явилось отдаленной подготовкой того нигилистического отрицания прекрасного и красоты, которое имело место у многих модернистов и влияние которого проявилось и в России. Известно, с каким возмущением Ленин говорил в беседе с К. Цеткин об этих «ниспровергателях» истинно прекрасного.

Анализ Лениным эстетических взглядов Иосифа Петцольдта представляет выдающийся интерес своей критикой отрицания, принижения познавательной роли искусства. Это отрицание было свойственно многим буржуазным философам в то время. Их доводы на все лады варьируются и в современной буржуазной идеалистической и ревизионистской эстетике.

Петцольдт был представителем того направления буржуазной эстетики, которое утверждало, что ни художник в процессе создания своего произведения, ни читатель или зритель в процессе восприятия не заинтересованы в его идейном содержании. В своей двухтомной работе «Введение в

* Сочинения, изд. IV, т. 14, стр. 223.
** Там же, стр. 206.

* Сочинения, изд. IV, т. 14, стр. 308.
** И. Петцольдт. Введение в философию чистого опыта, стр. 201.

философию чистого опыта» Петцольдт отрицал познавательную функцию искусства. Это отрицание покоится на понимании творчества как «потока создания нашей фантазии *. По его мнению, процессы психические не создаются процессом материальным. Поэтому никаких объективных закономерностей искусство отражать не может.

Критикуя Петцольдта, Ленин, между прочим, цитирует его утверждение, что в поэзии не может быть какой-либо причинной обусловленности изображаемых событий или характеров. К примеру, если перед нами драма Шекспира, то события в этой драме вовсе не обязательно должны развиваться именно так — при тех же обстоятельствах те же герои могут действовать иначе. Тем самым отрицалась обусловленность действий и характеров обстоятельствами — этот главнейший принцип реализма. Следуя своей логике, Петцольдт заключал: «Нет ни одного исторического события и ни одной драмы, в которой бы мы не могли представить себе участников действующими при данных психических условиях иначе»**.

Ленин рассматривал подобные рассуждения Петцольдта с точки зрения философской. замечая: «Перед нами чистейший метафизик, который понятия не имеет об относительности различия случайного и необходимого». Термин «необходимое» (то есть причинно-обусловленное) в данном контексте был для Ленина столь же уместным при анализе гносеологической природы искусства (отрицаемой Петцольдтом), как в гносеологии вообще. Так в самом ходе рассуждений Ленина вновь подтверждалась познавательная роль искусства, подчинение его общим законам познавательной деятельности человека.

Таков же был ход рассуждений Ленина, когда он подошел к критике Карла Пирсона: и на этот раз Ленин обнаруживает связь положений этого философа-берклианца, касающихся также эстетики, с отрицанием необходимости и причинности. Критикуя Пирсона, Ленин цитирует его слова: «И поэты и материалисты, говорящие о природе как господине (sovereign) над человеком, слишком часто забывают, что порядок и сложность явлений, вызывающие их восхищение, по меньшей мере настолько же являются продуктом познавательных способностей человека, как его собственные воспоминания и мысли». Это махистское положение, развивавшееся сторонниками различных реакционных направлений в искусстве, привлекает внимание Ленина с точки зрения характеристики идеалистической гносеологии. «Человек дает законы природе» — в этом, согласно заключению Ленина, смысл критики Пирсоном «поэтов и материалистов», которые считают, что сознание человека отражает порядок и сложность явлений в природе. Ленин пишет, что «кантианско-махистская формула: «человек дает законы природе» есть формула фидеизма», теории, предпочитающей веру науке.

Несомненно, что дальнейшее изучение той борьбы в области эстетики, которая велась в годы написания Лениным «Материализма и эмпириокритицизма», позволит полнее раскрыть всю атакующую силу страниц ленинского труда, где прямо или косвенно затрагиваются вопросы культуры и эстетики. Одним из условий такого раскрытия является изучение всего круга книг и периодических изданий стран Европы и Америки, привлекших так или иначе внимание Ленина.

■

Произведения художественной литературы, в том числе и литературы иностранной, Ленин мастерски умел использовать в целях революционного просвещения масс в постоянной, повседневной практике борьбы и строительства нового мира. Эта особенность отношения Ленина к литературе сказывается и в том, что все его наследие насыщено мотивами классиков. В своих работах, статьях, выступлениях на разные темы Ленин широко обращался к образам героев, созданных классиками.

Благодаря «емкости» и психологической глубине изображаемых реалистической литературой социальных типов их познавательное значение выходит далеко за пределы своей эпохи.

В художественных типах, созданных писателями, Ленин видел отражение социальных сил, взаимодействовавших и развивавшихся в течение XIX и начала XX века. Он показал, как в новой, изменившейся обстановке по-новому действуют издавна знакомые литературные герои. Переосмысление классических литературных образов характерно для публицистической деятель-

* И. Петцольдт. Введение в философию чистого опыта, стр. 68.

** Перевод Ленина (т. 14, стр. 150—151) с оригинала лейпцигского издания упомянутой книги Петцольдта.

ности Ленина на всем ее протяжении. Нашим литературоведением сделано уже немало для изучения наследия Ленина в этом плане применительно к русской литературе. Мы теперь знаем принципы, согласно которым Манилов, Ноздрев, Молчалин, Кирсанов и многие другие герои «осовременивались» Лениным, выступали как бы с «продленной» своей биографией. Это исследование предстоит распространить на область литературы иностранной. Нужно показать, как и здесь Ленин, обнаруживая черты литературных героев у представителей различных общественно-политических направлений, средствами публицистики проделывал ту самую работу, которую в одной из своих статей о Толстом определил как срывание всех и всяческих масок. На таких принципах основано использование Лениным образов зарубежной литературы: шекспировского Шейлока, мольеровского Тартюфа, Тартарена Альфонса Доде, Дон-Кихота Сервантеса...

Но это лишь один из аспектов темы «Ленин и иностранная литература». Другим аспектом, исключительно важным в современной обстановке острой политической, идеологической борьбы на международной арене, является привлечение Лениным художественной зарубежной литературы и публицистики не только как познавательного материала, раскрывающего сущность человеческих типов и позиций различных лагерей, но и как ценнейшего средства просвещения масс. Остановимся кратко в этой связи на борьбе Ленина за мир, против империализма.

Буржуазия скрывала действительные цели начавшейся в 1914 году первой мировой войны, ее захватнический характер, обманывала народ, утверждая, что война велась якобы во имя защиты родины.

Еще до начала войны, в 1913 году, Ленин напечатал в «Правде» статью, озаглавленную «Кому выгодно?». Эта статья разъясняет принцип, которым следует руководствоваться для того, чтобы верно оценить любые, самые сложные действия самых хитроумных людей: «Есть такое латинское изречение «cui prodest» (куи продэст),— «кому выгодно?». Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «кому выгодно?». Ленин указывает, что личность человека, отстаивающая ту или иную политику, не так важна, ибо капитализм может «нанять» или купить «любое число адвокатов, писателей, даже депутатов, профессоров, попов и так далее». Наконец буржуазные взгляды кто-либо может защищать и по недомыслию. Поэтому не всегда так важно, кто проводит определенные взгляды, а важнее — кому они выгодны.

Эту статью Ленин писал в обстановке подготовки империалистической войны и бешеной гонки вооружений, которую буржуазия прикрывала воплями о мире, о патриотизме, о культуре, прогрессе... Ленин, призывая не верить фразам, спросил: «Кому выгодно?» — и ответил: Круппу в Германии, Армстронгу в Англии, Крезо во Франции, Кокерилю в Бельгии и другим капиталистам.

«Вот *кому выгодно* раздувание шовинизма, болтовня о «патриотизме» (пушечном патриотизме), о защите культуры (орудиями истребления культуры) и так далее!» Ленин вскрыл истинное содержание «патриотической» (на деле — шовинистической) декламации помещичье-буржуазных идеологов и содержание подлинного, революционного патриотизма, присущего русскому рабочему классу. Ленин показывает, что действительный патриотизм заключается в том, чтобы вести революционную борьбу против царизма, против всех помещиков и капиталистов. В 1915 году, характеризуя военную пропаганду, Ленин писал, что царское правительство, не отставая от своих собратьев в Западной Европе, «сумело осуществить обман «своего» народа в грандиозном масштабе. Громадный, чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пущен в ход и в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представление, будто царское правительство ведет «справедливую» войну...» В том чудовищном аппарате «лжи и хитросплетений», который Ленин охарактеризовал в приведенных выше словах, немалое место заняла и буржуазная литература, мобилизовавшаяся в 1914 году на идеологическое обслуживание империалистической войны.

Пропаганда такого же рода велась и реакционной литературой стран Западной

Европы. В статье «О поражении своего правительства в империалистской войне» Ленин называет «архиреакционером» французского писателя, пропагандиста католицизма и ярого шовинизма Мориса Барреса и приводит его девиз «Где страдания, там религия». Баррес в своей книге «La guerre et l'âme française» сомкнулся с веховцами своей оголтелой враждой к материализму и клеветой на марксистов. Так создавался тот единый международный фронт идеологической реакции, который разоблачен в работах Ленина.

В то же время, разъяснял Ленин, в суровой практике империалистической войны росла сознательность трудового народа. Этот процесс ярко отразила прогрессивная литература. Позднее Ленин писал о романах Анри Барбюса «Огонь» и «Ясность»: «Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво...» Революционизирующее влияние войны сказалось в деятельности многих представителей культуры в России и за рубежом.

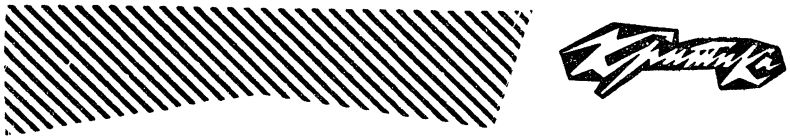
В своих работах периода империалистической войны Ленин неопровержимо доказал, что эта преступная война поставила человечество перед дилеммой: «...или пожертвовать всей культурой или же революционным путем сбросить с себя капиталистическое ярмо, устранить господство буржуазии и завоевать социалистическое общество и прочный мир».

Приведенные примеры объясняют, почему в каталоге личной библиотеки Ленина литература о войне занимает столь значительное место.

■

Мы коснулись в этих заметках лишь некоторых вопросов, объединенных большой и важной темой. Долг советских литературоведов создать в ближайшие годы труды, не только освещающие интересы Ленина в области мировой литературы, но и содержащие выводы, которые следуют из его оценок для нашей науки, для критики.

Рисунок румынского художника ЛЮДОВИКА БАРДОЧА



И. ШКУНАЕВА

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — КОНГО

Книги, с которыми мы познакомим читателя в этой статье, принадлежат перу трех современных бельгийских писателей. Двое из них — молодой романист и поэт Анри Корнелюс и Даниэль Жиллес, прозаик, публицист и критик,— писатели французского языка; третий — Жерар Вальшап, один из известнейших представителей старшего поколения современных бельгийских романистов,— пишет по-фламандски. Говоря о книгах этих писателей в одной статье, мы объединяем их не столько по общности тематических или художественных признаков, сколько по более внешней, но очень существенной в данном случае черте сходства между ними — по общности места и времени действия. Если бы события, описанные в книгах Вальшапа, Жиллеса и Корнелюса, происходили, скажем, в Бельгии, это обстоятельство само по себе не имело бы большого значения; но речь идет о Бельгийском Конго сороковых—пятидесятых годов XX века, а в жизни этой страны в последние три десятилетия происходил неодолимый и необратимый процесс, мимо которого не мог пройти ни один настоящий художник. Вот почему авторы трех очень разных книг, пишущие о разном, в конечном счете изображают одно. Разумеется, это не было бы возможно, если бы Африка у Вальшапа, у Жиллеса и у Корнелюса была экзотическим фоном, на котором с особой эффектностью выступали бы обычные в любой европейской стране проблемы и судьбы. Но их книги реалистические. Именно поэтому место и время действия определяют здесь и характер действия, а главное жизненное содержание, драматизм самих исторических событий определяют глубину и напряженность столкновений между персонажами.

Такие великие исторические процессы, как происходящее у нас на глазах крушение колониализма, неизбежно вызывают большие идеологические сдвиги, отражающиеся в художественной литературе. Естественно, что они должны проявляться с особой резкостью в такой стране, как Бельгия. Если для империалистов Бельгии утрата колоний означает уменьшение грабительских прибылей, а для паразитарного чиновничества — сокращение подачек, получаемых от трестов, то для сил подлинной демократии, для бельгийского народа борьба за независимость конголезцев есть шаг вперед в деле своего собственного социального освобождения.

В книгах, о которых мы говорим в нашей статье, действие относится к периоду, предшествовавшему первым победам конголезского народа. Ни истинные масштабы событий, уже стоящих у порога, ни расстановка борющихся сил не были ясны авторам этих книг; выводы из «конголезской проблемы» у всех трех писателей, отнюдь не стоящих на революционной точке зрения, а, скорее всего, на буржуазно-демократической (у Вальшапа — с католической окраской), не выходят за пределы того или иного компромисса, якобы «приемлемого для обеих сторон». Но некоторые черты назревавших в Конго событий Корнелюс, Жиллес и Вальшап изобразили правдиво. А всякая, пусть частичная правда о явлениях и процессах, связанных с крушением колониализма, не может не представлять интереса для всех, кому дороги идеи справедливого устройства мира.

В издательской рекламе на суперобложке романа Анри Корнелюса «Куфа» написано: «Книга опасная? Тенденциозная? Возможно. Но мужественная — во всяком случае». Книга вышла в 1954 году; история, рассказанная писателем, происходит в конце сороковых годов.

Поэтическая, печальная и действительно мужественная книга Корнелюса изображает время, когда в глазах бельгийского обывателя Африка все еще была, как и десятки лет назад, страной экзотических приключений и увлекательных возможностей для «сильного духом» представителя белой расы. Конечно, жизнь там трудна (климат, эпидемии, да и от родины далеко), но зато какой энергической, колоритной и щедрой она казалась! И сам колонизатор, несущий в дикую страну блага цивилизации, по-хозяйски распоряжающийся землей и людьми, казался фигурой романтичной и привлекательной...

Как ни странно, такое представление сохранялось некоторое время и в первые послевоенные годы, когда конголезская «идиллия», основанная на долгой безнаказанности угнетателей, уже разрушалась все более действенным сопротивлением конголезцев. Но прошло еще несколько лет, и «идиллия» осталась лишь на страницах бульварных газет. В бельгийской литературе колониальная тематика претерпела серьезные изменения, выступили и герои другого типа. И в романе Корнелюса, и в книгах Вальшапа и Жиллеса есть «сильные» колонизаторы, воплощающие власть «цивилизованного белого» над коренным населением колонии. Но традиционная сила у этих людей уже не без изъяна — она основательно подточена изнутри: это усталые люди. Главное же — эти персонажи заметно отступают на второй план.

Герой «Куфы» бельгиец Жан Потье — молодой адвокат и поэт, приезжающий в Конго на службу в территориальном управлении,— по своему характеру, жизненным взглядам и целям — прямая противоположность традиционному для буржуазной литературы образу колонизатора. Жан — слабая личность, по мнению других персонажей книги.

Даже во внешности молодого человека есть нечто, отличающее его от других. Начальник Жана, представитель бельгийской администрации Ван Левен, замечает это при первой же встрече со своим новым подчиненным. Он долго разглядывает его «слишком тонкие кисти рук», «плечи, узкие, как у ребенка», «едва заметную грустную складку у губ» — и невольно улыбается с сожалением и самоуверенностью «прочного, сильного человека». Еще в Брюсселе преуспевающие друзья Жана Потье считали его «неприспособленным», потенциальным неудачником; адвокат без практики, бедный поэт, живущий в «атмосфере нищеты», он не соответствовал среднему человеческому типу своего брюссельского круга. Даже Габриэль, его невеста, и Люсьен, ближайший друг, были «такими, как все», и Жан испытывал к ним горькое чувство тяготения и зависти.

Жан едет в Конго, надеясь заработать побольше денег («кто же не поправляет свои дела в Африке, стране дешевых цен и сказочных прибылей?»)) и, возвратясь, жениться на любимой девушке. Однако этой надежде не суждено сбыться: несоответствие между Жаном и другими людьми его класса проявляется в Конго с еще большей остротой, чем на родине.

Итак, главный герой этого «колониального романа» — не сильный духом искатель приключений или «волевой» империалист, а чувствительный и совестливый буржуазный интеллигент с художественными склонностями, «прогнивший от дипломов», как презрительно говорит об этом Ван Левен. Такому человеку, казалось бы, больше под стать «бежать в Африку от пошлой цивилизации», чем нести туда эту цивилизацию в качестве представителя бельгийских властей. Но у нашего мечтателя нет ни того, ни другого намерения — он едет в Африку, как мы сказали, с чисто личной и ограниченной практической целью. И вот этот не жадный и не честолюбивый человек становится помощником Ван Левена, жестокого, грубого администратора, характерного представителя старого поколения колонизаторов.

По литературной форме весь роман представляет собой «историю Жана».

Жан плывет по реке Конго к месту своего назначения. Происходит его первое знакомство со страной. Не с пейзажами *или* людьми, местными нравами *или* образом жизни, а с пейзажами, людьми, нравами, образом жизни как с нераздельным и неповторимым целым. Прежде всего человек чувства, Жан, еще почти ничего не зная, все же постигает скрытую суть развертывающейся перед ним действительности и не остается от нее в стороне, не может остаться, ибо, по свойству

его характера, все, что он видит, становится переживанием, частью его собственной жизни.

Открывающее книгу описание первой ночной поездки Жана по реке уже заключает в себе то, что мы назвали бы главным настроением романа, его поэтической темой. В этой сцене все значительно для дальнейшего развития: будущий опыт не опровергнет ни одного из мимолетных, казалось бы, случайных впечатлений, и они соединятся в глубоком и печальном чувстве.

Вокруг Жана — неподвижная, томительная африканская ночь. «Берега враждебные, хранящие свою черную тайну, и холмы, как большие тяжелые звери, улегшиеся по обе стороны реки, лишь угадываются где-то вдали. По реке, сколько видит глаз, пролегает широкая и светлая лунная дорога, надвое раскалывая ночь. Только эта молочно-белая дорога и приветлива». Но на фоне этой светлой дороги, на границе между нею и ночным мраком он видит черные фигуры африканцев в трюме, гребущих долгие часы без отдыха и ворочающихся на своих местах тяжело, «как медведи на дне ямы». А на специально отведенной части нижней палубы пассажиры-африканцы лежат вповалку, «сбившись в кучу, как собачий выводок в лукошке». Освещенный луной конголезец, стоящий на ногах, кажется «зажатым в луче, как рыба, вмерзшая в лед». Медведи, собаки, рыбы... Эти невольно пришедшие в голову сравнения так сильно и внезапно поражают Жана, что он не может даже заставить себя бросить гребцам пачку сигарет, ибо чувствует, что это только увеличило бы сходство гребцов с медведями в яме — «им ведь тоже каждый считает нужным что-нибудь бросить».

«Это макаки»,— говорит Жану об африканцах встреченный на судне старый, видавший виды колонист. Капитан парохода бельгиец Донкерс избивает своих гребцов, и пассажиры, среди которых есть и священники-миссионеры, смотрят на это спокойно, даже одобрительно. «Ловко сыграно, Донкерс»,— замечает один. «Нельзя обращаться с ними иначе»,— объясняет своей жене другой. «Все они, сколько ни есть, воры, лгуны и лентяи. Тут уже нечего и раздумывать»,— заявляет третий.

Чувствуя необходимость остаться самим собой, снять с себя ответственность за эти чудовищные мнения и поступки. Жан спускается на нижнюю палубу, к конголезцам. Здесь его с любопытством разглядывают голые детишки; стоит ему, однако, поздороваться с ними, как они поспешно разбегаются, словно боясь, что за ласковыми словами последует злой удар.

Кончается путь. Жан прибывает в поселок на берегу большого озера, где его ждет Ван Левен. Еще до встречи с ним Жан узнает, что во время одной из частых в стране эпидемий тот распорядился покончить с болезнью, закопав живыми больных негров. История эта кажется Жану не в меру зловещей, выдуманной, чересчур навязчиво напоминающей ситуации из романов Жоржа Сименона.

Он не хочет верить, что по приказу Ван Левена были погребены живые люди. Ведь Конго управляют не гитлеровцы, а «демократические» бельгийцы! Но Ван Левен, совершивший поступок «из Сименона», обыкновенен и реален. Это открытие Жан делает для себя в Конго, сталкиваясь с повседневностью злодейства и с циническим утверждением его необходимости.

Не надо забывать, что Ван Левен — и этим он много опасней любого героя Сименона — не частный деятель, а представитель бельгийского государства и что это государство его руками правит в огромной конголезской провинции...

Многочисленные факты, приведенные Корнелюсом, предстают перед читателем по мере того, как Жан открывает их для себя. Вместе с Жаном мы входим в быт и жизненные условия конголезского населения. Конголезцы — «рабы бельгийского государства». Кровавые следы от побоев на их телах — «печать государства». Налоги, тяжелая и чуть не даровая работа — «дань государству». Во время своих поездок по территории Жан сталкивается с чудовищными болезнями, по вечерам до него доносится кашель туберкулезных больных — их много в каждом поселении. Нищая, голодная страна, обращенная в рабство, находится на краю гибели.

В первый же день своей работы Жан становится свидетелем сцены, которая потрясает его.

Перед домом, где помещается управление, по утрам происходит церемония подъема бельгийского флага. Конголезцы маршируют под звуки горна, поднимают флаг и отдают честь... лежащей на столе синей каске

И. ШКУНАЕВА
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — КОНГО

Ван Левена. Сам же управляющий тем временем спит после ночного пьянства.

Вся эта торжественная церемония представляется Жану фарсом. Однако с той минуты, когда желтый от кутежа, раздраженный и усталый Ван Левен появляется в конторе самолично,— фарсу конец.

От имени государства управляющий вершит над конголезцами суд, разбирая споры между ними. Он не дает себе труда разобраться, кто прав, кто виноват: «Бесполезно ломать себе над этим голову. Все они ничего не стоят». Надо наказывать — все равно кого. Он приговаривает их к двум, четырем, шести, восьми, десяти, двенадцати ударам бича, сплетенного из стеблей чикоты. Больше двенадцати—опасно, ибо это почти всегда приводит к смерти. Впрочем, никто не отменил еще изданного в начале века завоевателем Конго, королем Леопольдом II, указа, по которому позволяется давать туземцам до ста ударов: «Этого достаточно, чтобы превратить в бифштекс любого негра»,— говорит Ван Левен. Совершая кровавую экзекуцию, он не испытывает злобы; «в его взгляде нет ничего, кроме бесконечной усталости»,— замечает автор.

Ван Левен уже богат, он мог бы давно уехать домой и жить в достатке. Но Европа ему «осточертела», ибо и там тоже «никто ничего не понимает». В Африке хоть «политикой» не интересуются — ему здесь жить вольнее, он делает почти все, что хочет. Не только идей, принципов или убеждений — у Ван Левена нет и азарта игрока, знающего, что партия проиграна, но увлеченного замысловатым ходом игры. Он опустошен, глубоко отравлен равнодушием.

Свое отношение к африканцам Ван Левен объясняет извечными особенностями «низшей» расы: «дикарей» следует держать в вечном страхе перед белым господином, хозяином их судьбы. Это рассуждение поддерживает опустошенного и навсегда тяжко утомленного человека; в сущности, власть над конголезцами для него то же самое, что возня с бумагами,— способ удержать себя от окончательного распада, сохранить видимость жизненного функционирования.

Ван Левен беззлобно, почти участливо относится к Жану; ему немного жаль этого слабого, впечатлительного интеллигента. Но для Жана Ван Левен — ярчайшее воплощение той позорной бесчеловечности, которая возмутила его еще на судне.

«Куфа!» (издохни) — кричит Ван Левен африканцам. Когда Жан пытается остановить избиение, Ван Левен видит в порыве своего помощника проявление интеллигентской слабонервности: ну какое может быть до этого дело белому человеку?

Жану есть дело до африканцев, по самому складу души он не может остаться безучастен к несправедливости. Эта душевная восприимчивость еще более обостряется болезненно пережитой молодым человеком личной драмой: Габриэль, ради которой он только и поехал в Африку, бросает его; она пишет, что никогда не сможет быть счастлива с ним, человеком, не приспособленным к практической жизни.

Жан одинок, обманут, в нем угасает все, что прежде было его внутренней жизнью. Единственное живое, что в нем сохраняется,— это боль за африканцев, стремление облегчить их бедствия и, с другой стороны,— надежда обрести у них моральную поддержку и помощь для себя.

Именно это чувство и побуждает Жана сблизиться с одним из служащих в конторе Ван Левена, конголезцем Мишелем.

Мишель — «эволюэ»,* то есть африканец, получивший образование, выдвинутый на службу в государственном управлении или торговой конторе,— африканец, которого «европеизировали», чтобы он служил опорой колонизаторам и миссионерам. Однако, как ни старались бельгийцы противопоставить таких «эволюэ» народу, подкупить их, эти попытки все стремительней оборачивались против колонизаторов. «Эволюэ» отказывались подчиняться колонизаторам и призывали к сопротивлению народ, относившийся к ним с некоторым недоверием, но все же выслушивающий их. Первый бельгийский чиновник, встреченный Жаном на земле Конго, предостерегает его: «Когда-нибудь «эволюэ» вышвырнут нас из Конго. Среди них есть опасные личности». Впоследствии эти слова повторит и Ван Левен.

Между Мишелем и Жаном возникают доверие и дружба. Ничто не разделяет этих двух молодых людей: бельгиец Жан Потье, интеллигент, поэт, человек утонченной художественной культуры, и подчеркнуто сдержанный, быстро наверстывающий недостающие ему знания конголезец Мишель часами разговаривают друг с другом.

«Приглушая голос, Мишель рассказывал о черных главарях местных восстаний, ко-

* От французского évoluer — развиваться, совершать эволюцию. Так бельгийские колонизаторы называли создаваемый ими привилегированный слой конголезского населения.

торых годами держат в крошечных тюремных камерах, куда едва проникает свет». Время от времени к ним приезжают «белые начальники» и задают им всегда один и тот же вопрос: «Согласны ли вы подчиниться нашей власти? — И девять заключенных из десяти отвечают: — Нет, господин управляющий». Тогда их снова бросают в тюрьмы, и они остаются там до тех пор, пока вместо «куфа», глядя на них, тюремщики не кричат «акуфа», что означает «издох».

Дружбу Жана с Мишелем жестоко и грубо обрывает Ван Левен. «Перестань изображать из себя мессию черномазых, слышишь?.. Ты мечтатель... Я тебе говорил: остерегайся «эволюэ»! Не хочешь слушать меня — твое дело. В тот день, когда вспыхнет восстание, за которое расплачиваться будем мы, ты поймешь, что я прав... Если дать волю таким, как ты, Конго через пять лет от нас ускользнет».

Жан не уступает, не идет на компромисс. Он порывает с Ван Левеном. Но его попытки сопротивляться бесчеловечному режиму лишь своими силами бесплодны. А Мишель выслан, и Жан снова остается один, лицом к лицу с ненавистными ему соотечественниками, среди которых он не нашел единомышленников.

Не в состоянии справиться с одиночеством и тоской, Жан решает навсегда уйти от бельгийцев и отныне жить с конголезцами. Отчаяние, отказ от борьбы, поиски забвения — вот что увидел автор в поступке своего героя. И в самом деле, Жан отправляется к конголезцам, утратив веру в возможность им помочь, сделать для них что-то доброе, действенное, значительное. Он идет к ним не столько жить, сколько умирать. В час своего бегства он попадает в бурю и гибнет; его гибель не кажется случайной.

Молодой человек, изображенный Анри Корнелюсом, не похож на большинство молодых людей в современной буржуазной литературе. Он отличается и от американских «битников», и от английских «рассерженных молодых людей», и от тоскующих французских юношей и девушек из романов Франсуазы Саган. Может быть, говоря о Жане, уместно было бы вспомнить слова Томаса Манна, что не столько сам его герой Ганс Касторп (из «Волшебной горы») интересен, сколько история, с ним случившаяся,— «а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история»?

Правда, останься Жан в Брюсселе, неизвестно, имела ли бы его «история» значение. Но в Конго, в стране, где все противоречия современного капитализма выступили в открытой и самой острой форме, Жан обнаружил в себе силы, помогшие вырваться из круга узколичных, эгоистических интересов. Этот просвет, открывшийся в большой мир, не спасает его от поражения. Напротив, по мнению автора, трагический исход его судьбы неизбежен именно потому, что он не стал «таким, как все». Но объективно его жизнь становится историей о мужественном и честном человеке—историей, переживая которую мы проникаем в трагедию порабощенного народа, видим моральный упадок, поражающий, как неизбежная кара, поработителей, понимаем недостаточность сочувственно-пассивного отношения героя к жертвам колонизаторского варварства.

■

О восстании, которого не боялся Жан (не имея, однако, сил ему содействовать) и одна мысль о котором «утомляла» Ван Левена, рассказывает роман «Восстание в Конго» — одно из самых интересных произведений известного бельгийского писателя Жерара Вальшапа.

В романе «Восстание в Конго», книге, написанной всего за четыре года до образования Конголезской республики, Вальшап сводит большую и сложную проблему, вырастающую из жизненной картины, к неожиданно «гладкому», спокойному решению: оказывается, все можно уладить с помощью доброй воли, ума, хитрости, а если надо — христианского милосердия и прочих прекрасных человеческих качеств.

История, рассказанная Вальшапом в этом романе, происходит на территории, небольшой по отношению ко всему Конго и все же в два раза превосходящей размеры Бельгии. Конголезец Теотим, ревностный христианин и верный служитель католической миссии, убивает миссионера-бельгийца отца Леопольда за то, что тот незаслуженно и грубо обидел его. Преступление остается нераскрытым. Что убийца — Теотим, знает только монахиня, сестра Имелда, «святая» женщина, решающая укрыть его от правосудия, чтобы, подчинив своему влиянию, «спасти его душу». Владелец территории бельгиец Ван Аспенгувен, человек, не отягощенный «усталостью» Ван Левена, но столь же кровожадный и жестокий, от-

дает приказ начать расправу над местным населением, истреблять людей до тех пор, пока не будет найден виновный.

Тем временем в поселение возвращается из долгого путешествия его сын Селестен со своим боем, конголезцем Жаном. Узнав о приказе Ван Аспенгувена, Жан поднимает восстание, арестовывает всех белых, живущих на территории, запирает их в церкви и захватывает власть.

Изобразив людей, различных по темпераменту, характеру и убеждениям, представителей старого и молодого поколения колонизаторов и местного населения, Вальшап не только прослеживает их поведение, но и слушает их споры, в которых выражаются все точки зрения.

Эта дискуссия о взаимоотношении рас, о позиции Бельгии в колониальном вопросе, о конкретных проявлениях «цивилизаторской» деятельности бельгийцев, о положении в стране и перспективах колониализма в широком смысле слова читается с напряженным интересом. Она занимает не менее трети всего романа, начинаясь сразу же после рассказа о том, как Жану удается арестовать бельгийцев. Затем следует история подавления восстания.

Кто такой Ван Аспенгувен? Он вырос в семье небогатых бельгийских лавочников, был рабочим, жил бедно и трудно; нужда погнала его в Конго. Здесь ему «повезло». Но став хозяином большой фермы, он выместил на «черных» все испытанные в юности обиды и унижения. Беспощадная эксплуатация и местных, и белых рабочих, звериная жестокость — все это сделало Ван Аспенгувена одним из тех бельгийских колонизаторов, чье имя внушало страх населению. В самом незначительном облегчении жизни африканцев «он видел угрозу себе лично»,— угрозу своему могуществу и благополучию. Венцом его стремлений было «работать и богатеть, работать и богатеть еще больше и отправиться за двадцать тысяч верст отсюда, чтобы показать тетке Терезе свой автомобиль».

Но хотя Ван Аспенгувен и не ощущает сам «усталости», которая в психологии Ван Левена отражает неосознанную близость конца его господству,— объективно сила этого колонизатора поколеблена. После восстания его все-таки заставляют убраться из Конго. Характерно и то, что главный противник Ван Аспенгувена — Селестен, сильнее всех ненавидящий собственного отца.

Ван Аспенгувен должен уйти из Конго — его час пробил. Но автор, правдиво и потому безжалостно изобразивший его деятельность, все же не осуждает этого «старого пионера». Ведь он «не более бесчеловечен», чем другие колонизаторы, действовавшие в ту же эпоху, что и он, да и сама его жестокость — пусть дорогая, но все-таки «плата за цивилизацию».

Так рассуждает католик Вальшап. Правда, когда он убеждает нас, что Ван Аспенгувен еще не худший из агентов, которых Бельгия посылает в Конго,— в этом мы готовы ему поверить, ибо Ремсек, помощник Ван Аспенгувена,— фигура еще более страшная.

Среди сегодняшних сторонников Чомбе, наемников, возглавляющих его банды или служащих ему политическими советниками, немало таких, как Ремсек. Это спортивный, атлетически сложенный молодой человек, авантюрист и бездельник. Он беспринципен, способен на любое преступление. Иными словами, это фашиствующий молодчик, нашедший себе в Конго широкое поле деятельности.

Автор, ищущий оправданий для Аспенгувена, осуждает Ремсека без всяких оговорок. Его выгоняют с территории. У Жана, возглавившего восстание, нет сомнений в том, что Ремсек опасный негодяй, от которого надо избавиться любым способом. Сложнее отношение африканца к таким врагам восстания, как отцы-миссионеры и монахиня Имелда.

Отец Рик, слывущий чудаком, пугает остальных миссионеров своей «революционностью»: он открыто возмущается поведением колонизаторов, «разрушающих в Африке цивилизацию», и внушает бунтовщику Жану, что «негры — люди и имеют право на бунт против бесчеловечности». Но и отец Рик не помышляет об отказе от колониализма, а предлагает свой, «прогрессивный» вариант деятельности бельгийцев в Конго: он считает, что валлонцы — колонизаторы плохие, а фламандцы — лучшие на свете, и предлагает усилить проникновение фламандцев в бельгийские колонии.

Епископ смотрит на колониальную политику «весьма реально»; отвечая Жану, обвиняющему бельгийцев в том, что они эксплуатируют страну исключительно ради собственной выгоды, он не спорит, а объясняет, что и это имеет нравственное оправдание, ибо, преследуя эгоистические цели, бельгийцы вместе с тем попутно улучшают жизнь

конголезцев... По мнению епископа, истязания, убийства, голод, рабство — все это плата за цивилизацию.

Сестра Имелда, по мысли автора, действует разумнее и правильнее всех. Она старается деятельной и практичной добротой завоевать все сердца и во имя добрых целей тонко использовать всех, кто попадает под ее влияние. Но цели ее никогда не возвышаются над бытовыми частностями.

Все эти споры и рассуждения позволяют нам узнать о различных типах мышления у сторонников колонизаторской политики. Очевидно, эти взгляды так или иначе близки самому автору. При всем его негодовании против зверств, его концепция также направлена не на уничтожение самой системы, но на ее «гуманизацию», улучшение, которое он считает возможным.

Главную причину восстания автор ищет в отношениях между Селестеном и Жаном.

Селестен, наследник фирмы Ван Аспенгувен, «современный молодой человек и реалист», более всего на свете любит спорт и технику. Он образован, не глуп и открыто презирает своего отца. С сыном его кормилицы-африканки, ровесником и молочным братом Жаном Селестена связывает дружба; правда, в этой дружбе Селестен первенствует, но, замечает Вальшап, всякой дружбе присуще неравенство. Когда дети вырастают и Селестен становится господином, хозяином, а Жан — его боем, слугой, дружба между ними только крепнет, хотя различие возрастает. Жан, человек способный и умный, менее образован, чем Селестен, зато больше размышляет над жизнью; Селестен более трезв и практически сметлив, зато Жан эмоциональнее, непосредственнее, импульсивнее.

В романе Корнелюса чиновник Потье тянулся к конголезцу Мишелю, ища опоры в этом сильном, умном, сознательном человеке. У Вальшапа конголезец Жан, несмотря на свой ум, убежден в бесспорном превосходстве белого друга; там, где ясно, что этого превосходства нет, Жан как бы полусознательно конструирует его.

Когда Жан поднимает африканцев на восстание, Селестен приходит в восторг от ума и смелости своего боя. Вначале он целиком на его стороне: надо проучить зарвавшихся администраторов и колонистов! Однако вскоре он начинает относиться к событиям иначе; как ему ни отвратителен отец, как ни горячо он осуждает его дикость, все же он не может примириться с тем, что его отец—в плену у слуги. Селестен был готов помочь Жану, но лишь до известного предела — а именно, до тех пор, пока Жан ему всецело повинуется, а хозяином остается он. Как только Жан, следуя логике восстания, вырывается из-под его влияния, Селестен приходит в ярость. Не то чтобы он считал это восстание серьезной опасностью для власти Бельгии сейчас — напротив, он убежден в неизбежности поражения; но его возмущает, что потерявший голову слуга не хочет считаться с очевидностью и выходит за пределы того, что сам Селестен, с его «прекрасным» отношением к неграм, считает для них дозволенным. С этой позиции Селестена сдвинуть нельзя.

Тем временем Жан, несмотря на то, что ход событий показал ему силу его народа, почувствовал свою неподготовленность к роли предводителя и растерялся. «Связать по рукам и ногам тридцать, шестьдесят, сто тысяч белых — пустяк для тринадцати миллионов конголезцев,— рассуждает он.— Но что дальше?» Ведь Жан восстал «не против белого, а за черного». Не нанес ли он непоправимый вред своему народу, приведя его к окончательному разрыву с европейцами? «Что же он сделал, про что забыл, о чем не подумал?»

Бессильный разрешить вопрос сам и не зная никого лучшего, чем Селестен, Жан обращается за советом к нему. Но взбешенный Селестен не желает даже разговаривать со своим бывшим боем. Он осыпает его градом упреков, бьет его, и Жан, уверившись, что его любимый друг «такой же, как и все, ничуть не лучше», поступает с ним, как с другими бельгийскими колонизаторами,— арестовывает его.

Поведение Селестена — горчайшее из разочарований для Жана: «Все кончено,— говорит он ему.— Ничего из того, что исходит от вас, мне не нужно. Долой белых, вот мое последнее слово».

Здесь берет слово автор. Он хочет подчеркнуть значительность этой сцены. Из ссоры Селестена с Жаном и неправильного поведения Селестена в столь ответственную минуту, объясняет он, следует извлечь моральный урок: негры восстают потому, что их любовь к белому человеку остается без ответа... Бунт стал серьезной угрозой

для белых с той минуты, как Жан, оскорбленный и отвергнутый своим другом, начал действовать на свой страх и риск.

Так рассуждает автор, стремящийся извлечь из изображаемых событий не только нравственный, но и политический урок. Он противопоставляет две точки зрения на причины восстания — официально-государственную, основанную на внешней, как он считает (то есть социально-экономической и политической), стороне дела и потому поверхностную, и другую — точку зрения человека, знающего события как бы изнутри, психологически.

Эта психологическая концепция отодвигает в ряд «несущественных» и «малых» проблем то, что имеет на деле решающее значение.

Любопытно, между прочим, что в книге Корнелюса Жан Потье «несовременен», а Селестен у Вальшапа — «реалист и современный человек». Этическая сторона проблемы была всепоглощающей для Жана; Селестена волнует лишь ее прикладной смысл. Осуждая зверство и дикость своего отца, Селестен стремится к экономическому процветанию семейной фирмы на основе «нормальной» буржуазной эксплуатации. Это — колонизатор нового типа, из молодых буржуа, достаточно образованных в области общественно-политической, чтобы понимать невозможность прежнего положения вещей, и достаточно недальновидных, чтобы верить в осуществимость некоей новой колониальной политики, которая позволит колонизаторам удержать свое господство в странах, экономически слабо развитых.

Селестена поддерживает бельгийский врач, фламандец Персонс. Селестен — представитель молодого поколения бельгийских «деловых людей», а Персонс — молодой буржуазный интеллигент; но они отстаивают одну и ту же точку зрения.

У каждого из них свое отношение к Конго, свои причины, по которым они хотели бы мирного исхода конфликта. Персонс приехал с надеждой поселиться в каком-нибудь из больших конголезских городов и заняться научной работой. Однако обстоятельства сложились иначе, чем он предполагал: трудная и напряженная деятельность практического врача поглотила его без остатка. И случилось так, что Персонс, не получая удовлетворения от научной работы, стал неожиданно испытывать чувство еще более глубокое — удовлетворение человека, делающего полезное людям дело.

Каждый по-своему, Селестен и Персонс идут, однако, к одной и той же цели — к «процветанию» Конго именно как бельгийской колонии, на началах более «прогрессивного» отношения к населению, но при условии полного экономического и политического господства бельгийцев. Уговаривая Жана добровольно прекратить восстание, Персонс приводит следующие доводы: в настоящее время трудно распространить революцию на всю территорию страны, «так как народ созреет для нее не ранее чем через пятьдесят лет». А через пятьдесят лет конголезцам не нужна будет революция, «ибо в стране не останется ни одного Ван Аспенгувена...» И Персонс призывает Жана не увлекаться примером тех цветных народов, которые уже сейчас выгоняют белых из своих стран, ибо удел этих народов — якобы неизбежная и быстрая деградация.

Но не уговоры Персонса и не аргументы других белых приводят Жана к тому, что на вершине торжества, в час полной и радостной победы он вдруг объявляет себя побежденным и сдается на милость противников. Причина — в его собственной слабости, в двойственном отношении к происходящим событиям, в страхе перед независимостью, перед самостоятельным решением народной судьбы. Мы уже видели в книге Корнелюса, с каким недоверием и опаской издавна относились бельгийцы к молодой конголезской интеллигенции. Что их опасения не были напрасны, видно уже из событий, показанных в романе Вальшапа. Но более умные и гибкие из «господ» пытаются договориться с частью конголезской интеллигенции, спекулируя на присущей некоторым из ее представителей двойственности. Эту двойственность Вальшап показывает на примере Жана.

Жан понимает, как губительна та «проказа души», которой «черные заболевают от общения с белыми»,— болезнь, состоящая в «неверии в себя и в стыде за свой народ». И все же он, знающий это, он — вождь, призывающий свой народ к объединению, к тому, чтобы насилием сопротивляться насилию и взять свою судьбу в собственные руки,— рыдая, говорит Селестену: «Почему вы не хотите нас понять? Почему вы обращаетесь с нами, как со скотами? Что мы вам сделали?»

Писатель верен правде, когда он пишет о невыносимой эксплуатации конголезцев бельгийцами, о чудовищных условиях, в

которых живет бесправное население. Обо всех этих страшных сторонах конголезской действительности правдиво и сильно говорится и в непосредственно изобразительной части книги и в прямом авторском комментарии.

Нельзя утверждать, что писатель грешит против жизни, изображая Жана в момент, когда его стремления и надежды еще неопределенны, когда он еще может выбрать ложный путь. Оказались ведь и на нынешнем этапе освободительного движения в Конго такие колеблющиеся, склонные к компромиссам интеллигенты, которые, не примыкая к явно продажному Чомбе и ему подобным агентам империалистических монополий, затрудняют борьбу с ними. Но падение Жана, уступившего слабым, недостойным сторонам своей души, Вальшап, проводя принятую им концепцию, изображает как торжество идей о компромиссном разрешении колониальной проблемы: Жан просит прощения у своего хозяина, а тот не только прощает его, но и дает небывалый для «эволюэ» пост — назначает его начальником всего персонала, обслуживающего фирму.

Таким образом, предусматривающий возможность восстания роман Вальшапа идейно направлен на предотвращение окончательного разрыва.

Однако в книге Вальшапа содержится правда, имеющая гораздо большее значение, чем достоверность некоторых черт изображенного им момента истории Конго. И эта правда взрывает самые основы ошибочной концепции автора. Ван Аспенгувен и Ремсек вынуждены убраться из Конго не потому, что этого захотели колонизаторы другой формации, представленной Селестеном, а потому, что их просто-напросто выгнали конголезцы. Не будь восстания, поднятого Жаном, Ван Аспенгувен по-прежнему оставался бы полновластным хозяином.

Но и политика Селестена основана не на добром согласии с конголезцами, а на менее грубых способах насилия и на ловком использовании культурной слабости молодой конголезской интеллигенции: не деньги и карьера соблазнили Жана, а надежда на то, что он, уступая, добьется настоящей дружбы белых «друзей»-капиталистов с угнетенным народом.

Такая надежда, как бы ни уповал на нее автор, неизбежно должна была привести к жестокому разочарованию. События шестидесятых годов показали непрочность позиции «новых» колонизаторов; восставший народ так же решительно выгоняет их, как и их отцов; за десять лет, прошедших после описанного Вальшапом восстания, в Конго выросло поколение, осознавшее цели своей борьбы. Возглавив народное восстание, конголезские патриоты во главе с национальным героем Патрисом Лумумбой завоевали независимость своей стране и не остановятся, пока не освободят ее до конца.

А

Одна из важных сторон ситуации, сложившейся в Конго к шестидесятым годам,— внутреннее разложение господствующего социального слоя. Эта сторона колониальной действительности отражена в «Муравейнике» — романе Даниэля Жиллеса, опубликованном в 1960 году.

Конфликт, изображенный Жиллесом, разыгрывается в уже знакомых нам условиях: затерянное в джунглях небольшое поселение вокруг золотых приисков и маленькая кучка бельгийцев, распоряжающихся судьбами сотен черных рабов. Да и с людьми этой книги мы как будто уже встречались: инженер Бломмар, «сильный» человек, считает, что с черными надо обращаться круто, потому что все они — воры и лентяи; добродушный толстяк доктор Жабинский — напротив, сторонник «дружелюбного» отношения к туземцам (однако и этот врач не только лечит их, но и убивает, испытывая сомнительные лечебные средства собственного изобретения); миссионер Максанс искренне хочет добра и белым и черным, но ни тем, ни другим не умеет помочь. Есть здесь и циничные авантюристы, и чиновные представители центрального управления, и истерические колониальные дамы. Разумеется, все эти персонажи не случайно населяют романы Корнелюса, Вальшапа, Жиллеса и других писателей, пишущих о Конго; очевидно, они и являют собой типические образцы тех «белых», которые до недавнего времени неограниченно хозяйничали в Африке.

Надо сказать, что Даниэль Жиллес, в отличие от Вальшапа и Корнелюса, не делает попытки проникнуть во внутренний мир африканцев, понять существенные стороны

И. ШКУНАЕВА

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — КОНГО

происходящих в их жизни перемен. Он описывает лишь те бытовые подробности, которые больше всего бросаются в глаза постороннему, незаинтересованному путешественнику.

С этой точки зрения его книга лишена значения. Она интересна другим: Жиллес разбивает миф о мнимой солидарности своих персонажей — европейцев, часто опустошенных, озлобленных людей и всегда — одиноких Вражда, которой они окружены, не сближает, а, напротив, еще больше отчуждает их друг от друга.

Инженер Бломмар, врач Жабинский, священник Максанс, молодой инженер Франк (сын одного из владельцев шахты) — они приехали в Африку, движимые различными побуждениями, но ни один не чувствует себя здесь, «как дома». Обитатели поселка Тизангу живут, как на странной, затянувшейся на много лет зимовке, но без того тщательного отбора людей, которым всегда озабочены начальники полярных зимовок. Вражда между европейцами и африканцами разъедает и отношения внутри «белой семьи» — таков вывод автора. Отец Максанс с грустью признается, что «ничего не понял в черной душе» и ничего не знает о ней, «кроме того, что она существует». Но и «белая душа» замкнута в себе и непроницаема.

Не есть ли это приложение экзистенциалистского тезиса об изначальной отчужденности между людьми? В литературе этого направления встречались попытки объяснить вражду рас проявлением черт, якобы свойственных человеческой природе «вообще» и выступающих в этом конфликте с особой обнаженностью.

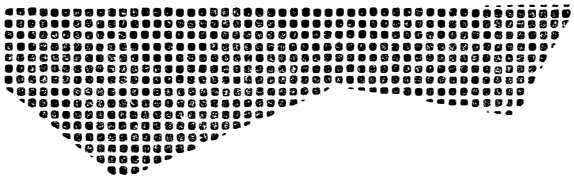
Нет, в книге Жиллеса нет ни экзистенциальной тенденции, ни каких бы то ни было философских или социально-политических обобщений. Изображенная писателем картина непредвзято отразила один из основных пороков буржуазной культуры: разлагающее влияние эксплуатации как основы общественных взаимоотношений между людьми на любые связи между ними. В колониях, где капиталистическая эксплуатация соединяется с рабовладением, это влияние, естественно, выражается наиболее грубо и выпукло. Угнетение африканцев не может не калечить господствующих над ними европейцев. Эта мысль приходит на ум и при чтении романов Корнелюса и Вальшапа; она — то главное, что выступает из, несомненно, не осознанных до конца, но все же серьезных жизненных наблюдений Жиллеса.

■

В поэтической книге Корнелюса, в публицистическом, откровенно тенденциозном романе Вальшапа, в истории, рассказанной Даниэлем Жиллесом,— во всех этих книгах о Конго, написанных бельгийцами, мы видим трагическую судьбу конголезцев и их неугасимое стремление к свободе, к независимости. Прямо или косвенно, враждебно или одобрительно, открыто или намеками — каждый из этих писателей свидетельствует о решающих переменах, назревших в Конго в 50-х годах.

Сейчас, читая в газетах описания событий в Конго, мы представляем, как ведут себя люди, изображенные этими писателями. В главарях катангских банд, бельгийцах, поступивших на службу к Чомбе, легко узнать черты авантюриста Ремсека. Ван Аспенгувен и Ван Левен — не те ли это бежавшие на родину «пионеры-колонизаторы», которые подливают масла в огонь своей бешеной пропагандой военных экспедиций против восставшего народа? Селесген — не один ли из тех, кто так деятельно проповедует сегодня «новую политику», новую форму прежнего угнетения?

На чьей же стороне борется сегодня «эволюэ» Жан, обманутый и преданный своим мнимым другом? Мы верим, что для него наступило время человеческой и общественной зрелости и что он снова вступил в борьбу за свой народ, следуя за теми, кто обладает более ясным, чем он, пониманием цели.



ХОАЙ ТХАНЬ

ПУСТЬ ЯРЧЕ РАСЦВЕТАЕТ САД НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Марат, один из замечательных деятелей французской буржуазной революции, писал: «Иные кажутся высокими, ибо ты, народ, согнут. Распрямись!*». Французские колонизаторы, на словах именовавшие себя детьми и внуками революционеров 1789 года, в течение своего почти векового хозяйничания во Вьетнаме всячески стремились «согнуть» вьетнамский народ. Их политика порабощения была, в частности, направлена на то, чтобы лишить вьетнамцев чувства национального достоинства. Почти все вышедшие во Франции «научные труды» по истории, литературе, искусству, языку вьетнамского народа буквально кишат клеветническими вымыслами и фальсификациями; в этих работах колонизаторы обнаруживают свое невежество и высокомерное отношение к вьетнамцам. Но особенно резко отдавали скверным колониалистским духом те книги, авторы которых, вьетнамцы по происхождению, всячески пытались унизить и оклеветать нашу страну и наш народ.

Политика колонизаторов не прошла бесследно для судеб нашей культуры. Большинство вьетнамских интеллигентов, вышедших из французской школы, оказались оторванными от родного народа. Некоторые из них умели говорить только по-французски и не знали родного вьетнамского языка. Они либо не имели понятия ни об истории, ни о культуре своего народа, либо источником их сведений оказывались книги колонизаторов. Вьетнамская интеллигенция оказалась в значительной мере отравленной ядом колониализма. Ценилось лишь то, на чем висели европейские ярлыки. Случалось даже, что о красивой вьетнамской женщине говаривали: «прекрасна, как дама», то есть европейка.

Все это вызывало протест со стороны некоторой части интеллигенции, защищавшей, к сожалению, и то, что было отрицательного в наследии прошлого. Но даже и такого рода выступления были очень редки; во вьетнамском обществе господствовала в те времена атмосфера самоуничижения. Многие славные традиции национальной культуры рассматривались как нечто незрелое и отсталое, а все привозное безоговорочно почиталось за образец для подражания. Подобное низкопоклонство было особенно характерно для духовной жизни города.

Рабочий класс Вьетнама, ведя под руководством своей партии борьбу против колонизаторов и феодалов, за построение социализма, постепенно прививал новое отношение к национальной культуре. Разумеется, пока страна находилась под колониальным игом, наша партия не имела возможности всерьез заниматься проблемой национального культурного наследия. Вместе с тем революционная пропагандистская работа среди народных масс требовала поисков новых путей к сердцам рабочих и кре-

* Поэт То Хыу перевел эти строки на вьетнамский язык и поставил их эпиграфом к своему стихотворению «Вставайте!», написанному в 1938 году.

стьян. И здесь нам помогла национальная культура. К национальной традиции обращается еще до создания Коммунистической партии Индокитая товарищ Хо Ши Мин, известный тогда под именем Нгуен Ай Куок, в своей книге «Дневник кораблекрушения». Эта книга написана в форме, привычной вьетнамскому читателю (прозаическое повествование время от времени перемежается стихами), и рассказывает о том, что видел и слышал Хо Ши Мин в Советском Союзе. Книга сыграла большую роль в годы советов Нге-ана и Ха-тиня (1930—1931). Тогда в революционной литературе были широко распространены народная песня и баллада.

Революционеры вернули к жизни такую традиционную форму сценического искусства, как спектакли в жанрах туонг, тео и кай-лыонг, необычайно популярных в народе, но не получивших признания в официальных кругах.

В 1943 году, в период бурного подъема патриотического движения, партия выдвинула свою программу по вопросам культуры, основанную на трех лозунгах: «Национальный характер — научность — массовость». Естественно, что правильное осуществление этой программы было делом непростым. Нелегальным газетам Коммунистической партии Индокитая, выходившим в тот период, приходилось выступать и против недооценки культурного наследия и против слепого преклонения перед ним, бороться с троцкистами, которые, прикрываясь марксистской фразой, чернили историю и культуру вьетнамского народа.

После победы Августовской революции 1945 года национальная культура заняла наконец достойное место в жизни народа. Впервые в истории вьетнамский язык и литература стали одним из основных предметов в школе. Но, вместе с тем, после победы революции сторонники ошибочных взглядов — например, недооценки национальной культуры — оказались и в среде революционеров. Некоторые партийные работники полагали, что культурные ценности, созданные в условиях политически и экономически отсталой страны, устарели. Кое-где было запрещено ставить спектакли в национальных сценических жанрах туонг, тео и кай-лыонг. Неправильность этой позиции стала особенно очевидной во время всенародной войны Сопротивления.

В июле 1948 года во Вьет-Баке собрался второй Всевьетнамский съезд деятелей культуры. Товарищ Чыонг Тинь, бывший в то время генеральным секретарем ЦК партии, выступил на съезде с докладом «Марксизм и вопросы вьетнамской культуры», где подчеркивалась непреходящая ценность ряда выдающихся явлений национальной культуры. Через два года, когда были освобождены районы, прилегающие к вьетнамско-китайской границе, Демократическая Республика Вьетнам получила возможность непосредственной связи со всем социалистическим лагерем. Большое значение имело ознакомление с опытом решения проблем классического наследия в таких странах, как Советский Союз и Китай.

Благодаря аграрной реформе миллионы крестьян вырвались из тисков нищеты и невежества. Была уничтожена система гнета, которая в течение тысячелетий господствовала во вьетнамской деревне. Открылись драгоценные родники, таившиеся в народе. Оказалось, что именно трудовой народ, почти сплошь неграмотный, и является самым верным хранителем национальных традиций.

Ныне никто уже не сомневается в ценности и самобытности древней культуры вьетнамского народа.

Чтобы составить представление о некоторых ее явлениях, обратимся хотя бы к литературе национальности кинь. Эта литература (обычно именуемая вьетнамской), как любая подлинная литература, всегда уделяла первостепенное внимание судьбе человека и тем проблемам, которые выдвигает перед человеком жизнь.

Какие же проблемы ставила жизнь перед людьми, жившими на земле Вьетнама? Очевидно, общие для всех районов земного шара, но в их постановку каждый народ вносит своеобразие. Возьмем проблему борьбы с силами природы. Всем известно, что во Вьетнаме природа безмерно щедра и одновременно очень жестока к людям. Если подчинить ее себе, она даст человеку все. Но тому, кто над ней не властен, она грозит великими бедами. Распространенное во Вьетнаме изображение маленького мальчика, сидящего на спине огромного буйвола, символизирует господство человека над природой. Завоевать власть над природой нелегко, особенно когда приходится все время бороться с иностранными поработителями. Но во вьетнамском народе издавна живут боевые традиции борьбы против сильных и превосходящих числом иноозем-

ных завоевателей. Не менее важна также борьба против своих национальных угнетателей, ибо феодализм долгое время тяжким гнетом лежал на плечах вьетнамского народа, а в Южном Вьетнаме еще и сейчас феодалы продолжают бесчинствовать.

Героическим эпосом вьетнамского трудового люда можно считать поэму «Тхать Сань». Тхать Сань — добрый юноша с открытой душой. Он обладает необыкновенной, волшебной силой. Его топор убивает чудовище-людоеда. Его стрела настигает свирепого орла. Звуки его лютни заставляют войско завоевателей отказаться от войны, а его неистощимый котелок способен накормить десятки тысяч людей.

Другой сказочный герой — Тхань Зиаунг, трехлетний мальчик. Когда на страну напали враги, Тхань Зиаунг расправил плечи, поднялся во весь рост и стал большим и сильным. Он вскочил на железного коня и ринулся в бой, вырывая на ходу огромные стволы бамбука и круша ими врагов. В смертельном страхе бежал от него неприятель, а Тхань Зиаунг вместе с конем взлетел в небо к розовым облакам.

Можно рассказать легенды о Владыке гор и Повелителе вод, о Золотой черепахе, о реке То-лить и многие, многие другие. Эти легенды, каждая по-своему, повествуют о тех битвах, которые происходили на земле Вьетнама с древних времен. В баснях, сказках, анекдотах, бесчисленных пословицах, поговорках, народных песнях многообразно отражена жизнь трудового народа, его страдания, гнев, его чаяния и радости.

Но литература народности кинь не исчерпывается устным народным творчеством. Уже с XI века существовала письменная литература, были созданы большие произведения. Одним из выдающихся писателей был Нгуен Чай * (1380—1442), который вместе с Ле Лоем руководил длительной борьбой вьетнамского народа против ига Минской династии. Вскоре после победы Нгуен Чай был зверски убит по наущению придворных вельмож. Из его произведений встает образ человека, любящего природу, мечтающего о счастливой и вольной жизни для всех, верящего в силы своего народа, в справедливость и полного решимости изгнать иноземных завоевателей.

Феодальное общество все более приходило в упадок; в XVIII веке особенно часто возникали крестьянские восстания. Крупнейшим в истории Вьетнама крестьянским восстанием было восстание тэй-шонов. Однако и оно в конечном итоге также потерпело поражение. В начале XIX века династия Нгуенов с помощью французов вновь восстановила господство феодалов. На плечи народа легло невиданно тяжелое ярмо угнетения и поборов.

Все эти события нашли свое отображение в литературе. Лирическая поэма «Жена воина, ушедшего в дальний поход» Данг Чан Кона и Доан Тхи Дьем (XVIII в.) передает отчаяние людей, измученных постоянными войнами. Смелое, порой грубоватое слово бросает в лицо бесчеловечному обществу, где процветает фальшь, поэтесса Хо Суан Хыонг (конец XVIII века). Ее стихи — это горькие сетования женщины того времени на свою судьбу. Но нигде чувства обездоленного и страдающего человека не выражены с такой силой, нигде его гневное слово не звучит так грозно и нигде его мечты не кажутся столь пленительными, как в поэме Нгуен Зу «Кьеу» (начало XIX в.). В «Кьеу» рассказывается о трагедии человека в старом обществе. В этой поэме, написанной прекрасными стихами, Нгуен Зу выдвигает ряд острых социальных проблем, но не находит путей их разрешения. Однако поэт страстно и искренне говорит здесь о счастье и достоинстве человека.

В середине девятнадцатого века французские колонизаторы проникали во Вьетнам. Император династии Нгуенов и его двор очень быстро склонили голову перед захватчиками, но вьетнамский народ не складывал оружия. Песни и баллады безымянных авторов, широко распространенные в народе, рассказывали о злодеяниях колонизаторов и воспевали мужество и самопожертвование защитников родины. Поднимали свой страстный голос и патриотически настроенные ученые-конфуцианцы. Поэт Нгуен Динь Тьеу прославлял людей, «одетых в рубище и с копьем в руке», людей, которые «имели мужество сражаться против врагов, плавающих на железных кораблях, стреляющих из медных пушек». Фан Ван Чи и Нгуен Тхиен Ке обличали предателей. Фан Бой Тяу уехал в Японию и Китай и оттуда обращался к своим соотечественникам со страстными стихами.

ХОАИ ТХАНЬ

ПУСТЬ ЯРЧЕ РАСЦВЕТАЕТ САД НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

* Статью о Нгуен Чае см. в журнале «Иностранная литература» № 12 за 1961 год.

Пламенный жар патриотизма, патриотическая литература переходили от поколения к поколению, пока не стали достоянием вьетнамских коммунистов, которые восприняли их, направив развитие литературы по пути, озаренному идеями марксизма.

Революция открыла для нашей культуры новые пути. Отныне литература стала общим делом миллионов трудящихся, сознающих себя полноправными хозяевами родной страны, творцами родной культуры. С особой остротой встает проблема национальных традиций. Революционная литература к тому времени уже достигла больших успехов; появились такие значительные произведения, как сборник стихов товарища Хо Ши Мина «Тюремный дневник» (1943) и стихи То Хыу первого периода его творчества (1937—1945). Революционная литература до 1945 года распространялась нелегально. В легальной печати наряду с макулатурой появились подлинные произведения искусства, обличавшие мрачную действительность дореволюционного Вьетнама. Это — сатирическая поэзия Ту Сыонга и Ту Мо, рассказы, повести и романы Нгуен Конг Хоана, Нгуен Хонга, Ву Чонг Фунга, Нам Као и особенно Нго Тат То. Сборник очерков «Дела деревни» и повесть «Лампа гаснет» Нго Тат То воспроизводят живую картину вьетнамской деревни, стонавшей под игом феодалов. Нго Тат То с любовью и уважением относился к крестьянину, и, хотя он еще не видел конкретных путей освобождения, его произведения светятся вдохновенной верой.

До сих пор мы говорили о литературном наследии национальности кинь. Литературное наследие национальных меньшинств Вьетнама также очень богато. Такие замечательные произведения, как «Советы возлюбленному» (народность тхаи) или «Песнь о Дам Шане» (народность эде), были изданы недавно в переводе на язык киней и встречены с большим интересом.

Постоянная пропаганда произведений нашей старой культуры воспитывает во вьетнамском народе чувство патриотизма. Знакомство с классическим наследием наполняет людей еще большей любовью и уважением к своей родине, к своим соотечественникам-вьетнамцам. Чувство справедливой гордости сменило самоуничижение, столь характерное для прошлого. Люди гордятся и верят. Ибо чем яснее видят они свое прошлое, тем глубже понимают современность, тем увереннее смотрят в будущее. На борьбу за объединение родины, за построение социализма и последующее построение коммунистического общества — в эту дальнюю дорогу нельзя идти без славных традиций прошлого.

Но гордость за традиции своей культуры не означает, что мы отказываемся воспринимать достижения культуры других народов. Вьетнамский народ никогда не относился пренебрежительно к культуре других народов, а ныне, воспитываемый в духе пролетарского интернационализма, он широко распахнул для нее двери. Так, например, лучшие произведения советской и китайской литературы изучаются в школах, вызывают глубокий интерес у широких масс читателей в городе и деревне. Павел Корчагин и многие другие герои советской литературы стали близкими друзьями сотен тысяч вьетнамцев.

Используя свое национальное культурное наследие, учась на лучших достижениях мировой культуры, мы отдаем все силы делу строительства новой культуры, национальной по своему характеру, социалистической по содержанию. Важность проблемы национального характера искусства поддерживается в решениях III съезда Партии трудящихся Вьетнама. Опыт научил нас бережно относиться ко всему национальному в области строительства новой культуры. Все удачные литературные произведения отмечены национальным своеобразием. Поэзия То Хыу глубоко проникает в сердца людей не только потому, что он говорит о самых сокровенных чаяниях вьетнамского народа, но и потому, что То Хыу говорит так, как это присуще вьетнамцу, то есть в его словах, и в мыслях, и в чувствах сохраняется своеобразие, свойственное вьетнамскому народу. Конечно, нельзя все свести к особой манере. Каждый раз, когда я слушаю новую песню, созданную на основе мелодии тео, старинной вьетнамской народной мелодии, песню, в которой говорится о хорошей жизни в сельскохозяйственном кооперативе, сердце мое наполняется особой радостью. Эта песня заражает слушателя оптимизмом народа, вдохновенным жизнелюбием ушедших поколений трудового люда. Лучшие традиции прошлого, многовековая забота вьетнамского искусства о судьбе и счастье человека воспитывают ныне мудрый и деятельный гуманизм, гуманизм коммунистический.

Но дел впереди еще очень много. В области культуры и искусства, так же как и в народном хозяйстве, нам предстоит огромная работа. Многие песни, прозаические и поэтические произведения, передаваемые устно, еще не записаны. В ханойской научной библиотеке, например, хранятся тысячи произведений, записанных при помощи китайских иероглифов и не переведенных на вьетнамский язык. Многие произведения, написанные по-вьетнамски, пока не изучены и не проанализированы со всей тщательностью.

Я уж не говорю о том, что для творческого восприятия старых традиций в процессе строительства новой культуры еще недостаточно их проанализировать и изучить. Надо суметь слиться с народом, стать его частью, неразрывно связать себя с трудовой жизнью и борьбой народа — живого хранителя и наследника лучших национальных традиций. Под руководством партии деятели культуры Вьетнама добились в этом направлении заметных успехов. И все же пока мы еще недостаточно черпаем из бесценной сокровищницы культуры наших предков. Я уверен, что, когда удастся более полно использовать эти огромные ценности, у нас будет больше сил для разрешения проблем, которые возникают на нашем пути, и под нашим общим небом социализма расцветет сад вьетнамской культуры.

Г. ХАНОЙ

ТО ТИЕМ *(Вьетнам)*
«Все учатся»

А. ПАВЛЕНКО

ПИСАТЕЛИ НОВОЙ ИНДОНЕЗИИ

Индонезийская национальная литература возникла и утвердилась в борьбе за создание единого независимого государства, единой нации и единого языка.

Национально-освободительная революция 17 августа 1945 года положила начало мощному подъему национальной литературы, открыв перед ней широкий путь. Сразу же после провозглашения независимости в Индонезии выходят десятки новых журналов, сборников и отдельных изданий.

С тех пор прошло более шестнадцати лет. Это были трудные годы. Молодой индонезийской республике приходилось вести жестокую борьбу на два фронта — с иностранным империализмом и одновременно с феодальными пережитками внутри страны.

В первые годы после революции писатели отдают предпочтение поэзии и таким жанрам, как короткий рассказ, одноактная пьеса, очерк. Уже тогда в послевоенной индонезийской литературе вступают в борьбу две тенденции. Наряду с теми писателями, кто безоговорочно принял революцию и понял ее значение, оценив не только трудности, но и величие ее борьбы, выступают и другие, те, кто искал моральную опору в буржуазно-либеральном гуманизме и пацифизме. Так в индонезийской литературе после революции сложились два основных направления.

Прежде всего это, говоря словами индонезийских критиков, была «поэзия борьбы». Она развивалась в районах, занятых республикой. Самым значительным ее представителем был один из крупнейших поэтов современной Индонезии Х. Р. Бандахаро. В столице же и районах, оккупированных голландцами, преобладала так называемая «универсальная поэзия», которая выдвигала на первый план разработку узко интимных, абстрактно философских, «вечных» тем.

Особое место в новой индонезийской литературе занимают писатели, которых обычно называют «поколением сорок пятого года». Вначале это наименование относили только к литературной группе, выступившей во главе с поэтом Хайрилом Анваром в Джакарте. В сегодняшнем же, более широком, понимании термин «поколение сорок пятого года» относят вообще к тем писателям, которые начали творить в обстановке послереволюционного подъема и стремились к разработке актуальных проблем, хотя многие из них так и не вышли за рамки «универсальной поэзии». Путь таких писателей — а они, как правило, принадлежали к мелкобуржуазной интеллигенции — отличался большой сложностью, противоречиями, срывами. Но многое в их творчестве является бесспорным достижением.

Одной из самых интересных фигур среди поэтов конца сороковых годов был Хайрил

Анвар. Он умер в 1949 году двадцати семи лет от туберкулеза. Его бурная литературная деятельность длилась всего около семи лет, но влияние этого поэта на индонезийскую литературу велико и поныне. Характерный для прежней, довоенной, поэзии, основанный на старомалайских напевных ритмах, стих у Анвара обретает угловатость, упругость, яркую экспрессивность. Писал он и о героях, павших за свободу и независимость, и о революции, и о себе. В лучших его стихотворениях звучал голос антифашиста и патриота. Однако на творчестве Анвара лежит также заметный отпечаток индивидуализма и формализма.

Содержание послереволюционной прозы характеризуется, в первую очередь, антиколониальной направленностью и обращением к новым образам, прежде всего — к простому человеку. Однако само понятие «простой человек» в индонезийской литературе того периода было еще слишком условным, подразумевая не крестьян, не рабочих, а некоего, зачастую совершенно абстрактного, «простого человека» вообще, без конкретных социальных примет. Герои этих произведений чаще всего — представители деклассированных слоев общества. Таковы они в рассказах М. Балфаса, Ахдиата К. Михарджа, П. А. Тура и других.

Несколько особняком в послевоенной литературе стоит творчество Идруса, начавшего писать еще в 1942 году. Первые его рассказы не были пропущены японской военной цензурой.

Писатель, отлично владеющий литературной техникой, Идрус много размышлял о путях развития индонезийской литературы. Любопытны, в частности, его высказывания о влиянии русской литературы на индонезийскую. В 1948 году в журнале «Эхо событий» («Гема суасана») он писал: «Влияние России в области литературы ощущалось в Индонезии задолго до того, как Россия стала влиятельна в области политики». И далее: «В русской литературе индонезийцев привлекало то, что она вводила их в необычный мир выдающихся людей, крупных характеров, огромных просторов и мыслей, крушений и невыносимых страданий, огромной любви к родине и готовности к жертвам. Все «огромное» привлекало индонезийцев, потому что они в условиях колониального режима чувствовали себя незначительными и маленькими, а русская литература для них была единственным способом бегства от чувства собственной незначимости в большой мир».

Идруса часто называют основоположником прозы в литературе «поколения сорок пятого года». Но он принадлежал к той группе писателей, которые, приветствуя начало национальной революции, не смогли принять последовавшую затем долгую борьбу и найти в ней свое место.

Особо печальную известность получила его повесть «Сурабайя», где описывается высадка английских войск на Восточной Яве в ноябре 1945 года. Повесть составляют девять самостоятельных фрагментов: высадка англичан, сцены из жизни беженцев, бараки, грязь, люди, ночующие в конуре, голод, рассказ о поимке шпиона. Описание всего этого полно грубо натуралистических деталей. Идрус ждал революции как некоего чуда, при котором все творится само собой — без жертв, без страданий. Когда же она пришла, он не сумел увидеть в ней ничего, кроме мелких дрязг. Освободительная борьба представилась ему жестокой бессмыслицей.

■

Национально-демократическая революция в Индонезии шла сложным путем. За провозглашением независимости в 1945 году последовали бесчисленные провокации со стороны голландцев и англичан, а потом и прямая интервенция; последовала упорная, потребовавшая напряжения всех сил борьба за то, чтобы отстоять эту независимость, бесконечные переговоры с колонизаторами, разруха, неурожаи, голод.

В такой чрезвычайно сложной обстановке молодая буржуазно-демократическая индонезийская интеллигенция была подавлена, растеряна, напугана затяжным характером борьбы. Для литературы все это усугублялось еще и тем, что центр культурной жизни Джакарта долгое время оставалась в руках голландцев.

Но и в тяжелые эти годы новая литература не угасает. В частности, именно в это время в литературу вступает один из наиболее интересных и значительных писателей современной Индонезии Прамудья Ананта Тур.

В 1949 году после Конференции круглого стола голландцы, при поддержке правого

крыла индонезийской интеллигенции, создают свой «Орган культурного сотрудничества», так называемый «Стикуса», целью которого было расширение влияния колониальной культуры на молодую национальную культуру Индонезии. Начинается невиданный по размаху наплыв в Индонезию ковбойских фильмов, всякой детективно-порнографической бульварщины, худших образцов современного джаза.

Чтобы отстоять национальные традиции, национальную самобытность, революцию в культуре, в августе 1950 года по инициативе ряда прогрессивных представителей национально-демократической интеллигенции была создана так называемая «Лекра» (Общество народной культуры).

«Лекра» объединила и организовала передовые силы индонезийской интеллигенции. В отчетном докладе на первом национальном съезде «Лекры» говорилось: «Деятельность «Лекры» с самого начала была направлена на единение искусства с народным движением, народного движения с искусством». Именно в «Лекре» или вокруг нее выросли и первые кадры рабочих поэтов. С «Лекрой» так или иначе связана деятельность лучших представителей молодого поколения, выступившего в литературе в начале пятидесятых годов. Однако нужно заметить, что и до последнего времени ряд известных деятелей индонезийского искусства находится вне «Лекры». Среди них такие видные писатели, как Ситор Ситуморанг, А. К. Михарджа, или представители молодого поколения: Н. Нотосусанто, Рендра, Аип Росиди. Один из самых талантливых представителей молодого поколения индонезийских поэтов — Агам Виспи. Он родился на Северной Суматре в семье рабочего и долгое время сам был рабочим на плантациях каучука. Агам Виспи печатался в журналах «Заман бару» («Новое время»), «Бинтанг мерах» («Красная звезда») и других. В 1956 году он принимал участие в выпуске первого сборника стихов и рассказов поэтов «Лекры», вышедшего под названием «Рис и жасмин». В конце 1959 года вышел первый сборник стихов Виспи «Друг». В него входят стихи, написанные Виспи в 1958—1959 годах в ГДР. Чувством подлинного интернационализма проникнуто стихотворение «Рука шахтера». Автор рассказывает о встрече в трамвае с незнакомым немецким рабочим, который, протянув ему руку, спросил, откуда он родом, «...спросил и сам ответил тотчас: рабочие руки с тобою у нас. Неважно — из Африки ты или Вьетнама, Китая или другой страны... рабочий ты и рабочий я».

«Книгу «Друг» полезно прочитать всем,— писал в начале 1960 года ответственный секретарь «Лекры» Юбар Аюб,— особенно же той части индонезийской буржуазии, которая ничего не видит дальше глупого шовинизма и космополитизма». Неподдельным лиризмом и высоким художественным мастерством отличаются стихи С. Анантагуны, до сих пор, к сожалению, не собранные в одну книгу. Всегда актуальны стихи Румамбы — поэта, наделенного большим гражданским чувством.

Не менее интересно творчество другого молодого поэта, Соброна Айдита, который начал печататься еще в самом начале 50-х годов. Его первым стихам зачастую не хватало мастерства, но они были написаны с подлинным революционным пафосом и проникнуты горячей любовью к своей стране. В 1959 году вышел второй сборник его стихов под названием «Возвращение с боя».

Среди входящих в «Лекру» поэтов так называемого «старшего поколения» особое место принадлежит Клара Акустиа (псевдоним А. Дхарта, председателя «Лекры» до 1958 года) и Х. Р. Бандахаро (Банда Харахап). Творчество этих двух поэтов — заметное явление в современной прогрессивной индонезийской поэзии.

Клара Акустиа начал писать еще перед войной. В 1957 году вышел сборник его стихов «Напряженные секунды», в котором собраны его стихотворения последних десяти лет. Они посвящены жизни трудового народа («Песнь грузчика», «Рабочий», «Мы едины», «Великий май» и др.). Им написаны и стихи: «Против войны», «Салют мира», «Голубь мира», «7-е ноября», «Марш к социализму» и др.

Один из самых выдающихся современных индонезийских поэтов, Х. Р. Бандахаро был в числе основателей и руководителей отделения «Лекры» в Медане (Северная Суматра) в 1951 году, являющегося теперь крупнейшей культурной организацией на Суматре. Первые произведения Х. Р. Бандахаро появились еще до войны в известном в то время журнале «Новый писатель» («Пуджанга бару»). Незадолго до начала войны вышел его первый сборник стихов «Сарина и я». В нем говорилось о свободе, мечта о которой воплотилась в обра-

зе женщины — Сарины. После войны Х. Р. Бандахаро много печатался в журналах и газетах. В 1951 году, во время августовского террора Сукимана, Х. Р. Бандахаро был посажен в тюрьму. Здесь им написан цикл стихов, позднее вошедших в сборник «Из царства голода и любви». Цикл назывался «Иной мир» и начинался стихотворением «Всего один шаг»:

Двери разверзлись.
Один шаг.
Железный всхлип,
Лязгнула цепь.
О каменный порог брякнул гвоздь
башмака,
Два оборота ключа,
Жизнь оборвалась...

В тюрьме поэт неоднократно возвращался к темам, остро его волновавшим. «Чего я хочу? — задавал он себе вопрос.— Хочу я жить, не зная страха и голода, но отказавшись от мечты о мире и демократии?» И отвечал: «Нет!»

Летом 1960 года «Координационный центр национальной культуры», превратившийся в рупор реакционных кругов интеллигенции, при всем своем нежелании был вынужден все-таки присудить Х. Р. Бандахаро премию в области поэзии. В ответ на зверское убийство Патриса Лумумбы Х. Р. Бандахаро пишет стихотворение, начинающееся строками:

Он был убит
Палачами,
И кровь его, обагрив песок,
Стала пламенем,
Поднимающим континенты...

Крупнейшим мастером прозы в современной индонезийской литературе является Прамудья Ананта Тур.

С начала освободительной войны против голландских колонизаторов Тур работал военным корреспондентом. Он был схвачен голландцами и посажен в тюрьму, в которой пробыл почти два года (1947—1949). В тюрьме он работал над рядом произведений, вышедших позднее: сборником рассказов «Брызги революции» (1950), романами «Преследование» (1950), «Искалеченные» (1951) и другими. В 1950 году выходит его роман «Семья партизана», действие которого развертывается в годы японской оккупации.

В ранних своих произведениях Прамудья Ананта Тур, как и некоторые другие писатели, еще стоял на позициях так называемого «универсального гуманизма». Помимо отказа от насилия, понятие универсального гуманизма включало в себя принцип «всеобщего сочувствия», то есть равно дружеского внимания ко всякому человеку. Сторонники «универсального гуманизма», исходя из того, что независимость уже достигнута, требовали отказаться от общественной борьбы, уйти в область отвлеченных нравственных проблем, призывая заниматься «улучшением человеческой личности».

В последнее время Тур много внимания уделяет переводческой деятельности — его перу принадлежат переводы на индонезийский язык «Матери» М. Горького, «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого и других произведений русских и советских писателей.

Туром написано много романов, повестей, рассказов, критических статей по разным вопросам, начиная от политических и кончая вопросами сугубо литературными. Его произведения не раз удостаивались литературных премий (например, «Рассказы о Блоре» — 1952 год, «Джакартские рассказы» — 1960 год и др.).

Одно из последних произведений Тура — повесть «Однажды в Южном Бантене». Тема повести — борьба с бандами Дарульт-Ислам, которые все еще мешают нормальной жизни Республики. Ярко изображен в повести богатый помещик Муса — главарь шайки бандитов, который держит в страхе всех крестьян округа. Нужно сказать, что такой обобщающий образ помещика-эксплуататора — новое явление в индонезийской литературе. Интересны также образы бедняков крестьян Ратны и его жены Иренг. Ново и то, что роман кончается победой Ратны — бедного крестьянина — над Мусой. Ратна восстает против угнетателя и с помощью солдат национальной армии ловит главаря шайки.

Среди современных индонезийских драматургов наиболее известен Утуи Татанг Сонтани, знакомый советскому читателю по переводам его пьес — «Цветок кафе» и «Си Кабайян». Утуи начал писать незадолго до второй мировой войны на сунданезском языке. Его пьесы написаны в повествовательной форме — как короткие рассказы, в которых только подзаголовок «в стольких-то действиях» говорит, что перед нами драматическое произведение. Такова его комедия в двух действиях «Си Кабайян». Герой пьесы Кабайян (очень популярная фигура сунданезского фольклора) — ленивый, хит-

рый плут, который ловко обманывает земляков, уверяя их в своей способности излечивать любые болезни.

Интересно также творчество и другого крупного современного драматурга Бахтиара Сиагиана. Первая его пьеса «Закоулок» появилась в 1950 году. В ней говорилось о поражении революции, о крушении надежд, об отчаянии. Однако уже следующая его пьеса, вышедшая в 1954 году, «Любящие», была не столь пессимистична. В ней выведен крестьянин-коммунист, рассказано о борьбе крестьян за землю. Б. Сиагиан участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште и, возвращаясь оттуда, посетил Италию. Индонезийские критики считают, что знакомство с итальянским неореализмом, с творчеством Витторио Де Сика и Де Сантиса оказало большое влияние на Сиагиана. Вернувшись на родину, он начинает работать в области кино, сам режиссируя и сам снимая фильмы по собственному сценарию. Так вышли его фильмы «Черты мира», «Жасмин в сумерках» и другие. В последние годы Б. Сиагиан снова возвращается к драматургии, не оставляя, впрочем, и кино. Написанная им в 1959 году пьеса «Красные камни долины Мерапи» рассказывает об индонезийских патриотах, замученных мятежниками на Суматре. Впервые эта пьеса была поставлена на сцене осенью 1959 года и за один лишь год обошла сцены самодеятельных театров Джакарты, Медана, Бинджея и других городов Явы и Суматры.

Бахтиар Сиагиан пишет не только пьесы и сценарии, но и рассказы. Один из его лучших рассказов — «Пенсия» — о старом машинисте дядюшке Касио, который пожертвовал жизнью в борьбе за освобождение, получил в январе 1961 года литературную премию за лучший рассказ.

Герои пьесы молодого суматранского драматурга Зубира А. А. «Песнь рассвета» — раненые патриоты-коммунисты, среди которых девушка Тини и ее жених Уда, заключены мятежниками в концентрационный лагерь. После долгих издевательств мятежники заставляют заключенных копать себе могилы. Тини и Уда отказываются и умирают с пением «Интернационала».

■

«Народ — единственный творец истории, единственный создатель культуры. Построить культуру новой Индонезии может только народ»,— так был сформулирован принцип, положенный в основу всей деятельности «Лекры». «Лекра» утверждает, что искусство не может быть оторвано от жизни общества, от политики, оно должно быть политически актуально и непримиримо бороться против колониалистской, против империалистической культуры.

В начале и середине пятидесятых годов в Индонезии существовало несколько литературных журналов, объединявших вокруг себя молодых писателей и являвшихся более или менее постоянной опорой для молодой литературы. Это — «Индонесиа», «Кисах» («Рассказ»), «Зенит», «Заман бару» («Новое время») и другие. Сейчас все эти журналы, кроме «Заман бару», прекратили свое существование. «Заман бару» — орган «Лекры» — является ныне одним из ведущих журналов по вопросам искусства и культуры в Индонезии.

В январе 1959 года в городе Соло состоялся конгресс «Лекры». Он явился крупнейшим событием в культурной жизни страны. На заключительном заседании выступил президент республики доктор Сукарно.

Одним из самых важных организационных решений конгресса было решение об изменении структуры «Лекры». Из единой организации «Лекра» превратилась в объединение семи обществ: Общество индонезийской литературы, Общество изобразительного искусства Индонезии, Общество кино, драмы и т. д. Председателем Общества индонезийской литературы является сейчас Прамудья Ананта Тур. Конгресс еще раз подтвердил, что политика и культура неотделимы. Конгресс высказался за запрещение атомного и водородного оружия, за широкий культурный обмен между странами, за отмену вложения иностранных капиталов в промышленность Республики, за снижение цен на книги.

Уже после конгресса, в ходе практической работы, были точно сформулированы основные начала борьбы за развитие национальной культуры. Это, прежде всего, развитие «вглубь и вширь», руководствуясь общим принципом «двух высот» и рабочим методом «спуститься вниз». Принцип «двух высот» — сочетание высоты художественного мастерства с высотой идеологического содержания. Рабочий метод «спуститься вниз» означает обязательное участие писателя в каждом событии жизни народа.

В сентябре 1959 года «Лекре» после долгой борьбы удалось организовать собствен-

ное издательство, правда, поначалу очень скромное. Организаторами было объявлено, что издательство намерено печатать книги в основном индонезийских авторов, а также переводы на индонезийский язык произведений литератур народностей архипелага и переводы из прогрессивной иностранной литературы. За полтора года в переводе на индонезийский язык были изданы, в частности, сборник стихов болгарского поэта Николы Вапцарова, роман вьетнамского писателя Нгуен Нгока, сборник рассказов А. П. Чехова (в переводах Прамудьи Ананта Тура и его брата Кусалаха Субагио Тура), сборник рассказов румынского писателя Александра Сахаи и другие.

Итог почти двухлетнему проведению в жизнь решений конгресса подвел состоявшийся в конце августа 1960 года пленум руководства «Лекры».

В речи на пленуме ответственный секретарь «Лекры» Ю. Аюб говорил, что за период, прошедший со времени конгресса в Соло, значительно укрепились позиции национальной культуры, выросли новые молодые кадры. Однако империалистическая культура все еще господствует в некоторых областях культурной жизни страны. За последнее время усилились голоса сторонников лозунга «Прочь политику из искусства и науки!», направленного против основного лозунга съезда «Лекры» — «Политика — вот наш полководец».

В области культурного строительства все еще остро ощутима нехватка средств. Недостает школ, музеев, театров, картинных галерей. Однако, как отмечалось на пленуме, только за год, прошедший с осени 1959 года, было сделано немало. В частности, выпущены новые книги, отвечающие на самые насущные вопросы, стоящие перед индонезийским народом. Впервые в Индонезии вышел сборник рассказов из жизни рабочих под названием «Красная лента». В него вошли рассказы Бахтиара Сиагиана, С. В. Кунчахьо*, Зубира А. А. и других индонезийских писателей, а также рассказы зарубежных авторов — А. М. Горького, Эрскина Колдуэлла, Саада Мустафы. Борьбе за мир был посвящен сборник «Поэт и мир», где наряду с переводами стихов Хикмета, Поля Элюара и других были помещены произведения индонезийских поэтов К. Акустиа, Рисакотта, С. В. Кунчахьо.

Интересны также сборник стихов индонезийских поэтов, посвященный демократической Корее, «Высота 1211» и сборник коротких рассказов молодой писательницы С. Сисвади «Рай на земле». Рассказ «Второй человек» повествует о жизни деревенской партийной ячейки, о работе ее активистов. Это одно из первых произведений о повседневной жизни и борьбе индонезийских коммунистов.

В ноябре 1961 года к 35-ой годовщине национального восстания 1926 года издательство «Лекры» выпустило сборник рассказов под названием «Пламя 1926 года». В сборник вошли рассказы Агама Виспи, С. Анантагуны, Сугиарти и др. Известные поэты А. Виспи и С. Анантагуна впервые выступают здесь как прозаики.

В одной из статей в журнале «Заман бару» («Новое время») в сентябре 1960 года говорилось: «Наша деятельность должна являться штыком, заточенным с двух сторон — против феодальной культуры и против упадочной империалистической культуры». И в этих словах очень ясно определены задачи, которые стоят перед прогрессивной индонезийской литературой на ближайшее будущее.

---

* Молодой рабочий-поэт. Его стихи всегда очень актуальны: нет ни одного важного события, на которое он бы не откликнулся. Широко известны его стихи «140 лет со дня рождения Маркса», «Сердце и цветы Никите» (1960) и др. В январе 1961 года получил премию газеты «Хариан ракьят».

Л. ЧЕРНАЯ

В СТРАХЕ ПЕРЕД БРЕХТОМ

Со смерти Бертольта Брехта — одного из крупнейших драматургов современности — прошло уже более пяти с половиной лет.

И все эти пять с половиной лет вокруг его имени на Западе разыгрывается нелепый и недостойный фарс. Смысл его первого акта заключался в том, чтобы фальсифицировать творчество и жизненный путь коммуниста Брехта, противопоставить его всей литературе социалистических стран, найти в нем какую-то «червоточину». Перекрасить «красного» Брехта хотя бы в розоватый цвет буржуазного либерализма или в безрадостно-серый цвет декаданса.

Действующими лицами этого акта были реакционные литературоведы и театроведы, критики и исследователи в Западной Германии и Америке, Франции и Англии. Они действовали по методам иезуитов. На словах клялись в любви к Брехту, на деле клеветали на него. На словах воспевали его талант, на деле пытались опорочить писателя. Хотя все эти господа обладали эрудицией и, если так можно выразиться, приличными манерами, представление, которое они дали, оказалось самого дурного вкуса. Жонглирование словами, передержки, дешевые трюки, словесные пируэты, а под занавес — клеветнические выпады против Советского Союза, против друзей и соратников Брехта...

Но вот мышиная возня несколько поутихла. Начался второй акт фарса. Время действия 1961—1962 годы. Место действия — ФРГ. За сценой слышатся истерические вопли бывших нацистов, топот новобранцев из бундесвера, отрывистые выкрики старых генералов Гитлера. Глобке от литературы призывают к новому походу против коммунизма... Вот тот политический фон, на котором разыгрывается ныне антибрехтовский фарс. Пока произнесены первые монологи. Автор одного из них некий Фридрих Торберг озаглавил свой монолог «докладом» из цикла «Спорные вопросы критики в ФРГ». Западногерманский ежемесячник «Монат» услужливо перепечатал доклад-монолог Торберга, снабдив его соответствующей шапкой: «Надо ли играть Брехта на Западе?».

Фридрих Торберг начинает с того, что самым решительным образом открещивается от всех, кто выступал в первом акте антибрехтовского спектакля. Перекрашивать Брехта Торберг считает совершенно бесплодным делом. Бертольт Брехт, заявляет он, был приверженцем коммунизма, «и здесь ничего не изменишь». «Он поставил и свое творчество и свою личность, которые почти не отделимы друг от друга... сознательно и бесповоротно на службу делу коммунизма и во имя этого дела агитировал, где только мог». «Западные критики,— с иронией продолжает он,— не устают выискивать какие-то непонятные признаки оппозиционности Брехта и с триумфом демонстрируют их... Я утверждаю, что их усилия, какими бы трогательными они ни были, являются бесплодными; непонятно, что можно доказать с помощью жалких результатов этих усилий». «Брехт,— заявляет Торберг,— всегда остается Брехтом, нельзя сделать из него ничего иного».

Такова первая часть монолога Торберга, весьма связная и по-своему достаточно логичная. Во второй части Торберг становится куда более косноязычным. Нетрудно догадаться почему. Его душит злоба. От злобы он заикается и запинается. Но даже из бессвязных фраз Торберга ясно: тысячи и тысячи людей заполняют театральные залы, где идут брехтовские спектакли. Люди в ФРГ жадно прислушиваются к словам Брехта, всю свою жизнь клеймившего алчных толстосумов, поборников войны и фашистских тупиц, посягающих на жизнь всего человечества. «Каждая брехтовская премьера,— задыхаясь от ярости, говорит Торберг,— превращается в... демонстрацию и, тем самым, в победу коммунистических идей». «Блеск достижений Брехта, его слава служат рекламой для коммунистов... Каждым своим словом он агитирует...»

Из всего вышеизложенного Торберг делает вывод: необходимо раз и навсегда

запретить Брехта в государстве Аденауэра! Запретить все его пьесы — и «Матушку Кураж», и «Пунтилу», и «Сны Симоны Машар», и «Швейка», и «Галилея», и «Святую Иоганну скотобоен»! Запретить!.. Впрочем, что там «Галилей» или «Матушка Кураж»! «Даже если бы Брехт сочинил «Маленького гусенка» (детская песенка, наподобие «Серого козлика»), то и тогда,— заявляет во всеуслышание Торберг,— это было бы коммунистической пропагандой». Лучше и нарочно не придумаешь! Не дай бог, Брехт действительно написал бы песенку о гусенке:

Маленький гусенок
пошел один
в темный лес...

То-то было бы хлопот у Фридриха Торберга!

Впрочем, не весь его монолог так прямолинеен и откровенен. Время от времени он даже делает реверансы в сторону Брехта, уверяя, что считает его «очень крупным писателем». А в одном месте своего доклада Торберг вдруг начинает божиться, что не ярая ненависть к прогрессу, а только «грустные обстоятельства» вынудили его стать держимордой. Он-де, как западный демократ, просто придерживается иных правил игры, чем коммунисты. Он-де играет в «футбол», а социалистический мир — в «регби». Схема этих «спортивных» рассуждений весьма несложная: в странах социализма, мол, издают только писателей-коммунистов, и Торберг и иже с ним вынуждены поэтому «принять контрмеры».

Что можно сказать по этому поводу? Думается, даже из западногерманской прессы господин Торберг мог бы почерпнуть сведения о том, какими гигантскими тиражами издаются в Советском Союзе такие писатели, как Томас Манн, Хемингуэй, Мориак, Колдуэлл, Грин и многие, многие другие, в ком и он вряд ли заподозрил бы коммунистов.

Нет, нет! Даже когда Торберг рассуждает о регби и футболе, его слова пахнут отнюдь не «истовым спортивным потом», да простит нам некоммунист Бёль, что мы приводим его выражение. От слов Торберга совершенно явственно тянет терпким запахом гари... Гарью костров, на которых горели книги в гитлеровской Германии.

Антибрехтовское представление, которое разыграли Торберг и журнал «Монат», никак не выдашь за премьеру. Премьера состоялась уже давно, в годы нацизма. Читая «Монат», призывающий запретить в Германии Бертольта Брехта — славу и гордость немецкой литературы, невольно возвращаешься мыслью к гитлеровскому прошлому, к временам, когда провозглашалось: «мы варвары и хотим быть варварами», «надо заменить образованного человека солдатом», когда нацистские гаулейтеры издавали приказы, вроде: «Сим объявляю, что до истечения лета все негерманские книги в 700 публичных библиотеках должны быть сожжены...»

Но, быть может, Торберг, повторяющий сегодня зады фашизма,— какое-то чудовищное ископаемое в Западной Германии? Быть может, журнал «Монат» предоставил свои страницы этому неонацисту только в качестве курьеза? К сожалению, это не так. Антибрехтовская кампания приняла в ФРГ громадный размах. Вот краткий, отнюдь не исчерпывающий, перечень актов произвола в отношении пьес Брехта.

Тюбингенский театр снял с репертуара драматические сцены Брехта «Страх и отчаяние в третьей империи».

Дирекция гамбургской Государственной оперы отменила премьеру оперы Вейля по пьесе Брехта «Возвышение и падение города Махагони».

Билефельдский драматический театр отказался ставить включенную в репертуар пьесу Брехта «Кавказский меловой круг».

Западноберлинский драматический театр имени Шиллера исключил из репертуара премьеру пьесы «Господин Пунтила и его слуга Матти». Комментируя этот факт, газета «Вельт» сообщила: «Не может быть сомнений, что пьесы Брехта совершенно не подходят для Западной Германии».

Любекский театр отклонил премьеру пьесы Брехта «Трубы и литавры».

Реакция во всей ФРГ подняла дикий вой, добиваясь отмены премьеры спектакля «Святая Иоганна скотобоен» в постановке драматического театра в Ульме.

Франкфуртский комитет ХДС выступил с требованием отменить репетиции пьесы Брехта «Жизнь Галилея» в городском театре Франкфурта-на-Майне.

В западноберлинской газете «Тагесшпигель» появилась статья, предлагающая «наложить карантин на Брехта».

Нетрудно себе представить, что стоит за каждым фактом отмены этих постановок. Шантаж, запугивание, угрозы — явные и анонимные, обвинения в пособничестве коммунизму...

В свое время гитлеровцы изгнали Брехта из Германии. Через двадцать девять лет после этого их последователи, обуянные страхом перед всем прогрессивным, пытаются искоренить брехтовский дух в Федеративной Республике.

Мы понимаем, конечно, что второй акт антибрехтовского фарса, разыгрываемый ныне в Западной Германии,— только начало. Встав на путь идеологической подготовки новой войны, на путь подавления всех прогрессивных сил в стране, нынешние западногерманские «деятели культуры» неизбежно должны вернуться к проскрипционным спискам Гитлера. Кто следующий? Кого они запретят после Брехта?

ЙОЖЕФ ДАРВАШ

ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Мы отмечаем девяносто вторую годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Девяносто вторая годовщина — не «круглая» дата, и все же для нас она как нельзя более знаменательна. Прошло несколько месяцев с тех пор, как закончился исторический XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, или «Съезд строителей коммунизма», каким он. несомненно, и войдет в историю. Этот съезд вознес победоносное знамя Ленина выше, чем любой предыдущий, и сегодня нельзя говорить о XXII съезде, не обращаясь мыслями к Ленину. Ведь и в наших успехах, и в наших светлых перспективах — во всем том, что нашло свое выражение в отчетном докладе XXII съезду, в новой Программе Коммунистической партии Советского Союза, в выступлениях делегатов и принятых решениях — проявляется мироформирующее значение ленинского учения, ленинского революционного наследия.

Во время съезда я жил — и, думаю, так жили очень многие — в нетерпеливом ожидании каждого следующего утра, в ожидании газет, где можно будет прочитать очередной отчет о работе съезда; я словно бы попал в поток событий, о которых повествуется в захватывающем романе. Если бы мне пришлось очень кратко ответить на вопрос, каково было мое самое основное личное чувство, когда я читал материалы съезда, я сказал бы: ощущение величия.

Но когда я произношу это слово «величие», я думаю не только о задачах, сформулированных в новой Программе партии. Не только о тех неслыханно смелых и в то же время реальных дерзаниях, которые за эти двадцать лет строительства коммунизма превратят Советский Союз в самую развитую во всех отношениях страну мира. Конечно, я думаю и о них: ведь в значительной мере именно осуществление этих задач — бурное развитие промышленности, сельского хозяйства, техники, науки, культуры, рост народного благосостояния — и является строительством коммунизма. Но я думаю и о другом: о величии гуманизма, которым проникнуты решения съезда, о высокой ответственности за судьбы всего человечества, о мужественной постановке вопросов и принципиальной последовательности, о творческом развитии марксизма-ленинизма.

«Все для человека, все во имя человека» — таков один из принципов новой Программы, принятой съездом, и это характеризует весь съезд. Вера в человека. И не только вера в то, что миллионы, сотни миллионов людей можно вести в бой за лучшую жизнь, за достижение высот коммунизма,— это также вера и в то, что судьба человека в мире не безнадежна: XXII съезд разбил реакционные философии, провозглашающие безнадежность судеб человечества. Неопровержимым аргументом против них является каждое новое достижение коммунистического строительства.

Для меня самым волнующим представляется, пожалуй, тот раздел новой Программы партии и доклада товарища Хрущева, где говорится о формировании нового человека, человека коммунистического общества Это человек, гармонически сочетающий в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Это человек, который начисто отверг волчью мораль капитализма и способен утвердить в мире разумный порядок. Не принуждение и не внешние законы, а внутренняя дисциплина

и сознательность делают этого человека активным членом трудового общества. До сих пор такой тип человека жил в утопиях, в воображении смелых фантастов, а сейчас он формируется у нас на глазах. Коммунистическое общество, поднимающее людей на такую высоту, открывает перед всем человечеством исполненное светлых надежд будущее.

Нынешняя международная обстановка крайне напряжена. Альтернатива — война или мир — никогда не была для человечества столь волнующей, как в нашу эпоху. Ведь разразись сейчас новая война, она неизбежно стала бы войной термоядерной и принесла бы неизмеримые бедствия и страдания. Те, кто уполномочен сегодня решать — быть миру или войне, несут беспримерную в мировой истории тяжесть ответственности. И в работе XXII съезда чувствовалась эта огромная ответственность за судьбы человечества. Политика Советского Союза со времени победы Великой Октябрьской социалистической революции была политикой мира. И она основывается не на тактических соображениях, а на самой сущности социалистического строя. Не страх или слабость диктовали эту политику, а гуманное сознание величайшей ответственности. Уже во второй мировой войне Советский Союз доказал, что он может устоять против любых сил в навязанной ему войне и выйти из нее победителем. И если это было так в те дни, тем более это бесспорно сегодня, когда силы Советского Союза неизмеримо возросли, а социалистическая система стала мировой общественной системой.

Сейчас уже представляется абсолютной истиной, что, если империалисты развяжут войну, она кончится полным разгромом капитализма. Но тот, кто верит в свою правоту, торжество своего строя, не станет стремиться обеспечить конечную победу такой ценой — ценой уничтожения сотен миллионов людей. А коммунисты беспредельно верят в свою правоту. Глубоко заблуждаются те псевдомарксисты, которые клянутся в «верности идее», и в то же время трубят о неизбежности войны, надеясь, что окончательная победа социалистического строя будет обеспечена в результате третьей мировой войны. Эти «леваки», по существу, льют воду на мельницу наиболее агрессивных кругов Запада и провозглашают политику авантюризма. Между тем, марксизму-ленинизму чужд всякого рода авантюризм. Именно поэтому XXII съезд КПСС и был пронизан таким всепокоряющим пафосом ответственности за человечество.

Признаюсь, вначале для меня было несколько неожиданным, что съезд уделил так много внимания критике культа личности и порожденного им догматизма. Но затем стали ясны взаимосвязи: лишь при последовательном проведении в жизнь ленинских принципов возможно выполнить двадцатилетнюю программу построения коммунизма и вообще построить коммунизм. И для этого необходимо было убрать прочь с дороги все остатки тяжкого наследия культа личности и догматизма. Это подтверждается не только теоретическими выводами, но и самой жизнью, прежде всего теми необычайно ускорившимися темпами развития, которые наблюдаются в Советском Союзе после XXII съезда.

Скажу и о своих собственных впечатлениях. После освобождения Венгрии я бывал в Советском Союзе неоднократно, как до XX съезда КПСС, так и после него. Невозможно было не заметить великую перемену, которая произошла в стране, она просто бросалась в глаза: бурный ритм жизни, стремительный подъем жизненного уровня трудящихся, возникновение словно из-под земли гигантских новых жилых кварталов.

Как сказал на съезде товарищ Хрущев, реальность каждой цифры в двадцатилетнем плане построения коммунизма всесторонне проверена путем различных сопоставлений и выкладок. И я не сомневаюсь, что наряду со строгим и реалистическим учетом сырьевых баз, производственных мощностей, источников энергии учитывалось и то, что не измеряется цифрами, с трудом укладывается в отчеты и все же является колоссальным резервом. Это — творческая активность масс, невиданно возросшая после XX съезда КПСС в живительной атмосфере доверия к людям. XXII съезд провозгласил окончательную победу духа XX съезда. Думаю, что значение этой победы не только для Советского Союза и социалистических стран, но и для революционного рабочего движения во всем мире мы еще полностью не оценили.

Идейная чистота — наше самое сильное оружие,— сказал на съезде товарищ Хрущев. XXII съезд явился великолепным примером борьбы за идейную чистоту.

Довольно много говорилось на съезде и о литературе — в первую очередь, естественно, не о специфических проблемах литературы, не о вопросах эстетики, а о том,

каковы роль и долг литературы, писателей в коммунистическом строительстве, в формировании человека коммунистического общества, в защите мира и человеческого прогресса.

Мы, писатели, часто склонны рассматривать вопросы литературы слишком узко и, я бы сказал, келейно; между тем, истина состоит в том, что даже самые специфические литературные проблемы могут быть рассмотрены правильно лишь в великой перспективе борьбы за человека. Необычайно сильное впечатление произвела на меня высказанная на съезде Твардовским мысль о том, что задача литературы не в иллюстрировании действительности, а в показе новых взаимосвязей и отношений людей, становления человеческих душ, в глубоко правдивом изображении жизни.

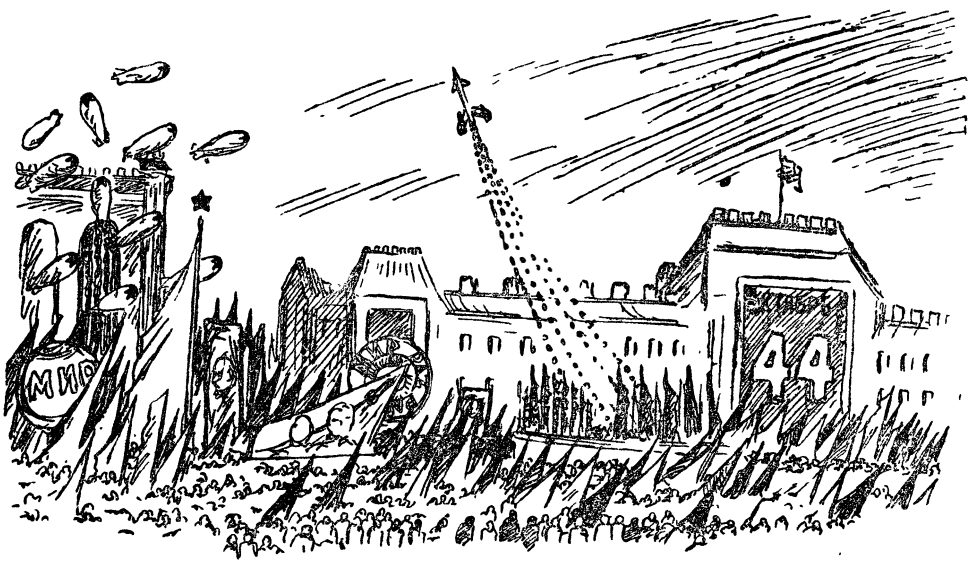
Конечно, так писать может лишь тот, кто способен полностью и искренне слиться воедино с новым преобразующимся и формирующимся миром, лишь тот, кто постоянно движим стремлением открыть эту новую действительность. Шолохов в своей страстной и остроумной речи, говоря о связях писателя с жизнью, с действительностью, был настроен довольно критически. И, видимо, Шолохов имеет для этого основания. Он сам, его произведения убедительно подтверждают, что нет и не может быть ни великой писательской жизни, ни великого произведения без подлинной, кровной близости писателя к действительности. Такая близость необходима для творческого роста, и только она является почвой для больших поэтических откровений.

Воплощение в жизнь духа XXII съезда открывает для писателя еще большие возможности, ибо окрыляет творческую фантазию. Но наряду с большими возможностями я хотел бы подчеркнуть и большую ответственность. Писатель обязан бороться во имя великих идей, от торжества которых зависят судьбы всего человечества.

Я назвал статью «Праздник человечества», но почти ничего не сказал о годовщине со дня рождения Ленина. А между тем, у меня такое чувство, будто я все время говорил именно об этом — о его живом наследии, которое непрерывно обновляется в сегодняшних и завтрашних победах марксизма-ленинизма. Пример этому — XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.

Г. БУДАПЕШТ

Зарисовка мексиканского художника АДОЛЬФО КИНТЕРОСА, сделанная в результате поездки в Москву в ноябре 1961 года и присланная в редакцию «Иностранной литературы».



5 МАЯ 1962 г.

50 лет „ПРАВДЕ"

ПЬЕР КУРТАД

ГАЗЕТА, КОТОРОЙ ВЕРЯТ МИЛЛИОНЫ

У «Правды» много миллионов читателей — и в СССР и за его пределами. Среди моих знакомых есть человек, который выучил русский язык в тюрьме, чтобы читать «Правду». Я вспоминаю о том впечатлении, которое произвел на меня во время войны старый номер «Правды», попавший в Париж. Он прошел, вероятно, долгий путь с морским конвоем из Мурманска и затем был тайно доставлен из Англии.

В эти годы судьба всего человечества каждый день определялась публиковавшимися в «Правде» военными сводками, ведь от «русского фронта» зависела наша жизнь и наши надежды.

Я вспоминаю, какое чувство испытывал, складывая буквы, образовывавшие слово «Правда». Я едва мог прочесть это слово, но уже тогда знал, а с тех пор окончательно понял, какое глубокое и символическое значение имеет название славной газеты Коммунистической партии Советского Союза не только для советских читателей, но и для сотен миллионов людей во всех странах, которые носят его в своем сердце.

Да, иногда я думаю, что не только на русском языке следовало написать на первой полосе «Правды» лозунг Марксова Интернационала: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Не только на всех языках народов Советского Союза, но и на языках всех людей, которые трудятся и страдают, всех свободных людей и всех народов, которые находятся еще в капиталистическом или в колониальном рабстве.

Как журналист, я, конечно, прекрасно понимаю, что ни один типограф не возьмется разрешить проблему верстки, которая раскрывала бы во всей полноте то, что символизирует имя «Правды» для пролетариев всего мира... Да и не только для пролетариев, но и для всех людей, которые искренне желают мира; для всех людей, которые думают, что читатели «Правды» и читатели «Нью-Йорк таймс» могут и должны жить мирно на одной и той же Земле...

Откуда у «Правды» такое влияние, почему она окружена такой любовью? Разгадка прежде всего в том, что имя газеты неразрывно связано с именем Ленина. «Правда» для нас — это прежде всего газета Ленина, и не только Ленина — руководителя партии большевиков, но и Ленина-журналиста. Ленин высоко держал знамя журналистики. Мы, журналисты-коммунисты, гордимся тем, что, когда у Ленина спросили, какова его профессия, он по праву ответил: «журналист». И какой журналист! Некоторые статьи Ленина были написаны для «Правды» почти пятьдесят лет назад. Многие проблемы, которые он поднимал, уже разрешены, от людей, которых он клеймил, и от некоторых их заблуждений осталось лишь воспоминание, а строки его по-прежнему пылают, и каждое слово разит, как пуля.

В чем был секрет Ленина-журналиста? Ответ на этот вопрос, который, как мне кажется, должен задать себе каждый журналист,— в самом названии ленинской газеты: правда. Секрет Ленина-журналиста в том, что правда для него революционна. Ленин говорит все, что должно сказать, все, что служит делу революции. То, что он пишет, вдохновляет, захватывает, и в то же время Ленин уважает своих читателей настолько, что считает их способными отличить зло от добра. Он не скрывает от них доказательства, которыми пользуется враг. Прежде чем их опровергнуть, он спокойно выставляет их напоказ. Он говорит: «Вот противник, рассмотрите его хорошенько». Потом срывает с него маску. Таков стиль, служащий примером коммунистической журналистики, которая должна способствовать тому, чтобы народ знал всю правду и мог сам делать из нее выводы. Вот каков стиль журналистики, доверяющей своим читателям, вот каким он должен быть.

«Правда» для нас — символ такой журналистики, образец советской, ленинской журналистики, которая каждый день дает миру предметный урок правды, человечности, честности. Если бы я должен был придумать для «Правды» рекламный плакат, мне кажется, я написал бы такую простую фразу: «Вы можете верить «Правде».

Разумеется, это не значит, что мы, журналисты-коммунисты, полагаем, будто наши газеты должны механически подражать «Правде». В каждой стране существуют свои формы журналистики, своя публика со свойственными ей вкусами. Было бы нелепо не считаться с этим. В капиталистических странах, особенно в западных, за последние сорок лет в журналистике стало традицией привлекать внимание читателя такой версткой, такими заголовками и фотографиями, словом, такими средствами, которые, по меньшей мере, не имеют ничего общего с приемами журналистики, к каким привыкли читатели «Правды».

Да, я признаю, наши коммунистические газеты в капиталистических странах тоже используют методы подачи материала, принятые в буржуазной печати. Мы тоже даем «сенсационные заголовки», тоже публикуем фотографии красивых девушек рядом с самыми важными международными сообщениями. Но, используя подобные средства привлечения читателя, мы стремимся вырвать это оружие у капиталистической прессы, лживой прессы, и повернуть его против нее самой. Мы остаемся неколебимо верными моральным и политическим принципам коммунистической журналистики, примером которой всегда остается для нас «Правда».

У меня перед глазами репродукция с первого номера «Правды» от 22 апреля (5 мая) 1912 года. Пятьдесят лет прошло с того дня, когда это издание, которому суждено было стать самой значительной газетой в мире, скромно и гордо назвало себя «рабочая газета».

В то время сама идея «рабочей газеты» казалась абсурдной, представлялась словесной бессмыслицей «людям серьезным», то есть тем, кто думал, что мир не изменится никогда. Сегодня «серьезным людям» в редакциях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, в странах, где еще господствует капитализм, приходится каждое утро начинать с вопроса: «Что пишет «Правда»?» — и этот простой вопрос дает нам возможность измерить величие нашей победы.

То, что пишет «Правда», это — история века, века коммунизма.

АНДРЕ СТИЛЬ

СУЖДЕНО ЛИ ФРАНЦИИ «ГНИТЬ НА КОРНЮ»?

Не знаю, есть ли в юном Ламорлете что-либо от героя романа, кроме старомодного имени, но то положение, в котором он оказался 9 января в 8 часов, было в высшей степени красноречивым и вполне в духе нынешней французской литературы, с ее черно-серыми тонами и культом одиночества.

В тот день бастовал весь департамент Авейрон, включая преподавателей и учащихся лицеев. И в лицее имени Фоша в Родезе маленький Ламорлет был в полном одиночестве. Дело в том, что он — сын префекта этого департамента.

Пожалуй, никогда еще, даже в 1936 году, в эпоху Народного фронта, население целой области Франции не выступало столь единодушно против пагубной политики правительства. Речь идет о событии, которое, без всякого сомнения, получило бы еще больший резонанс, если бы у нас не раздавались каждую ночь взрывы «пластик» *, если бы бдительность широких народных масс и их стремление к единству действий не были обращены в первую очередь против новой угрозы фашизма.

Это произошло в одном из тех районов Франции, где существующее положение вещей восходит к далекому прошлому и имеет поистине глубокие корни. Еще в августе 1869 года Виктор Гюго писал:

«А сколько лет тебе? Где родина твоя?» —
«Шестнадцать минуло. Жила в Обене я...»
«Обен? Там, кажется, шахтеры бунтовали?» —
«Нет, бунта не было. Нас просто убивали».—
«Что добывают там, скажи?» —
«Голодный мор...»—
«Да, каторжник живет счастливей, чем шахтер...»

Шахты Обена, где тогда, почти сто лет назад, во время демонстрации были убиты пятнадцать мужчин, женщина и ребенок, пришли в упадок, утверждают сегодня те, кого шахтеры здесь всегда официально называли даже не «хозяевами», а «эксплуатирующими», имея в виду, надо думать, не только эксплуатацию недр земли. И вот эти шахты, а заодно и весь бассейн Авейрона собираются закрыть до 1965 года — решение, поистине достойное деголлевской «политики величия».

В знак протеста все шахтеры бассейна объявили «забастовку внизу», и вот уже около двух месяцев не поднимаются на поверхность *. Туда, на глубину в 200 метров Карл XI ** с царственным юмором послал им добрые пожелания к рождеству и к Новому году.

Они сумели выстоять, потому что были не одиноки. Все их профсоюзы — Всеобщая конфедерация труда, Конфедерация христианских трудящихся, «Форс-увриер» — выступили единым фронтом; в поддержку шахтеров была объявлена всеобщая забастовка; 9 января в Деказвиле состоялась беспрецедентная демонстрация, в которой приняли участие 30 000 человек, а молодежь, усевшись на рельсах, не пропускала в течение двух часов скорый поезд «Париж — Тулуза».

После этих событий триста семь мэров департамента Авейрон из солидарности с

* Мягкая взрывчатка, применяемая террористами из ОАС.

* Статья А. Стиля была получена нами до того, как шахтеры Деказвиля, вынудив своей героической борьбой французское правительство пойти на уступки, поднялись на поверхность. Тем не менее, редакция полагает, что наши читатели с интересом прочтут статью известного французского писателя-коммуниста, рассказывающую об этом героическом эпизоде классовой борьбы французских рабочих.

** Подразумевается Шарль де Голль.

шахтерами Деказвиля решили подать в отставку и, пока отставка не будет принята, начать забастовку администрации. По примеру Мориса Тореза, выступившего от имени коммунистической партии, которая, разумеется, безоговорочно поддерживала стачечников, все двадцать четыре депутата от этого департамента, представители различных политических направлений, потребовали открытия переговоров, которых добиваются шахтеры. Движение распространилось на 19 департаментов центра и юго-запада, объявивших 26 января 1962 года днем солидарности. Бастующих поддерживает вся страна и в особенности шахтеры: в угольных бассейнах департаментов Нор и Па-де-Кале 17 января, а затем и на шахтах восточных районов были проведены 24-часовые забастовки. На всех предприятиях страны в помощь бастующим собирают десятки миллионов франков. Драгоценные свидетельства пролетарского братства приходят из-за рубежа: шахтеры других стран, следуя примеру горняков Донбасса, поддерживают героев Деказвиля.

В чем же причина такого взрыва? Он кажется совершенно необъяснимым, если принять доводы правительства, которое утверждает, что закрытие бассейна — шаг прогрессивный. Эксплуатация месторождения, заявляет оно, уже не рентабельна, а сопротивление шахтеров консервативно, ретроградно и совершенно неоправданно, ибо их заверили, что они будут переведены в другие отрасли промышленности.

Приводя подобные аргументы, правительство де Голля занимает непримиримую позицию, отказываясь даже обсуждать этот вопрос. Сейчас часто можно услышать циничное выражение: «Пусть забастовка сгниет на корню». Этими словами определяется один из самых бесчеловечных тактических приемов предпринимателей, который состоит в том, чтобы не идти ни на какие уступки, ни на какие переговоры: пусть забастовка тянется до полного истощения бастующих. Именно такая тактика стоит за показным патернализмом де Голля, который всего за несколько недель до начала событий заявил в Деказвиле: «Шахтеры заслуживают особого внимания». И вот они провели уже два месяца в двойной ночи подземелья и угля, чувствуя повседневную заботу правительства: как бы их поскорее сломить?

Если шахтеры неправы, то чем объяснить, что они борются с такой неиссякаемой энергией и что вокруг них сплачиваются широкие народные массы? Нет, истина в другом. Во-первых, их обманывают, обещая им немедленное предоставление работы. Ее получит лишь пятая часть уволенных, да и то при перемене профессии им придется примириться с меньшими заработками и с утратой преимуществ, связанных с квалификацией и со стажем. Во-вторых — и это самое главное,— рабочих обманывают, утверждая, что эксплуатация этого бассейна перестала быть рентабельной. Так могут говорить лишь сторонники определенной политики — политики измены национальным интересам. И именно поэтому борьба авейронских шахтеров вызвала столь бурный отклик не только в этой области, но и во всей Франции.

Не в первый раз французские шахтеры указывают своей стране истинный путь. Это стало уже в некотором роде традицией. Они были первыми в битвах за жизненные права в предвоенные годы, в патриотической борьбе против оккупантов и позднее, в период, когда в правительство входили министры-коммунисты,— в «угольной войне», сыгравшей решающую роль в деле национального возрождения. Уже в ту пору, до 1947 года, из окружения генерала де Голля поднимались голоса, проповедовавшие прекращение эксплуатации большинства французских угольных копей, как якобы убыточных. Но позиция шахтеров, неизменно проявлявших высокую сознательность и чувство ответственности за судьбы нации, завоевала им возросший авторитет и всенародную поддержку, которой они не лишились и тогда, когда им снова пришлось прибегнуть к забастовкам для защиты своих экономических и политических требований.

И хотя в Авейроне их всего две тысячи, они и сейчас указывают Франции верный путь, и все смутно или ясно чувствуют это.

Вернемся теперь к вопросу о рентабельности. Десять лет назад в этом бассейне было 4355 шахтеров, которые выдавали на-гора по 1000 килограммов угля в день. Сегодня здесь работает всего 2233 шахтера, которые дают по 2150 килограммов в день, что принесло им славу «чемпионов производительности труда». Как же можно поверить, что дефицит остался таким же, как десять лет назад, то есть составляет по-прежнему миллиард франков в год? Напомним, кстати, что государственная комиссия в 1959 году определила необходимую для рентабельности производительность труда в 1590 килограммов в день. Между тем, один министр счел возможным заявить по телевидению, что каждый шахтер этого бассейна не только ничего не приносит стране, но обходится ей в 800 000 франков в год, тогда как средний заработок шахтера даже не достигает этой цифры. С другой стороны, известно, что имеющиеся в этом бассейне запасы угля оцениваются в 30 миллионов тонн. Эти запасы нашли бы применение, если бы победила политика развития местной промышленности и принятия продуманных мер, которые позволили бы не закрывать шахты, а максимально использовать их при постепенном сокращении добычи. Таким путем можно было бы избежать массового увольнения и резкого кризиса в этом районе, живущем почти исключительно за счет копей.

Однако правительство проводит политику, преследующую совсем иные цели. Его гораздо больше интересуют брюссельские переговоры об общем рынке «Малой Европы». Недавно эта политика была ознаменована принятием «Четвертого плана», в связи с чем буржуазные газеты превратились на несколько дней в рекламные лист-

ки, столь же безответственные, сколь и смехотворные. Самые «серьезные» экономисты готовы были утверждать, что двадцатилетний план, разработанный в СССР,— детская забава по сравнению с блестящими перспективами, которые открывает перед Францией каждый шаг генерала де Голля. Однако что же сулит этот «Четвертый план» такой отрасли производства, как угольная промышленность, которую уж никак нельзя назвать второстепенной по своему значению? С одной стороны, он предусматривает увеличение потребления угля до 90 миллионов тонн в 1975 году, а с другой стороны,— добровольное сокращение его добычи с 58 миллионов тонн в 1960 до 53 миллионов тонн в 1965 и до 45 миллионов тонн еще через десять лет. Совершенно очевидно, что благодаря этой политике Франция большими шагами идет к увеличению ввоза угля из-за границы. В 1961 году этот импорт уже составил 16 миллионов тонн, и вот тут-то следует поднять вопрос о рентабельности. В самом деле: правительство не только продолжает выплачивать компенсацию бывшим владельцам национализированных шахт, не только устанавливает в ущерб государственному сектору особо низкие цены на уголь при продаже его капиталистическим промышленным компаниям, но и субсидирует эти компании для закупок иностранного угля, который обходится дороже французского.

Этот пример как нельзя более убедительно показывает, насколько так называемая «европейская» политика противоречит самым элементарным национальным интересам, которые приносятся в жертву иностранным монополиям, в частности американским и западногерманским (из 16 миллионов тонн 11 ввезено из ФРГ), а также связанным с ними французским монополиям. В начале 1958 года один из высокопоставленных чиновников, ведающих угольной промышленностью, сообщил, что для импорта угля капиталистическим компаниям подарено за счет налогоплательщиков 218 миллиардов франков в виде субсидий. А 20 миллионов тонн угля, который намечено импортировать в 1965 году, обойдутся тем же налогоплательщикам еще в 50 миллиардов франков. Никогда еще налоговая система не играла в такой степени роль «финансового насоса», употребляя выражение Альфреда Жарри *,— насоса, выкачивающего деньги из карманов бедняков в несгораемые шкафы капиталистов, иностранных и отечественных.

Вот почему все видят в горстке шахтеров юга передовой отряд, над которым нависла опасность, грозящая не только им, но и всему этому району, а затем и другим областям Франции,— опасность «сгнить на корню» экономически.

Французские писатели, преданные делу мира и демократии, в эти дни — с героями Деказвиля.

И настанет час, когда потомство признает заслуги этих писателей, не отступивших ни перед шантажистскими взрывами ОАС, ни перед мальтузианской и ретроградной политикой правительства де Голля и вместе с народом встретивших лицом к лицу то тяжелое время, которое в эпоху Второй империи Виктор Гюго, обращая из изгнания свой взор к Обену, назвал «грозным годом».

---

* Альфред Жарри (1873—1907) — французский писатель, завоевавший широкую известность сатирической пьесой «Король Юбю».

г. ПАРИЖ

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

НАРОД ПОД СЛЕДСТВИЕМ

«О знамя, разлинованное кровью, о небо с бесчувственными звездами!» — писал Луи Арагон, когда на электрическом стуле, осененном звездно-полосатым флагом Соединенных Штатов, казнили Розенбергов. То было не первое преступление, совершенное «на законном основании» в «стране свободы и демократии»,— мы помним Сакко и Ванцетти, Мак-Ги, юношей из Скотсборо. Оно не было и последним. Вот уже несколько месяцев не спадает прокатившаяся по всему миру волна протеста, вызванного вопиющим беззаконием, которое прикрывается законом Маккарэна. Этот «закон» направлен не только против славной американской компартии, мужественно борющейся за мир и демократию. Он представляет угрозу гражданским правам всех американцев, независимо от их идейных воззрений, он означает новый шаг по пути превращения США в полицейское государство. Это и показывает в статье, которую мы публикуем ниже, французский прогрессивный писатель Владимир Познер, недавно пострадавший от террористического акта бандитов из ОАС, пользующихся явным попустительством властей.

На площади Республики и у Стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез снова гремят слова Марсельезы:

На нас тиранов рать идет,
поднявши флаг кровавый...

Мы знаем, что это за флаг. Написано ли на нем ОАС или закон Маккарэна — сквозь него просвечивает свастика. Но фашизм не пройдет — сейчас уже не тридцатые, а шестидесятые годы. Ни взрывчаткой «ультра», ни ультрареакционными законами нельзя повернуть историю вспять.

Верховный суд США подтвердил конституционность закона Маккарэна, фактически ставящего коммунистическую партию вне закона и открывающего широкую дорогу фашизму.

Я пытаюсь представить себе, что это означает для американцев, которых я знал, с которыми я работал — на судостроительных верфях близ Сан-Франциско, в Калифорнийском университете, в киностудиях Голливуда — и которые остались с тех пор моими друзьями.

Большинство из них не были коммунистами. Коммунисты, разумеется, потеряют работу, попадут в тюрьму. Им к этому не привыкать — в «свободном мире» это в порядке вещей. Но что станет с теми, кто никогда не был коммунистом, а подчас даже был антикоммунистом или, по крайней мере, считал себя таковым в силу своей неискушенности в вопросах политики и философии?

Я думаю сейчас о Майке, Эле, Эйсе и других товарищах, работавших вместе со мной арматурщиками на судостроительных верфях. Насколько мне известно, никто из них не был коммунистом. Но все они были членами профсоюза, все принимали участие в борьбе за повышение заработной платы, в забастовках, всем им за несколько лет до того пришлось познакомиться с безработицей, а некоторым и с черными списками — ведь еще не так давно в Соединенных Штатах профсоюзы приравнивались к заговорщицким организациям, и там до сих пор не забыт термин «преступный синдикализм». Первая же волна маккартизма смела самые боевые профсоюзы — электротехников, горнорабочих Запада, объявленные коммунистическими, а остальные вынудила, не без содействия их реакционных лидеров, сместить с руководящих постов коммунистов и всех тех, кто, не будучи коммунистом, отказался письменно подтвердить свою непричастность к коммунистиче-

ской партии. Уже не раз комиссия по расследованию антиамериканской деятельности и другие комиссии того же рода начинали разбирательство по вопросу о так называемом «красном засилии» в каком-либо из профсоюзов именно в тот момент, когда он собирался вступить в переговоры с предпринимателями или объявить забастовку. Не раз конгрессмены типа Маккарти или Маккарэна вносили на рассмотрение конгресса законопроекты, обязывающие все профсоюзы опубликовывать списки своих членов, указывать источники и назначение профсоюзных денежных фондов,— законопроекты, аналогичные закону, конституционность которого недавно подтверждена Верховным судом. Если американские профсоюзы не потребуют и не добьются отмены подобных законов, я недорого дам за их независимость.

Я думаю также о преподавателях и студентах, с которыми познакомился в университетах Беркли и Лос-Анжелеса и которые оказались примерно в таком же положении, как и мои товарищи — рабочие верфей. Многие преподаватели потеряли работу, одни — потому, что они коммунисты или когда-то были коммунистами, другие — и таких большинство — потому, что в какой-то период своей жизни были согласны с коммунистами по какому-либо вопросу, будь то война в Испании, гитлеровский режим в Германии или осуждение расизма в Соединенных Штатах.

Не следует думать, что под ударом находятся одни только коммунисты: коммунист — это магическое слово, с помощью которого можно избавиться и от профсоюзного деятеля и от преподавателя, известного своими либеральными взглядами. Всегда найдется человек, готовый объявить вас коммунистом. Объявил же в свое время Рэнкин коммунисткой Элеонору Рузвельт за то, что в одной из своих статей она выступила против комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. «Я считаю,— заявил он в конгрессе,— что госпожа Рузвельт причинила больше вреда, чем любая другая женщина со времен Клеопатры».

Велико число профессоров и преподавателей университетов, которые потеряли работу или подверглись судебным преследованиям за то, что осмелились выражать взгляды, показавшиеся кому-то крамольными, отказались подписать «присягу в лояльности» или не подчинились требованиям комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, и все же надо сказать, что преподаватели пострадали меньше, чем их ученики, то есть те, в чьих руках будущее Соединенных Штатов.

Когда преподавателей увольняют за то, что они придерживаются определенных воззрений, их коллеги, боясь потерять заработок, становятся все более осторожными в своих высказываниях и в конце концов вообще перестают высказываться. Упомянет ли при этих условиях социолог имя Карла Маркса? Станет ли историк распространяться об Октябрьской революции или Парижской коммуне? В каком свете представит географ новые промышленные центры Сибири? Что скажет историк литературы о Максиме Горьком? Посмеет ли биохимик, физик или математик ссылаться на своих советских, польских, венгерских коллег или даже на западных ученых, если их зовут Ланжевен, Жолио-Кюри, Понтекорво, или же на американцев, если они не умели, когда нужно, промолчать?

Человек не очень мужественный, но не потерявший совесть, человек, который не хочет, чтобы ему было стыдно смотреть на себя в зеркало, не станет лгать, он будет отделываться молчанием.

Таким образом, американские университеты превратились в учреждения, в которых никто не касается так называемых «спорных вопросов». Считается опасным излагать какие-либо критические идеи даже для того, чтобы их опровергнуть. Страх порождает невежество, а невежество, в свою очередь, увеличивает страх. Никто уже не станет разговаривать в полный голос. Все шепчутся.

И, если учителя говорят шепотом, то ученики молчат. Они вступают в жизнь с твердым убеждением, основанным на красноречивых примерах: если хочешь преуспеть, никогда не задавай вопросов не только другим, но и самому себе; думать опасно и уж, во всяком случае, совершенно излишне.

Правда, за последние два или три года в американских университетах появились первые признаки пробуждения. Борьба американских негров за свои права, возрастающая угроза безработицы, лаосская и кубинская авантюры Соединенных Штатов, полеты в космос, осуществляемые людьми, которые открыто называют себя коммунистами,— все это заставляет студентов задумываться, задавать вопросы и самим себе, и другим. Но, если они не потребуют и не добьются отмены закона, который Верховный суд признал конституционным, я недорого дам за их пробуждающуюся любознательность.

Я думаю также обо всех моих друзьях и знакомых, с которыми я встречался в Голливуде,— писателях, режиссерах, актерах. Пожалуй, именно они больше всего пострадали от маккартизма. Они еще не забыли арестов, обрушившихся на них, черных списков, включавших сотни жертв, и «присяг в лояльности», которые их заставляли подписывать. Они не забыли, как им внушали, что, если они хотят обелить себя и сохранить работу, они должны стать доносчиками и публично оклеветать своих прежних друзей. По мнению инквизиторов, это было бы единственным приемлемым доказательством их отречения от коммунизма.

Доносить на коллег, друзей и знакомых стало в Голливуде, как и во многих других местах, своего рода патриотическим долгом. Один сценарист отличился, пред-

ставив комиссии список своих товарищей, якобы повинных в коммунистических воззрениях, который включал сто имен. Это мелкий мерзавец, но были и другие — люди большого масштаба, большого таланта, не выдержавшие нажима и ставшие таким образом крупными мерзавцами. Они больше достойны сожаления, чем их жертвы, которые, правда, уже никогда не будут иметь собственных вилл с бассейнами для плавания, не будут отдыхать в Палм-спрингс и посещать игорные дома в Лас-Вегас, но зато смогут без стыда смотреть на себя в зеркало. Я знаю людей, которым пришлось, оставив кино, стать официантами в ресторанах, заняться продажей подержанных автомобилей, поступить в магазины продавщицами или манекенщицами. Недавно я встретил одного из них: теперь он работает конферансье и осветителем сцены в ночном кабаре. Я знаю писателей — известных писателей,— которым пришлось взять себе псевдонимы и строить свою карьеру заново, потому что ни один американский издатель не хотел их печатать под настоящими именами.

Я сказал, что больше всех пострадали от маккартизма деятели Голливуда. Это верно только до известной степени. Главные жертвы этого разгула мракобесия — американское кино, американская литература, американский театр, американское радио и телевидение, то есть в конечном счете, как всегда, американский народ.

Было бы наивно думать, что антидемократический закон затронет только тех, кто будет брошен в тюрьму или лишится заработка. Чтобы охарактеризовать обстановку, которая воцарится в Соединенных Штатах благодаря подтверждению конституционности этого закона, я хочу рассказать подлинную историю, случившуюся несколько лет назад, в период первого натиска маккартизма. Я изложу имевшие место факты без всяких изменений, не буду лишь называть имен.

Однажды в государственный департамент вызвали человека, чтобы предложить ему временную работу. Человек этот никогда не занимался политикой. Во время войны он уже состоял на государственной службе, а теперь был без работы.

Принявший его чиновник сказал ему, что, согласно существующим законам, он сможет приступить к своим обязанностям только после того, как пройдет проверку. Речь шла о пресловутой «проверке лояльности», введенной Труменом. В данном случае, по словам чиновника, это не должно было занять больше трех месяцев, так как проверяемый известен как человек «почтенный».

Наш претендент согласился — ему нужна была работа и он не чувствовал за собой никакой вины. Он вернулся домой, в маленький городок неподалеку от Нью-Йорка, где он жил с женой и детьми.

Прошло две недели. И вот как-то раз дети вернулись из школы потрясенные: товарищи говорят, что их отец коммунист. Откуда они взяли это? Про их отца расспрашивали агенты ФБР. А уж если им интересуются федеральные власти, значит, он «красный».

Через несколько дней жена рассказала, что лавочник объявил ей, чтобы впредь она делала покупки в другом месте — он не намерен обслуживать коммунистов.

В городке есть банк, в котором наш злополучный герой уже многие годы держит свои сбережения. Банкир предложил ему забрать деньги со счета — другие клиенты протестуют против того, чтобы коммунист был вкладчиком их банка.

В отчаянии несчастный бросился в государственный департамент и стал умолять прекратить расследование. Он был уже готов отказаться от предложенного места. Но ему сказали, что, если «проверка лояльности» не будет доведена до конца, это может иметь весьма неприятные последствия.

Наконец, по истечении трех месяцев, расследование закончилось. Проверяемый был признан вполне «лояльным»: он никогда не читал никаких «крамольных» изданий, никогда не внес ни цента на какое-либо общественное дело, никогда не появлялся в публичном месте в обществе негра.

Правда, должность, которую ему предлагали, тем временем была отдана другому. Государственный департамент весьма сожалеет... Быть может, в другой раз... В таком случае, проверку придется пройти сначала.

Еще долго этот человек не мог найти работу, и соседи и знакомые сторонились его самого и его родных — ведь он подвергался политической проверке, им интересовалось ФБР...

Я принадлежу к тем, кто по простоте душевной полагает, что для величия и даже для безопасности Соединенных Штатов не нужны ни исключительные законы, ни черные списки, ни доносы, ни присяги в лояльности, ни фабрикование новых дел Оппенгеймера или Розенбергов.

г. ПАРИЖ

Документы

ТАК ПОБЕЖДАЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

(Из книги «Плайя-Хирон»)

Год назад — в апрельские дни 1961 года — американский империализм потерпел первое военное поражение на земле Латинской Америки. Сокрушительным ударом кубинского народа, вставшего на защиту завоеваний Революции, в течение семидесяти двух часов были разгромлены силы наемников, брошенных Соединенными Штатами против революционной Кубы.

Интервентам не помогли ни специальная подготовка в американских военных лагерях Гватемалы, Пуэрто-Рико и Нового Орлеана, ни разработанные Пентагоном операционные планы, ни поддержка военно-морского флота и военно-воздушных сил США, ни американские десантные, истребительные и транспортные суда, ни реактивные истребители «сейбр» и бомбардировщики «Б-26», ни броневики и танки «шерман», ни «базуки» и пулеметы «томпсон».

Весь мир увидел, с каким героизмом, с какой самоотверженностью и отвагой сражались патриоты Кубы, отстаивая свободу и независимость отчизны!

Об этой схватке свободолюбивого народа Кубы с наемниками Пентагона рассказывается на страницах недавно изданной в Гаване книги «Плайя-Хирон: поражение империализма».

Три молодых писателя, работающих в редакции газеты «Революсьон»,— Лисандро Отеро, Эдмундо Десноес и Амбросио Форнет,— собрали материалы для этого четырехтомного издания, получившего широкий отклик далеко за пределами Кубы..

Перед читателем книги — официальные документы и речи руководителей кубинской революции, репортажи и живые рассказы участников боев, газетные корреспонденции и статьи, стенограммы выступлений в ООН, заявления взятых в плен предателей, служивших в интервенционистских бандах, фотографии, карты...

Как только над Кубой прозвучал сигнал тревоги — «Началась вооруженная интервенция...», — кубинские писатели объявили себя мобилизованными. Поэты и прозаики, находясь вместе с бойцами Национальной революционной милиции, с бойцами Повстанческой армии, сообщали о том, что видели собственными глазами во время боев на Плайя-Хирон, на Плайя-Ларга... А когда бойцы рассказывали им о своем участии в боевых операциях, о собственных впечатлениях, они заботливо сохраняли в своих записях язык и стиль каждого бесхитростного и поэтому особенно волнующего рассказа рабочего или крестьянина, надевшего зелено-оливковую форму защитника Революции.

Четыре тома «Плайя-Хирон» — это не только яркое свидетельство героических подвигов кубинского народа, не только памятник тем, кто отдал жизнь за дело свободы и независимости.

Это прежде всего обвинительный акт против американского империализма, пытавшегося поработить революционную Кубу и подготавливающего новую агрессию.

На недавнем позорном антикубинском фарсе в Пунта-дель-Эсте, как отмечается во «Второй Гаванской декларации», «Куба отстаивала героев, которые пали на Плайя-Хирон, защищая родину от иностранного господства, Соединенные Штаты — предателей и наемников, которые служат иностранному государству против своей родины. Куба выступала за мир между народами, Соединенные Штаты — за агрессию и войну».

Кубинцы знают, что в своей справедливой исторической борьбе Куба не одинока. «У нее много друзей не только в Латинской Америке, но и во всем мире, и среди них — Советский Союз,— подчеркивается в Заявлении Советского правительства, опубликованном 19 февраля.— Республика Куба, как об этом ясно заявил глава Советского правительства Н. С. Хрущев, всегда может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны советского народа. Известные предупреждения Советского правительства по адресу врагов народной Кубы остаются в силе и сегодня». Одно из этих совершенно четких предупреждений — послание Н. С. Хрущева, направленное президенту США Кеннеди в дни агрессии американского империализма в апреле прошлого года,— также воспроизведено в книге «Плайя-Хирон».

Ниже мы печатаем материалы из первого тома этой книги — «Вторжение и герои».

КОММЮНИКЕ № 1

Десантные войска противника при поддержке военных самолетов и кораблей атакуют с моря и воздуха различные пункты национальной территории к югу от провинции Лас-Вильяс.

Славные солдаты Повстанческой армии и Национальной революционной милиции уже повсюду вступили в бои с противником.

Сражаясь с вторгшимися наймитами, посланными империалистическим правительством Соединенных Штатов Америки, они защищают священную Родину и Революцию.

Уверенные в победе, наши части ведут наступление на врага.

Народ уже мобилизует свои силы под лозунгом: защищать отечество, не снижать выпуска продукции.

Вперед, кубинцы! Огнем и мечом встретим варваров, которые презирают нас и хотят возвратить к рабству. Они пришли отнять у крестьян и членов кооперативов землю, которую им дала Революция. Мы сражаемся за то, чтобы защитить землю крестьянина и члена кооператива. Они пришли, чтобы снова отнять у народа его заводы, его сентрали, его шахты. Мы сражаемся, чтобы защитить наши заводы, наши сентрали, наши шахты. Они пришли, чтобы отнять у наших детей, у наших крестьянских девушек школы, которые Революция открыла для них повсюду. Мы защищаем школы детворы и крестьянства. Они пришли, чтобы отнять у черных мужчин и женщин достоинство, возвращенное им Революцией. Мы сражаемся за то, чтобы отстоять высшее человеческое достоинство всего народа. Они пришли отнять у труженика его новую работу. Мы сражаемся за освобожденную Кубу, за работу для каждого трудящегося мужчины и женщины. Они пришли уничтожить нашу Родину, а мы сражаемся за то, чтобы защитить ее.*

Вперед, кубинцы! Пусть каждый станет на свой боевой и трудовой пост!

Вперед, кубинцы! Революция непобедима! Революция и героизм народа, который защищает ее, разобьют любого врага!

И сейчас, когда кубинцы жертвуют собой в бою, пусть как никогда страстно и решительно прозвучит наш клич:

Да здравствует свободная Куба! Родина или смерть! Мы победим!

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС
Главнокомандующий и Премьер-министр
Революционного правительства Кубы

17 апреля 1961 г.

ВИСЕНТЕ КУБИЛЬЯС

С МОРЯ И С ВОЗДУХА

На рассвете исторического понедельника 17 апреля военно-воздушная база Сан-Антонио-де-лос-Баньос напоминала растревоженный муравейник. Между зданиями командного пункта, диспетчерской вышкой, казармами, ангарами и широкой взлетной дорожкой из цемента сновала небольшая группа людей: на их плечи легла титаническая задача, и, чтобы решить ее и защитить родину, они готовы были отдать все силы, мало того — самую жизнь.

Рассвет не успел еще забрезжить, как стали приходить тревожные сведения о попытках противника высадить десант на южном берегу провинции Лас-Вильяс. И весь персонал базы, несколько дней назад неожиданно атакованной самолетами наемников, теперь понял, что бомбардировка была лишь предвестницей вражеского нашествия. Поэтому сообщение о высадке десанта в Сьенага-де-Сапата ни для кого не оказалось неожиданностью.

К пяти часам утра министр связи Рауль Курбело Моралес был уже на КП. Главнокомандующий Фидель Кастро назначил его ответственным за связь. Он приказал при-

* Сентраль — сахарный завод.

вести в боевую готовность революционные военно-воздушные силы (РВВС). Руководить подготовкой и вооружением самолетов он поручил командующему РВВС майору Раулю Герра.

Однако что это были за самолеты?!

Дежурные летчики, которых едва ли насчитывалось с полдюжины, беспокоились. Они прекрасно знали, в каком состоянии находятся их машины.

До восхода солнца о полетах нечего было и думать. Пилоты Каррерас, Бурсак, Фернандес, Лагас, Герреро, Ульоа и Сильва в крайне нервном напряжении, горя нетерпением подняться в воздух, ходили по пятам за механиками, которые работали с лихорадочной быстротой.

К трем утра удалось подготовить всего лишь три самолета — два «Си-Фьюри» и один «Б-26». Последний предназначался для учебных полетов, из его восьми пулеметов действовало только шесть, а механизмы метания бомб и ракет отказали вовсе.

По приказу Курбело первыми вылетали Каррерас, Бурсак, Лагас. Первые два — на «Си-Фьюри», последний — на «Б-26».

Фидель Кастро установил телефонную связь с базой. На КП лейтенант Пелайо Кордеро провел у телефонов и раций более 48 часов без сна. Курбело получил приказ, который передал летчикам: задержать высадку десанта в районе боевых действий.

Главнокомандующий попросил к телефону Каррераса, Курбело передал летчику трубку.

— Каррерас! — услышал он голос премьер-министра.— Ты должен потопить эти корабли! Обещай мне, что ты их потопишь!

В это время Лагас направился получать документы на полет.

Техники и механики пускались на всяческие ухищрения, чтобы подготовить к полету его машину, вокруг которой уже ходил другой пилот, капитан Луис Сильва, чей «Б-26» беспомощно стоял вдалеке в ожидании ремонта.

Когда Лагас снова отправился на КП за последними указаниями и картой полета, произошло то, что все ребята потом называли «ухарством», характерным для Сильвы: нетерпеливый летчик залез в кабину чужого «Б-26», не ожидая приказа, вырулил на старт и взлетел, уведя таким образом самолет Лагаса. И уже в воздухе он дождался Каррераса и Бурсака, которые должны были присоединиться к нему на своих «неистовых» — так летчики прозвали быстроходные английские истребители.

Эта маленькая группа кубинских самолетов обрушилась на врага, который высаживался в Сьенага-де-Сапата. Но пусть теперь сами соколы расскажут вам о драматических эпизодах разгоревшейся битвы.

КАПИТАН ЭНРИКЕ КАРРЕРАС, ТРИДЦАТИ ВОСЬМИ ЛЕТ (за что товарищи прозвали его Дедом), ГОВОРИТ:

— Приказ о вылете я получил в пять часов утра. Когда мне сказали о необходимости помешать высадке десанта, я решил, что речь идет о какой-нибудь яхте или суденышке чуть побольше, с которого пытаются сойти на берег несколько человек. Я даже представить себе не мог, какое зрелище ожидает меня в бухте Кочинос и на Плайя-Хирон. Как командир эскадрильи, я летел первым. За мной шли Бурсак и Сильва, сыгравший такую злую шутку с Лагасом. Через 20 минут мы были над целью. Моя машина находилась на высоте около двух тысяч метров. Посмотрев вниз, я был поражен. Мне показалось, что я грежу. Картина скорее походила на документальный фильм о второй мировой войне. Создавалось впечатление, будто я вижу некое подобие высадки десанта в Нормандии, только в меньшем масштабе. Неподалеку от Плайя-Хирон расположилось около восьми больших судов, вокруг которых сновала уйма моторных лодок и катеров. Я заметил, что огромное транспортное судно направляется в бухту Кочинос в сопровождении эскадренного миноносца.

Подумав какую-нибудь секунду, я наметил первую цель: транспортное судно, направлявшееся к Плайя-Ларга. На условном языке я передал по радио распоряжения товарищам и первым бросился в атаку. Мы пошли на снижение и на бреющем полете стали приближаться к транспорту «Хустон», водоизмещением восемь тысяч тонн, переполненному людьми и военным снаряжением. На высоте около 500 метров я прицелился и сбросил свой груз — четыре бомбы. У меня появилось странное чувство. Казалось, будто я нахожусь в каком-то тумане. Ведь кроме нескольких учебных стрельб, я не имел никакого опыта и не знал, что такое война.

Враг нас уже заметил и открыл такой бешеный зенитный огонь, что просто с ума можно было сойти. Десятки батарей — пулеметов и пушек — изрыгали смерть. Это было потрясающее зрелище: все небо прочерчено трассирующими пулями и освещено ослепительными вспышками разрывов.

Поверьте, наша атака скорее походила на безумные действия камикадзе — японских летчиков-смертников.

Я нажал кнопку и взглядом проводил бомбы. Признаюсь, я удивился, что они попали в цель, угодив прямо в корму «Хустона». Судно задымило, и рулевой поспешно направил его к берегу, чтобы посадить на мель. Бурсак и Сильва также атаковали «Хустон». Их бомбы тоже угодили в цель. Транспорт стал быстро тонуть. Сопровождавший его эсминец заметался из стороны в сторону и, повернув назад, бросился

к выходу из бухты, чтобы поскорее оказаться под прикрытием флотилии, стоявшей неподалеку от берегов Плайя-Хирон.

Я сделал еще два захода на цель и истратил весь боезапас пулеметов. Потом вернулся на базу.

Вылезая из кабины, я был крайне возбужден. До некоторой степени все представлялось мне очень простым: нажимай себе кнопки и смотри, как у тебя на глазах, словно картонный, ломается корпус корабля. Своими чувствами мне хотелось поделиться со всеми на свете. Курбело вызвал меня на КП. Я доложил ему, что задание выполнено. Как потом рассказывали, сначала ничего нельзя было понять из моего рапорта: я захлебывался, ошибался в направлениях и наконец совсем запутался. Но потом я немного успокоился и смог сделать более или менее сносный рапорт.

Главнокомандующий Кастро был доволен, первое потопленное судно мы посвятили ему.

Не знаю точно, сколько ушло времени на подготовку моей машины — заправку горючего, укладку боеприпасов,— скажу только, что механики и оружейники летали точно на крыльях. Как я подсчитал, они сделали все за одну треть положенного времени. И я опять был в воздухе, на этот раз захватив с собой восемь бомб среднего размера. Мой курс снова лежал на Плайя-Хирон. Внизу виднелся «Хустон». Он сидел на мели у Плайя-Ларга, похожий на смертельно раненную рыбу. У Плайя-Хирон я заметил транспорт немного крупнее «Хустона». Он назывался «Рио Эскондидо». Как позднее выяснилось, на нем находились главные силы и большинство боеприпасов для наемников. На его борту находилась радиостанция. Эти канальи собирались по радио обратиться к кубинскому народу сразу же после того, как они закрепятся на суше. Кроме того, на нем помещались грузовики, много оружия, горючее, запчасти к самолетам — они планировали захватить воздушную базу на Плайя-Хирон и начать оттуда атаку. «Рио Эскондидо» находился в трех милях к югу от берега.

Бомбы моего «Си-Фьюри», точно дымящиеся молнии, устремились вниз к огромному судну. В точку! Прямо в самую середину. На мой рассказ ушло гораздо больше времени, чем на то, чтобы «Рио Эскондидо» с треском взорвался и запылал, как свечка.

Я наслаждался зрелищем, для меня все еще необычным, как вдруг заметил приближающийся «Б-26». «Это машина Сильвы»,— подумал я. Но сразу же вспомнил, что сейчас в воздухе нет ни одного нашего «Б-26». Ошибиться было легко: на машине были кубинские опознавательные знаки. Подозрение у меня вызвали несколько необычных голубых полос на ее крыльях. Все же остальное — раскраска, кубинский флаг и знак РВВС — было точно таким же, как у нас. Воспользовавшись тем, что мой «неистовый» по скорости намного превосходил вражеский бомбардировщик, я сделал разворот и, пристроившись к нему в хвост, поймал стервятника в центр прицела. Преимущество моей позиции было очевидно. Но вражеский самолет первым открыл огонь из хвостового пулемета. Я ответил очередью из всех пулеметов и вывел из строя один из его моторов. Бомбардировщик начал терять высоту, из его крыла повалил дым. Он стал падать по направлению к судам, плывущим внизу, словно спешил укрыться под их защиту, и врезался в море возле одного из кораблей.

Возможно, от огня вражеского пулемета или корабельных зениток, не знаю точно отчего, мотор моего самолета оказался поврежденным. «Си-Фьюри» плохо слушался... Тем не менее я сделал еще несколько заходов на корабли, пока не израсходовал боеприпасы. И только после этого вернулся на базу. Когда я приземлился, машина капризничала. Механики открыли мотор, и все сразу стало ясно: один из цилиндров двигателя оказался в двух местах поврежденным снарядами — авария довольно серьезная.

К моему глубокому огорчению, я вынужден был бездельничать. Ремонт требовал времени, и о полетах в тот день нечего было и думать.

Все же я чувствовал большое удовлетворение: на моем счету было два крупных судна и один самолет противника.

По-моему, Фидель должен быть доволен: Каррерас его не подвел.

ПЕДРО ЛУИС ПАДРОН

НИТИ ВЕДУТ В США

«Я видел, как на рассвете 17 апреля американский эсминец обстреливал Плайя-Хирон, прикрывая высадку наших отрядов, доставленных из Пуэрто-Кабесас * для вторжения на Кубу. С американских военных кораблей спустили на воду баркасы, перевозившие на берег танки «шерман», грузовики, военное снаряжение и боеприпасы».

Так заявил бывший сержант армии тирана Батисты Херардо Сильва в Новом Хироне. Он был захвачен в плен вместе с другими наемниками на островке Кантилес,

* Порт в Никарагуа.

что в нескольких милях от Пиноса, куда они добрались на лодке с подвесным мотором, удрав с Плайя-Хирон.

Всего на ближайших к Пиносу островках и на побережье было захвачено в плен тринадцать наемников, бежавших из Сьенага-де-Сапаты на пяти лодках.

Херардо Сильва рассказал, что он был завербован в Майями как техник-механик и затем направлен на базу Тракс, расположенную в Гватемале неподалеку от вулкана Санта-Мария, между селениями Аурора и Нило.

«Всего на базе,— сказал он,— было 1200 человек. Нас тренировали американские офицеры. Двоих из них звали Фрэнк и Боб. Как поговаривали в лагере, они были в чине полковников армии США. Большая часть сил осталась на базе Тракс,— добавил он,— причем, когда мы покидали ее, нам стало известно, что туда направляется сильная группа пополнения».

Солдаты Повстанческой армии, Революционная военно-морская пехота и Национальная революционная милиция проводят активный поиск на всем побережье Пиноса и прилегающих к нему мелких островках. Есть все основания предполагать, что многие наемники, бежавшие с Плайя-Хирон, теперь прячутся там, пытаясь уйти от революционного правосудия.

В камерах тюрьмы Санта-Фе мы беседовали с семью взятыми в плен наемниками. Отвечая на наши вопросы, все в один голос подтвердили, что агрессия была подготовлена, вооружена и оплачена империалистами янки.

Эмилио Эрреро Кабеса, студент родом из Камагуэя, заявил, что он уехал с Кубы в октябре 1960 года и направился в Майями. Там его завербовали в отряд наемников и переправили в Гватемалу. На базе Тракс некий американец по имени Фрэнк обучал Эрреро стрельбе из пулемета.

«От самого Пуэрто-Кабасас до Плайя-Хирон,— заявил он,— наши суда шли в сопровождении кораблей и самолетов военно-морских сил США».

Мы спросили его, каким образом ему и другим пятерым наемникам удалось бежать с Плайя-Хирон. Он ответил:

«Как только мы поняли, что не сможем противостоять контратакам солдат Повстанческой армии и милиции, то предпочли бежать. Мы бросились в лодку, на которой высадились на берег, и попытались завести мотор. Он не работал: не было бензина. Тогда в качестве весел мы использовали доски. Несколько дней мы дрейфовали в море, пока неподалеку от острова Пинос нас не заметил катер береговой охраны Кубы. Он спас нам жизнь, потому что мы умирали от жажды и голода».

Медардо Альверо Крус, уроженец Пуэрто-Падре, другой наемник, захваченный неподалеку от острова Пинос, рассказал, что прошел тренировку на военной базе США на острове Вьекес *, расположенном к югу от Пуэрто-Рико. Оттуда его перебросили в Никарагуа, где тоже велась активная подготовка агрессии на Кубу. Как их уверяли янки, Национальную революционную милицию и Повстанческую армию они ликвидируют в 24 часа. Ему платили 75 долларов в неделю.

«За пять месяцев меня обучили вождению танка. Занятия проходили в самих США под руководством инструкторов-американцев. Потом меня перевели в Гватемалу на базу Тракс»,— рассказал Сильвино Лопес Перес, бывший солдат батистовской армии, уроженец Сан-Диего-дель-Валье. Ему платили 175 долларов в месяц.

Даниель Сантана Гранде, живший в Марьянао, где он работал шофером такси до своего отъезда с Кубы в октябре 1960 года, прошел подготовку на американской базе, расположенной на острове Вьекес.

Другой наемник, бежавший с Плайя-Хирон и захваченный в плен на острове Пинос, при тирании был курсантом Кадетского училища. Его зовут Хосе Бакальао Фонте. Он рассказал, что прошел подготовку танкиста на военной базе в Соединенных Штатах Америки и позднее был переброшен в Тракс.

Бывший служащий батистовской полиции Эрнесто Фернандес Конде, проживавший до революции в Гаване, отвечая на наши вопросы, заявил, что был завербован в Майями, где обосновался с августа 1959 года. База Тракс, как показал Фернандес, представляет собой нечто вроде концентрационного лагеря, бдительно охраняемого американцами и гватемальцами. Ему платили 225 долларов в месяц. По его словам, базу Тракс очень часто посещают американские корреспонденты. Они делают снимки и публикуют их в газетах США.

Жалуясь на то, что его обманули, он сказал:

«У тех, кто высадился на Кубу, не было никаких идеалов. Наемниками становились все, кто хотел захватить Кубу и вернуть потерянное, кто мечтал о возврате к прошлому, а также всякого рода авантюристы, рассчитывающие нажиться после победы».

Со слов Фернандеса Конде мы узнали, что двое кубинцев Улисес Карбо и Хулио Сесар Гонсалес Ребулл, выкормыши «Пренсы либре» и «Крисоля» **, были членами экипажей вражеских самолетов, которые обстреливали из пулеметов и бомбардировали позиции в Сьенага-де-Сапате.

В заключение Фернандес заявил, что в главный штаб корпуса наемников входили Хосе Моралес Крус, Хосе Рауль Барона, Рамон Феррер и Роберто Пертьерра.

---

* Принадлежит Пуэрто-Рико.

** Реакционные органы печати в дореволюционной Кубе.

АМБРОСИО ФОРНЕТ

КТО ОНИ, ЭТИ БОЙЦЫ?

Один из наемников, захваченный в плен незадолго до победы на Плайя-Хирон, спросил у своего конвоира, кто эти солдаты с эмблемой сердца на погоне — русские, чехи?

На самом деле это были бойцы народной полиции. На поле боя они пришли утром 18 апреля, окопались у дороги между Соплильяром и Хироном, где 123-й батальон понес большие потери. На шоссе еще горели автобусы, подожженные зажигательными снарядами.

Под ожесточенным огнем, который обрушивался откуда-то издалека, с суши и с неба, началось наступление. По одну сторону дороги продвигалась народная полиция, по другую сторону — 116 батальон милиции *. Впереди шли танки...

Вдруг колонны наступающих попали под перекрестный пулеметно-минометный огонь противника. Два наших танка были выведены из строя. Огонь стал невыносимым. «Майор Родилес приказал отойти на 200 метров,— рассказывает Паусидес Фольгадо из Байямо.— На нас шел танк, нам не давали поднять головы вражеские пулеметы, позицию которых удалось засечь. Мы знали, что скоро подоспеет наша авиация. Танк быстро приближался и вдруг метрах в сорока от нас остановился. «Бей его, Соса, бей!» — закричал майор. Соса, у которого было всего лишь несколько гранат, укрылся за дерево и бросил гранаты. Танк стрелял в упор по нас. Майор расположил отряд в форме буквы L и приказал сосредоточить весь огонь на этом чудовище. Враг подбил еще один наш танк. Через несколько минут появились наши самолеты. Мы подняли глаза к небу и проводили их взглядом. Они ушли по направлению к Плайя-Хирон.

Но капитан Карбо больше никогда их не увидит...

«Осколки не давали нам поднять головы,— вспоминает Сиксто Иерресуэло из Сантьяго-де-Куба.— Мы пытались укрыться за деревьями в винограднике и тут увидели капитана Карбо. Он вышел из-за первого танка, который горел. Мы кричали ему, чтобы он пригнулся и спрятался от осколков. Он ответил, что наемники трусы, и крикнул в их сторону: «Трусы! Да здравствует свободная Куба!» Когда он подошел ко второму танку, крича: «Да здравствует свободная Куба!» — его сразил осколок от мины».

Педро Агуэро, которого товарищи прозвали Кокос, видел, как он рухнул на землю. Многие видели. Кокос лежал близко от того места, где капитан упал, осколок угодил Карбо в спину. Кокос работал в подполье с Мачако Амейхейрасом и сражался в Сьерра-де-лос-Органос в отряде капитана Рохелио Пайрет после открытия фронта в Пинар-дель-Рио. Теперь он лежит в госпитале народной полиции. Приподнявшись на кровати, раненый говорит нам:

«Все рвались вперед. Посмотришь на таких ребят и чувствуешь себя героем. Если бы вы, товарищ, были вместе с нами, ни за что бы не остались на месте, тоже бросились бы вперед. А зенитчики! Ребятам по четырнадцать-пятнадцать лет, но как они дрались с мощными бомбардировщиками противника!

«Налетай! Налетай!» — кричали они самолетам и ждали, терпеливо, не шевелясь, слившись воедино со своими счетверенными пулеметами. На них нельзя было смотреть без гордости. Увидишь таких орлов — и рвешься в бой и готов драться хоть с самим дьяволом».

На соседней койке — другой раненый. Его зовут Орестес Лобато. Он из местечка Фоменто в провинции Лас-Вильяс. У него пять сквозных ранений в руку и два в спину. Один осколок задел легкие. В нескольких метрах от Орестеса разорвалась мина, волной его швырнуло в сторону. «Я встал,— рассказывает он,— и почувствовал, что могу идти. Один из товарищей спросил, не ранен ли я. «Нет»,— ответил я и крикнул: «Родина или смерть»! — и снова бросился вперед, но у меня подкосились ноги, и я упал. Появилось странное ощущение, будто ноги деревенеют. Онемение от ступней поползло к поясу. Я упал в полном сознании и попытался подняться, но не смог. Я был не в состоянии пошевельнуть ни одним мускулом, даже моргнуть. До меня доносилось, правда смутно, все, что происходило вокруг, но самого себя я не чувствовал. Я решил, что это конец, что вот так приходит она, смерть, и я начинаю ее чувствовать».

Луис Идальго Родалес говорит: «Я видел, как умер Карбо. Мне было больно, когда его убили, но в ту минуту я думал только о том, чтобы идти вперед». Идальго ранило в ногу. Он вспоминает, что пули жужжали над его головой, как стрекозы. Он укрылся за камнем у обочины дороги и продолжал стрелять. «Мой автомат,— говорит он,— раскалился докрасна, и я решил: если откажет — застрелюсь. Куда там! Стоило нажать на курок, как автомат заливался жаворонком. Перед тем как потерять сознание, я увидел, что «полосатые» сосредоточили на нас огонь минометов, зажигательных бомб и всех видов оружия, которое только у них было. Наемники скрывались в кустарнике

---

* Отряды Национальной революционной милиции были сформированы как вспомогательные части Повстанческой армии. Народная полиция создана для охраны порядка в республике.

и благодаря своим маскировочным костюмам сливались с листвой. Они стреляли с неистовством. С 10 утра до 3 часов дня. Солнце померкло от осколков. Казалось, оно все было изрешечено пулями...»

Кто же были те люди с эмблемой сердца на плечах, которые мужественно противостояли агрессорам?

Слепота, приведшая на Кубу отряды наймитов, мнивших себя освободителями, еще больше усилилась, когда они в панике бежали или попадали в плен. Они ничего не видели — вот в чем их трагедия. Втянутые в авантюру, обманутые, они пришли из мира, где с помощью обмана и фальсификаций им вбили в голову лживые представления, и вдруг эти представления рассеялись, как дым. Реальная действительность оказалась совсем иной. Она предстала перед их глазами в виде стены вооруженных людей, которые дрались, чтобы победить или умереть. Но разве наемники могли прочесть об этом в североамериканской прессе или услышать там по радио? Мало того, печать и радио настолько безбожно им врали, что теперь они отказывались верить даже собственным глазам. Сначала у них отбили чувство реальности, потом с помощью лжи затуманили мозги, ослепили. И, наконец, эта война, которая на самом-то деле оказалась настоящей войной, а не легкой прогулкой, как их убеждали, и ошеломляющий разгром... Если бы наемники погибли все до одного — их можно было бы принять за безумцев. Но им как раз не хватало смелости, чтобы подняться до безумства и умереть. Потому что каждый из них думал только о себе. Единственное, в чем они видели смысл,— в спасении собственной шкуры ценой трусости и предательства.

Нет, те люди, о чье мужество разбился натиск лучше вооруженных и обученных захватчиков, нет, те люди не были иностранцами. И сердце у них было не на погонах... На самом деле такой эмблемы на Кубе не существует. Эмблема, которую носят народные бойцы и которую спутали с сердцем агрессоры,— герб Кубы. И люди, носящие ее, конечно, тоже кубинцы.

— Мы кубинцы,— ответили пленному.— Мы из батальона народной полиции.

В глазах наемника, задавшего вопрос, блеснул недоверчивый огонек. Он свистнул, давая понять, что его не проведешь.

— Какая это полиция? — воскликнул пленный.— Это батальон-самоубийца!..

Солдаты «батальона-самоубийцы» очень молоды. Посмотрим медальоны героев, павших в бою: капитану было 24 года, сержанту в сентябре исполнилось только 19. Средний возраст остальных погибших героев — 23 года. Все они из бедных, в основном крестьянских семей. Многие раньше сражались с тиранией на различных фронтах. 5 января 1959 года, через четыре дня после победы, они вступили в полицию, которая стала полной противоположностью отрядам с тем же названием, существующим в других странах Америки. Это была народная полиция, настоящее детище Революции. В любой стране «полиция» и «революционер» — антагонистические понятия. Революционер — это человек, который всегда борется и которого полиция старается уничтожить. Ее главная задача как раз и состоит в подавлении революций. В периоды внешнего спокойствия полицейский из простого агента или наемного убийцы превращается в соучастника грабежа народных масс. Полицейский сам часто совершает налеты. В большинстве случаев это приносит ему доход не меньше стоимости пачки сигарет, но и не выше суммы, установленной для его ранга.

От такой полиции на Кубе не осталось и следа: теперь в полицию вступила молодежь, революционная по своей сущности и по своим убеждениям. Так на Кубе родилась новая народная полиция...

Вот с этими бойцами и пришлось встретиться захватчикам. Спрашивая о национальности солдат из «батальона-самоубийцы», наемник, по-моему, просто-напросто дал примитивное и бездумное объяснение явлению, которое оказалось выше его понимания. Ему было невдомек, что это за люди, откуда они взялись, из какого материала они сделаны и что движет ими. Он не представлял себе людей, способных жертвовать собой ради высоких идеалов. Его интересовало, уж не марсиане ли эти солдаты или, может быть, это люди иного типа, отлитые из стали, похожие на других во всем, кроме одного: они не умели отступать.

Мы знаем главную причину героизма этих людей и ту силу, которая увлекала их на подвиг, и не только отдельных бойцов, но и целые батальоны, принимавшие участие в этой ужасной войне. Они одержали молниеносную победу. Однако будет лучше, если солдаты из батальона народной полиции сами расскажут о своих славных делах.

«Одному товарищу,— говорит Пабло Перес из провинции Пинар-дель-Рио,— пуля попала в грудь, рядом упало еще несколько человек. Вокруг рвались снаряды. Но среди нас слышался только один возглас: «Вперед, вперед!» Рядом падали товарищи, но живые продвигались вперед. Солдат, раненный в живот, шел, поддерживаемый двумя другими, он зажал рану руками, чтобы не вывалились кишки. Он был бледен. Он умирал. Я положил ему руку на плечо, умирающий сказал: «Отомстите им, товарищи, отомстите». У меня волосы становятся дыбом, когда я вспоминаю его. Был такой момент, когда наемники стали кричать нам: «Сдавайтесь армии освободителей!» Но мы ответили им крепким словом — сейчас неудобно его повторять. «Мы не сдаемся! Родина или смерть!» — крикнули мы и открыли огонь».

Анхель Видаль Наполес из местечка Эль Каней в провинции Ориенте сказал: «Чем

сильнее они стреляли, тем быстрее мы продвигались вперед. Многие были ранены, устали, сильно хотели пить. Но все кричали: «Вперед, вперед!» И это придавало нам еще больше мужества».

Кристобаль Родригес Сарриа из города Сьенфуэгос вспоминает: «Никто не может похвастаться тем, что ему не страшно на войне. Но вот мы на передовой действительно не боялись: мы знали, что сражаемся за счастье народа и никогда не позволим победить тем, кто вчера нас эксплуатировал. Ведь тогда нам снова пришлось бы жить по-старому. А мы не хотим этого и за то, чтобы горькое прошлое никогда не вернулось, готовы отдать жизнь».

Маркос Сеспедео, рабочий сентрали «Медиа Луна» в провинции Ориенте, говорит: «Наш командир старший лейтенант Санчес приказал нам перейти шоссе. С двух сторон по нас открыли такой бешеный огонь из базук и минометов, какого я никогда не видывал. Убили нашего товарища Альваро Моралеса. Слышны были голоса наемников. Они предлагали нам сдаться на милость армии «освободителей». Я крикнул им: «Родина или смерть!» — и открыл огонь из автомата».

Хосе Бермудес Техеда из Хибары рассказывает:

«Мы продвигались вперед. Я слышал, как товарищ кричал: «За Кубу, за Революцию, вперед!» Я догнал Гомеса, взял его за плечо и сказал: «Мы будем наступать, идти вперед, чтобы отстоять наше дело любой ценой». Он сказал: «Отстоим», — и мы бросились вперед. Гомес погиб в бою».

Франсиско Миранда из Ольгина говорит:

«Часам к 11 у меня кончились боеприпасы. Я повернул назад и натолкнулся на солдата милиции. Он был мертв. Я забрал у него патроны и вернулся на линию огня. И я буду возвращаться на свое место в строю столько раз, сколько потребуется для Родины!»

Мигель Ким из Карденаса вспоминает: «Я увидел милисиано * лет 13—14. Он лежал под минометным огнем. Я спросил у товарища, как он попал сюда, такой молодой? Ведь его могут убить. Я крикнул парнишке: «Назад, давай назад!» Но он ответил: «Я пришел драться и буду драться до конца».

«Кого я лучше всех запомнил,— вставляет старший лейтенант Владимир Родригес Лаэра,— так это своего товарища-наблюдателя Баньюэля. Смертельно раненный осколком от мины, он кричал: «Смерть захватчикам! Смерть захватчикам!»

Вот какие люди сражались на полуострове Сьенага-де-Сапата. Это они менее чем за 72 часа разгромили первое военное нашествие североамериканской империи. И они готовы отразить вторую, третью, четвертую, любую по счету агрессию: они готовы сражаться до тех пор, пока каждый клочок берегов Кубы не покроет себя такой же героической славой, как Плайя-Хирон.

Наемники столкнулись с невиданным героизмом, вызвавшим у них недоуменный вопрос, уж не состоял ли этот батальон из иностранцев. По их понятиям, кубинцы были не способны на такое мужество. Но впредь, возможно, про всех, кто будет стоять насмерть, до победы, станут говорить: «Они, кубинцы, воюют, как «батальон-самоубийца» народной полиции, который шел вперед на Плайя-Хирон сквозь смерч осколков и пуль».

ЛИСАНДРО ОТЕРО

ПАРОЛЬ «ЧЕРНЫЙ ДРАКОН»

Хосе Антонио Каррасана вылезал из окопа, когда послышался грохот наших танков. Одним прыжком он оказался на танке роты младшего лейтенанта Диаса, который шел первым.

Три прямых попадания наемников вывели танк из строя. Каррасана, сидевший за башней, почувствовал, как его тело подняло в воздух и бросило на землю рядом с бронированной машиной.

Он не потерял сознания, лежал неподвижно, слушал, как удаляется гусеничный лязг: танки отходили.

Хосе истекал кровью. Но сознание его было ясным. Он хорошо понимал все, что происходило вокруг.

Через несколько минут, показавшихся годами, послышались шаги, голоса.

— Пошарим, что у этих в карманах...

— Что слышно о подкреплении?

— Пока ничего.

Раненый понял, что это наймиты, и затаил дыхание. «Если они попытаются взять меня в плен, застрелюсь»,— решил он.

По шоссе подошел еще один отряд наемников.

---

* Боец Национальной революционной милиции.

— Пароль? — остановил их окрик часового.

— Черный дракон.

— Проходите.

Послышались удары лопат и кирок. Враги рыли траншеи у дороги.

— Видишь вон те трупы? Дай по ним очередь.

Раздался оглушительный грохот тяжелого пулемета. Раненый попытался поднять воспаленные веки, но не смог. Все же сквозь узкие щели глаз он увидел над собой красные прочерки трассирующих пуль. Пулемет умолк.

Издали донесся гул артиллерии революционных частей. По обе стороны шоссе грохотали пятидесяти- и тридцатимиллиметровки, трещали пулеметы и автоматы — разгорелся бой.

Ночь тянулась медленно. Раненый истекал кровью. Жизнь в нем угасала: умирал Хосе Антонио Каррасана, лейтенант милиции, двадцати пяти лет, рабочий фабрики сигар имени Хосе Пиедры, женатый. Дома его ждала трехлетняя дочь, он умирал тут, на ничьей земле, на открытом шоссе, у подбитого танка, рядом с трупами своих товарищей. Впереди была ночь — целая вечность.

Он думал о дочери, о том, что она станет сиротой, о том, каким горем будет для родителей весть о его смерти.

«Они должны примириться: я погиб за правое дело».

Ему вспомнились слова из речи, произнесенной Фиделем вчера на кладбище, и строка из национального гимна: «Умереть за родину значит жить».

Как председатель профсоюза табачников, Каррасана организовал отряд милиции в 147 человек. Выкуривая банды из гор Эскамбрай, они получили боевое крещение. Каррасана отдавал делу все силы, но хотел работать еще больше и лучше — революция открыла перед ним все возможности.

Он родился в поселке сентрали «Распятая Констанция» в провинции Лас-Вильяс, рано познал лишения. Его отец работал плотником на сентрали и потерял работу, когда Хосе было двенадцать лет.

Семья жила бедно, и маленький мулат каждое утро вставал на заре и босиком бежал за молоком для младших братьев. Он покупал мясо, яйца и перепродавал их. Так иногда удавалось выручать до песо в день. Этим и жила вся семья.

Однажды, когда Хосе Антонио стоял в очереди у дверей лавки, сельский гвардеец * вытащил мачете и несколько раз плашмя ударил мальчика, чтобы, как сказал верзила, «поразвлечься с негритенком».

В городе существовало четыре клуба — и все только для белых. Негр не мог и никогда не смог бы переступить их порог.

Все это вызывало в нем протест. Он восхищался Абелем Сантамария и всегда с большим вниманием слушал, когда тот говорил. Последний раз Хосе увидел Сантамарию, когда был уже шестнадцатилетним юношей.

Хосе Антонио приехал в Гавану и устроился рабочим на сигарную фабрику. После победы революции его сестре дали стипендию, «а раньше у нас не было возможности учиться». Он увидел, что теперь можно войти в больницу, не предъявляя избирательного удостоверения, что теперь строят школы, дают крестьянам землю.

Его отец снова получил работу на сентрали.

Хосе видел такое, чего ему в жизни не приходилось видеть. И если, чтобы защитить это великое дело, понадобится его жизнь, он отдаст ее всю без остатка. И если даже придет миллион янки, он все равно их вышвырнет вон.

Теперь он лежал на дороге, проходившей по одному из болот острова. Враг угрожал свободе Кубы, и ее нужно было отстоять.

Его не пугала смерть.

«Как жаль, что я не могу утащить с собой на тот свет побольше этих негодяев».

Стрельба затихла.

Он снова приоткрыл глаза и увидел, что небо стало светлеть. Из ближайшего окопа доносился разговор захватчиков:

— Нет, помощь, наверно, не придет.

— Если не будет новой высадки десанта, мы уйдем. Отходить к Плайя-Хирон, там нас будут ждать корабли.

Это были важные сведения. Их нужно было во что бы то ни стало передать самому Фиделю. Раненого охватило огромное желание жить, жить, чтобы выполнить эту задачу.

Когда шум шагов затих, раненый медленно повернулся. Еще поворот. Еще. Всякий раз, когда он прижимал к себе левую руку, она нестерпимо болела. Правую он вообще почти не чувствовал.

Он скатился в кювет и пополз.

— Смотрите, один мертвец удирает! — воскликнул наемник, заметивший его. Раздалось несколько пистолетных выстрелов. Пули ударились о камни. Однако захватчики, очевидно, больше беспокоились о том, как бы самим поскорее удрать, и оставили его в покое.

---

* Сельский полицейский в дореволюционной Кубе.

«Только бы добраться до своих. Я должен сообщить об этом Фиделю»,— думал раненый.

Пытаясь пролезть через заграждение из колючей проволоки, он почувствовал, что силы оставляют его. Все тело горело огнем. Он не мог открыть глаза и продвигался вслепую. Он то полз, то шел во весь рост, шатаясь, оставляя кровавый след на пыльной земле, испытывая нестерпимую боль, будто тысячи ножей резали его тело.

Так он прошел километра два. Послышался рокот мотора. Он закричал. Каррасану подобрала бронемашина Повстанческой армии.

В госпитале ему оказали первую помощь. Все его тело было изрешечено осколками. Из правой щеки Хосе извлекли шуруп и гайку, а из левой два осколка. Нос оказался срезанным. Позднее в Матансасе ему сделали две операции и еще одну в Гаване. Нос восстановили с помощью пластической операции.

Каррасана сообщил очень ценные сведения.

САНТЬЯГО КАРДОСА

«НАДО СТОЯТЬ ДО КОНЦА, ОТЕЦ!..»

Милисиано уставился на меня. Ему было за сорок. В его глазах печаль. Он не отрицал, что плакал. Но больной блеск его маленьких глаз говорил еще и о том, что он не спал.

Я видел, как он легко шагал среди своих товарищей, беспокойно поглядывая в небо и решительно — вперед на север. На стволе его винтовки болтался лоскут от вражеского парашюта.

— Сын был без ума от революции,— начал он свой рассказ.— За нее он и отдал жизнь.

Анхель Вильяфуэрте Айяла стал рыться в карманах своей оливково-зеленой гимнастерки. Его пальцы, загрубевшие от лопаты или мачете, дрожали. Он решительно протянул мне фотографию.

— Вот этот, что справа,— сказал Анхель с грустью.— Ему был двадцать один год. Эту фотографию нам сделали в воскресенье за несколько часов до агрессии. Он стоял на посту, охранял сентраль «Аустралиа». Мой сын Хесус сражался в четвертом отделении 339 батальона имени Сиенфуэгоса, как и я.

Его сын Хесус был высоким, жизнерадостным юношей. Революция вселила в него большие надежды. Свои революционные обязанности он делил с работой в магазине. Уже раньше он принимал участие в операциях по очистке гор Эскамбраи от империалистических «паразитов». До революции он входил в подпольную группу, сражавшуюся с тиранией Батисты.

— Повторяю,— продолжал Вильяфуэрте Айяла,— что я так говорю не потому, что он мой сын: он был без ума от революции и от Фиделя! Утром в понедельник...

Он умолк. С десяток товарищей Хесуса с волнением слушали рассказ отца героя и патриота. Обедавшие отложили ложки в сторону. Воцарилась полная тишина.

— Это случилось примерно в девять часов утра... Как только мы получили по радио сообщение с Плайя-Хирон, первое отделение 339 батальона поспешило на помощь. Мой сын шел впереди меня.

Враг обрушил на нас всю силу своего огня. Вокруг беспрерывно рвались снаряды. Наемники установили скорострельные орудия на болотах и возвышенностях. Они хорошо пристрелялись к шоссе, по которому мы шли, и били из пушек, минометов, базук и еще из бог знает каких видов оружия. Американские самолеты, носившиеся над нашими головами, еще больше подбавляли жару в пекло, в которое мы попали.

Хесус с несколькими товарищами продолжал идти вперед. Я тоже не отставал. Вокруг свистели осколки. Огонь стал невыносимым. У нас же ничего, кроме винтовок, не было, а это, понятно, ерунда по сравнению с мощным оружием наемников. Однако никто из наших не сделал ни шагу назад. Мы горели одним желанием: поскорее встретиться с захватчиками. Мы были полны патриотизма и веры в революцию...

Тишину нарушили голоса ребят. «Смерть захватчикам!» — вот наш лозунг,— говорили они.— Мы клялись победить и победили!

И снова наступила тишина. Отец Хесуса продолжал:

— Это случилось примерно в девять часов утра. Многие пали, сраженные осколками. Это было ужасно! Мы с Хесусом лежали рядом. Он говорил: «Не дадим врагам даже зацепиться за нашу землю, отец. Иначе они захватят ее. Что тогда будет с мамой и моими сестренками?.. Надо стоять до конца, отец!..».

Он вскочил и с винтовкой наперевес под огнем бросился на врага. Он сделал всего несколько шагов. Раздался оглушительный взрыв. Окровавленный, он упал, но не выпустил из рук винтовки. Снаряд сразил сына. Я встал и под градом пуль и осколков — наемники в этот момент усилили огонь до предела — подошел к сыну.

Жизнь угасала в нем. Он только сказал: «Папа!..» Я дал ему воды, но она стекла по губам.

Я не мог оставить его там. Эти сволочи не переставали стрелять, а мой сын умирал. Я укрывался как мог, лежа возле него, уткнувшись в землю лицом. На какую-то секунду наступила тишина, но лишь на секунду. Я хотел оттащить сына назад. Но даже пошевельнуться было невозможно — осколки ложились совсем рядом. В душе появилось такое чувство — его невозможно передать словами. Я не обращал внимания ни на пули, ни на осколки. Я приподнял сына и повернул его лицом к солнцу. Я хотел, чтобы он умер с высоко поднятой головой, лицом к солнцу!

Я посмотрел в глаза отца Хесуса. Слез в них не было. Они были печальны и смотрели вдаль, на север...

Он пошел в кухню, вокруг которой расположился лагерем 339 батальон, принес немного кофе, и мы стали пить его из консервной банки.

— Наши войска,— сказал он,— дошли до Плайя-Хирон и Плайя-Ларга, сметая на своем пути захватчиков. Там, на поле боя, рядом с моим сыном остались еще тридцать шесть ребят из 339 батальона. Я попросил разрешения разыскать тело сына и отвезти его в Сьенфуэгос. Там мы его и похоронили.

Анхель Вильяфуэрте Айяла крепко пожал мне руку. Его глаза лихорадочно блестели от недосыпания.

— Мой Хесус,— сказал он,— умер за правое дело, за дело, которое очень любил. Теперь я буду сражаться за него и за себя. Будут мстить за него и три других моих сына. Я всегда, на любом фронте буду помнить его последние слова: «Не дадим врагу даже зацепиться за нашу землю, отец. Иначе они захватят ее. Что тогда будет с мамой и моими сестренками?.. Надо стоять до конца, отец!..»

Анхель ушел и затерялся среди сотни других солдат 339 батальона. Он шагал, беспокойно поглядывая в небо и решительно — вперед на север.

РИНЕ Л. ЛЕАЛЬ

ФИДЕЛЬ НАЗВАЛ НАС «ОТРЕЗАННЫМ БАТАЛЬОНОМ»

Наша история, история героизма, бесстрашия и воинской доблести, началась гораздо раньше 17 апреля, когда на Кубу высадились наемники. Дело в том, что 111 батальон Национальной революционной милиции был сформирован первым после напряженной военной подготовки, которая началась проводиться в Манагуас 31 октября прошлого года, то есть почти за шесть месяцев до агрессии. Это был, как говорят на военном языке, «пробный» батальон, ибо с ним производились различные эксперименты, опыты, из которых извлекали уроки для обучения других подразделений. После подготовки этих солдат, которые до недавнего времени были рабочими, «дилерс» * в игорных домах и т. п., перевели на остров Пинос. Потом они находились под ружьем весь январь в казармах, принимали участие в операции по очистке гор Эскамбрай от «паразитов». Позднее одни вернулись к своим прежним занятиям, другие охраняли предприятия. И вот недавно они вернулись из самого ада — Плайя-Хирон и Плайя-Ларга. Эти шесть месяцев постоянного напряжения, постоянной бдительности, бессонных ночей, когда взор напряженно ищет в черноте ночного неба вражеские самолеты, бесконечных переходов в полной боевой выкладке сделали 111 батальон образцовым подразделением Национальной революционной милиции. Его пример показывает, как нужно любить родину и революцию и защищать нашу независимость.

Теперь можно рассказать ту часть нашей истории, которая началась утром 17 апреля 1961 года. Когда пришла весть о нашествии наемников, менее чем через четверть часа весь батальон был в сборе, а через несколько часов он уже находился в пути, направляясь к месту первых боев. В час ночи следующего дня 111 батальон расположился на сентрали «Аустралиа», где уже находился Фидель Кастро. Сначала все было совершенно ясно: под командованием лейтенанта милиции Гильермо Куэста батальон будет взаимодействовать с майором Повстанческой армии Борхесом и ответственным за работы в Сьенаге Масикесом. Однако вскоре батальону поручили сложнейшую задачу — проникнуть в тыл противника и отрезать ему путь к отступлению, что решало судьбу захватчиков. Однако продвигаться вперед по открытому шоссе, шагать по неприветливой земле, где можно легко попасть в засаду, идти в лобовое наступление на танки, тяжелые пулеметы противника, у которого изобилие боеприпасов, с ходу вышибить врага из глубоких траншей — это была задача, которую сам Фидель выразил в простых словах:

* Человек, раздающий карты *(англ.)*.

— Через некоторое время вам предстоит выдержать жаркие сражения. Вы станете «отрезанным» батальоном, проникнете в зону противника и займете ее, оставите отряды во всех населенных пунктах, выставите заслон, через который не должен проскочить ни один наемник, и отрежете противнику путь к отступлению. Но все это вам придется проделать фактически без связи с нашими главными силами. Вам придется поработать, перейти на самообеспечение, питаться тем, что попадется под руку, обходиться тем малым количеством воды, которую найдете, и надеяться только на свои силы. Повторяю, батальон будет «отрезанным», но ваши действия станут решающими.

Ни один из 995 милисианос этого батальона «не сделал ни шагу назад даже для того, чтобы взять разбег» *.

Через Пальпите, Соплильяр, Хики, Сан-Блас, Кайо-Рамона революционеры вошли в самый центр территории, за несколько часов до того оккупированной захватчиками, которые удирали, почти не оказывая сопротивления. Враг сосредоточился в Элечале, километрах в четырех от авангарда 111 батальона. Вот тут-то и начался кромешный ад из огня и осколков. Он длился целых два дня. В результате часть бандитов бежала в горы, часть едва унесла ноги по воде туда, откуда прибыла. Однако пусть нам расскажет об этом командир батальона лейтенант Куэста, переживший от начала до конца всю историю:

— В соприкосновение с противником мы вошли у высоты Элечаль. Произошла настоящая минометная дуэль. Правда, иногда наемники обрушивали на нас огонь скорострельных пушек и даже бросали танки «шерман». Но несмотря на это мы продолжали продвигаться вперед, чтобы отрезать им путь к отступлению. Тем временем подразделения Повстанческой армии и милисианос вышли из сентрали «Ковадонга» и Сан-Бласа и взяли врага в клещи. Операция была проведена успешно и застигла противника врасплох. Тогда враг бросил против нас «Б-26» и реактивные самолеты «САБР». Но как только появилась наша авиация, они бежали, даже не вступив в бой. Тем временем наемники подвергли варварской бомбардировке всю зону, по которой пролегал наш путь. Мы видели результаты их изуверства: нам попался ребенок лет пяти, которому оторвало ногу пулеметной очередью с бандитского самолета. Он все время говорил отцу, пока не истек кровью: «Не беспокойся, папочка, это пустяки». После боя мы соорудили простой гробик и похоронили ребенка. Вокруг молча стояли крестьяне. Они скрывались в горах и теперь радостно вышли нам навстречу. Они кормили нас и оказывали батальону всяческую поддержку в борьбе. Большую помощь нам оказали проводники, особенно один толстячок из Хики. Его имени я сейчас не помню. Он так искусно провел нас, что мы неожиданно появились перед самым носом противника,— все это помогло нам успешно выполнить боевую задачу.

От Элечаля 111 батальон продвигался вперед, преследуя противника по пятам почти до самого Плайя-Хирон. Фидель Кастро приказал прекратить преследование: последний удар должны были нанести танки. Несмотря на протесты личной охраны и сопровождавших его военных начальников, главнокомандующий вскочил на шедшую впереди колонны танкетку, у которой было всего лишь пять снарядов.

— Здесь командую я! — воскликнул он.— И говорю вам, что мы будем наступать до самого Плайя-Хирон. Мы выиграем войну за три часа, а не за три дня.

Не стоит и говорить, что такая быстрота решила исход этой молниеносной войны против наемных захватчиков. Однако не будем слишком удаляться от нашего рассказа; Гильермо Куэста вернулся в Кайо-Рамона, где получил приказ выставить заслон по всему побережью от места своего расположения до Сан-Бласа. Так у «отрезанного» батальона появилась новая задача — вылавливать наемников. Однако предоставим слово заместителю командира батальона младшему лейтенанту Раулю Васкесу:

— Всего лишь за несколько часов мы взяли в плен около двухсот «паразитов». Они сами сдавались, или мы их извлекали из укрытий, когда тщательно прочесывали горы. Их моральное состояние было довольно плачевно. Несколько дней они не ели и не пили. Бандиты грабили крестьян, отнимали у них одежду, раздевали почти догола, надеясь спастись в чужом платье. Они побросали весь свой провиант: сладости, пиво и т. п. Галеты у них были особенные: по мере того как их медленно жуешь, они разбухают во рту. Большая часть провианта попала в наши руки. Самое же любопытное заключается в том, что все они притворялись невинными агнцами и пытались убедить нас, будто никто из них с нами не воевал. Однако стоило войти в горы, как начало попадаться огромное количество вооружения: винтовки систем «браунинг», «М-3», «гаранд», масса боеприпасов, гранат и мин, радиопередатчиков, бронемашины с тяжелыми пулеметами — словом, целый арсенал.

Боевой дух 111 батальона был по-прежнему очень высок. Многие милисианос не ели по двое суток, тем не менее никто не жаловался. Они стойко держались вдали от товарищей по оружию, «затерявшись» среди полей, занятых врагом, под жестоким пулеметным огнем, но ни разу не отступили, не сделали ни шагу назад.

В эту засушливую пору даже в болотистой Сьенаге вы не найдете ни глотка воды, земля становится сухой и угрюмой. Днем ее сжигают нестерпимые лучи солнца, а ночью по ней гуляет холодный ветер. В воздухе стоят тучи москитов. И в этих нечеловече-

---

* Фраза из речи министра обороны Кубы Рауля Кастро, ставшая крылатой.

ских условиях на солдат обрушился коварный враг, и разгорелась жестокая война не на жизнь, а на смерть. Но когда единственным желанием становится желание выжить, человек способен обмануть даже смерть. Тяжелый предмет, оброненный на вязкую почву Сьенаги, вдруг открывал людям источник воды. Стоило копнуть обожженную солнцем землю, как со дна неглубокой ямки проступала жижа, грязная, темная, «шоколадная», как называли ее милисианос, но все же это была вода. Ее пили, пропустив через платок или край гимнастерки. Процеженная, она все равно содержала такое количество нечистот, что вызывала отвращение. Поэтому ее пили такой, какой она выступала на дне ямки,— так всех мучила жажда.

— Болел ли кто-нибудь? — спросили мы у врача батальона Мигеля Бисбе.

— На заболевания мне не приходится жаловаться,— ответил доктор.— Кажется, эти люди сделаны из особо стойкого сплава. У нас был передвижной лазарет на Плайя-Хирон и хирургическая в Ковадонге, а главная лечебница находилась в Хагуэе-Гранде, за передовой. Некоторым раненым (в нашем батальоне их было всего пять) оказывали помощь в Кайо-Рамона, потом их переправляли в Ковадонгу, в Агуаду де Пасахерос и, если было необходимо, в Сьенфуэгос. Вместе с другими пленными мы захватили бывшего губернатора Санта-Клары и организатора всей этой «затеи», а также второго по значению командующего захватчиками Сантамарину, множество маменькиных сынков, которые сразу побросали оружие и вышли к нам со старой песней, что, мол, «нас обманули, и мы тут ни при чем». Иные, вроде инструктора парашютистов, вели себя нагло, оскорбляли милисианос, но скоро не осталось и следа от их храбрости, которую они не смогли показать в бою. Тех, кто отнял у крестьян одежду, было легко распознать. В этом районе все люди знают друг друга. Достаточно было спросить любого из них, как он тотчас же говорил, был то переодетый бандит или местный житель. Поэтому, например, четверо наших ребят за каких-нибудь несколько часов взяли в плен 40 наемников. Пленные находились на грани безумия. Одни пили воду прямо из радиаторов машин, другие собственную мочу. Многим пришлось ввести сыворотку. В одном из домов мы с Фиделем Кастро обнаружили обессилевшего наемника.

— Убейте меня! — кричал он.— Пожалуйста! Я диабетик. У меня прострелен желудок. Мне больно. Я больше не могу. Ради бога, кончайте со мной сразу. Убейте меня.

Фидель с жалостью посмотрел на него и сказал:

— Зачем убивать? Мы собираемся вылечить тебя, чтобы ты жил...

Такова в двух словах история 111 батальона Национальной революционной милиции, первым окончившего курсы военной подготовки в Манагуа, почти за пять месяцев до нашествия. С тех пор он все время находился под ружьем, готовый идти на помощь туда, где всего труднее. Эту историю легко рассказывать, подыскивая соответствующие слова, прилагательные, глаголы, описывая на бумаге ужасы, пережитые людьми за три дня на самом тяжелом участке фронта, где они попадали под перекрестный огонь орудий противника и революционных войск, снаряды которых пролетали над ними, точно смертоносные птицы. Это горькая история, ибо подчас людям приходилось пить грязную жижу из болот, чтобы выжить и продожать борьбу. Там не было места усталости, страху перед вражеской засадой, ужасу при виде льющейся у тебя на глазах крови товарища. Там говорили о военной тактике, клещах, отходах, бросках вперед по открытому шоссе, о стреляющих танках, пиратских самолетах, которые убивают крестьянских детей, не имеющих никакого отношения к войне, о разрушенных домах, о целых семьях, укрывшихся в горах среди камней, и о многих других превратностях судьбы и жестокостях, о смерти, которой они смотрели в глаза. Это история о суровой борьбе за победу. Ее можно прочесть за пятнадцать минут, но 995 солдат 111 батальона Национальной революционной милиции, «отрезанного» батальона, написали ее лучше меня, ибо они писали своей волей, своей доблестью и отвагой, своей кровью, кровью павших на поле боя, кровью раненых.

Потому я ограничусь лишь тем, что они мне сами рассказали...

КОММЮНИКЕ № 4

Части Повстанческой армии и Национальной революционной милиции штурмом овладели последними позициями наемников, вторгшихся на территорию нашей страны.

В 5 часов 30 минут вечера пал последний оплот интервентов на Плайя-Хирон.

Революция одержала победу. Эта победа завоевана высокой ценой прекрасных жизней революционных бойцов, поднявшихся на борьбу с врагом, беспрестанно наступавших на него, без единой минуты отдыха. Наемники, которые в течение долгих ме-

сяцев обучались империалистическим правительством Соединенных Штатов, были разгромлены менее чем за 72 часа.

Враг потерпел сокрушительный разгром. Часть наемников пыталась перебраться за границу на судах, которые были потоплены Повстанческими Военно-Воздушными Силами. Остатки интервентов, понеся большие потери убитыми и ранеными, полностью рассеялись в болотистом районе, откуда им нет выхода.

Захвачено огромное количество вооружения американского производства, в том числе тяжелые танки «шерман». Еще не сделано полного подсчета трофейного снаряжения.

В ближайшее время Революционное правительство представит народу полную информацию о всех событиях.

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС
Главнокомандующий Революционными Вооруженными Силами

19 апреля 1961 года

СЕСАР МАРИН

ОНИ УБИВАЛИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Шестнадцатилетняя Нора Мартин и четырнадцатилетний Крус Родригес были доставлены в один из госпиталей, расположенных в Хагуэе-Гранде, вскоре после бандитского вторжения наемников на Плайя-Ларга и Плайя-Хирон.

Подростков вынесли с поля боя под бешеным огнем захватчиков.

У Норы сильный нервный шок. Крус ранен в правую руку. Оба подростка потеряли почти всех своих родных: их зверски убили посланные Миро Кардоной и Кеннеди «освободители», едва успев ступить на кубинскую землю.

ДЕТИ РАССКАЗЫВАЮТ СВОЮ ОДИССЕЮ

Нору привела в госпиталь ее бабушка Беатрис Ортис, которой шестьдесят лет. Старая женщина долго не могла прийти в себя от пережитого ужаса. Когда они ехали на открытом грузовике без бортов, их обстреляли отряды наемников.

«Были убиты моя сестра Мария, тетя Ампаро, моя двоюродная сестра Сира Гарсия... Остальным удалось уцелеть просто чудом»,— таковы были первые лихорадочные слова девочки Норы Мартин, все еще дрожавшей от страха, ее глаза были полны горя и ужаса.

«Это было примерно около шести утра,— продолжала она свой рассказ.— Мы возвращались с поминок нашего знакомого Рамонсито. Он умер в Буэнавентуре (местечко неподалеку от Плайя-Ларга). Вдруг мы услышали сильную стрельбу. Мы чуть не померли со страху. Казалось, этому конца не будет».

Из груди маленькой крестьянки вырываются рыдания. Ее бабушка дополняет:

«Мой сын Рауль по воле провидения не погиб. Он спрыгнул с машины, ссадил нас и велел спрятаться за колеса, они-то нас и защитили от пуль, которые сыпались, точно дождь».

Нора берет себя в руки и продолжает: «Я кричала, им: «Убийцы!» Кричала, чтобы они прекратили стрелять, что у нас раненые, но они продолжали стрелять из пулеметов. Я обрушила на них все проклятия, какие только пришли мне тогда в голову. Проклятые убийцы!»

Она опять разразилась рыданиями. Девочка поднялась с кровати, шатаясь, сделала несколько шагов. Медсестра уговорила ее снова лечь.

«Мы ни в чем не были виноваты. У нас не было оружия. Мы были беззащитны. А они стреляли из пулеметов»,— закончила свой рассказ Нора. А бабушка добавила:

«Пусть Фидель расстреляет всех убийц, которые попадутся в плен».

ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Когда мы подошли к мальчику Крусу Родригесу, чтобы задать ему несколько вопросов, врач попросил нас:

— Пожалуйста, ничего не говорите ему. Он не знает, что почти всю его семью расстреляли.

На лице мальчика еще лежала печать трагедии, которую он видел собственными глазами. Все это случилось в нескольких километрах от сентрали «Аустралиа».

Это произошло в понедельник около восьми часов утра. Наш отряд приближался к Пальпите и Соплильяру, неподалеку от которых мы стали свидетелями ужасного преступления. Мы наткнулись на машину, в которой ехал маленький Крус со своей семьей. Автомобиль подвергся варварскому обстрелу. Мать Круса, тридцативосьмилетняя Хулиа Монтано, лежала на сиденье машины с раздробленным черепом возле семерых детей. Она была мертва. Ее тетя Каридад Кастро металась в агонии с перебитым позвоночником. Семидесятилетняя бабушка мальчика Рита Гомес стонала, израненная пулями. Отец мальчика случайно оказался легко раненным в голову. Остался невредимым только дедушка Либорио Родригес, который находился дома.

«Мы вывесили белую простыню, но самолет и высадившиеся парашютисты открыли беспощадный огонь. Как я остался в живых, не понимаю»,— сказал Эстельвино Родригес, отец Круса.

ЗЛОДЕЯНИЯ НАЕМНИКОВ

Убитые дети и женщины. Тела некоторых из них были подобраны на поле боя после того, как трусливо бежали наемники, отмеченные невидимым клеймом «Made in USA» *. Таков кровавый итог их «подвига», совершенного сразу же после высадки.

Начиная с этого момента, наемники зверствовали вовсю. Они грабили, убивали, поджигали магазины, дома и автобусы.

Теперь нам ясно, почему на лодках, доставивших бандитов на берег, были намалеваны черные черепа, символ смерти, опустошения и ужаса.

ПИСЬМО КУБИНСКОЙ МАТЕРИ

Г-ну Джону Кеннеди, президенту Соединенных Штатов Америки

Господин Президент!

17 апреля на рассвете за много миль от дома, где спали вы и ваша супруга, где слышалось нежное дыхание ваших маленьких детей, на острове, называемом Куба, началась внезапная агрессия. Наемники, вооруженные и подготовленные вашим правительством, поддержанные вашими военными кораблями, самолетами и танками, нарушили сон многих малышей. Наши дети чувствовали себя спокойно за хрупкими стенами отцовских домов, доверившись эпохе, в которую люди поднимаются в заоблачные выси и несут в руках гордое знамя освобождения и светлого будущего.

Да, мистер Кеннеди, вы, конечно, спали, спали ваши дети, спала и ваша жена, когда смертоносные бомбы разбудили крестьянских детей и несчастных матерей мирного и бедного района моей страны. Ведь их не охраняли часовые, которых вам услужливо предоставил Белый дом для охраны сна и жизни ваших детей, вашей семьи.

Было бы очень тяжело описывать вам, с каким вероломством были убиты эти крошки, у которых не было ни убежища, ни защиты. Однако, когда вы возьмете на руки своих детей или улыбнетесь своей супруге, представьте себе хотя бы на одну минуту, что они мертвы, изуродованы, что они истекают кровью, которая пачкает вам руки, и по вашей белой тонкой нейлоновой рубашке растекается темное пятно смерти.

Так началось то утро, господин Президент Соединенных Штатов. Бомба, расчетливо направленная Пентагоном и взорванная вами, выполнила свою жестокую и коварную роль, убив детей и женщин от имени могущественной страны и ее демократии, которая приобрела столь печальную славу. Но то утро и дни, последовавшие за ним, разбудили многих.

Знаете ли вы, мистер Кеннеди, что кубинский народ пробудился на борьбу и грудью встал на защиту родной земли, что мужчины и женщины Кубы мужественно сражались с врагом, пока огнем и кровью не заставили агрессоров и холуев опустить оружие, с которым они напали на нашу землю?

---

* Сделано в США *(англ.)*.

Все это, конечно, вам известно. Но, кроме того, есть еще и горе матерей, господин Кеннеди. Нет, не только тех матерей, дети которых убиты в Сьенага-де-Сапате. Я говорю о матерях, оплакивающих детей, павших в боях, о всех матерях — наших и ваших.

Более того, господин Президент, я говорю о тех матерях-американках, которые сегодня носят такой же траур, как и кубинские матери. Конечно, их меньше. Но в минуту, когда речь идет о материнском горе, мы не хотим сводить счеты и помнить зло.

Но не только от имени правосудия я напоминаю вам о той серьезности, которой следовало бы ожидать от правительства, представляющего великий народ. Я хочу сказать вам, как совершившему преступление человеку и близорукому правителю, что слабость зрения мешает вам понять и в общем и в частности, что такое мы, кубинцы.

Поэтому позвольте продолжить разговор и рассказать о горе, которое мне всего ближе, сильнее, острее и больней: прочтите вместе со мной письмо женщины, потерявшей двадцатилетнего сына в боях на Плайя-Хирон. Вы, должно быть, понимаете, какой это жестокий удар. Но понимаете ли вы решительный, ясный язык кубинки, матери кубинца, который без раздумья отдал свою жизнь, чтобы защитить права своей свободной земли?

Когда матери с такой решительностью встают над трупами своих сыновей, знайте, господин Кеннеди, что такая земля, как бы мала она ни была и какой бы слабой ни казалась, обладает несокрушимой силой, хотя у нее и нет ни ядерного оружия, ни внушительной армии, которая охраняла бы покой семьи Президента. Всю свою жизнь, все свое мужество и непоколебимую волю сплоченный народ Кубы отдаст на защиту отечества от иноземцев, которые осмелятся ступить на наш берег, которые попытаются поработить нас, захотят затоптать в грязь наш суверенитет!

Поцелуйте, господин Кеннеди, в теплый лобик своих живых детей от имени кубинских детей и юношей, умерших под бомбами империалистов.

Дора Алонсо.

Гавана, 4 мая 1961 года.

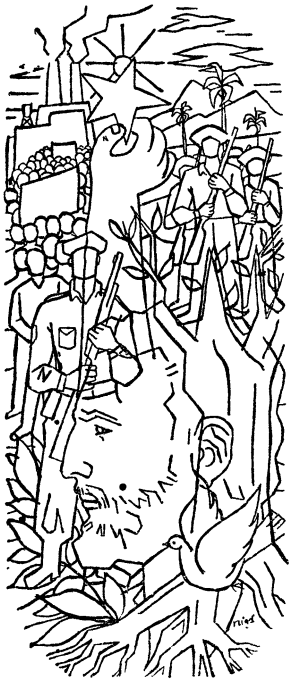


Рисунок кубинского художника
ХОРХЕ РИХОЛЯ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

ОТВЕТ МОЛОДЫХ

Год назад учебников гаитянской литературы, имеющей свои богатые традиции, вообще не существовало. На протяжении одного года вышли в свет две книги, посвященные гаитянской литературе. Авторов обоих учебников, и Гислена Гурежа и Праделя Помпилюса, волнует один и тот же вопрос: кто унаследует эти традиции? Обеспокоенные судьбами родной литературы ученые не видят перспективы ее дальнейшего развития.

«Кто придет на смену Жану Бриеру и Жаку-Стефену Алексису?» — с тревогой спрашивает Прадель Помпилюс.

«Мы видим, что наша культура потерпела поражение»,— с горечью признает Гислен Гуреж.

Правы они или ошибаются? На этот вопрос от имени молодых гаитянских писателей ответил **Антони Фельпс**, чью взволнованную статью напечатала газета **«Нувеллист»**, выходящая в Порт-о-Пренсе, столице Гаити. Имя Антони Фельпса известно на его родине. Он — автор поэмы «Лето», которая дышит надеждой на лучшее будущее гаитянского народа. Поэт верит, что пройдут времена национального угнетения, времена нужды и бесправия. Он убежден, что для всех народов мира настанет «вечное лето», светлая пора братства, когда люди, говорящие на разных языках, поймут друг друга.

> «Господа профессора, я утверждаю, что культура на Гаити не умерла,— пишет Антони Фельпс.— Есть целая группа людей, с увлечением занимающихся литературным делом, они трудятся, они учатся — и вы это прекрасно знаете. Целая группа молодежи, исполненная доброй воли и жаждущая внести свой вклад в гаитянскую литературу, стремится обновить ее, выйти из заезженной колеи, сбросить груз старых традиций, создать произведения небывалые и прекрасные».

Но молодым гаитянским литераторам, поэтам и прозаикам, не легко делать свое дело. «Какой трибуной располагаем мы для выражения наших мыслей? — спрашивает Антони Фельпс.—Н и к а к о й!» Нет журнала, где молодые писатели могли бы печататься, нет издательства, которое выпускало бы их книги. И, разумеется, нет материальной возможности целиком и полностью отдаться любимому делу.

Антони Фельпс обращается к тем литераторам старшего поколения, кто «издается с золотым обрезом», к тем, у кого собственный дом. Он спрашивает их:

> «Что вы сделали для развития гаитянской литературы? Где премии за лучшее поэтическое произведение или роман, которые вы могли бы учредить, как это практикуется во всех странах мира?
>
> Где среди вас тот человек — покажите мне его! — который согласился бы финансировать издательское дело?»

Антони Фельпс заранее знает, что на эти вопросы трудно ответить. Ведь привилегированные слои гаитянского населения — в том числе и привилегированные литераторы — не оказывают никакой поддержки, ни материальной, ни моральной, начинающим писателям.

> «Вы, сударь, вы, читающий сейчас эту газету, вы, у кого есть деньги, почему бы вам не основать ежегодную премию за поэтические произведения? Это вам обойдется в каких-нибудь сто пятьдесят долларов. Для вас это сущий пустяк, для страны — большая польза, а мое поколение избавится от несправедливого ярлыка, по которому оно числится «поколением тупиц».
>
> Те, для кого сто пятьдесят долларов — сущие пустяки, обычно ссылаются на тяжелое экономическое положение страны. Как можно, говорят они, тратить деньги на поддержку литературы, когда в

стране бесконечное множество более неотложных нужд. Подобные лицемерные рассуждения вызывают у Антони Фельпса справедливый гнев. «Меня на эту удочку не поймать! — возмущается он.— Не нужно издеваться над нами — ведь платите же вы самым исправным образом за «Пари-матч» и любой другой иллюстрированный журнал весьма низкого пошиба. Так как же? Потрудитесь сделать из этого надлежащие выводы!»

Антони Фельпс заверяет, что молодые писатели готовы подхватить эстафету из рук Жана Бриера и Жака-Стефена Алексиса.

«Это не пустые обещания, не иллюзорная надежда. Нет! Ибо плоды наших трудов уже налицо. Мы предложим вам эти плоды один за другим. Мы вытащим наши произведения из ящиков письменных столов и при ярком свете дня представим их на ваш суд»,—

говорит он писателям старшего поколения.

Утверждая в заключительной части своей статьи, что лучшие произведения поэтов Гаити «останутся жить в веках», Антони Фельпс цитирует стихи своего собрата по перу Рене Филоктета:

Расскажи мне о стране, где синие кровли,
о стране, откуда ты пришел,
где у цветов есть губы, чтобы целовать раннее утро!
Расскажи мне о стране источников,
поющих, как флейты,
о стране зеленых фламинго
и черных голубей!
Расскажи мне о стране спелого винограда,
вечных колоколов,
немых собак
и нежного, как женщина, бриза.
Расскажи мне о стране, откуда ты пришел,
и через которую проходят столько стран,
и где человек несет в себе самом
тысячи других жизней.

(Перевод с французского М. Ваксмахера)

«Когда я слышу, как поет Рене Филоктет,— пишет Фельпс,— я горжусь, что принадлежу к поколению, которое хотят назвать «поколением тупиц».

ГОЛОС ПРАВДЫ РАЗРЫВАЕТ «БОННСКОЕ МОЛЧАНИЕ»

Какова театральная жизнь в ФРГ? Дискуссия о современном театре, развернувшаяся на страницах мюнхенской газеты **«Культур»**, в известной мере дает ответ на этот вопрос. Но лишь в известной мере, ибо режиссеры и актеры, участвующие в ней, чаще всего ограничиваются общетеоретическими рассуждениями и лишь изредка приводят конкретные примеры из практики. Тем не менее определенные выводы напрашиваются сами собой.

Болеслав Барлог, художественный руководитель западноберлинского театра, пишет:

«Театр лишь в том случае сможет решать задачи, поставленные перед ним эпохой, если драматурги обеспечат его материалом».

Разумеется, надо овладеть этим материалом, для чего и требуется театральное искусство. Хороший спектакль создается соединенными усилиями мастеров литературы и театра.

Барлог не стал бы повторять азбучные истины, если б не тот печальный факт, что театры Западной Германии сидят на голодном пайке, им не хватает хлеба насущного: хороших современных пьес. Зато они широко пользуются всякими эрзацами, экспортируемыми из-за рубежа или поставляемыми местными драмоделами. На эрзацы тоже есть мода, сейчас, как пишет Барлог, в моде крайний абстракционизм в драматургии, своей бессодержательностью и бесформенностью напоминающий крайний абстракционизм в живописи.

Гарри Буквиц, художественный руководитель франкфуртского театра, подтверждает мысль Барлога. Он признает, что многое зависит от того, имеется ли у руководящих театральных деятелей гражданское мужество и чувство современности. Однако это еще не все. Не менее важно и другое: чтоб писатели, обладая теми же качествами, создавали такие пьесы, в которых «конфликты нашего духовного и общественного бытия получали бы драматическое воплощение».

Театр, по мнению Буквица, существует не напрасно лишь тогда, когда в нем постоянный наплыв тех, кто ищет ответа на самые наболевшие вопросы. Буквиц, таким образом, требует от спектакля современного звучания. Он вслед за Бертольтом Брехтом ищет новых форм сценического воплощения действительности: без точной копировки, без внешнего правдоподобия, без подробной детализации. Сегодняшний зритель, по словам Буквица, «ищет наблюдательную вышку, с которой перед ним вновь открылся бы потерянный общий вид». Буквиц, опять-таки вслед за Брехтом, считает, что каждый спектакль должен, в сущности, быть своего рода диалогом между актером и зрителем, способствующим познанию истины; зритель не только смотрит и слушает, но и мысленно отвечает на то, что увидел и услышал.

Конечно, пути сценического воплощения жизни, предлагаемые Буквицем, далеко не единственные. Но его целевая установка верна: он ориентируется на общественную значимость театрального искусства.

Эрвин Пискатор еще решительней высказывается на этот счет:

«Хотя в настоящее время театр оказался на периферии социально-критических и образовательных сил, он снова

займет свое место в их центре, когда мы положим конец фальшивому примирению с действительностью...».

Не все из участников дискуссии оптимистически оценивают перспективы на будущее. **Герман Вандершек**, берлинский критик, считает, что, как ни старались драматурги всех времен и всех народов, от их усилий мир не становился лучше. «Задача состоит в том, чтоб он не стал еще хуже»,— меланхолически замечает Вандершек. Но и он, не ограничиваясь меланхолией, настойчиво призывает к тому, чтобы среди современных западногерманских драматургов было побольше «сердитых молодых людей».

В связи с этим нельзя не вспомнить **Гюнтера Вайзенборна**, который еще раньше писал:

«В то время как наша литература охотно допускает чужой гнев, собственный отчего-то оказывается для нее нежелательным. А ведь у нее сверхдостаточно тем, за которые драматургу следовало бы взяться гневной рукой».

Итак, в итоге дискуссии выяснилось, что наиболее прогрессивные из западногерманских театральных деятелей не удовлетворены существующим положением вещей. Они понимают, что западногерманский театр в современном его состоянии не отвечает требованиям времени. Отдельные постановки — такие как, например, антифашистская пьеса Стефана Андреса «Запретные зоны»— не решают общей проблемы театрального репертуара.

В журнале **«Театер дер цейт»**, издаваемом в ГДР, опубликована статья **Гюнтера П. Карла,** посвященная судьбе западногерманского театра. Автор статьи выясняет причины переживаемого этим театром кризиса.

«В Западной Германии театр еще не завоеван, как у нас, новой публикой из рабочей, из трудящейся среды, обретшей новое самосознание. Репертуарные планы и стиль театральных постановок определяются не желаниями и стремлениями, интересами и вкусами этого подавляющего большинства населения,— пишет Гюнтер П. Карл.— Как и прежде, зрительный зал, а также и влияние за кулисами принадлежат так называемым образованным или щеголяющим показной образованностью, привилегированным — прежде всего тем, кто обладает привилегией денег и положения в обществе, кто располагает экономической и политической властью. Западногерманский театр, несмотря на действительную или мнимую оппозицию к аденауэровскому курсу, несмотря на благородные стремления и мужество отдельных деятелей, является в целом орудием в руках господствующего класса. А этот класс возглавляют милитаристско-клерикальные заговорщики».

Гюнтер П. Карл приводит множество фактов, свидетельствующих о том, что Христианско-демократический союз использует театр в своих целях. Так, например, в Оберхаузене, в центре Рурского бассейна, создан «Христианский театральный кружок», служащий целям аденауэровской пропаганды. Создание этого театра, о программе которого было заявлено во всеуслышание, вызвало протест общественности.

Снова и снова в репертуар западногерманских театров включаются пьесы, с помощью которых ведется холодная война против ГДР и СССР. Ярким образцом подобных изделий может, по мнению Г. П. Карла, служить пьеса Вольфганга Альтендорфа «Шлюз». В зрительный зал, как из открытого шлюза, хлещет неудержимый поток грязной клеветы.

Что касается западногерманского «модерна», то он тоже вполне приемлем для правящих кругов Выдавая себя за «революционеров», модернисты сокрушают лишь устарелые формы драматургии, ни на что иное их бунтарство не распространяется. Они, по словам Гюнтера П. Карла, органически не способны увидеть что-либо за пределами буржуазного общества, в котором живут, им кажется, что ничего другого и быть не может. Оттого, что это общество прогнило, они думают, что все гниет.

«Тогда не остается выхода,— пишет Гюнтер П. Карл,— тогда мнимое разоблачение оборачивается утверждением чего-то постоянного, нерушимого, неизбежного, терпимого».

Когда пьеса Вольфганга Гильдесгеймера «Пейзаж с фигурами» была поставлена на сцене, пишет далее Карл, отнюдь не прогрессивная гамбургская газета **«Вельт»** так отзывалась о ней:

«Пьеса просто плохая. Гильдесгеймер старается создать так называемый «театр абсурда». Фабулу он отвергает. Диалоги — помесь чепухи с поэзией. То, что в конце концов остается,— это ошарашивающая логика нелогичного, это, так сказать, нечто вроде пародии на нашу повседневность и на наши обычаи, показанные в кривом зеркале. Гильдесгеймер стремится приблизительно к тому, что удается Ионеско... А получается у него скучно».

Гюнтер П. Карл считает, что в данном случае с «Вельт» можно согласиться, пьеса и в самом деле плохая. А имеющиеся в ней пародийные тенденции не таковы, чтоб это могло серьезно обеспокоить кого-нибудь наверху.

Если же тот или иной западногерманский писатель напишет пьесу с подлинно разоблачительной тенденцией, то он подвергается всяческим гонениям. О судьбе таких писателей рассказывает в **«Культур» Гейнц фон Крамер:**

«Их называют «коммунистами», употребляя это слово как бранное, и безбожниками, их подозревают в том, что они —

платные агенты Востока; роются в их частной жизни, не найдется ли там какой-нибудь западни, в которую их можно поймать. А если все это не помогает, тогда на них натравливают маститых критиков, опытных стрелков, еще с прежних времен умеющих добивать раненую дичь — разумеется, аргументацией из области искусства. Не приходится удивляться, что писатели все чаще и чаще поддаются соблазну прикрыться господом богом и церковью или же «вечным искусством», прислушаться к голосу подсознательного самоконтроля, в сущности являющегося голосом вполне осознанной трусости».

И все же на сцене западногерманского театра время от времени появляются пьесы, авторы которых заглушают в себе голос трусливой осторожности.

Гюнтер П. Карл называет и новые имена молодых писателей — Хубалека, Веймана, Кришке, Сильвануса, Зиммеля, Дорста и писателей старшего поколения. К их числу относится Гюнтер Вайзенборн, своей пьесой «Семья из Невады» протестующий против атомной войны, а также Ганс Генни Яан и Рефиш, к сожалению, недавно умершие. Неоконченная пьеса Ганса Генни Яана направлена против тех, кому выгодна гонка атомного вооружения.

По свидетельству Гейнца фон Крамера, смелые и бескомпромиссные выступления недешево обходятся западногерманским писателям. В уже цитировавшейся статье в мюнхенской «Культур» он пишет, что один из методов расправы с литератором, борющимся за справедливость,— замалчивание его произведений.

> «...Ответом ему служит великое молчание, с помощью которого все нежелательное замалчивают насмерть. После того как писатель тщетно бьется головой о резиновые стены, и его самого и его книгу проглатывает великое Ничто (боннское молчание, которое «всех перемолчит», если выражаться словами Моргенштерна)».

Положение честных и смелых западногерманских драматургов тяжелое. Если они и их семьи не голодают, то лишь потому, что существует радио и телевидение, где можно подработать. Но Гейнц фон Крамер высказывает опасение, что и это ненадолго. «У господина Штрауса и господина Шредера уже наготове стальной намордник»,— пишет он в заключение своей статьи.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КНИГАМ?

Как это ни парадоксально, но в Гарвардском университете в США самым серьезным образом обсуждается вопрос о том, как сделать, чтобы студенты... читали книги. По свидетельству профессора Гарвардского университета **Дугласа Буша,** студенты имеют весьма туманное представление о классической литературе. Они не только мало читают, но и плохо пишут: если верить их профессору, то они *«не в состоянии и странички написать на хорошем английском языке».* В общем, по словам Дугласа Буша,

> «большая часть студентов, получающих степень бакалавра искусств, фактически полуграмотна».

Не верить профессору нет никаких оснований. Тем более что его коллега **Фредерик Болман,** президент колледжа «Франклин и Маршалл», утверждает то же самое. По словам Фредерика Болмана, с классиками его ученики «едва знакомы и не испытывают ни малейшего желания познакомиться поближе».

Обеспокоенный таким положением вещей, Фредерик Болман призывает, пока не поздно, выступить единым фронтом на защиту книги.

> «По-моему,— пишет он,— мы придем к культурному банкротству, если не сумеем так или иначе поставить книгу в центр внимания образованных людей».

Казалось бы, об этом и говорить нечего: без книги нет культуры. Однако не все так думают. Кое-кто, например Верген Эванс из Северозападного университета, предполагает, что мы вступаем в «визуальную эру». И эта эра хороша тем, что избавит от необходимости читать: достаточно будет созерцать на телеэкране происходящие события. Писать, между прочим, тоже не придется, электронные аппараты под диктовку запишут все, что надо.

Фредерика Болмана не устраивает такой облегченный вариант человеческого существования. Он верит в то, что книга была и будет величайшей из культурных ценностей, которыми дорожит человечество.

Подобную же точку зрения высказал в ходе дискуссии в Мичиганском университете писатель **Ванс Бурджели.** В книжном приложении к **«Нью-Йорк геральд трибюн»** воспроизводится его выступление:

> «Мне кажется, что при современном состоянии культуры, когда кинематограф глуп, театр утомителен, а телевидение — просто пустое место, когда поэзия, живопись и современная музыка доходят до такой ничтожно малой аудитории, что ее практически нечего принимать в расчет,— при современном состоянии культуры роман, а иногда и короткий рассказ обретают решающее значение. Роман — это почти все, чем мы располагаем».

Другой участник этой дискуссии — литератор **Гор Видаль,** споря с Вансом Бурджели, не менее горячо доказывал противоположное:

> «Читателей серьезного романа у нас в настоящее время не больше, чем цени-

телей поэзии»,— заявил он. По мнению Видаля, обыватели набрасываются на книги в ярких обложках и с кричащими названиями, «они эти книги поглощают, а не читают».

Кто же из двоих прав? Очевидно, правы оба, каждый со своей точки зрения. Культурная деградация современной Америки не подлежит сомнению. Гангстерская литература не только портит вкус, она отравляет ум и растлевает душу. Чем больше подобного чтива, тем меньше настоящих читателей. И все же настоящие читатели в США есть и будут, как есть и будут настоящие книги.

ПО ГОЛЛИВУДСКОМУ ПУТИ

«Современные французские фильмы обладают тем же элегантным изяществом и свежестью линий, каких вы всегда вправе ожидать от парижского платья,— пишет **Ян Даллас** в журнале **«Филмз энд филминг»**,— но они так же быстро выходят из моды».

Впрочем, кое-что остается в моде, продолжает Даллас, стиль Франсуазы Саган, для которой ее первый роман «Здравствуй, грусть!» стал своего рода патентом на особый вид искусства, предназначенного для скучающих бездельников. С недавнего времени люди подобного сорта видят самих себя и на экране. Не только во Франции, но и за ее пределами.

Как делаются такие фильмы? В чем тут секрет ремесла?

«Каковы основные элементы сагановской химии?» — спрашивает Даллас. Этих элементов, по его подсчету, четыре.

«Во-первых, скука. Людям скучна работа, скучно безделье, скучна любовь».

«Во-вторых, фетишизм. Фетишизм автомобилей и ресторанов».

Люди превращают посещение ресторанов в своего рода священный обряд. Предметы ресторанной роскоши, без которых они не представляют себе жизни, становятся для них фетишами.

«В-третьих, деньги. В них — первопричина всего. Если их много,— поясняет Ян Даллас,— то и свободного времени тоже много, а его надо «как-то убить». От нечего делать люди влюбляются; любовь для них — наилучший способ «убить время». Внешняя обстановка, в которой переживается внутренний конфликт, все та же: «любовь рождается в «Эпи-клубе» и умирает у «Максима». Коктейль «скотч» широко применяется как чудодейственное средство, исцеляющее разбитые сердца».

«В-четвертых, — пишет Даллас,— я должен упомянуть пессимизм». В модных фильмах, по его словам, «человек только тогда решается на действие, когда заранее знает, что оно ни к чему не приведет».

Любовь тоже ни к чему не приводит. Она даже не спасает от скуки. Даллас подчеркивает, что в основе подобных кинофильмов, таких, например, как «Колодец трех истин», лежит нонсенс, то есть нелепость. В данном случае фильм спасает блестящая игра Мишель Морган и Жана-Клода Бриали. Но это — единственное яркое пятно на тусклом фоне, к которому все больше и больше приучают французского зрителя.

Даллас с огорчением отмечает, что

«так называемая «новая волна» — движение деятелей французского кино, стремившихся утвердить свое право на независимость в искусстве, вне строгих коммерческих рамок больших студий,—окончательно отхлынула. ...Большие студии выиграли. «Волна» оказалась лишь рябью... Кино вернулось в «крысиную нору».

Даллас не заставляет читателя гадать, что это за «крысиная нора». Он тут же поясняет: «Французское кино превратилось в маленький Голливуд».

Казалось бы, что общего между камерными французскими картинами и многочисленными кинофильмами на библейские сюжеты, в последнее время буквально наводнившими экраны Европы и Америки?

Однако общее, безусловно, есть, и суть его в том подходе к роли и задачам кино, который Даллас верно назвал «голливудским». Библейские сюжеты чаще всего просто предлог. На их основе создаются те самые фильмы «для убивания времени», какие готовятся и во Франции.

Вся разница в том, что вместо сверхмодных парижских ресторанов на экране не менее пышные пиршественные залы древнего Рима, а вместо субтильных француженок в любовь играют библейские Суламифи и Далилы.

Об этом пишет в английском еженедельнике **«Санди таймс»** кинокритик **Дайлис Пауэлл.** Выступая в роли жюри на придуманном ею самой пародийном «конкурсе», Пауэлл раздает подобным фильмам соответствующие «премии». Вот каковы критерии оценки «отмеченных жюри» картин:

«Самый вульгарный, самый тошнотворный, самый утомительный, самый безнравственный, самый кровавый, самый идиотский диалог, самая светская оргия, специальный приз за гонки колесниц».

Картины, представленные на «конкурсе» Дайлис Пауэлл, охватывают большой отрезок времени: с двадцатых по шестидесятые годы. Пауэлл старается понять, чем каждый раз вызывается интерес к библей-

ской тематике, и приходит к выводу, что его усиление связано с упадком нравственности, с девальвацией моральных и духовных ценностей в обществе.

> «Тема насилия имеется в библейских фильмах в готовом виде в обращении израильтян в рабов, в преследовании христиан, в избиениях, пытках и распятии на кресте,— пишет Пауэлл.—Библейский сюжет допускает на экран всяческий садизм».

По мнению Пауэлл, одно это должно было бы послужить достаточной причиной для того, чтобы избегать в кино библейских сюжетов. Однако получается наоборот: чем больше сцен насилия в сценарии, чем больше пыток и трупов, тем охотнее берут его кинокомпании, с помощью рекламы создавая будущему фильму коммерческий успех.

Констатируя эти печальные факты, Пауэлл, впрочем, не делает из них очевидных выводов. Она ничего не пишет о том, что «коммерческий успех» — вовсе не единственная цель продюсеров «библейских боевиков» (как, впрочем, и французских будуарных драм). Пауэлл умалчивает о том, что такие картины уводят зрителей в призрачный мир «красивой жизни», заставляя на время забывать о мрачной действительности, которая их окружает.

ЖАН ЭФФЕЛЬ (*Франция*). «На берегу Сены».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За рубежом

ВАСИЛИЙ ЕФИМОВ

МИГЕЛЬ ВИЛАДРИЧ

Портрет Мигеля Виладрича работы художника В. Ефимова

Валенсия, раскинувшаяся на берегу Средиземного моря, утопает в апельсиновых садах, виноградниках, миндальных и финиковых рощах. Страной нив называют северную Кастилию. На склонах гор круглый год пасутся стада овец и коз. Вина из подвалов Аликанте, Малаги и Хереса славятся на весь мир.

И в самом деле, под солнечным небом Испании могло бы хватить всем ее жителям и хлеба, и мяса, и вина; природа щедро одарила Испанию богатствами, а ее людей — красотой, мужеством и талантами.

Но поистине трагична судьба этого одаренного народа, этой прекрасной и многострадальной земли. Потому и передается из уст в уста старинное предание, рассказывающее грустную историю Испании. Это предание гласит, что святой Фердинанд после смерти попал будто бы прямо в рай, и святой Иаков повел его к богородице, которая предложила ему любые милости для дорогой его сердцу Испании. Фердинанд попросил масла, вина и хлеба — богородицей это было даровано; солнечного неба, храбрых мужчин и красивых женщин — и это было позволено; сигар, чесноку и быков — с большим удовольствием; хорошего правительства... Но последовал отказ. «Нет, нет,— сказала богородица.— Если бы и это было даровано Испании, ни один ангел не пожелал бы больше оставаться на небесах». И поэтому, добавляют в народе, хорошего правительства в Испании нет. Поэтому храбрым и красивым людям не хватает свободы и счастья, не хватает хлеба и масла.

В небольшой испанской провинции Лерида, в Каталонии, 28 марта 1887 года родился Мигель Виладрич.

Маленький Мигель рос обыкновенным ребенком, но от других детей его отличал необычный характер. Он часами мог просиживать молча, наблюдая, как играют другие дети, рассматривая яркие лепестки цветка. Очень любил Мигель животных и, казалось, понимал их язык.

Рисовать Виладрич начал очень рано. Почему-то особенно привлекала его архитектура. В 18 лет он переехал в Мадрид, чтобы заняться скульптурой и живописью. В Мадриде познакомился и подружился со скульптором Хулио Антонио, с которым потом около двух лет путешествовал по стране, делая зарисовки. В то время он уже сложился как художник. Его работы отличались законченностью

и самостоятельностью, умением сочетать реалистичность изображения с совершенством формы. «Искусство,— говорил он,— не может быть простой копией, иначе это был бы показ второстепенных сторон действительности... В портрете должны быть выражены все качества человека и, главным образом, черты характера, присущие только ему. Другими словами, в портрете должна быть отражена сущность портретируемого». Эти взгляды на искусство художник воплотил в своем творчестве.

В 1919 году Виладрич поехал в Аргентину. В Буэнос-Айресе он выставил свои работы, которые ранее экспонировались в Мадриде и Париже.

Путешествуя по северо-западным районам Аргентины, населенным потомками испанцев и индейцами, Виладрич встречался с простыми, родными его сердцу людьми — крестьянами и пастухами. В этот период он написал много портретов и окончательно сложился как портретист.

Возвратившись в Испанию, художник попробовал свои силы в декоративном искусстве и по заказу муниципального совета Барселоны расписал одну из стен городской ратуши. Его работы приобретали все большую популярность, и в 1935 году группа видных деятелей культуры предложила создать музей, первыми экспонатами которого должны были стать произведения М. Виладрича.

После гражданской войны в Испании многие художники ушли в абстрактное и формалистическое искусство. Виладрич остался верен себе: он воспевал красоту и мужество человека, веру в победу гуманизма. Художник продолжал жить и работать в Барселоне. Его единомышленники сражались за свободу с оружием в руках, и Виладрич помогал этой борьбе кистью и словом. Он писал: «Усилия на благо общества означают сейчас борьбу за свет, за мир средствами искусства». И далее: «Сознательные люди и народы должны подняться против уродливых явлений во всех областях жизни. Консервативные власти противопоставляют отжившее, больное в искусстве творческому, прогрессивному».

В 1938 году Виладрич посетил Мексику и другие страны Латинской Америки. На этот раз он снова надолго задержался в Аргентине и поселился в Катамарке, северной столице страны. Это город земледельцев, пастухов, текстильщиц. Виладрич жил среди них, изображал их. В Испанию он больше не вернулся. Аргентина стала его второй родиной.

В Аргентине Виладрич написал много пейзажей и портретов. Среди них портреты мальчика-печника, пастуха, индианки с ребенком за плечами, пастушка с лисенком.

Правдиво и одухотворенно передана природа области Чако: громадные кактусы, столь характерные для восточного района Анд, нависшие над горами хмурые тучи. Художник всегда изображает небо хмурым, грозовым.

Люди внешне кажутся спокойными, даже статичными — художник не любит экспрессивных поз,— но мастерски передана их внутренняя взволнованность, их эмоциональный облик. Глядя на портрет пастуха, на его лицо, руки, ясно видишь, что у этого человека за спиной — долгая и полная невзгод трудовая жизнь. Когда смотришь в глаза мальчика с лисой, забываешь, что они нарисованы,— так полны они жизни и энергии.

Гнетущая атмосфера политических репрессий, нищета и бесправие в странах, где он жил, наложили отпечаток на творчество художника. Человека он показывает сильным, полным стремления освободиться от угнетения, а природу — нахмуренной, несколько романтичной.

Произведения Виладрича, на первый взгляд, могут показаться натуралистичными, даже фотографичными. Кажется, что художник одинаково относится ко всему изображаемому. Однако это только первое впечатление. Умелое использование деталей дает ему возможность подчинить все второстепенное тому основному, что выражает существо человеческого характера. Особенно выразительны на картинах Виладрича глаза и руки. Именно в них как бы раскрываются чувства и характеры людей, ибо портреты Виладрича воспринимаются не столько зрительно, сколько эмоционально.

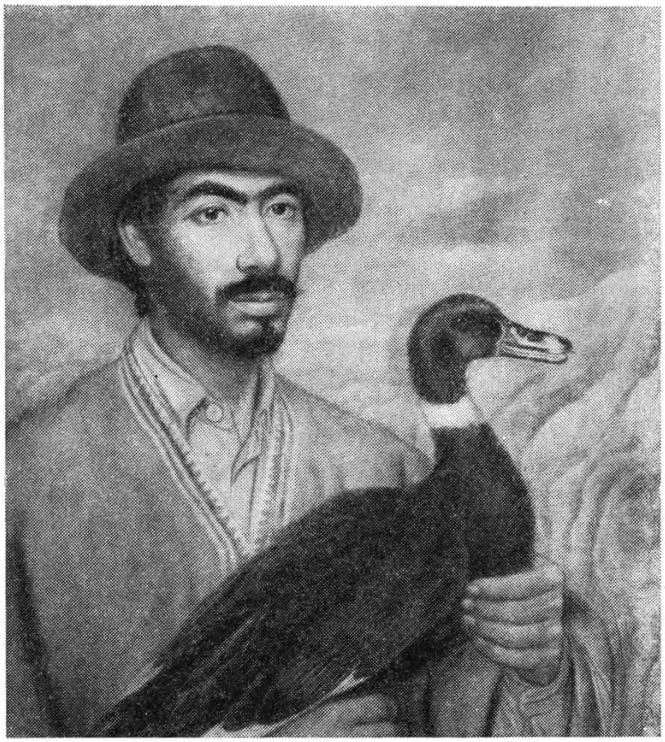
В 1947 году Виладрич принял участие в выставке испанского искусства в Буэнос-Айресе. Здесь были собраны и ранние его работы и полотна аргентинского периода.

В выставке участвовали преимущественно абстракционисты и формалисты.

Виладрича возмущало появление на подобных выставках формалистических, абстрактных картин. Художников-абстракционистов он называет тупыми эгоистами. «Тупой эгоизм подсказал, что нужно кричать «Я», даже если все в этом «Я» раздуто сенсацией, а художник прививает пустые и дешевые вкусы. Он выпячивает себя, пренебрегая другими». «Современное искусство бессодержательно,— пишет он в связи с одной из выставок,— оно вырождается; поэтому эта выставка как бы отражает современное положение и может вызвать только смех. Невероятно, но потеря мастерства и упадок творчества характерны и для кое-кого из хорошо известных художников... То, что здесь показывается, порождено угодничеством и плохим вкусом художников и является, по сути дела, отрицанием искусства».

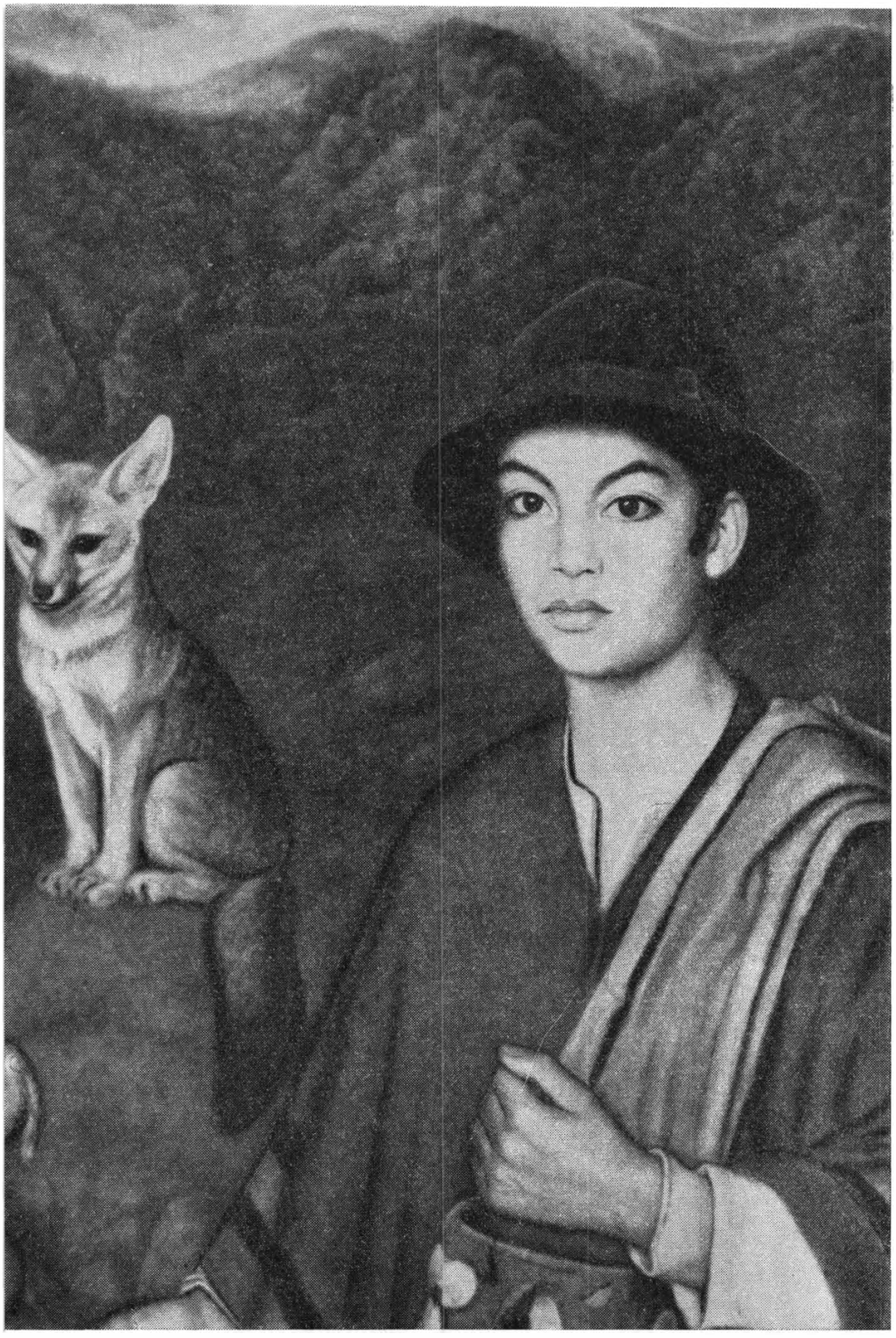
Мигель Виладрич умер 5 июля 1956 года в Буэнос-Айресе. До последнего дня этот замечательный художник словом и кистью боролся за утверждение реалистического искусства.

Пастух



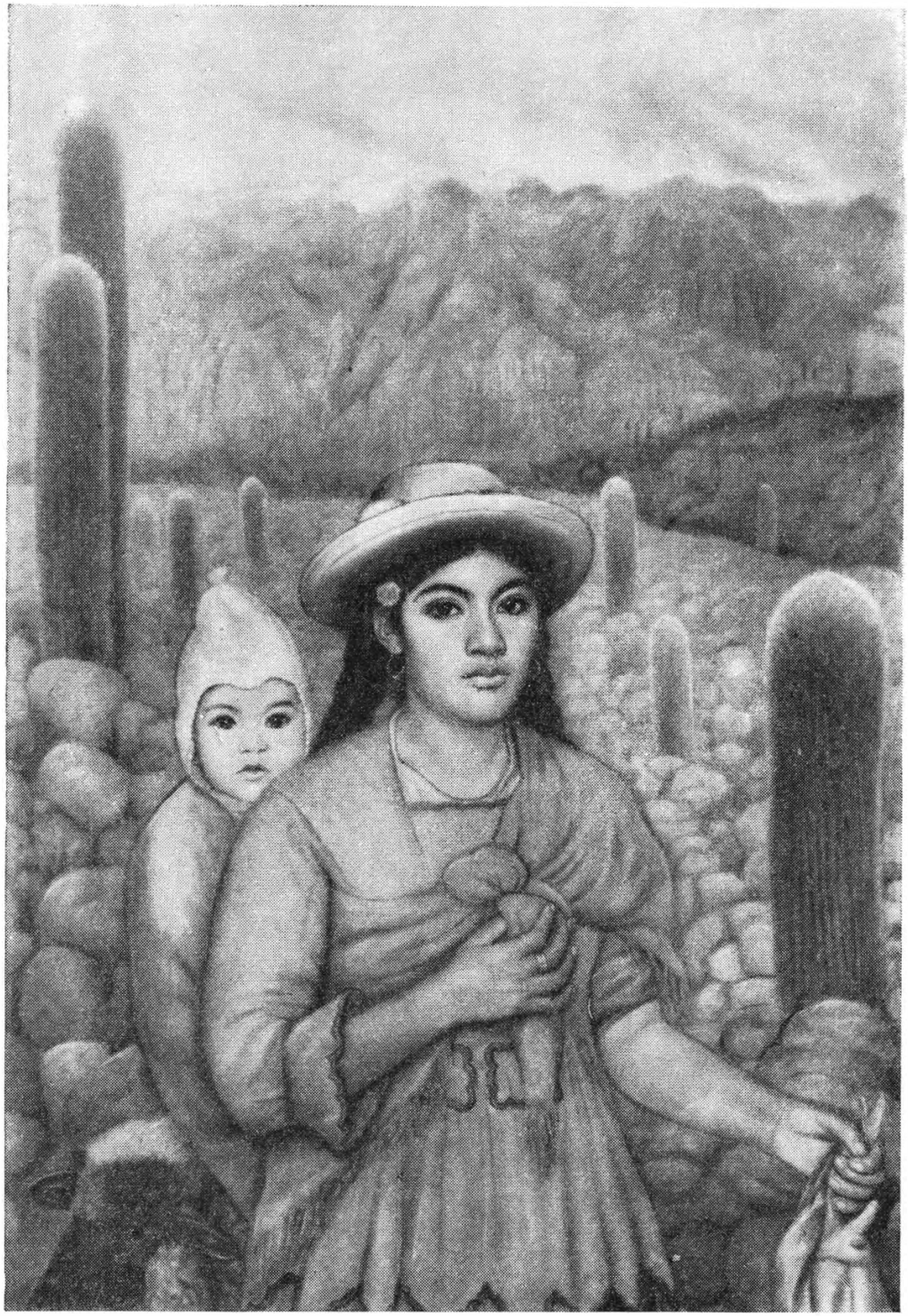
Портрет мужчины с уткой

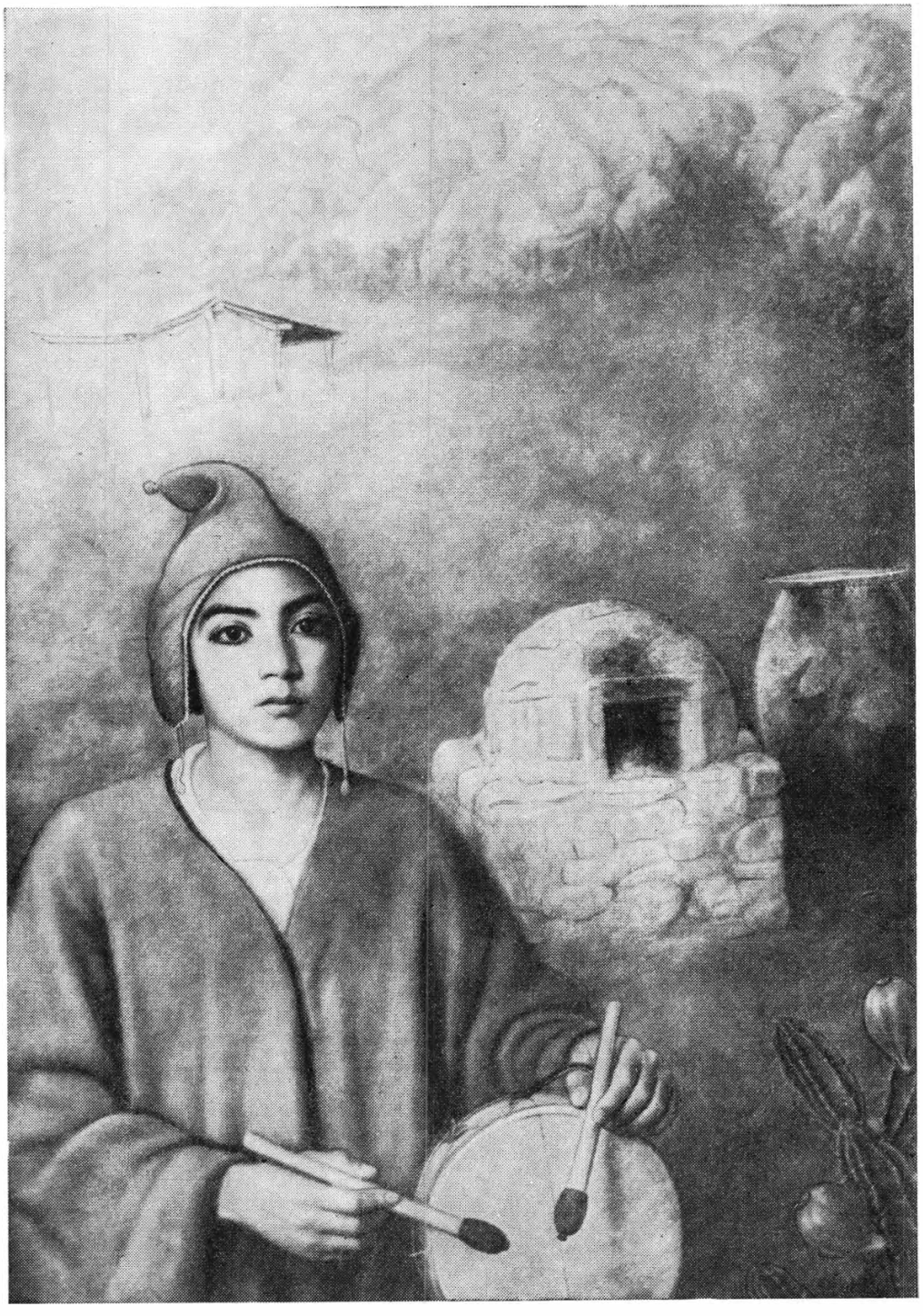
Индейский мальчик с петухами



Пастушок с лисенком

Индианка с ребенком





Портрет подростка

Девочка с цветком

Пастушок

Свен Грёнвалл за работой

ЕВА ВИХМАН

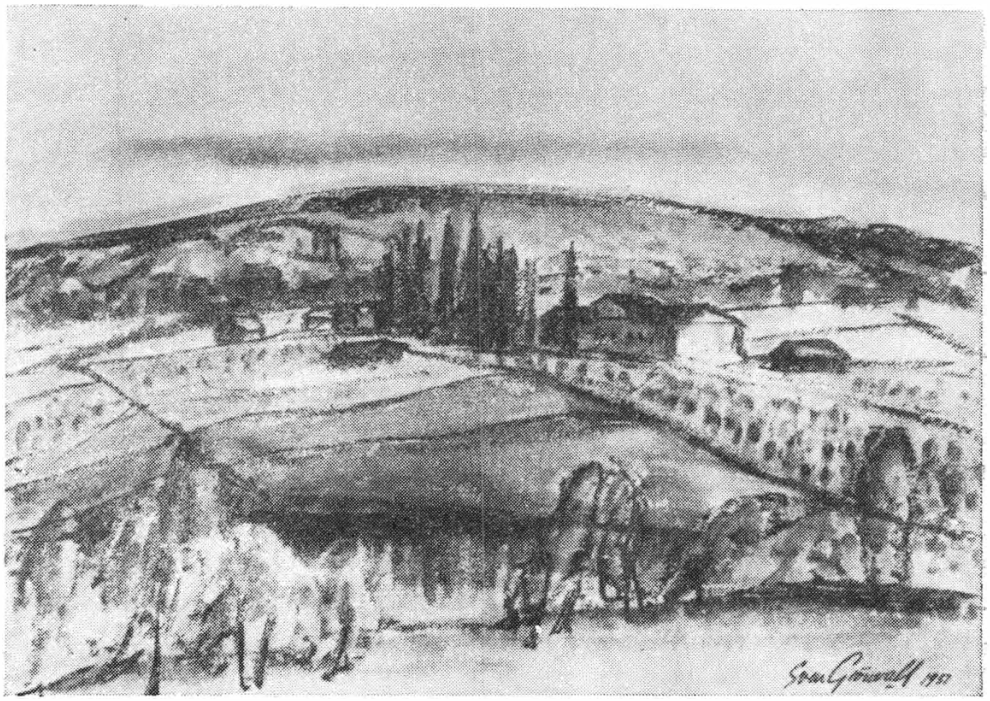
СВЕН ГРЁНВАЛЛ, ФИНСКИЙ ХУДОЖНИК

Личность Свена Грёнвалла — художника, литератора, известного своими афоризмами, переводчика (в частности, классической китайской поэзии — через посредство французского и немецкого языков), художественного критика и журналиста — так же многогранна, как и его творчество. Он родился в 1908 году в семье финских шведов и провел детство на берегах Ладоги в Карелии. В течение многих лет вилла Грёнваллов в Куоккала на Карельском перешейке представляла собой в летнее время нечто вроде колонии писателей и художников, как финских, так и приезжавших из Швеции.

Незадолго до окончания школы Грёнвалл из Куоккала перебрался в Хельсинки, поступил в Высшее торговое училище и вскоре стал чиновником в банке. Но уже через два года Свен Грёнвалл, сблизившийся с передовыми писателями и художниками, которые группировались вокруг журналов «Квосэго», «Туленкантаят» и «40 — луку», и побывавший в Эстонии, Латвии и Литве, оставил это поприще: работа в банке стала для него нестерпимой, как смирительная рубашка. Бывший банковский чиновник поступил в Рисовальную школу Финского художественного объединения, где он учился до 1934 года, затем продолжил свое образование в Италии и всецело отдался художественному творчеству.

Свен Грёнвалл был одним из основателей возникшей в 1934 году «Октябрьской группы», куда вошли «отвергнутые» художники, работы которых не выставлялись на обычных художественных выставках. Эта группа, к которой ныне принадлежат, кроме Грёнвалла, художники Аймо Канерва, Микко Лаасио, скульптор О. Яухиайнен и другие, отстаивает искусство, уходящее своими корнями в национальную почву, чуждое космополитической безликости и предметное в противоположность «нонфигуративному». По словам Свена Грёнвалла, она «стоит в оппозиции к так называемой «чистой палитре» финских художников, находящихся под сильным влиянием Парижа и пишущих в той импортированной манере, которая в своих крайних проявлениях приводит к абстрактной живописи».

Члены «Октябрьской группы» стремились выйти за пределы столицы, увидеть другие места и других людей — крестьян, лесорубов, сплавщиков. Они искали более широкий горизонт и нашли его в северо-восточной Финляндии — в Соткамо, близ Лапландии, а также в Кусамо. Там художники «Октябрьской группы» обре-

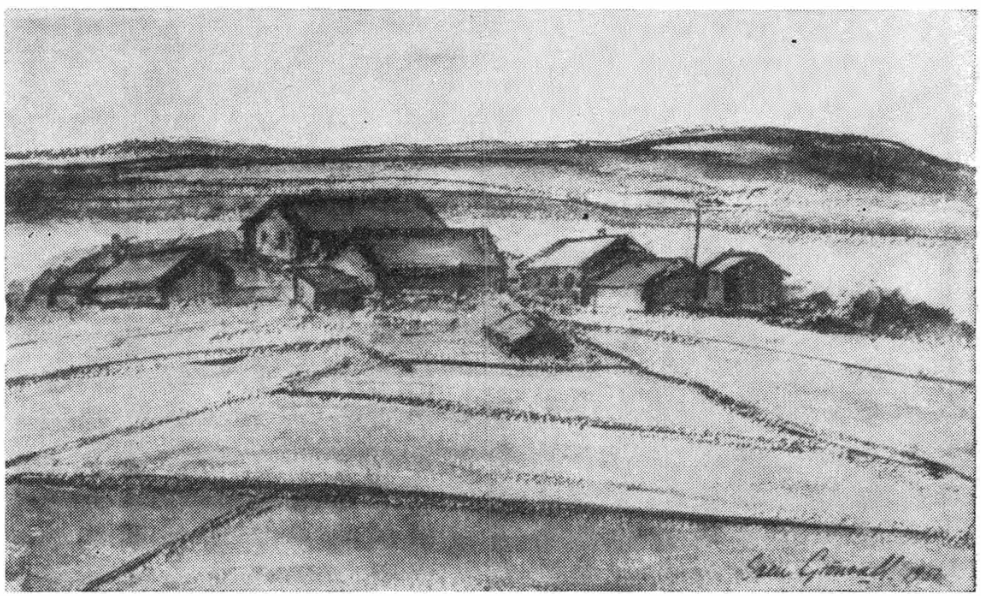


Летний день (акварель)

ли свои любимые «охотничьи угодья», и туда они возвращаются каждый год.

В своем творчестве Грёнвалл обращается прежде всего к суровой природе родной страны, сформировавшей основы финского национального характера. Грёнвалл улавливает и передает на полотне своеобразие ландшафта, по большей части пустынного и скудного, но порой величественного, и навеваемое им настроение, передает свет, рассеянный и «меланхоличный», но столь драгоценный для нас — ведь в нашей стране весна и осень так бесконечно длин-

Хутор



Горный пейзаж

ны, что лето всегда кажется слишком коротким.

Пишет Грёнвалл и натюрморты, пишет проникнутые тонким лиризмом интерьеры, где с трудом улавливаемый свет как бы дрожит в воздухе, и пишет цветы. Но какие цветы! Глядя на эти дикие белые лилии, своим запахом одурманивающие путника, или на первые солнечно-желтые цветы, вспоенные влагой бурлящих весенних ручьев, кажется, вдыхаешь аромат финской природы. А раньше — правда, это было уже давно, в 1938 году,— Грёнвалл писал и большие фигурные композиции: картину для фирмы «Машины и мосты», настенную роспись в столовой дома для престарелых в Вааскаусе (восточная Финляндия) под названием «Молодость, зрелость и старость» и т. д.

Одна из самых характерных для Грёнвалла картин — «Купальня», написанная на берегу озера Киткиёярви в Кусамо. Вот как сам художник описывает ее:

«Осенний день в пустынной местности. После короткого, лихорадочно яркого лета, которое, по моему мнению, не является определяющим для этого ландшафта, все сильные краски выгорели. Остались только блеклые синие, зеленые и желтые тона. Картина целиком построена на горизонтальных поверхностях и линиях, преобладающих в этой местности. Все здесь величественно, ничто не вылезает на первый план, поэтому ландшафт производит очень спокойное впечатление. Утренний свет не резок, на фоне голубого пространства вырисовываются более темные синие и зеленые тона поросшего лесом холма, а перед ним — фиолетово-синяя спокойная водная поверхность, на которой играют блики. На переднем плане, где изображена жесткая прибрежная трава и оставшееся с лета сено, преобладают желтые и зеленые краски. Баня и купальня на берегу — это старые, обглоданные непогодой и ветром строения, они стоят здесь с незапамятных времен...»

На мольберте Грёнвалла мы замечаем другой пейзаж «Летняя ночь» (Соткамо). И здесь задний план занят массивной, поросшей лесом вершиной, тяжелой, мрачной, замкнутой. Сумерки светлой летней ночи как бы льнут к зеркалу воды, несколько деревьев, которые осмелились пустить корни на этом берегу, стоят, словно в полусне. Также и в этом пейзаже неброская, скромная природа обращается к нам на языке тишины...

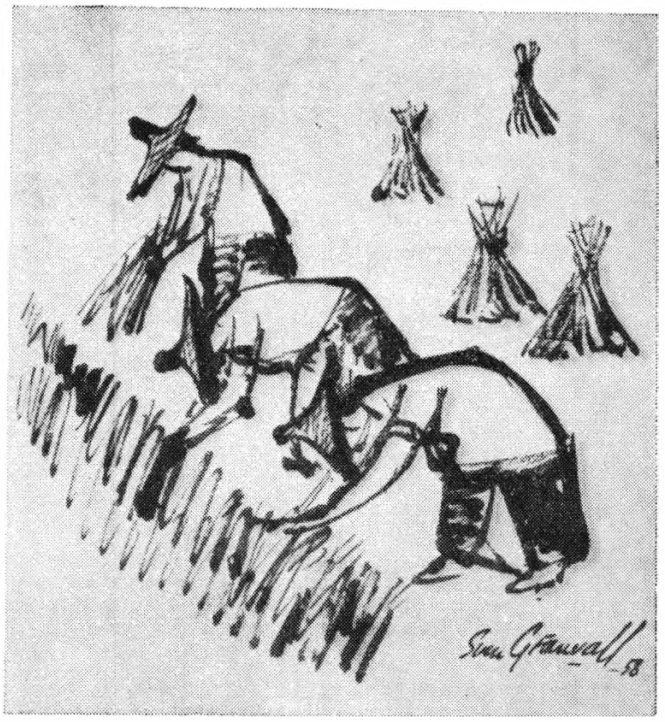
«Искусство не должно «навязываться»,— считает Свен Грёнвалл.— Зритель не должен чувствовать, что его «кормят» чем-то, чего он еще не успел оценить, он должен иметь возможность по-своему воспринять произведение. Поэтому пусть лучше художник стремится к тому, чтобы его произведение принималось зрителем не как бесцеремонное и категорическое утверждение, а как раздумье или вопрос: «Мне кажется, это так. А ты как думаешь?» В «диалоге» между зрителем и произве-

На озере Киткиеярви (Кусамо)

дением искусства, в процессе «отдачи» и восприятия возникает то взаимодействие, к которому и следует стремиться. Художественное произведение должно помочь зрителю открыть для себя новую красоту, новые жизненные ценности, сделать новые приобретения, призванные помочь ему, ободрить и обогатить его...»

Не часто случается видеть, как художник минимальными средствами передает максимум возможного.

Это «обилие через скудость», эта кажущаяся простота — нелегко достающееся волшебство. Оно достигается лишь долгой учебой и опытом, покоится на умении глубоко проникать в предмет изображения и предполагает как широкое и точное художественное видение, так и остроту чувственного восприятия. Оно требует уверенности в выборе и выражении самого характерного в сюжете, способности безошибочно уловить господствующую атмосферу. Свен Грёнвалл обладает этими драгоценными качествами, и именно в этом тайна успеха его «Китайских мотивов», появившихся в результате выставочного турне по Китаю в 1958 году.



Сбор урожая

Китайский пейзаж

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ПУТЬ К ИЗМЕНЕ

Роже Гароди. Прометей 1848 года. Авторизованный перевод с французского Г. Апухтина. Предисловие М. Ваксмахера. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 103 стр.

Наверно, было бы нетрудно составить объемистый том из рассуждений писателей всех времен о назначении поэта. Такая хрестоматия показала бы, как с веками искусство и борьба за свободу сплетаются все тесней и тесней, как революция становится душой искусства, самым богатым и чистым его источником. Естественно, что тема «художник и революция» стала генеральной в марксистско-ленинском искусствознании.

По сути, именно этой генеральной теме посвящены многочисленные работы известного философа и деятеля французской компартии Роже Гароди. Советскому читателю знакомы его исследования «Грамматика свободы», «Вопросы марксистско-ленинской теории познания». Недавно у нас был переведен еще один его труд — «Марксистский гуманизм». В этом сборнике нет ни одной статьи, в которой автор не касался бы заветной темы.

Но наши сегодняшние заметки посвящены не статьям и книгам Р. Гароди, а драме, продолжающей их тему, — «Прометей 1848 года».

Действие пьесы отнесено к 1848 году, к тому грозовому часу, когда революция осветила существо противоречий, которые и сегодня во многом определяют пути истории и пути искусства, обязывая каждого художника ответить на вопрос: «С кем вы, «мастера культуры»?»

С кем же оказался Трувер, герой пьесы Гароди? Почему он, писатель, пришел к революции, почему изменил ей? Ответ, который дал на этот вопрос автор в своей драме, весьма поучителен.

Пока царствовал Луи-Филипп, Трувер благоразумно избегал современных тем и писал пьесы только на античные сюжеты. Безобидные создания, вроде «Трех граций», давали скромный доход: они были прелестны и невинны при всей своей пикантности. Но вот пришли февральские дни, и трус стал героем: Труверу почудилось, что он свободен. Впрочем, иллюзия была естественна. Если Франция, сбросив короля, вновь поверила, что отныне она — страна свободы, то почему бы и Труверу не поверить, что он стал ее певцом, написав трагедию о Прометее — древнем и вечно юном богоборце?

Но капризны волны истории. Пока автор кромсал старые черновики, превращая любовные монологи в революционные, наступили июньские дни. Баррикады рассекли Париж на две части: пролетарскую и буржуазную. Граница, проходившая по Монмартру, через остров Сите и по улице Сен-Жак, пересекла много разных дорог и в их числе жизненный путь Трувера и сценический путь его многострадального героя.

Прометей был задуман как символ революции и «единой свободной Франции», но, когда на портрет богоборца были наложены последние мазки, неожиданно оказалось, что «единая Франция» делится на тех, кто когда-то имел все и теперь мечтает о мести,

на тех, кто теперь имеет многое и добивается большего, наконец на тех, у кого никогда ничего не было и нет, кроме права обладать всем, что создано ими на земле. Выяснилось и другое. Тот, кто в феврале был бунтарем, в июне, добившись власти, примкнул к реакции, тот, кто вчера тянулся к огню Прометея, сегодня, приблизившись к Олимпу, топтал этот огонь изо всех сил и всеми средствами.

Трувер мог, конечно, удалиться от опасного огня и обменять совесть и талант на более солидные и устойчивые ценности: на текущий счет в банке, кресло в Академии. Ему было нетрудно прислушаться к словам директора театра господина Баренна, который вовремя понял, что надо не ломиться в парадную дверь, а проникать с черного хода: ведь жизнь — это мельница, и у жернова, как уверял господин де Баренн, свободы не больше, чем у зерна, которое им размалывают, а потому постичь «историческую необходимость» значит просто сообразить, что жерновом быть предпочтительней, чем зерном!

Трувер не захотел быть жерновом. Он не пошел на компромисс и тогда, когда господин де Баренн, поставив под сомнение «чистоту» и подчеркивая необходимость «грязи», резонно заметил, что без сатаны не существует бога, а без тех, кто охотно компрометирует себя, не могут существовать драматурги с чистой совестью: «Мы поддерживаем порядок, а вы порхаете, презирая нас, как презирают служанку за то, что она запачкала руки, убирая ваш дом».

Не сдался Трувер и на мольбы прелестной Марии-Терезы, заклинавшей его склониться перед могуществом богов, «как нас учит Эсхил», убеждавшей, что в молчанье — будущее: «Пройдет гроза, и ты, великий Трувер, станешь их презирать».

Молчаливое презрение? Но это значит творить, потеряв гордость, и не чувствовать уважения к самому себе! Это значит писать, зажмурив глаза, и забыть, что если ты свидетель преступления и молчишь о нем, ты — его соучастник!

Труверу легко было не только понять, но и принять «историческую необходимость». Достаточно согласиться немного отсрочить премьеру, хотя бы до тех пор, пока национальная гвардия подавит бунт предместий. И согласиться на это было тем проще, что Трувера в случае отказа ждали более чем серьезные неприятности. Прежде всего, разрыв контракта с господином де Баренном, о чем, пожалуй, не стоило бы говорить, если бы вслед за этим перед Трувером не закрылись сцены парижских театров и редакции газет. Далее — приказ, согласно которому Трувер должен быть арестован: в протоколах подпольной организации, будто бы найденных в карманах убитого мятежника, было, разумеется, обнаружено имя автора «Прометея». Ему угрожали: «Жизнь не спектакль: здесь умирают и уже не встают, когда опустится занавес...» И все же он не пошел на компромисс, не захотел быть зрителем истории, предпочел стать ее участником.

У Трувера хватило сил, чтобы сказать «нет». Он продолжал думать, что в мире есть сила еще более властная, чем веления богов: та сила, которая ведет в бой угнетенных. Он продолжал верить, что населенная рабами земля, где царят отчаяние, ненависть и зло, это и есть царство Прометея, потому что из ненависти и зла высекаются искры надежды, а надежда — мать мятежей и бунтов.

Верный своим представлениям о долге художника, он принял не только февральские, но и июньские события: ведь он считает, что миссия артиста — отрицание.

Да, он пренебрег «чистым искусством», решив не выжидать, пока рабочим Парижа перережут горло и пьеса о поверженном Прометее зазвучит как победный гимн в честь убийц. Он «запятнал» себя кровью событий, попытавшись сделать свой театр похожим на жизнь, а жизнь — на театр и внести в действительность ту гармонию, которая существует в совершенной пьесе. Для врагов Трувер стал «предателем родины», «изменником искусства»: им не удалось завербовать Прометея сержантом в войска «порядка».

Логика борьбы заставила Трувера пойти туда, куда властно вел смысл созданной им пьесы,— на баррикады.

И вот ночь перед боем. Мрачная комната в одном из домов предместья. В очаге на ярком пламени медный таз, где плавится свинец для пуль. На Трувера падают отсветы того огня, который разгорелся из искры Прометея. Однако теперь этот огонь для него слишком ярок и слишком горяч.

Нет, Трувер не струсил и смерть ему не страшна. Ему страшна жизнь, идущая по эту сторону баррикады. Необходимость здесь неизмеримо более жестока, чем там. В будни она вытягивала жилы. Теперь она требует крови. Но Трувер ушел из лагеря господина де Баренна, чтобы расстаться с необходимостью. Он покинул одну галеру не для того, чтобы грести на другой!

Нет, Трувер не хочет быть защитником рабства, ведь он воспел Прометея! Но где же место поэзии, где его, Трувера, место в этом кровавом царстве необходимости? Трувер против буржуа и монархистов, против старого и нового мира. Трувер всегда «против» и никогда «за»... Разве он непоследователен? Разве он не остался верен своей миссии артиста и вместо «нет» сказал «да»? Разве он сдался? Изменил себе, искусству?

Роже Гароди доказывает, что Трувер сдался, изменил искусству и себе, предал

своего героя: когда борются не «за», а только «против», когда нет положительного идеала и веры, тогда вслед за отрицанием идет отчаяние и безнадежность, а вслед за ними — отказ от борьбы и сдача на милость победителя. Трувер прошел все эти стадии. Он смирился и призвал к смирению других. Офицерам-карателям были даны указания на его счет: обеспечив неприкосновенность, проводить домой.

Итак, драма имеет конец, который, может быть, не стоит возводить в ранг трагического: сам Роже Гароди сопровождает эволюцию Трувера ироническим комментарием Циклопа, привыкшего управляться с Прометеем во многих трагедиях.

Покорность богам и опыт, приобретенный за две с половиной тысячи лет тяжкой работы на сцене, выработали у Циклопа скепсис к Прометею Эсхила, не говоря уже о детише Трувера.

Бравый унтер от мифологии, Циклоп считает, что трагедии рабов конца не будет и Прометею не порвать своих цепей. Недаром Циклоп служил при всех режимах, недаром менял свою медвежью шкуру на шлем рыцаря, на шапку гренадера. Уж он-то знает, что сейчас, в 1848 году, ничто не изменилось — если не стало хуже. Теперь господствует политика, а она куда хитрее и проворнее старухи Немезиды. Она заменила цепи, выкованные Циклопом, на невидимые оковы, сдавливающие разум и сердце. Не Труверу порвать такие оковы. Насколько помнится Циклопу, в истинно трагическом герое всегда пылала надежда на будущее. Трувер же просто развалина, прах мертвых верований. Если он и умрет, его смерть будет стоить не больше, чем его жизнь.

И все же история Трувера — это трагедия, причем нимало не устаревшая за тот срок, который отделяет события, изложенные в пьесе, от наших дней.

Нынешний Трувер по-прежнему пишет невинные пьески о трех грациях, а затем, исполнившись скоротечного мужества, переписывает их на революционный лад: он по-прежнему «против», а не «за»; по-прежнему мечется от отчаяния к покорности и предает своего Прометея; по-прежнему вызывая скептическую улыбку Циклопа, беспомощно вопрошает: где же мой островок поэзии в этом море кровавой необходимости?

Роже Гароди имеет право осудить своего героя, который изменил революции в августе 1792, в июне 1848, предпочитал пруссаков коммунарам в 1871, предрекал гибель большевикам в 1917. Однако Роже Гароди не только судит. Понимая необходимость, которая властно влечет труверов в стан революции, он учит не сворачивать с магистрали века, учит «грамматике свободы», «марксистскому гуманизму». Вглядываясь в год 1848, Роже Гароди говорит своему современнику, что нельзя возвращаться назад, дойдя до крутых поворотов. Он призывает хранить огонь Прометея.

М. КОРАЛЛОВ

В ТРЕВОГЕ ЗА СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Курт Занднер. Ночь без милости. Сокращенный перевод с немецкого В. Г. Чернявского. Москва, Воениздат, 1961. 190 стр.

На огромной высоте летел самолет. В кабине его сидел американский летчик Генри Буджин. Он всматривался в небо, похожее на купол из черного стекла. Неестественно большие звезды излучали голубовато-белый свет. Летчика тяготило это холодное одиночество вселенной. Он не знал, куда летит самолет, с какой целью, с каким грузом на борту. Летчик всего этого не знал, он даже не управлял самолетом — управление осуществлялось с земли.

Так начинается повесть Курта Занднера «Ночь без милости». Ночь без милости. Да, она была немилостива к лейтенанту авиации Генри Буджину. Это была его последняя ночь, сплошное кошмарное видение.

Картины полета перемежаются рассказами о прежней жизни Буджина, его товарищах — летчиках американской военной базы. Читаешь повесть, уже подходишь к последним страницам и недоумеваешь: совершился ли полет в действительности или все это мерещилось Генри Буджину, получившему недавно сотрясение мозга? В самом конце выясняется — никакого полета не было.

В повести много яркой обличительной публицистичности, взволнованности, большой тревоги за судьбы людей. Не удивительно, что книга оказалась запрещенной в Западном Берлине, где живет и работает писатель, и увидела свет в одном из издательств Германской Демократической Республики. Не могла быть издана в Западном Берлине книга, разоблачающая атомных безумцев, мечтающих о гигантском мировом пожаре.

Центральная фигура повести — Генри Буджин с его мучительными переживаниями, раздумьями о себе, о людях.

Буджину чудится: его посылают в полет по направлению к стране, которую генералы именуют «главным противником». Читателю ясно, что имеется в виду Советский Союз.

Перед мысленным взором Генри Буджина развертывается страшная картина того, что может произойти. Миллионы человеческих лиц, освещенных слепящим бе-

лым светом, с ужасом смотрят в небо. «Их рты — маленькие черные дыры — широко разинуты в неслышном вопле. Сжимаются, сморщиваются голые тела, теряют всякую форму уши, носы и глаза Еще какая-то доля секунды, и всепожирающий огонь проглатывает лица, тела и вопли. Рушащиеся здания хоронят под собой то, что осталось живого, и на следующее утро солнце восходит уже над одним огромным кладбищем». Буджин в страхе рвет провода и шланги, ломает катушки телевизионного управления. Он хватается за штурвал ручного управления. Он смотрит вниз, на землю. Там темно и тихо. Значит, ничего не случилось, значит, бомба не сброшена. Им овладевает такая тоска по земле, по людям, что он готов бросить самолет и спрыгнуть на парашюте. «Ведь должны же где-то на земном шаре быть добрые люди» — вот о чем мечтает летчик в холодном черном небе. Его охватывает огромная жажда жизни. Ему так хочется начать жить сначала, попытаться сделать все по-другому.

Кто он, Генри Буджин? Какие люди его окружают? Некоторое время он учился в университете, но из-за отсутствия средств вынужден был оставить его. Потянулись скитания в поисках работы. Случайная встреча с другом Тедом, военным летчиком, определила дальнейшую судьбу Буджина — он оказался на полярной авиационной базе...

Тягостная, однообразная жизнь: полеты, тренировки, тревоги, а в промежутках между ними — пьянство, ссоры, грязные откровения. Случались дни, когда летчики до тошноты надоедали друг другу и каждый ненавидел всех. Несколькими точными штрихами К. Зандлер набрасывает, так сказать, обобщенный портрет летчиков, седоголовых (независимо от возраста) людей с усталыми, огрубевшими от холода лицами. Их развлечения в свободное время — бить стаканы и расплющивать консервные банки, спорить на пощечины и держать

пари, кто дольше простоит на голове. Таковы были люди, из которых высшее начальство стремилось сделать идеал современного летчика — этакого «уравновешенно-спокойного, пусть даже тупого индивидуума, обладающего техническими познаниями профессора».

Из этой массы автор выделяет двоих, с которыми Буджин был близок,— капитана Макхарди и лейтенанта Миллера. Замкнутый, необщительный Буджин легко сблизился с Макхарди, человеком разносторонне образованным, с острым умом и железной логикой. Друзья подолгу разговаривали и спорили о мировом прогрессе, о философии, религии, искусстве, а главное— о той роли, которую они сами играют. В минуту мрачной задумчивости Макхарди, одержимый, как подчеркивает автор, фанатичным стремлением к справедливости, произносит: «Все мы проповедники смерти! И скоро всем нам будут петь реквием!» Прекрасный летчик, которому предсказывали блестящую карьеру, Макхарди кончает жизнь в психиатрической лечебнице

Образ другого товарища Буджина, лейтенанта Миллера, более динамичен. Автор вначале дает ему такую ироническую характеристику: «В голове Миллера укладываются лишь официальные понятия, начиная от свободы и непобедимой мощи его родины и кончая успехами в автомобилестроении». Философия Миллера проста: «Мы сильны, значит, мы правы!» Он доволен своим положением: «...у меня... нет причин жаловаться. Меня хорошо кормят, у меня приличное жалованье». Долгие беседы, споры с Буджином на многое раскрывают Миллеру глаза. В его душе, душе «идеального» летчика, с готовностью выполняющего любое приказание начальства, зарождаются сомнения в правильности того, что ему вдалбливала пропаганда, что он читал в газетах. Его несложная система взглядов дает первую ощутимую трещину. «Он был прав!»—кричит Миллер на последних страницах повести, требуя, чтобы его пустили в палату к Буджину. Конечно, это только начало большого и сложного пути прозрения Миллера.

Книга прочитана. Она не оставит равнодушным того, кто хочет жить на мирной земле, под синим небом, наполненным сиянием солнца.

Л. ВИХОЦКИЙ

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Л. Пинский. Реализм эпохи Возрождения. Москва, Гослитиздат, 1961. 367 стр.

Книга Л. Пинского представляет собою серию очерков, посвященных крупнейшим писателям Ренессанса. Рабле и Эразм, Шекспир и Сервантес — вершины гуманизма XVI века— естественно, оказались «героями» этого исследования.

Большинство очерков печаталось ранее в виде самостоятельных статей и преди-

словий. Однако собранные вместе, они воспринимаются как главы единой книги. Их объединяет общая мысль — показать своеобразие искусства Ренессанса. Их объединяет и общая концепция культуры Возрождения, которая излагается в очерке «Реализм Возрождения» (он служит как бы введением), а затем конкретизируется на последующих страницах книги.

Советское литературоведение всегда проявляло большой интерес к эпохе Возрождения. Наши ученые по-новому осмыслили творчество Рабле, Сервантеса, Шекспира и других писателей этого времени. Работа Л. Пинского — первая книга, где усилия советского исследователя направлены на изучение своеобразия литературы Возрождения как особого этапа в развитии реализма. Такой характер труда Пинского не является случайным. Спор о реализме занимает важное место в современной идейной борьбе— и тогда, когда речь идет о судьбах искусства нашего времени, и тогда, когда это касается искусства далекого прошлого.

Много внимания уделено в книге полемике с различными концепциями Возрождения в современной зарубежной науке.

Автор намечает два направления в новейших работах о культуре Ренессанса. Первое, представленное немецким ученым Буркхардтом и его последователями, заключается в модернизации Возрождения, в сближении ренессансного гуманизма с аморализмом и культом сильной личности в духе Ницше, характерными для эпохи современного империализма. Другое направление, ставшее особенно влиятельным после первой мировой войны (Бурдах, Хойзинга, Нордштрем и другие), состоит в отождествлении культуры Ренессанса и позднего средневековья. Согласно этой теории, гуманисты Возрождения оказываются не великими первооткрывателями новых идей, а завершителями культуры XII и XIII веков. К чему приводит подобная точка зрения, Л. Пинский демонстрирует на примере книги Февра о Рабле, в которой великий насмешник над всеми религиозными святынями превращается в глубоко благочестивого писателя, жаждущего не знания, а веры.

В своем анализе искусства Возрождения Л. Пинский исходит из той концепции Ренессанса, которая сложилась в советском литературоведении. Он рассматривает эту эпоху как переходную от средневековья к буржуазному обществу. В своеобразии Возрождения как времени всеобщего социального брожения, многосторонних политических устремлений, когда старые средневековые формы жизни рушились, а новые еще не сложились, автор видит ключ к пониманию характера ренессансного гуманизма и художественного стиля искусства этой эпохи. Подчеркивая противоположность принципов Возрождения культуре средневековья, автор в то же время отмечает, что гуманистический идеал — защита свободы личности и вера в безграничные возможности ее, как и сам тип человека Ренессанса, героически цельной натуры,— оказался несовместимым с последующим развитием буржуазного общества.

Существо реализма искусства Возрождения Л. Пинский видит в переходе от «эпико-героического реализма» средневековой поэзии к реализму XVII—XIX веков, с его острым ощущением разрыва поэзии и прозы, идеального и реального, героического и обыденного.

Исходя из такой концепции реализма Возрождения, Л. Пинский по-новому раскрывает природу трагического у Шекспира. Общепринятая у нас точка зрения, согласно которой основой трагического у Шекспира считается кризис гуманизма Ренессанса, представляется автору недостаточной. По мнению Пинского, шекспировская трагедия вырастает на более широком основании, ее почва — «переход от полупатриархального средневекового общества к наиболее антагонистической классовой формации», а само содержание трагедии, существо ее — в гибели эпического состояния мира и рождении страстей и поступков человека нового времени.

Переходный, революционный характер эпохи определяет и присущую художественной мысли Ренессанса стихийную диалектику—живое ощущение борьбы и совпадения противоположностей, движения и всеобщей взаимосвязи явлений жизни, стремление к цельной и универсальной картине мира. В этом отношении очень интересны размышления автора о роли гротеска в искусстве Возрождения.

По мнению Л. Пинского, гротеск в эпоху Ренессанса впервые осознается как особый способ художественного познания. Гротеск становится характерной чертой реализма Возрождения — его легко обнаружить и у Бокаччо, и у Эразма, и у Сервантеса, и особенно у Рабле. Автор всячески подчеркивает: гротеск в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» не просто художественный прием, он отражение самой жизни переходной эпохи, где старое и новое еще не обособились друг от друга и причудливо переплетались. Иллюстрацией здесь может послужить образ брата Жана, монаха, основавшего телемское аббатство — монастырь наизнанку. В нем явственно ощутим жизненный тип эпохи Возрождения, «когда церковь несла семя своего разрушения в собственной среде» и из ее стен вышли многие вожди Реформации.

Ту же диалектику самой жизни Л. Пинский видит и в гротескном совмещении безумия и мудрости, рыцарских представлений и гуманистических идеалов в образе Дон-Кихота, и в парадоксальном характере мысли Эразма, для которого «все вещи сами по себе противоположны» и глупость порою оказывается тождественной разуму жизни (см. первую часть «Похвального слова»).

Другая отличительная черта реализма Возрождения состоит в особом построении типического образа, в

особой форме связи между характером и условиями, средой, его формирующей. Образ в литературе Возрождения внутренне динамичен, он, как пишет Пинский, «перерастает свою социальную почву (сословие, корпорацию), с которой связан, и возвышается над ней». В романе Рабле в беспрестанном движении не только внутренний мир его героев, подвижны даже внешние очертания образа, его масштабы (размеры великанов то увеличиваются, то сокращаются в зависимости от ситуации). Эту же динамическую природу автор отмечает и у героев Шекспира, и у Дон-Кихота, образ которого строится на неожиданных переходах от самого смешного безумия к самой высокой мудрости. Единая концепция культуры Ренессанса, пронизывающая книгу, нигде не становится жесткой схемой. Напротив, умение видеть каждое художественное явление во всем его неповторимом своеобразии составляет отличительную особенность исследования.

У Пинского свой особый стиль — сжатый, экономный, строгий. Многие положения не развернуты, каждая глава могла бы быть превращена в монографию. За книгой — огромное пространство, широкий простор для работы мысли читателя.

Л. Пинский строго следует своей теме, но глубокое проникновение в предмет не может не привести автора к выводам, выходящим за пределы изучаемой эпохи. Читатель найдет в книге Л. Пинского размышления о реализме и фантастике, правдоподобии и правде, трагическом и комическом, о различных формах типизации образа и сюжета. Это делает «Реализм эпохи Возрождения» не только интересным историко-литературным исследованием. На материале искусства далекой от нас эпохи Л. Пинский затрагивает такие художественные проблемы, которые волнуют современную эстетическую мысль.

В. БАХМУТСКИЙ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПОЭТ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Manuel Navarro Luna. Odas Mambisas. La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1961—"Año de la Educación".

Только что прозвучали последние выстрелы на Плайя-Хирон, где были разгромлены банды интервентов, брошенных американским империализмом против революционной Кубы. Но не о боевой доблести и отваге юных защитников революции стал писать в те апрельские дни прошлого года Мануэль Наварро Лу́на. В статье «Молодые повстанцы», опубликованной в популярном гаванском журнале «Боэмия», он высказал такую точку зрения: «Еще будет время во всех подробностях поведать о подвигах нашей славной Повстанческой армии и славной Революционной милиции в боях с империалистическим агрессором. Надо ли говорить, что там, под огнем подлой и трусливой агрессии, были они — молодые повстанцы: это само собой разумеется...»

Семидесятилетнего поэта в тот момент занимала мысль, что еще *предстоит* свершить юношам и девушкам Кубы, отстаивающим новый, подлинно демократический строй на острове свободы.

«Молодые повстанцы — это прекрасное будущее нашей Родины»,— как характерны эти слова для Мануэля Наварро Луны. Поэт, соотечественниками прозванный «старейшиной революционной поэзии», предпочитает смотреть в будущее.

Мыслью о будущем пронизаны строфы его произведений, собранных в небольшой, но столь насыщенной революционным огнем книжке «Мамбисские оды», вышедшей недавно в Гаване. И разве не знаменательно, что это любовно оформленное издание с обложкой работы известного чилийского художника Хосе Вентурелли, выпущенное тиражом в сто тысяч экземпляров (сто тысяч экземпляров — и это на Кубе!), автор посвятил детям и учителям кубинских народных школ.

В сборник поэт включил около тридцати стихотворений. Часть их создана в черную годину реакционной диктатуры. Многие непосредственно связаны с кубинской революцией — появились в процессе ее назревания, в ее первых сражениях, после победы.

Этот сборник воспринимается как единое монументальное произведение, как эпическая поэма о подвигах кубинского народа — настолько тесно связаны между собой отдельные оды, входящие в книгу.

В эпоху революционных войн прошлого столетия на Кубе «мамби́» называли повстанцев — белых и негров, крестьян и ремесленников, боровшихся за независимость своей родины. Кубинский поэт-патриот Бонифасио Бирне свыше шестидесяти лет назад уже воссоздавал образы вождей мамби. А Мануэлю Наварро Луне удалось не только дать поэтические зарисовки борцов того времени — в Хосе Марти и Антонио Масео он увидел наших современников, показал их живыми, близкими. В этом особая заслуга поэта. «Бородачи» Фиделя — наследники бородатых мамби, сражавшихся под знаменами Карлоса Мануэля де Сеспедеса и Антонио Масео. И сегодня бойцы Народной милиции, защищая кубинскую революцию, вдохновлены благородными идеалами Хосе Марти.

По меткому выражению одного гаванского критика,

«муза — самая что ни на есть кубинская — этого барда из Мансанильо носит зелено-оливковую форму Повстанческой армии». Творчество Мануэля Наварро Луны, формировавшееся в маленьком провинциальном городке Мансанильо, где поэт живет и поныне — откуда рукой подать до прославленной на весь мир Сьерры-Маэстра, колыбели движения мамби де Сеспедеса и повстанцев Фиделя,— уже давно приобрело общенациональное значение.

Еще в 1926 году поэт из Мансанильо писал:

Колокол!
Не отливали твою бронзу
для пустяков!
. . . . . .
Не отливали твою бронзу
для бездумных слов!
. . . . . .
Из сплава горя,
из сплава слез
возник твой дух—
для громовых раскатов...

Воспетый Мануэлем Наварро Луной колокол в Демахагуа, по набатному призыву которого в 1868 году началась Десятилетняя национально-освободительная война кубинского народа, послужил как бы камертоном, определившим звучание последующих произведений поэта.

Вступив лет тридцать назад в ряды кубинских коммунистов, Мануэль Наварро Луна — поэт, по словам Хуана Маринельо, «верный своей воинствующей эпохе... навсегда спустился на землю, окутанную сумерками. И, естественно, он не мог не окунуться в политику. Его ответственность возросла: ответственность поэта и человека». Именно она заставила поэта, «не снижая художественного уровня, с каждым днем оттачивать свой стих, делая его орудием, полезным для завтрашнего дня».

Просты, кристально прозрачны и музыкальны стихи Наварро Луны (как тут не вспомнить его задушевную элегическую поэму «Донья Мартина» — поэму о матери, отдавшей восемьдесят четыре года из своей стосемидесятилетней жизни работе в бедной мансанильской школе). Год от года крепнет в его творчестве революционный

дух, стихи приобретают особый накал, боевую страстность, в них звучит уверенность в окончательной победе. Уже в поэме 30-х годов «Раненая земля», рисующей трагедию несчастного кубинского крестьянина, обездоленного и бесправного, поэт предсказывает наступление тех времен, когда «...из мглы, над мглой... услышат песню — молодую и могучую».

«Мамбисские оды» открываются стихотворением «Крепкие корни». Наварро Луна говорит о высочайшем на Кубе пике Турки́но и протекающей вдоль Сьерры-Маэстра крупнейшей на острове реке Ка́уто. Столь близкие сердцу каждого кубинца «самый высокий и самая глубокая», по мысли поэта, дали жизнь и силы тем, кто идет на борьбу за дело народное:

Мы выходим навстречу
смерти,
но не оглядываемся, не
отступаем!

Разве мы не сыны
Сьерры-Маэстра
и Кауто?

Эти строфы написаны не в дни кубинской революции, не среди «бородачей» Фиделя. Они появились за двадцать лет до начала славных революционных свершений — до высадки горстки храбрецов Кастро со шхуны «Грамма» на родную землю. Беспредельно верящий в свой народ и горячо любящий свою отчизну поэт как бы предвосхитил события.

О чем бы ни писал Мануэль Наварро Луна, он мечтает о будущем, умеет видеть будущее.

Нет, не сразил его
предательский удар,
И после смерти он
траншеей стал...—

говорит Мануэль Наварро Луна об основателе Коммунистической партии Кубы Хулио Антонио Мелья, убитом из-за угла агентами тирана Мачадо.

И у постели смертельно больного друга, поэта и революционера Рубена Мартинеса Вильены, возглавлявшего борьбу кубинских коммунистов в подполье, Мануэль Наварро Луна думал о том, что Рубен

...посеял кровь свою в
бороздах красных.
И надо ожидать—засветятся
нам весны...

Вспоминая погибшего на испанской земле в боях против фашизма писателя и солдата Пабло де ла Торрьенте Брау, поэт в стихотворении «Салют, Комиссар!» сказал:

Ты проложил дорогу маршу
молодых знамен,
призывным трубам боевым
и мускулам,
что в бой идут за свет
и справедливость!..

В самые мрачные годы разгула батистовской диктатуры кубинцы читали проникновенные стихи Мануэля Наварро Луны о родине и ее героях — стихи, воодушевлявшие на борьбу. И когда кубинский народ отмечал в сердце своем столетие со дня рождения Хосе Марти (произнести слово свободы было опасно — Батиста заливал кровью прекрасную землю Кубы), Мануэль Наварро Луна нашел в себе мужество приковать к позорному столбу диктатора и его покровителя — «империалистическое чудовище, душителя народов». Поэт верил:

Над кровью, над болью, над
смертью...

...поднимется родина наша,
поднимется—
освобожденной от измены
и нищеты...

«Величественная поэма Наварро Луны «Отец наш», посвященная Марти,— писал тогда критик журнала «Боэмия»,— очевидно, является единственно значительной, единственно достойной Учителя в это столетие, погру-

женное во мрак и осквернённое лицемерием».

В стихотворениях сборника отражены этапы революционной борьбы. Так, в июле 1953 года, когда Фидель Кастро во главе отряда юных борцов атаковал цитадель диктатуры — казармы Монкада в Сантьяго, было написано стихотворение «Вперед». Этому же подвигу посвящены потрясающие по своей силе стихи «Сантьяго де Куба»... «Убитая кровь», «Гимн Сьерры», «Командир!», «Капитан», «Камило», «Родина несказанная», «Фидель... Фидель!» — одна за другой раскрываются страницы поэтической истории революции. И каждое стихотворение полно веры в победу.

Революция победила! У старого поэта будто пробудились свежие силы, он воспевает «из стали и нежной ласки героев», создает новые боевые произведения, призывающие к защите завоеваний революции.

Отныне путь один!
Для настоящего кубинца —
путь один...
Хозяева теперь мы
земли священной нашей...
И не напугать нас
империализму янки,
ни наемникам, ни
предателям...
Жребий брошен:
Родина иль смерть!

В одном из последних стихотворений, заключающих сборник «Мамбисские оды», поэт сравнивает героический остров свободы с горьковским буревестником: пусть бушует буря, но Куба, подняв высоко-высоко, над всем американским континентом, флаг света и победы,— на боевом посту.

Мы не отступим!
Не отступим ни перед чем!
Ни перед чем!
И победим в жестокой
схватке!
Победим!

Много лет назад кубинский литературовед Хуан Чабас писал, что поэзия Мануэля Наварро Луны, «о котором я не боюсь сказать, что он — один из лучших и талантливейших поэтов нынешней Америки, отличается поэтическим мужеством и творческим гением».

Устами героя стихотворения «Родина несказанная» выражены философски глубокие мысли, которые могут, пожалуй, служить ключом к «секретам» творчества самого поэта:

...Тот, кто хочет найти меня,
пусть ищет во вспаханных
бороздах;
пусть ищет меня в умелых
руках
крестьян, у которых ныне
своя земля,— у крестьян,
не терзаемых скорбью и
голодом...
Пусть ищет меня в громком
рокоте тракторов,
и в звездах благородных
каждого майора
народа, и в Повстанческой
армии,
в лике победоносном
Аграрной реформы!.. Там
пусть
ищут меня,
те, кто хочет меня найти...

Слово выдающегося поэта кубинской революции вновь звучит со страниц «Мамбисских од».

Юрий ДАШКЕВИЧ

ГАНГРЕНА ДУХА

Juan Goytisolo. Chronique d'une île. Traduit de l'espagnol par Robert Marrast. Paris, Gallimard, 1961.

Клаудия Эстрада рассказывает о себе честно, точно, не пытаясь ни по-дамски разжалобить читателя сантиментами, ни приукрасить неприглядную историю оскудения души. Трезвость, умение называть вещи своими именами—привлекательны. Хотя, впрочем, поначалу ждешь куда больше от этой все понимающей, весьма и весьма неглупой женщины, пока не замечаешь, что ее циничная откровенность — удобная форма бегства от проклятых вопросов, своего рода нескончаемые каникулы в эпоху изнурительного труда и жестокой борьбы.

Повествует Клаудия о десяти днях, проведенных ею в Торремолинос, модном курорте близ Малаги. Муж ее, Рафаэль Эстрада,— крупный франкистский журналист, много лет бывший корреспондентом в Париже, а теперь ожидающий назначения в Вашингтон. Клаудия рассказывает о том, как она прилетает в Малагу, где прошла ее юность. Как шофер такси приглашает ее провести несколько часов в «знакомом отеле», где все будет «шито-крыто»: он принял Клаудию за иностранку, «а они и приезжают сюда только за этим». Как она встречается с мужем, как они пьют виски в столовой, обставленной в андалузском стиле, и чувствуют себя чужими людьми: «мы выглядели как двое незнакомцев, ожидающих в приемной врача»,—замечает Клаудия. Потом она рассказывает, как Рафаэль представил ее космополитической курортной компании, в которой ей предстояло провести лето: здесь прекрасная Долорес Велес, трагическая актриса и несчастная женщина, здесь несколько богатых американок, чью цель пребывания в Испании с исчерпывающей точностью объяснил Клаудии шофер такси по дороге с аэродрома, здесь несколько довольно богатых испанцев, либо чванливо-глупых, либо устало-циничных.

Клаудия видит всех насквозь. Вся эта компания ее не привлекает, но деваться некуда, и Клаудия разъезжает вместе со всеми по барам и кабакам, где можно ощутить «атмосферу» Испании. Разные марки машин: «403», «альфа-ромеро», «додж»... Точное перечисление напитков: виски, мансанилья, херес, коньяк. Снотворное. Два часа на ванну. Час на косметику. Потом все начинается сначала. Такова «Хроника одного острова».

Хуан Гойтисоло стремится охватить в своих романах возможно шире испанскую действительность наших дней. В трех его последних книгах: «Прибой»* (1958),

* См. «Иностранную литературу» № 6, 1961.

«Земли Нихара» (1960) и «Хроника одного острова» (1961) — изображено жалкое существование городского люда в барачном городе на окраине Барселоны, чудовищная бедность крестьян, выжженные, заброшенные земли провинции Альмерии и наконец в последней — этот островок среди моря нужды, горя, бесправия: космополитический курорт, «сладкая жизнь» кучки бездельников, утративших всякую связь со своим народом. («Сидя на террасе кафе «Сентраль», мы смотрели на проходивших мимо курортников: молодых людей без пиджаков, в джинсах, «стиляг» новой волны, снобов иностранцев. На тротуаре ждали малагского автобуса женщины, одетые в черное, крестьяне. Нас отделял какой-нибудь метр, и они наблюдали за нами со смесью презренья и иронии».)

«Прибой», «Земли Нихара» и «Хроника одного острова» не только не связаны между собой сюжетно, но и написаны всякий раз в иной манере. И все же я решаюсь утверждать, что это фрагменты одной картины. В каждой книге романист ищет прием, нужный ему для раскрытия соответствующего куска социальной действительности, в этом его — и всей молодой испанской прозы — коренное отличие от французских авторов «новых романов», для которых прием имеет самодовлеющую ценность.

В «Прибое» это повествование о нескольких судьбах людей разных поколений, униженных, выброшенных фашистской диктатурой за черту города, за пределы гражданской жизни, рассказ о предместье, где живут эксплуатируемые, придавленные, обманутые демагогическими лозунгами, но неминуемо таящие в себе способность пробужденья и бунта. В «Землях Нихара»—путевые впечатления, лирический дневник почти не замаскированного автора книги, жанр, дающий простор и для поэзии пейзажных зарисовок, и для горестных наблюдений, и для выражения гневного возмущения судьбой, уготованной родной земле. В «Хронике одного острова» Хуан Гойтисоло прибегает к неожиданной, на первый взгляд, форме повествования от лица женщины, которая во многом напоминает хемингуэевскую леди Брэт Эшли из «Фиесты», но чей путь гораздо определеннее политически: от страстной защиты «идеалов фалангистов» — к утрате иллюзий и опустошенному эгоизму.

Иногда, особенно в утренний час похмелья и тоскливой ясности, Клаудия вспоминает прошлое и, не щадя себя, анализирует свою биографию — «этот страшный балаган», «гангрену», «душевную эрозию». Родители Клаудии — фалангисты — были расстреляны республиканцами. Пока шла гражданская война, Клаудия — сестра в госпитале — и Рафаэль, сражавшийся на фронте, «готовы были жизнь отдать за свои идеалы». «Я долго думала, что сражаюсь за достойное дело. Мало-помалу действительность раскрыла мне глаза. Победа принесла разочарование, и с ним все стало на свои места, жизнь утратила ореол дешевого романтизма. Война ничего не изменила. Богатые вышли из нор, Малага стала такой, как была раньше...»

Дальше гангрена охватывает все новые области. «Я решила посвятить Рафаэлю все силы, которые до сих пор растрачивала на других... Ни он, ни я не могли предвидеть того, что случилось потом. Когда Рафаэль добился определенной репутации в газете, когда люди признали его заслуги, мы обнаружили, что успех уже больше не интересует нас... Наше честолюбие ушло вслед за утраченным нами идеалом. Теперь мы хорошо ели и пили: по литру вина каждый — хульенас, брули моргон, сэнт амур, кюн или маркес дель рискаль, к этому списку надо было добавить еще коньяк и кальвадос, кампари или виски и стакан ферне бракка, чтобы переварить все поглощенное. И сон уже не приходил сам, как в Малаге, ночь изнуряла больше, чем день,—уличный шум, сердцебиения,— мало-помалу у нас выработалась привычка к наркотикам... Мы больше не думали о будущем... Наши иллюзии рассеялись, а аптечка выросла в объеме».

«Хроника одного острова» запрещена испанской цензурой. Она впервые издана в переводе на французский язык в Париже. Трудно согласиться с известным французским критиком М. Э. Куандро, предпославшим предисловие этому изданию. Куандро выделяет как центральную тему романа Гойтисоло — разоблачение проказы космополитического туризма, «разъедающей неизменно самые привлекательные места» во всех странах Европы. Думается, что тема Гойтисоло куда серьезнее, чем протест против «одиннадцатой казни египетской», как изволит изящно именовать туризм М. Э. Куандро.

Книга Гойтисоло — это роман о части интеллигенции, которая отдала юность на служение ложному идеалу и которая в зрелые годы, когда обольщение миновало и пришло трезвое сознанье неправедности этих идей, не находит в себе сил расстаться с материальными благами, даруемыми за предательство народных интересов. Это роман об интеллигенции, переставшей быть интеллигенцией, ибо она отказалась от права на мысль и от права на действие, которое есть результат познания и осмысления действительности.

И я позволю себе поспорить еще раз с автором предисловия, считающим, что «Хуан Гойтисоло бросает на эти «опасные связи» в стиле 1960 года взгляд человека, который во время воскресной прогулки по зоосаду забавляется ужимками обезьян». В отношении Гойтисоло к мирку, скандальную хронику которого он воспроизводит, слишком много ненависти к развратителям народа, слишком много горечи и боли о жизнях, загубленных и сломанных трагической историей Испании последней четверти века, чтобы можно было говорить о забаве. Потому-то и ве-

дет он повествование от лица Клаудии Эстрада — женщины умной, очаровательной, несчастной и отвратительно циничной,—что хочет изнутри показать, как и неплохие люди развращались фашизмом, показать, сколько нужно мужества — а его достает далеко не всем,— чтобы зачеркнуть потерянные годы и пойти наперекор господствующей силе.

Жертвам фашизма нет числа: не только убитые, не только томящиеся в тюрьмах, но и эти процветающие мертвецы — жертвы его демагогии. Между Клаудией и ее мужем Рафаэлем происходит такой многозначительный разговор. Рафаэль, который опасается, что назначение в Вашингтон может ускользнуть от него, так как в министерстве идет болтовня о его «частной жизни... о мании поносить режим», говорит Клаудии:

«— Мы плаваем в клоаке. В тот день, когда все это лопнет, страну затопит дерьмом.

— Ну и что же ты намерен делать?

— Делать? Ты думаешь, можно еще что-нибудь делать?.. Мы слишком стары теперь, Клаудия. Если бы мне было двадцать лет...

— Сыну Мерседес еще нет двадцати. Что из того, не думаешь ли ты, что им в тюрьме удобнее, чем нам здесь?

— Нет, наверно, нет... Но вот уже несколько дней я не перестаю думать об этом: если бы можно было начать все сначала...— Он залпом проглотил виски и поморщился: — Ну, все, наверно, уладится. У меня хорошая анкета. Если повезет, я, может статься, еще буду министром...»

Вот что отличает Клаудию от леди Эшли: Клаудия видит, что трудный путь действительной борьбы за счастье народное существует, да и как не видеть этого сегодня, когда все новые силы пробуждаются для борьбы с Франко. Но она не становится на путь борьбы, так как он куда менее «удобен», чем существование супруги франкистского корреспондента в столице Франции или США. Клаудия цинично признает это, обрывая пьяную болтовню Рафаэля, которая, как она давно убедилась, ни к чему не ведет. На протяжении романа неоднократно возникает мотив «удобства» позиции циника: Клаудия и француженка Николь (любовница Рафаэля) пьют мансанилью, беседуют о трусости, слабости мужчин — «посмеявшись вместе, мы почувствовали себя связанными сообщничеством, бесстыдным и циничным»; ночью, в саду одной из роскошных вилл, Клаудия пьет херес, беседуя с Долорес о Рафаэле, о Николь и покровителе Николь, итальянском аристократе,— «было приятно пить, отдыхать, чувствовать себя циничной...»

Среди горя житейского и несправедливости Клаудия предпочитает жить под анестезией цинизма. Как она сама говорит, у нее уже вскоре после гражданской войны в Испании лопнула перепоночка, вибрировавшая при соприкосновении с несправедливостью. А все же ее влечет к себе Долорес Велес, у которой эта перепоночка не утратила чувствительности, и она даже завидует Долорес, потому что острота реакций актрисы — признак жизни. В праздной компании курортников Долорес одна тоскует по работе, одна с нетерпением ждет, когда начнутся съемки фильма и она наконец сможет творить. Одна Долорес, с ее горькими морщинками усталости у губ, еще взрывается — пусть это взрывы, которые бездельники, не способные понять ее, принимают за истерические припадки стареющей женщины и обманутой жены. Она ненавидит богатых глупых американок, «которым до смерти скучно на родине и которые набрасываются на нас, как туча саранчи».

Когда, протанцевав с миллионершей мисс Бентли, приехавшей учиться андалузским танцам, а потом отхлестав ее по щекам, Долорес почти теряет сознание от ярости или когда она неистово отчитывает плаксивого пьяницу в придорожной таверне,— это вырывается наружу подавленный гнев. В душе ее горит незаживающая рана—она страдает, видя свою родину поверженной, свой народ покорным. «Люди, которые терпят такую жизнь, заслуживают ее,— кричит Долорес.— И нечего плакать, не к чему жалеть их. Говорю тебе, подобные типы еще недостаточно страдали. Их нужно было бы лишить солнца, женщин, боя быков, всего, что служит им предлогом, чтобы рассеяться. Им еще недостаточно того, что они вынесли до сих пор, понимаешь? Им нужно больше».

Наименее удавшейся представляется мне в «Хронике одного острова» линия отношений Клаудии с Энрике. Клаудия и Энрике любят друг друга, но Энрике импотент, и это доводит до предела то чувство мучительной неполноценности жизни, которое вообще является преобладающим у Клаудии. В данном случае, как мне кажется, Хуан Гойтисоло отдал дань литературной традиции (при чтении некоторых страниц «Хроники одного острова» навязчиво вспоминаются отношения леди Эшли и Джейкоба Барнса) и пошел на лобовую символику, вообще ему не свойственную.

Клаудия презирает Рафаэля и любит Энрике, хотя он похож на ее мужа, точно брат-близнец. Подобно Рафаэлю, он преуспевающий журналист и служит режиму Франко, над которым издевается в дружеском кругу; подобно Рафаэлю, он циничен, но его фиглярство и «цинизм лишь прикрывают глубочайшее отчаяние». Да и любит ли Клаудия Энрике? Ведь на все его мольбы уехать с ним, начать новую жизнь, которая, может быть, сулит ему излеченье, Клаудия отвечает отказом, принося свое и Энрике чувство в жертву карьере Рафаэля. И уж не потому ли так тянет Клаудию к Энрике, что в бесперспективной их жизни только любовь — неосуществимая — осталась притягательной целью, единственной пульсирующей жилкой

в пораженном гангреной сердце?

Но рвется и эта жилка. Вслед за мужем Клаудия уезжает в Вашингтон. «Двухмоторный самолет медленно сделал полукруг, и я увидела внизу, как его темная тень легла на море. Всего одиннадцать дней назад я приземлилась здесь. Время шло быстро, эрозия продолжалась».

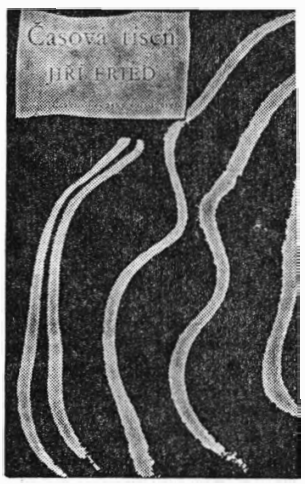
Хуан Гойтисоло не оставляет ни оправданий, ни перспектив героине «Хроники одного острова», как и всем тем, кто, ясно видя отвратительную сущность фашизма, слишком слаб и труслив, слишком дорожит «сладкой жизнью», чтобы стать борцом против несправедливого строя и тем самым вернуться со своего острова в гущу народную.

Л. ЗОНИНА

КАК «СПАСТИ КОРОЛЯ»?

Yiří Fried. Časová tiseň. Praha. Československý spisovatel, 1961.

Бывает и так — пройдена большая часть жизни, а человек ни разу не оглянулся назад, не попытался осмыслить свое бытие. Но вдруг неожиданность, случай выбивает его из привычной колеи. Словно раньше он был слеп, не видел или не хотел видеть, по какой-то обломовской привычке, отдаляя миг прозрения. Жизнь в «цейтноте» — это не просто нехватка времени на обдумывание своих поступков, это и неумение в нужный момент принять решение.



Талантливый шахматист Кличка, герой повести молодого чешского писателя Иржи Фрида «Цейтнот», в последнее время, участвуя в международных турнирах, проигрывает, попадая в цейтнот. И это характерно для героя не только в шахматной игре. Что-то ушло из его жизни; казалось, и годы проходят зря, и не приносит он никакой пользы обществу. Но вот у героя умирает мать, простая женщина из крестьянской семьи. С матерью связывало Кличку не только сыновнее чувство — именно она была как бы посредником между ним и людьми, которые своими руками закладывали первые камни в фундамент нового общества. Теперь, вероятно, будет все по-другому. И для героя смерть матери — огромное горе. Горе это заставляет Кличку многое переосмыслить и задуматься над будущим.

Действие повести происходит в течение двух дней, с момента, когда Кличка узнал о постигшем его несчастье, и до последнего прощания с матерью. Но сколько за эти два дня передумано, как беспощадно анатомирует герой свое прошлое. И наконец решена та «шахматная задача», которая до сих пор подспудно мучила героя. Причина его одиночества в том, что он живет для себя, что он всем чужой, что мир существует для него лишь как панорама вечерней или утренней Праги. «Я слышу свистки поездов и дыхание локомотивов, из города ко мне доносятся стук, скрип, звон, скрежет, удары, грохот, где-то кипит жизнь, с которой я не имею ничего общего...» Причина в том, что он замкнулся в узком кругу, потерял связь с людьми.

Приехав на похороны матери в родной городок Загоржи, Кличка с горечью осознает, что он и здесь остается чужим для людей. Кличка пытается заглянуть в себя, прочитать свою жизнь с самого начала. Этот самоанализ — уже первый шаг к преодолению душевного кризиса. Особенно здесь, в Загоржи, вырванный из привычного окружения, он ощущает как бы бесплодность своей профессии: кругом люди работают, делают что-то реально ощутимое, а он лишь играет в шахматы — и больше ничего.

Проблема поисков места в жизни в значительной степени связана с обостренным чувством ответственности перед обществом. А в том случае, когда герой слишком поздно задумался над своим прошлым, как это случилось с Кличкой, возникает и болезненное восприятие того, что на первый взгляд подтверждает сомнения героя. Поэтому случайная фраза рабочего о том, что передвигать двумя пальцами фигурки — это тебе не труд каменотеса, больно ранит Кличку. И героя беспокоит не только собственная судьба, но и судьба молодежи, посвятившей себя профессии шахматиста. Не повторят ли они ту же ошибку, не истратят ли напрасно жизнь? И Кличка пишет письмо своему ученику Эвжену, письмо, которое никогда не попадет в руки адресату, потому что Кличка еще не знает, как «спасти короля» и не проиграть «жизненную партию».

Путь к преодолению душевного кризиса совсем не легкий, и писатель вовсе не показывает нам внезапно «перековавшегося» героя. В сущности, последние два дня явились кульминацией давно назревавшего внутреннего конфликта с собственной совестью. «Там, у матери, я понял, что уже многие годы я плохо и рискованно играл свою жизненную партию и что это неизбежно приведет меня к катастрофе,

если я не опомнюсь, если я не сумею пробудить в себе борца. А у меня нет ни малейшего желания капитулировать».

Секрет человеческого счастья раскрывается Кличке в делах близких ему людей — и прежде всего брата и сестры, которые нашли в себе дар жить для других, и в этом, говорит писатель, их «действительная ценность». Здесь, в Загоржи, Кличка осознал, что не профессия шахматиста повинна в его мироощущении. Здесь он встретил тех, кто, в сущности, помог ему обрести уверенность в себе. Это были не исключительные личности, а самые обыкновенные люди. Они любили свою работу, развлекались, хотели чего-то лучшего, сомневались и верили в то, что все огромное хозяйство страны создано для них и служит им. Они приводят героя к мысли, что нужно честно трудиться на том поприще, которое ты избрал. Поэтому Кличка, вернувшись в Прагу, расставляет фигуры и до ночи будет ломать голову над шахматной доской. Впервые после долгого душевного кризиса он садится за шахматы с добрым чувством, что снова идет на работу.

Поиски путей, говорит писатель, продолжаются и у тех, кто «определился». Вряд ли довольство, самоуспокоенность могут быть источником подлинного счастья. Только эти поиски носят другой характер, чем у Клички. Причина их не в душевном кризисе, а в желании раскрыть себя до конца, отдать все, что можно, тем, кто в этом нуждается.

Проблемы моральные волнуют современного человека. Поэтому не случайно повесть Иржи Фрида получила признание в Чехословакии. Газета «Литерарни новины» недавно предложила читателям вопрос: «Какое произведение, на ваш взгляд, наиболее современно и почему?» И многие назвали повесть «Цейтнот». По словам чешского писателя Б. Бржезовского, современность повести не в том, что действие происходит в наши дни, а в актуальности проблематики книги.

И. ЧЕРНЯВСКАЯ

ФРАНТИШЕК ЮРИК *(Чехословакия)*. «Электрификация»

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

«Избранные стихотворения и поэмы» Владимира Маяковского, как сообщает газета «Берлинер цейтунг», вышли в издательстве «Фольк унд вельт» (ГДР).

Рецензент английского еженедельника «Таймс литерари сапплмент», откликаясь на вышедший в Лондоне сборник «Донские рассказы» Михаила Шолохова, пишет: «Хотя это очень ранние работы, читателю сразу становится ясно, что перед ним — писатель огромного и врожденного таланта».

«Мистер Шолохов,— говорится далее в рецензии,— умеет достигнуть самого трудного — наполнить свои страницы ярким дневным светом. Кроме того, он удивительно метко передает ощущение обширных просторов, пыли и удушливой жары, жестоких морозов — словом, ощущение многообразия природы России».

Герои Шолохова, по мнению рецензента, органически связаны со средой и природой, что роднит их с героями Томаса Харди.

«Ни в одном из этих рассказов,— подчеркивает рецензент,— автору не изменяют естественная простота и ясность видения».

Поэма Александра Твардовского «За далью — даль», пишет Владимир Блажек в чехословацком журнале «Хост до дому», «это — поэма о прекрасных далях. Коммунизм в ней понимается как открытый простор, чистое небо, за далью даль. Но если бы в ней отсутствовал другой узловой момент, а именно критика, опирающаяся на партийное сознание ответственности, поэзия «далей» звенела бы глуше и, возможно, читатель принимал бы ее, как набор фраз... Незавидная участь — читательское равнодушие — постигает те литературные произведения, в которых видение коммунизма оторвано от исторической ткани... «За далью — даль» стала в СССР народной поэмой, поэмой о свете и тенях прошлого, поэмой о перспективах...»

В заключение Владимир Блажек выражает уверенность, что чешские читатели примут поэму, недавно опубликованную на чешском языке, с такой же горячей симпатией, с какой приняли ее советские читатели.

Книгу Галины Серебряковой «Юность Маркса» выпустило болгарское издательство «Народна култура».

Китайским издательством иностранной литературы изданы романы советских авторов: «Необыкновенное лето» Константина Федина, «Братья Ершовы» Всеволода Кочетова, «Кровь людская — не водица» Михайло Стельмаха.

Журнал «Шицзе вэньсюэ» опубликовал главы из «Ледовой книги» Юхана Смуула. В предисловии к публикации редакция знакомит читателей с историей создания этого произведения, отмечая, что оно было удостоено Ленинской премии. Автор, правдиво и реалистически описывая свои повседневные впечатления, говорится в предисловии, поэтично и с богатой фантазией сумел выразить чувства художника.

На китайский язык главы переведены Бин Цином и Ли Цюань-чжуаном.

Пьеса Константина Симонова «Четвертый», поставленная лейпцигским театром «Каммершпиле», положительно оценивается печатью ГДР. Газета «Дер морген» отмечает: «После горького анализа и абсолютно неприкрашенной откровенности Симонов предоставляет возможность восторжествовать в человеке добру, справедливости и мужеству».

По оценке газеты «Берлинер цейтунг» пьеса Симонова — это непосредственная реакция писателя на актуальные политические события. «Именно мы, находящиеся под угрозой со стороны Запада и стоящие на вахте,— пишет критик «Берлинер цейтунг»,— воздаем должное советскому автору».

В берлинском издательстве «Ауфбау» (ГДР) вышли произведения Павла Бажова под общим названием «Хозяйка Медной горы».

Бухарестский рабочий театр железнодорожников поставил пьесу Николая Погодина «Цветы живые». Критик еженедельника «Контемпоранул» подчеркивает, что пьеса обладает большой агитационной силой, силой воздействия коммунистических идей.

Самый молодой по возрасту художественный коллектив страны — Театр бухарестской области избрал в качестве своего первого спектакля пьесу Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».

Миланский книгоиздатель Сильва, как сообщает газета «Паэзе-сера», выпустил в переводе на итальянский язык роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».

Пьеса А. Арбузова «Иркутская история», поставленная туринским театром «Оффичина», продолжает

Творчество Анатолия Софронова хорошо знакомо читателям и зрителям Румынии. В городе Турде состоялась премьера спектакля «Стряпуха» А. Софронова. Рецензент журнала «Флакэра» пишет: «В пьесе поставлена проблема морального облика нового человека. Она привлекает новизной решения многих непредвиденных ситуаций, блестящим диалогом, народностью, сочностью юмора». На снимке: Сцена из спектакля «Стряпуха», поставленного театром города Турды.

(Журнал «Флакэра»)

привлекать внимание итальянской критики. Газета «Унита» пишет: «В «Иркутской истории» поражает страстное стремление к духовному здоровью. Оно выражено скромным, сдержанным художественным языком, который иногда грешит некоторой риторичностью, но нередко проникнут трогающей душу взволнованностью. Между событиями личной жизни героев и историей общества драматург стремится — иногда дидактично — установить диалектическую связь, благодаря чему достаточно ясно выступают провозглашаемые им новые человеческие качества персонажей».

Болгарское издательство «Народна култура» выпустило роман Е. Мальцева «Войди в каждый дом». «Новый роман Мальцева,— пишет критик газеты «Кооперативно село»,— также посвящен жизни колхозного села, но уже в новый период. Он рассказывает о тех преобразованиях, которые произошли в советской деревне... Общее звучание романа победоносно».

В издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР) вышла повесть Сергея Антонова «Аленка». «Язык этой повести, обрисовка писателем характеров людей, умение С. Антонова создавать определенную атмосферу — все это,— как пишет рецензент журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель»,— делает повесть «Аленка» одним из интересных произведений советской литературы» .

Под названием «Ленинградские рассказы» в издательстве «Культур унд фортшритт» вышли рассказы Веры Пановой «Валя» и «Володя».

«События, о которых рассказывает писательница, взяты из повседневной действительности,— отмечает критик журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель».— Но искусство рассказчика, которым великолепно владеет Панова, поднимает эти события до высокого поэтического уровня».

Как сообщает газета «Акахата», «Коллективный театр» города Кавасаки (Япония) поставил пьесу А. Афиногенова «Машенька». Рецензент высоко оценивает инициативу театра, избравшего для постановки эту пьесу, и подчеркивает, что «эта пьеса вселяет веру в будущее».

Государственный издательский институт Польши выпустил книгу Юрия Бондарева «Последние залпы». «Книга Бондарева с необыкновенным тактом и чувством меры, с суровой романтикой показывает героизм советских людей в последней войне»,— пишет критик журнала «Нове ксёнжки».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АВСТРИЯ

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Австрийский прозаик Герберт Цанд — представитель поколения писателей, творчество которых сформировалось в годы войны. С тяжелыми ранениями, душевно потрясенный, вернулся он домой. Широкая известность к Цанду пришла в 1953 году, когда появился его роман «Последний выезд» о судьбе воинской части гитлеровского вермахта, попавшей в окружение, в «котел». Военному термину «котел» автор придает и символический смысл.

Зальцбургское издательство «Отто Мюллер-ферлаг» недавно выпустило новый роман Герберта Цанда «Наследники огня». Фактически это продолжение дискуссии о современности, начатой еще в «Последнем выезде». Действие нового романа происходит в послевоенной Вене, но не в период, последовавший непосредственно за развалом Третьей империи, а в «конъюнктурные» годы, ознаменовавшиеся погоней за призрачным довольством. Вот почему выделенные в романе персонажи, представляющие отнюдь не круг мелких буржуа, а пресловутое «высшее общество»,— это, в сущности, падшие люди... «Это поколение позавчерашнего дня,— отмечает рецензент газеты «Фольксштимме»,— поколение, которое все еще задает тон, но в действительности не имеет будущего».

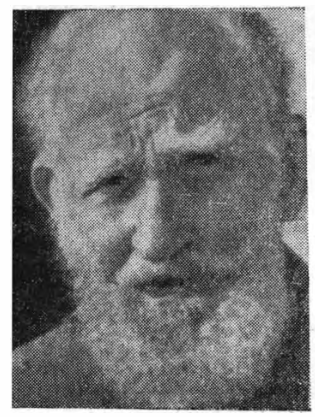
По мнению рецензента, лишь один персонаж романа можно считать положительным. Это — журналист, в образе которого, по-видимому, выведен сам автор. Однако и этот персонаж предстает лишь холодным наблюдателем, стоящим в стороне и фиксирующим события.

«Среди романов, появившихся в Австрии в последние годы,— пишет рецензент «Фольксштимме»,— хорошая книга Герберта Цанда выделяется критикой атмосферы, которую не смогли развеять даже потрясения второй мировой войны. Но автор не сделал одного — он не указал прямого пути для выхода из этого «котла». Мы желаем писателю развить не досказанную в романе мысль о нарастающем движении людей всего мира за сохранение мира, о развертывающейся борьбе за светлое будущее человечества».

АНГЛИЯ

ЗЛОБОДНЕВНЫ ЛИ РЕЧИ БЕРНАРДА ШОУ

Сборник речей и публичных заявлений Бернарда Шоу впервые выпущен издательством «Хил энд Уонг».



Бернард Шоу.
(Газета «Дейли уоркер»)

Как и в художественных произведениях, выдающийся английский писатель с высоты трибуны всю силу своего обличительного таланта обращает против устоев буржуазного общества, его морали и лицемерия, против полицейской цензуры, господствующей церкви. Любопытно, что американский журнал «Ньюсуик» в рецензии на сборник речей Шоу пытается доказать, что его выступления ныне представляют лишь исторический интерес.

В этой же рецензии, однако, приведено одно из высказываний Бернарда Шоу об английском парламенте:

«Я думаю, что основная функция парламента в нашей стране состоит в том, чтобы не дать чего-либо сделать, прибегая для этого к бесконечному разгла-

гольствованию. Парламент напоминает мне механизм локомотива, сделанного особым способом. Вы знаете, что современный локомотив способен вести состав из 75 платформ. Чтобы справиться с этой задачей, в цилиндрах паровоза должно поддерживаться исключительно высокое давление пара. Но чтобы котел не взорвался, он оборудуется клапаном. Когда давление в котле превышает норму, клапан приоткрывается и лишний пар выходит. Так вот, парламентский локомотив отличается от обычного паровоза единственно тем, что его предохранительный клапан не надежен и выходит из строя тотчас же, так что поезд не может тронуться с места...»

Надо ли подчеркивать, что эта едкая характеристика английского парламента — лишнее доказательство того, насколько высказывания Шоу злободневны.

ЧЕМ ВЫЗВАН ГНЕВ КОЛИНА УИЛСОНА

Под названием «О боже! Они еще продолжают ныть!» газета «Дейли экспресс» опубликовала статью писателя Колина Уилсона с нападками на литературное движение «сердитых молодых людей» в связи с выходом в свет двух романов — «Место, похожее на родной дом» Томаса Хайнда и «Если увидите, что я иду» Адриана Митчелла.

Колина Уилсона и «Дейли экспресс» не устраивают некоторые «крамольные» мысли в этих книгах. В самом деле, герой романа А. Митчелла высказывается против водородной бомбы западных держав, против политики английского правительства и вообще против существующего в Англии строя. Уилсон пишет: «Он нападает на правительство так же свирепо, как осборновский Джимми Портер (герой пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе».— *Ред.)*».

Не скрывая своей антипатии к «сердитым молодым людям», Уилсон далее пишет: «Меня удивляет, почему это движение продолжает еще как-то прозябать. Уже давно, более десяти лет оно подрывает английскую литературу». Известно, что такие «сердитые», как Джон Осборн, Кингсли Эмис и другие, отнюдь не «подорвали» английскую литературу, а внесли в нее новую струю, создали интересные, отражающие современные настроения Англии произведения. Колин Уилсон, выступая со страниц «Дейли экспресс», пропагандирует излюбленную правящими классами капиталистических стран идейку о том, что литература, дескать, не должна заниматься политикой. Поэтому-то Колин Уилсон поднимает вопрос: «Ну, кому на свете интересно знать, что эти молодые писатели ненавидят Макмиллана и архиепископа Кентерберийского? Кому какое дело до их точки зрения на водородную бомбу?.. Может быть, их точка зрения и делает им честь, но ей не место в пьесах и романах».

Так вот чем вызван гнев Колина Уилсона, нападающего в этой же статье на Джона Осборна за его известное открытое письмо в еженедельнике «Трибюн» с критикой политики Макмиллана и Гэйтскелла (см. «Иностранную литературу» № 12, 1961 г.). Обрушившись на новые произведения двух «сердитых» — Хайнда и Митчелла, Уилсон взял на себя труд заодно лишний раз опорочить это литературное направление, отдельные представители которого иногда осмеливаются критиковать внешнюю и внутреннюю политику английского правительства, выступать против гонки вооружений.

КИНОКОМЕДИЯ ПО РОМАНУ

Сатирический роман Кингсли Эмиса «Это неопределенное чувство» лег в основу сценария новой кинокомедии «В этой игре участвуют только двое». В этом романе, как и в «Счастливчике Джиме» (опубликован в «Иностранной литературе», №№ 10—12, 1958 г.), писатель показывает душный быт английской провинции, высмеивая фальшивые традиции, ханжество, беспринципность.

Главный герой романа и фильма Джон Льюис работает в какой-то библиотеке в Южном Уэльсе. Живет он скучной, серой жизнью без особых интересов и устремлений, кроме одного — как бы прокормить семью, которая ютится в неудобных меблированных комнатах со сварливой квартирохозяйкой. Домашние дрязги, заботы о том, как свести концы с концами, убивают у Льюиса и чувство привязанности к семье. Когда на его пути появляется богатая дама, ищущая приключений, жена его шефа, он охотно идет на легкую связь в расчете на повышение по служебной лестнице...

Рецензент газеты «Дейли уоркер» отмечает, что суховатый и злой юмор Кингсли Эмиса талантливо перенесен постановщиком и актерами в фильм.

«СМЕРТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТА»

Фрэнк Суиннертон в книге «Смерть интеллигента» нарисовал картину безрадостной, лишенной творческого огня и удовлетворения жизни человека, сделавшего как будто бы блестящую литературную карьеру. Герой книги — литератор, человек не одаренный, но ловкий.

Спустя много лет, стоя у гроба писателя, человека, бывшего его противником и соперником, герой книги мысленно пробегает собственный жизненный путь и... убеждается в пустоте и бессмысленности своей жизни.

Рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент» свидетельствует, что выведенный Суиннертоном образ «далеко не редко можно встретить» в литературном мире Англии.

[redacted]

БЕСЕДА С ДРАМАТУРГОМ

Видный аргентинский драматург Андрес Лисаррага, лауреат латиноамериканского литературного кон-

курса, организованного кубинским издательством «Каса де лас Американас», в беседе с корреспондентами гаванской печати рассказал о своем творчестве.

— Одной из моих последних работ является пьеса «Линаресы». Это социально-психологическая комедия, в которой раскрывается стремление буэнос-айресской буржуазии сохранить свою гегемонию и привилегии после падения режима Перона и установления очередной диктатуры. Перон, как известно, предпочитал избегать конфликтов с буржуазной олигархией, за исключением случаев с владельцем газеты «Ла пренса» Гайнсой Пасом и с другим капиталистом, Мадзоне, которые осмелились оспаривать его власть. С остальными крупными капиталистами он жил в мире. Будучи демагогом, Перон много говорил о «безрубашечниках» и о своем правительстве «для народа», но он не рисковал тронуть хотя бы волосок с головы крупной буржуазии. Тюрьмы были битком набиты деятелями культуры, политическими лидерами, рабочими, а олигархия благоденствовала. Она была властью за троном. И как класс, она продолжала осуществлять свою гегемонию. Единственное ограничение ей ставил режим Перона: она не имела возможности открыто вести роскошную жизнь на свои богатства. После падения Перона олигархия стремится восстановить и эту былую привилегию. Все это положено в основу комедии «Линаресы»...

«Почти на краю света» — так называется фильм аргентино итальянского производства, действие которого развертывается на крайнем юге Аргентины — на Огненной Земле. Кинокартина отмечена премией Национального института кинематографии Аргентины, а также поощрительным отзывом на Международном кинофестивале в Локарно. На снимке: Исполнительница главной роли — актриса Доминик Вильм.

(Газета «Кларин»)

Андрес Лисаррага.
(Журнал «Верде оливо»)

Перу Андреса Лисарраги принадлежит трилогия исторических пьес, куда входит также драма «Святая Хуана Америки» — о Хуане Асурдуй, героине борьбы боливийского народа за освобождение от испанского гнета в 1815—1816 гг. Кстати, именно эта пьеса принесла литературную славу Лисарраге и была премирована на конкурсе «Каса де лас Американас».

— Что вас побудило написать историческую трилогию, и в частности «Святую Хуану Америки»? — спросил у драматурга корреспондент.

— Я хотел показать решающее участие народа в войне за независимость, его борьбу за землю.

— Как вы начали писать для театра?

— Прежде чем стать драматургом, я был художником. Но, находясь в прекрасных провинциях аргентинского Севера, где так изумительны горы и живописны одежды местных индейцев, я начал видеть в народе нечто большее, чем яркие краски. Я увидел нищету народа, эксплуатацию, его горе. Я услышал «багуалу», печальную, меланхоличную народную песню, в которой индеец жаловался на свою беспросветную жизнь, на одиночество,— и я больше не мог рисовать. Я почувствовал огромную тягу к театру, как к орудию борьбы, начал писать для театра. Целыми днями я рылся в архивах и могу сказать, что в театр пришел по дороге истории. Наши историки ничего не писали, кроме лжи, но они забыли об одном: сжечь архивы. И в наших архивах так много материалов для драматических произведений.

Отметив, что в драматургии он сторонник Бертольта Брехта, Лисаррага заявил:

— Задача драматурга — быть летописцем своего времени, жизни. Писать для театра — похоже на труд рабочего. Драматургу нечего ждать вдохновения: темы поджидают на улице. Я только что вернулся из поездки по Кубе, но не скажу, что смог бы написать пьесу на кубинскую тематику: я не принадлежу к тем специалистам-янки, которые совершат прогулку на самолете по Южной Америке, а потом пишут, как «глубокие знатоки» латиноамериканских народов. Это верно, на Кубе я встретил очень многих людей, каждый из которых может подсказать писателю сюжет. Работа драматурга — наблюдать, слушать, воспроизводить. Я мог бы много говорить о Кубе. Но мне кажется, что достаточно сказать: здесь я видел народ в труде и в борьбе за свое счастье.

«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ»

По роману Хорхе Масьянджоли «Последний этаж» писатель Аугусто Роа Бастос и кинокритик Томас Элой Мартинес написали сценарий одноименного фильма, поднимающего, по

Кадр из фильма «Последний этаж».

(Газета «Кларин»)

словам рецензента газеты «Кларин», «острую социальную проблему со всеми ее последствиями».

Фильм, недавно вышедший на экраны, рассказывает о бедствиях шестидесятилетнего рабочего-каменщика Амадео Вентури, выброшенного вместе со своей семьей на улицу. В конце концов Амадео Вентури и его семье предоставляет кров другой рабочий, Хуан, но у него только одна небольшая комнатушка на последнем этаже. В этой комнатушке разместились две семьи — девять человек. Вынужденная совместная жизнь этих семей, скученность постепенно приводят к острым конфликтам...

Рецензент газеты «Кларин» дает высокую оценку фильму «Последний этаж», в котором снимались многие известные аргентинские киноактеры, в том числе Инда Ледесма, Норма Алеандро, Сантьяго Арриэта, Убальдо Мартинес.

БОЛГАРИЯ

ВСПОМИНАЯ ВСТРЕЧИ С НИКОЛОЙ ВАПЦАРОВЫМ...

Книга Георгия Караславова «Встречи и беседы с Николой Вапцаровым», выпущенная издательством «Болгарский писатель», пишет критик газеты «Работническо дело», интересна тем, что она всесторонне освещает путь замечательного поэта и борца. В свое творчество и в свою борьбу Вапцаров вкладывал железную волю и целеустремленность коммуниста. Вапцаров предстает перед читателями этой книги не только как писатель-боец, но и как любящий отец, и как настоящий друг, готовый пожертвовать всем ради своих товарищей.

По словам критика, Георгий Караславов «выполнил честно и с большой ответственностью большой долг перед поэтом и его читателями».

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Болгарская печать опубликовала сообщения многих писателей о своих творческих планах.

— Что сказать о своих планах? — говорит Людмил Стоянов.— Каждый раз, когда писатель задумывается над тем, что ему еще предстоит сделать, он чувствует себя путником на дороге: когда же он достигнет своей цели? Поэтому я хочу давать только реальные обещания. В 1962 году выйдет из печати первая часть повести «Детство, молодость и война». Другие две части появятся в будущем году. Издательство «Болгарский писатель» выпускает мою книгу критических статей

В народных театрах Хасково, Пазарджика и Пловдива с большим успехом идет новая пьеса Георгия Караславова «Глас народный». Пьеса представляет собой драматизацию рассказов писателя, опубликованных еще в 30-е годы. «Во всех трех постановках,— пишет рецензент еженедельника «Народна култура»,— пьеса Караславова звучит сильно, современно и мужественно. Это драматическое повествование о борьбе нашего народа и партии против монархо-фашистской клики и капиталистического строя в прошлом». На снимке: Сцена из спектакля, поставленного народным театром в Хасково.

(Журнал «Театр»)

«Народ и писатель», а кроме того, сборник статей, написанных в течение 1958—1961 гг. В настоящее время я работаю над повестью «Бунт» и над драмой «В бой за свободу» — о жизни Христо Ботева.

Димитр Талев сообщил, что в текущем году читатели познакомятся с его новой повестью «Матушка». Из печати выйдет также сборник «Избранное».

Ст. Ц. Даскалов кончил работать над книгой «Притоки» — сборником рассказов из жизни болгарских крестьян. В повести «Поколение без земли» писатель говорит о молодежи, вступающей в жизнь.

Однотомник рассказов, книга для детей, другая книга — автобиографического характера, а также окончание романа «Иван Кондарев» — таковы планы писателя Емельяна Станева.

Повесть из современной жизни обещает дать Камен Калчев. Поэтессы Елисавета Багряна, Мария Грубешлиева и Дора Габе выпустят сборники своих новых стихов. Новые стихи подарят читателю и Никола Фурнаджиев и Младен Исаев.

Иван Мартинов предполагает окончить роман из заводской жизни «Дневной свет».

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ

Директор института литературы при Академии наук НРБ профессор Г. Цанев сообщил в печати, что в течение ближайших лет в институте будет проведена работа над актуальными проблемами литературоведения.

Предполагается выпустить сборник высказываний современных болгарских писателей о художественном мастерстве. Научные сотрудники института подготовят монографии о современных болгарских писателях, напишут исследования, посвященные вопросам современной сатиры, исторического романа, поэзии.

В планах института — разработка, в частности, следующих тем: «Максим Горький и формирование социалистического реализма в болгарской литературе», «Советская литература и формирование положительного героя в болгарской литературе», «Влияние Николая Островского на нашу жизнь и литературу».

СПРАВОЧНИК О ЛИТЕРАТОРАХ

Вышел в свет справочник «Болгарские писатели — биографии, библиография». «Эта книга ставит простую, но одновременно ответственную задачу: помочь тем, кто изучает болгарскую литературу или проявляет интерес к жизни и произведениям болгарских писателей,— пишут в предисловии составители Г. Константинов, Ц. Минков и С. Великов.— Книга не содержит никаких оценок, ограничиваясь приведением основных фактов из биографий авторов и библиографическими указателями об их творчестве».

В справочник включены данные о 492 писателях — от начала болгарской письменности до наших дней.

БОЛИВИЯ

СТИХИ ХЕСУСА ЛАРЫ

Тридцать три года назад Хесус Лара дебютировал в литературе сборником стихов. Советскому читателю известны романы этого выдающегося прогрессивного писателя Боливии — «Яначуна» и «Наша кровь», переведенные на русский язык.

Недавно в Боливии вышел новый сборник стихов Хесуса Лары «Цветок лотоса» — результат поездки автора в Китайскую Народную Республику.

«Необыкновенной чистоты лиризмом проникнуты эти стихи, в которых образ китайской женщины, символически выраженный цветком лотоса, заключает в себе особое очарование,— пишет рецензент газеты «Кларин».— Это признательность за все то, что ею сделано, и за то, что она представляет для своей страны».

ВЕНГРИЯ

ПИСАТЕЛИ В КИНО

«Нужно всячески приветствовать обращение наших писателей к кинематографу, ибо он — наиболее действенное орудие воспитания масс»,— говорится в статье, опубликованной в журнале «Филмвилаг» о новых фильмах этого года.

И весьма примечательно, что из девяти уже отснятых

Кадр из фильма «Апрельская тревога».

(Журнал «Филмвилаг»)

фильмов 1962 года в шести приняли участие наиболее известные и популярные венгерские литераторы.

Автором сценария фильма «Они победили» выступил талантливый писатель Лайош Галамбош, которого советский читатель знает по роману «Терпкая лоза», (опубликован в «Иностранной литературе» № 10, 1961 г.).

По мотивам романа одного из старейших писателей Венгрии Лайоша Кашшака снят фильм «Земля ангелов», повествующий о жизни «маленьких» людей в трудные годы перед первой мировой войной.

Писатели Золтан Галабарди и Миклош Маркош написали интересный сценарий о жизни новой деревни (фильм «Я пойду к министру»).

О первых исторических днях новой, демократической власти в Венгрии после разгрома фашизма рассказывает фильм «Апрельская тревога», созданный по сценарию писателя Миклоша Келе.

Широко известные в Венгрии прозаики Тибор Череш и Миклош Хубаи обратились к одной из волнующих тем наших дней — каким должен быть человек настоящего и будущего (фильм «Крыши Пешта»).

Комедия «По горло сытые супружеской жизнью» снята по одноименному роману Марты Гергей.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МАРИАННЫ БРУНС

«Наша жизнь, если мы присмотримся и прислушаемся, и есть источник тем для литературных произведений»,— говорит писательница Марианна Брунс. Ее творческий путь подтверждает правоту этих слов.

Начало литературной деятельности Брунс относится еще к тридцатым годам, когда она писала книги для юношества. После 1945 года писательница выпустила в свет свой первый большой исторический роман «Нас поднял прилив», в котором она знакомит читателя с жизнью и борьбой Клары Цеткин, Кете Кольвиц и многих других замечательных представительниц демократического женского движения в Германии.

Затем появились ее такие значительные книги, как «Счастье не падает с неба», «Это не зарастет травой». Первая — о трудовых успехах женщин на производстве, вторая — о тех, кто борется за социалистический путь развития сельского хозяйства.

«Для творчества Марианны Брунс характерны живые образы людей, встречающихся в повседневной жизни республики»,— пишет рецензент еженедельника «Вохенпост» о новой повести писательницы «Признана виновной».

Это произведение на актуальную тему о формировании сознания нового человека, по оценке демократической критики, удалось писательнице так же, как и ее прежние книги.

Известная немецкая художница Леа Грундиг недавно посетила революционную Кубу. Во время поездки художницей был создан цикл рисунков, один из которых — «Нежный отец» — здесь публикуется.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

Эрика Михель-Вагнер.
(Газета «Юнге вельт»)

ДЕБЮТ МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

Недавно продавщица книг Эрика Михель-Вагнер сменила книжный прилавок на стол писателя. И широкий круг читателей ГДР уже знает теперь ее как автора повести «Где Рут?», вышедшей в издании «Ферлаг дер национ».

Действие повести происходит в гитлеровской Германии. Директриса школы прогнала 13-летнюю Рут из класса, заявив, что ей нет места в немецкой школе, поскольку она «неарийского происхождения». Воспитанные в нацистском духе ученики восторженно восприняли дикий поступок директрисы. Эта сцена глубоко возмутила Вилли, сына немецкого антифашиста... Спасаясь от преследований гестапо, Рут находит убежище в квартире отца Вилли. С помощью антифашистской организации ее наконец удается переправить в Чехословакию.

По мнению демократической печати, первая повесть Эрики Михель-Вагнер захватывает необыкновенной теплотой и лиричностью образа героини, так рано познавшей ужасы фашистской Германии.

Эрика Михель-Вагнер выступает и в области поэзии. Критик газеты «Юнге вельт»

отмечает такие ее стихи, как «Я ищу тебя, XX век», «Улица коммунизма».

ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ БЫТЬ БОЛЬШИМ

Название нового романа Альфреда Куреллы — «Маленькая фигура в большой игре». Речь идет о немецком писателе, эмигрировавшем из гитлеровской Германии в 1938 году во Францию.

«Возникает вопрос,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг»,— какая параллель может быть проведена между сегодняшним днем республики и тем временем, когда герой романа находился в эмиграции, мечтая о возвращении на родину. Роман Альфреда Куреллы — не просто эпизоды пребывания немецкого писателя в эмиграции, роман проникнут глубокой партийностью. Основная мысль произведения тесно связана с высказыванием на XXII съезде КПСС М. Шолохова: «Я... прежде всего коммунист, а потом уже — писатель». В романе речь идет об общественной связи людей, о воспитании человека и наконец об отношениях героя романа с окружающими его людьми, как друзьями, так и врагами. Именно все это и создало условия для формирования у героя коммунистического понимания хода событий. «Маленькая фигура в большой игре» — это произведение, показывающее, как под влиянием общественных сил из пассивного перед политическими событиями человека воспитался активный борец за идеи коммунизма...

В целом речь идет о познании жизни, о познании общественных отношений, о том, как и маленькая фигура может участвовать в большой игре. Достоинство романа состоит также и в том, что перед читателем он ставит жгучий вопрос современности: война или мир

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ НАЗВАНИЙ

Лейпцигское издательство «Ферлаг Филипп Реклам» отметило своеобразный юбилей: изданием в карманной серии книги Анны Зегерс «Прогулка мертвых девушек» ознаменован 9000-й выпуск массовой библиотечки. «Универсальная библиотечка Реклам» — это самая старая карманная серия. Выпуском № 1 был «Фауст» Гете почти 100 лет назад. Только в послевоенное время вышло 25 миллионов экземпляров книг.

Отмечая юбилей библиотечки как видное событие в культурной жизни республики, газета «Нейес Дейчланд» подчеркивает: «Эта серия завоевала большую популярность в немецком народе благодаря тому, что издательство всегда стремилось делать доступными широким народным массам произведения мировой литературы и творчество виднейших немецких писателей».

...Конвоируемые гитлеровцами, плывут по Дунаю на судне старики, дети, юноши, девушки, женщины, схваченные гестапо. Солдат-конвоир — под влиянием одной из арестованных девушек — начинает сомневаться в правоте дела, за которое его заставили воевать... Об этом повествуется в телевизионном фильме «Судно на Дунае», поставленном телевидением ГДР по одноименному рассказу Фридриха Вольфа. По оценке критики, «режиссеру фильма Фрицу Борнеману удалось сохранить художественную выразительность, поэзию крупного драматурга. Фильм звучит как страстный призыв Фридриха Вольфа к борьбе с фашизмом». Здесь помещен кадр из фильма — исполнители главных ролей Ингеборг Шумахер и Манфред Боргес.

(Еженедельник «Вохенпост»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПРОВАЛ ОДНОЙ ФАЛЬШИВКИ

Эта история началась еще более года назад на страницах западногерманского журнала «Штерн», известного своей политической нечистоплотностью. В журнале был напечатан клеветнический роман некоего В. Тремпера «Побег в Берлин».

Опубликовав свой злобный опус, Тремпер вознамерился поставить по этому роману кинофильм. В прошлом он уже успел состряпать несколько киносценариев, не принесших ему лавров. Известность он получил под псевдонимом Петрониус, которым подписывал в западногерманской печати скандальную хронику.

Для постановки фильма Тремпер пригласил в компаньоны некоего Швабахера — европейского директора одной уоллстритовской фирмы, а тот выхлопотал у своего американского босса кругленькую сумму. Так в Западной Германии была основана новая кинофирма, назвавшая себя «Штун» — по инициалам трех компаньонов.

Католические круги ФРГ поддержали ублюдочную кинофирму. Отцы церкви благословили ее, разрешив съемочной группе работать даже по воскресеньям и в религиозные праздники под флагом «священной борьбы с коммунизмом». Участливо откликнулось и боннское министерство по общегерманским делам, предоставив сценаристу возможность порыться в своих пыльных архивах.

Затея «Штерна» — «Штуна» оклеветать демократические завоевания народа в ГДР оказалась, как и следовало ожидать, обреченной на провал. Еженедельник «Дейче вохе» охарактеризовал фильм как сплошную фальсификацию. Провалом завершилась и попытка протолкнуть грязную киноподелку «Побег в Берлин» на международный экран.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЖИВУТ В ФРГ

Западногерманская газета «Дейче пост» обратилась к эмигрировавшим из Западной Германии писателям с вопросом: «Почему вы не живете в Федеративной Республике?»

Проживающий в Риме писатель Герман Кестен ответил: «Пока всякие Глобке занимают высокие правительственные посты, Боннская республика представляется мне зловещей». Писатель напоминает, что ему пришлось эмигрировать дважды: первый раз из гитлеровской Германии, а второй раз — из аденауэровской. «Свыше тридцати лет я прожил в Германии и один год в Федеративной Республике. Я покинул Германию тогда, когда в правительство вошли «государственные деятели», чья программа — убийство людей и народов».

На заданный газетой вопрос ответил также живущий ныне в Нью-Йорке писатель Оскар Мария Граф, которому, по его словам, опротивели «боннский антисемитизм и неискоренимая мания «Дейчланд-Дейчланд-юбер-аллес». «При моих посещениях страны «экономического чуда»,— пишет Оскар Мария Граф,— кроме скрытых (узаконенных) форм антисемитизма мне показалось отвратительным вновь пробудившееся узколобо-провинциальное, чисто по-прусски самовлюбленное бахвальство в сочетании с пустозвонной, мещански-нигилистической болтовней».

ПЕРВЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ ГЕНРИХА БЁЛЯ

В те самые дни, когда в Дюссельдорфе режиссер Карл Гейнц Штрукс репетировал первую пьесу Генриха Бёля «Глоток земли», в Западном Берлине группа кинематографистов приступила к экранизации его повести «Хлеб ранних лет». Режиссер фильма — Герберт Везели работал над киносценарием совместно с самим писателем.

Как сообщает газета «Тагесшпигель», по мнению Везели, экранизация произведения Бёля должна дать «документальное отображение жизни людей нашего времени и нашего общества».

Выбирая актеров, постановщик фильма отказался от знаменитостей. Роль Вальтера Фендриха играет молодой киноартист Кристиан Дёрмер, его возлюбленную Хедвигу — артистка Карен Бланквернон. Во время съемок «Хлеба ранних лет» режиссер сознательно отказался от студии, предпочтя городские улицы.

«ОТКРЫТИЕ» В ГАМБУРГЕ

Газета «Франкфуртер альгемейне цейтунг» недавно возвестила, что авторская рукопись фрагмента «Печальная история Фридриха Великого» Генриха Манна, в котором писатель в форме диалога рассказывает о жизни прусского короля, якобы до сих пор не известна и впервые рукопись будет издана в нынешнем году гамбургским издательством «Клаассен ферлаг» как новинка литературного наследия.

Между тем, по свидетельству еженедельника «Зоннтаг» (ГДР), этот «не известный до сих пор фрагмент» опубликован в издающемся в ГДР журнале «Зинн унд форм» еще в 1958 году, вскоре после того, как литературное наследство Генриха Манна было получено из США. Оригинал этой рукописи, которую Томас Манн назвал «последним великим творением» своего брата, находится в архиве Генриха Манна в Немецкой академии искусств в Берлине (ГДР).

В 1960 году издательство «Ауфбау-ферлаг» (ГДР) выпустило это произведение отдельным изданием, и как раз это издание намеревается переиздать «Клаассен ферлаг».

ГРЕЦИЯ

«В ГРЕЦИИ ПРЕСЛЕДУЮТ КНИГИ»

Под таким названием афинский журнал «Эпитеориси технис» опубликовал редакционную статью, в которой, в частности, говорится:

«Неофашизм в Греции наступает. Приказом генерального штаба вооруженных сил Аттики всем греческим военнослужащим запрещается читать «Письма» Паламаса, «Конституцию» Ригаса Фереоса, книгу французского писателя Ренана «Поклонение Акрополю», этнографическое исследование об Эпире, работу профессора Пердикаса о Нюрнбергском процессе и т. д. Гнев новой инквизиции обращается теперь против каждой книги, против культуры нации. Рука занесена на шедевры, вошедшие в золотой фонд классики. От этих чудовищных запретов до костров, поглощающих книги,— ничтожное расстояние. И министр Цацос, в руках которого находится печать, безоговорочно поддержал решение генерального штаба, пятнающее нашу культурную общественность, наши культурные традиции. Это дает нам право бросить обвинение в соучастии в этих грязных делах тем, кто держит в своих руках бразды правления страной».

В журнале помещены многочисленные заявления, в том числе «Общества греческих писателей», общества по распространению книг «Дионисиос Соломос», а также отдельных деятелей культуры с протестами против наступления сил реакции.

«Мы потрясены новым наступлением на свободу слова и печати,— говорится

в заявлении «Общества греческих писателей».— На этот раз не уцелели и книги, по праву вошедшие в золотой фонд нашей культуры. Трудно поверить, что антинациональными признаны произведения нашего национального героя Ригаса Фереоса и великого национального поэта Греции Костиса Паламаса.

Ни один грек, каковы бы ни были его политические убеждения, не может примириться с тем, что Ригас Фереос, поэт-революционер, так много сделавший для освобождения нашей родины от турецкого ига, вписавший своей кровью одну из самых славных и святых страниц в историю Греции, занесен теперь в черный список инквизиции.

Сознавая ту большую ответственность, которая ложится на «Общество греческих писателей», как на крупнейшее литературное объединение страны, мы считаем своим долгом заявить протест против беспрецедентного преследования литературы. Мы считаем своим долгом призвать к сплочению всех греческих литераторов и напомнить им об ответственности, которую они несут перед нацией».

ПОД НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ

«Молодой писатель Димитрис Цакелис выпустил в свет роман «Деревушка на берегу залива»,— сообщает газета «Авги».— Но прежде чем новая книга попала в поле зрения критики, ею заинтересовалась полиция. И с тех пор несчастный автор путешествует из жандармерии в охранку и обратно, как злейший нарушитель законов.

Мы с большим вниманием прочитали роман Цакелиса. Он повествует о горькой судьбе рыбаков, тяжелым трудом зарабатывающих свой хлеб. Нередко им приходится выносить побои жандармов. Есть в романе сцена столкновения жандарма с одним из рыбаков... По-видимому, именно эта сцена возмутила блюстителей порядка...»

ИНДИЯ

«КАБУЛЕЦ» ТАГОРА СНОВА НА ЭКРАНЕ

Среди богатейшего литературного наследства великого индийского классика Рабиндраната Тагора есть короткий рассказ «Кабулец». Глубокая человечность героев рассказа и трагизм ситуации вот уже вторично за короткий срок привлекают внимание работников индийского кино.

С большим успехом на экранах Индии прошла в 1956 году картина «Кабулец», поставленная по этому рассказу молодым бенгальским режиссером Тапаном Сингха. Недавно индийские зрители с интересом встретили новую экранизацию рассказа на хинди. Фильм поставлен известным продюсером-режиссером Бималом Роем (в Советском Союзе демонстрировалась его картина «Два бигха земли») совместно с режиссером Хеменом Гупта.

Критик индийского журнала «Филмфэр» пишет, что фильм Бимала Роя — «не просто дань памяти любимому писателю. Постановщики не только следуют духу и теме оригинала, но строго соблюдают верность тексту при воспроизведении всех событий и даже мельчайших деталей в характеристиках героев». По мнению критика, особого успеха режиссер добился в работе с исполнительницей центральной роли — маленькой Сону, которая «не играет, а живет в своей роли на экране». Похвалу заслужил и артист Балрадж Сахни, создавший выразительный, запоминающийся образ «человека из Кабула».

Кадр из фильма «Кабулец».

(Журнал «Филмфэр»)

ПОЭЗИЯ НА МАРАТХИ

Литературный критик индийской газеты «Бхарат джоти» сообщает, что первый томик стихов поэтов на маратхи, озаглавленный «Избранное», появился еще в 1854 году. С тех пор поэзия на маратхи значительно выросла. Появилось много новых имен, проделана большая работа по совершенствованию форм и стиля, нашла отражение современная тематика.

В прошлом году, более чем сто лет спустя, вышел второй поэтический сборник на маратхи — «Новое избранное». Много труда и времени потратил составитель томика Ачария Виноба Бхаве на подготовку его к изданию.

ИНДОНЕЗИЯ

«ТЕАТР ДЖАКАРТА»

После провозглашения независимости Индонезии национальная драматургия достигла значительных успехов.

Большие надежды возлагает общественность индонезийской столицы, как сообщает журнал «Заман бару», на вновь созданную постоянную труппу «Театр Джакарта», в которую вошли популярные деятели индонезийского кино.

Джокьякарту называют городом художников, здесь живут и творят многие виднейшие мастера живописи, графики, скульптуры. Недавно здесь состоялась конференция деятелей изобразительного искусства Индонезии. В своих выступлениях известные художники Басуки Ресобово, Батара Лубис и Суромо отметили рост мастерства живописцев и графиков, повышение идейного уровня их произведений. В принятой конференцией резолюции, как сообщает газета «Хариан ракьят», подчеркивается, что художники Индонезии должны и впредь развивать революционные традиции, заложенные в период борьбы народа за независимость. Задача индонезийского искусства — как можно глубже отражать жизнь рабочего класса и крестьянства страны. На снимке — гравюра художника Суромо «На погрузке».

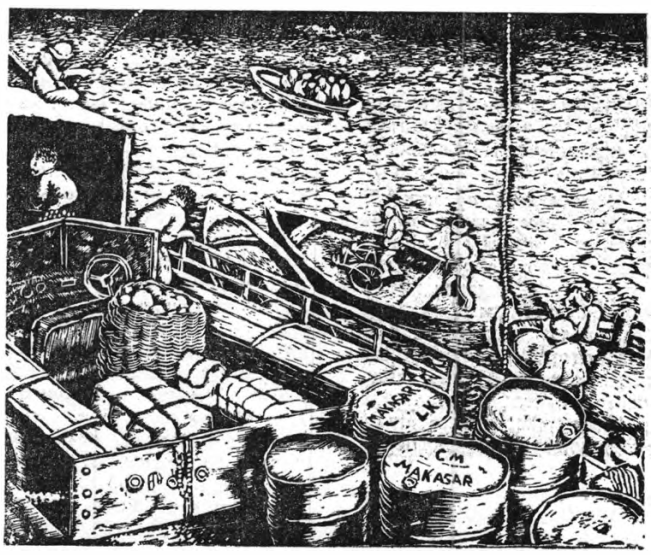
ИТАЛИЯ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ РОМАНА

Недавно в городке Вольтерра корреспондент газеты «Унита» встретился с только что освобожденным из тюрьмы Ренато Чандри и его верной подругой Надой Джорджи, которая ждала своего мужа много лет. На встрече присутствовали друзья детства Ренато, его товарищи по антифашистской партизанской борьбе — Никола Мещетти и Нелло Бардини. Кто такие Ренато и Нада? Это — герои нашумевшего в Италии романа известного писателя Карло Кассолы «Девушка Бубе» (см. «Иностранную литературу» № 8, 1960 г.). Бубе — это Ренато; имя жены его в книге — Мара.

Трагедия, которая легла в основу романа, произошла в 1945 году. Страна была освобождена от фашизма, наступил мир, но страсти еще бушевали. 9 мая в одном маленьком местечке вспыхнула ссора между группой партизан и карабинерами, в результате которой оказались убитые. Партизана Ренато Чандри осудили на 19 лет тюрьмы. Ему удалось бежать в Париж, но в 1950 году французские власти выдали его итальянской полиции — потянулись долгие годы тюрьмы. Брак Нады с Ренато был оформлен еще тогда, когда его арестовали. Ренато освободили досрочно, за него хлопотали старейший деятель Итальянской коммунистической партии Террачини и писатель Карло Кассола, ставший другом этой семьи.

В своем романе Кассола создал замечательный образ Мары — стойкой, цельной и преданной женщины. Правда, сама Нада Джорджи не вполне удовлетворена тем, как «трактовал» ее Кассоло, кое-где отступивший от фактов. Да и Ренато Чандри, как сообщает беседовавший с ним корреспондент, огорчен тем, что Бубе, герой романа, на какой-то момент отходит от своих политических убеждений, в то время как сам Ренато неизменно оставался верным коммунистом. Однако Ренато понимает право писателя на собственную интерпретацию фактов и чувств. О выходе в свет романа «Девушка Бубе» Ренато узнал, находясь в тюрьме, от своего друга Мещетти (в книге его зовут Лидори)). Второй друг Ренато — Нелло Бардини — фигурирует не только в этом, но и в других романах Кассолы под кличкой Баба, он — старый активный коммунист.



НОВЫЙ РОМАН ДЖУЗЕППЕ ДЕССИ

Автор многочисленных романов, повестей и рассказов сардинский писатель Джузеппе Десси приобрел широкую известность еще в первые послевоенные годы. Однако наибольший успех сардинскому писателю принесла пьеса «Правосудие», написанная им в 1959 году и удостоенная ряда литературных премий. Действие в ней, как и в других произведениях Десси, происходило на Сардинии, автор реалистически рисовал жизнь крестьян в одном из селений острова, где царят вековечная отсталость и нищета.

Джузеппе Десси.
(Газета «Унита»)

Столь же реалистичен, по отзывам критики, только что вышедший новый роман Десси «Дезертир», которому присуждена ежегодная миланская литературная премия «Багутта». Председатель жюри Риккардо Баккелли — один из старейших писателей Италии, вручая премию, дал роману высокую оценку и сказал, что под несложным, лишенным всякой искусственности сюжетом таится глубокая поэтичность.

В одном из интервью Десси рассказал, что, закончив «Дезертира», он приступил к работе над романом-эпопеей, охватывающим период жизни на Сардинии с 1860 года — эпохи объединения Италии — до захвата власти фашистами.

В ЗАЩИТУ ТЕАТРА

«Срочный консилиум у постели тяжелобольного» — так называет итальянская печать происходившее в Болонье совещание, на котором обсуждалось положение итальянского драматического театра. В совещании, созванном по инициативе прогрессивного журнала «Театро нуово» и демократического муниципалитета Болоньи, участвовали главным образом молодые драматурги и театральные критики.

Выступавшие на совещании, как сообщает газета «Унита», характеризовали нынешнее положение драматического театра как тяжелое и в высшей степени противоречивое. Старый, традиционный театр переживает глубочайший кризис. Это результат проводимой правительственными органами политики шантажа посредством предоставления субсидий. В сочетании с цензурным произволом такая политика приводит к тому, что на сцене держится убогий и порочный в художественном и моральном отношении репертуар. Нажиму со стороны правительственных органов легче всего поддаются частные труппы.

ПРЕМИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Оменье состоялось присуждение третьей ежегодной литературной премии Сопротивления или, как ее называют, «Премии Оменьи», учрежденной демократическим муниципалитетом этого города и группой прогрессивных писателей. Первые две премии Оменьи были присуждены Анри Аллегу и Жану-Полю Сартру за их произведения, направленные против колониализма. В нынешнем году жюри, в которое входят Гвидо Пьовене, Карло Салинари, Чезаре Дзаваттини и другие видные представители итальянского литературного мира, присудило премию немецкому философу-антифашисту Гюнтеру Андерсу за книгу «Быть или не быть», выпущенную итальянским издательством Эйнауди.

В статье, посвященной этой книге, литературный критик газеты «Унита» Джанкарло Ферретти пишет, что работа Андерса проникнута страстным духом борьбы против фашизма и угрозы атомной войны; идеи антифашизма сочетаются в книге с сознанием необходимости выступать против атомной угрозы и перерастают в идеи борьбы за мир. Разоблачая лживый лозунг «защиты западной цивилизации» от «коммунистического тоталитаризма», Андерс показывает, как этот лозунг используется определенными кругами на Западе в целях шантажа и гонки вооружений. В борьбе против коммунизма, в разжигании атомного психоза, по словам Андерса, кроется опасность возрождения фашизма.

Книга Гюнтера Андерса — своего рода «философский дневник» автора во время поездки в Хиросиму и Нагасаки.

КАНАДА

«НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЕ КАНАДЦЫ»

Под таким заголовком канадский журнал «Маклинз» публикует заметку о сатирической музыкальной комедии, высмеивающей свистопляску президентской избирательной кампании в США. В основу этой музыкальной комедии оба автора—Фрэнк Пэппиат и Джон Эйлсуорт — два «непочтительных канадца» — положили материалы кампании по выборам Кеннеди на пост президента США.

«Президентская свистопляска» (название окончательно еще не определено) пойдет как телевизионный спектакль. Главные герои — весь клан Кеннеди. Нынешнему министру юстиции США Роберту Кеннеди отведена основная хореографическая роль, которая будет исполняться ведущим танцором труппы. Одним из наиболее сильных сатирических номеров, сообщается в заметке, явится десятиминутная сатирическая пляска «Национальный съезд демократической партии» (!).

В музыкальной комедии раскрываются закулисные маневры миллионера — отца нынешнего президента. Комическая ария «Спаси меня!» исполняется актером, играющим президента, в тот момент, когда становится ясным, что его избрали, и в тревоге он просит поддержки у своей жены. «Непочтительные канадцы», как отмечается в журнале, самым непочтительным образом высмеивают выборы в США.

КИТАЙ

ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА АМЕРИКАНСКИХ ВЛАСТЕЙ

В Пекине, как сообщает печать, состоялось собрание китайских писателей, решительно осудивших дикий произвол американских властей по отношению к Коммунистической партии США. Заместитель председателя Союза китайских писателей Лао Шэ заявил: «Китайские писатели решительно поддерживают справедливую борьбу американских коммунистов. Мы должны сделать наше перо оружием разоблачения преступных замыслов американского правительства, решительно осудить грубый произвол, чинимый над коммунистами».

Поэт Сяо Сань выразил уверенность в том, что несмотря на громадные трудности, стоящие перед коммунистами и всеми прогрессивными гражданами США и, в частности, перед прогрессивными писателями, они наверняка добьются победы.

Многие из выступавших на конкретных примерах разоблачили миф об Америке как о свободной и демократической стране мира.

ПОВЕСТЬ О РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

В рецензии на новую повесть Яна Чжи-линя «Ван Ку-фэй в тюрьме» литературовед Ма Те-дин пишет, что произведение посвящено известному китайскому революционеру Ван Ку-фэю, который в тяжелые годы гоминьдановского террора несмотря на смертельную опасность не прерывал революционную борьбу. Брошенный в гоминьдановский застенок, он не пал духом. Найдя общий язык с заключенными, Ван Ку-фэй продолжал свою деятельность.

По словам Ма Те-дина, опубликовавшего свою рецензию в журнале «Вэньи бао», повесть «Ван Ку-фэй в тюрьме» — это поэма о мужестве, о моральной победе человеческого благородства, об интернациональной солидарности. Выход в свет книги о борце-коммунисте — важное событие в литературной жизни Китая.

«ПЕСНИ К ЮГУ ОТ ЯНЦЗЫ»

Сборник молодого поэта Янь Чжэня «Песни к югу от Янцзы» — плод упорного творческого труда автора в последние годы. Стихи Янь Чжэня, воспевающего красоты родной природы, пишет Чэнь Цун в журнале «Вэньи бао», оставляют яркое впечатление от этого уголка страны.

В изображении новой жизни, новых людей и человеческих отношений поэту удалось добиться большой глубины и содержательности.

Сборник стихов Янь Чжэня, по мнению критика, займет видное место в современной китайской литературе.

Лет тридцать назад на киностудию в Бэйпине (ныне Пекин) пришла девушка и заявила, что она хочет сниматься в кино... Так начался творческий путь ныне широко известной актрисы Бай Ян. Международного признания заслужило исполнение талантливой актрисой роли тетушки Сян Линь в экранизированной повести Лу Синя «Моление о счастье» (1956). Бай Ян избрана депутатом Всекитайского собрания народных представителей. На снимке: Бай Ян в пьесе «Восход» Вао Юя.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

СЕМИНАРЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Многие писатели, критики, деятели искусства Пекина принимают активное участие в творческих семинарах, на которых обсуждаются вопросы литературы, кинематографии, театра.

Особенно острые споры, как сообщает газета «Жэньминьжибао», велись вокруг поэмы «История слесаря» (автор — рабочий Хань Ипин), кинофильмов «Родословная красного знамени» и «Буря», драмы «Меч храбрых», куньминьской оперы «Ли Хуэй-лань». Речь главным образом шла о сохранении исторической правды в произведениях.

КОЛУМБИЯ

ГЛАЗАМИ ДРУГА

Известный колумбийский писатель Хорхе Саламеа недавно опубликовал книгу «Исторические корни кубинской революции», написанную по впечатлениям от поездки на Кубу.

В ярких и содержательных очерках Хорхе Саламеа показывает революционные преобразования на Кубе. Автор, в частности, делает подробный анализ провала интервенции на Плайя-Хирон, организованной американским империализмом в апреле прошлого года.

ЧУДЕСА, СОВЕРШЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Журнал «Боэмия» опубликовал открытое письмо кубинской писательницы Доры Алонсо, автора романа «Земля безоружная», которое адресовано: «Господину Джону Ф. Кеннеди. Правительствам, прислуживающим империализму янки. Кубинцам, «сфабрикованным в США».

«В дни,— пишет Дора Алонсо,— когда, выстроившись в очередь, некоторые из тех, кто были нашими соотечественниками, протягивают, как попрошайки, руку надменному хозяину, чтобы крохами подаяния усыпить свое чувство растерянности, разочарования и стыда,— в эти дни мы с территории нашего зеленого, сплоченного островка, щедро обласканного солнцем, хотим рассказать вам кое-что о том, что здесь происходит».

Писательница с гордостью рассказывает, как год назад по призыву Революции сто тысяч юных кубинцев отправились в разные концы острова, чтобы научить читать и писать полтора миллиона неграмотных,— и недавно вернулись с победой.

Дора Алонсо говорит о братстве черных и белых юношей и девушек, объединенных одной идеей. Никогда не забудет народ о молодых героях — учителях Конрадо Бенитесе и Мануэле Аскунсе, зверски убитых врагами. Но напрасно рассчитывали контрреволюционеры запугать молодежь, юные учителя — бойцы бригад имени Конрадо Бенитеса продолжали свое благородное дело.

«Теперь они возвращаются. Нет больше неграмотных на Кубе! В честь этой доброй вести во всех уголках острова один за другим вздымаются флаги. История открывает одну из лучших своих страниц, запечатлевая на ней сто тысяч имен. И полтора миллиона кубинцев, уже умеющих читать и писать, начинают полтора миллиона писем одним и тем же нежным обращением: «Дорогой бригадист...»

И все это, господа с бичом и отравой, происходит в девяноста милях от тех мест, где еще не началась подлинная история человечества!» (Имеется в виду расстояние от Кубы до США.)

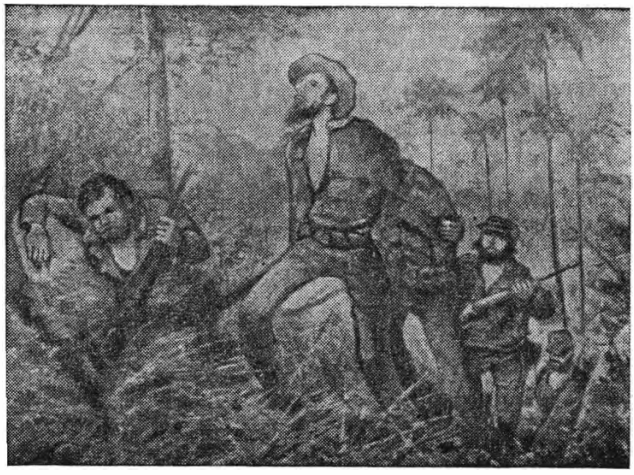
ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ-МИЛИСИАНОС

В здании командования одного из секторов Национальной революционной милиции города Гаваны была устроена выставка картин и рисунков, созданных художниками-милисианос. Работы выполнены маслом и карандашом.

«Глядя на работы молодых кубинских художников, простых рабочих, ныне с гордостью носящих форму народной милиции,— пишет автор статьи об этой выставке в журнале «Верде оливо»,— можно убедиться в том, как растет интерес наших людей к искусству и культуре,— именно поэтому все свое свободное время они посвящают любимому делу — живописи». На выставке представлены работы молодых милисианос Нериса Ребольяра, Рене Медероса и Ласаро Мендосы. Когда прозвучал призыв к защите Родины, эти рабочие парни вступили в ряды Национальной революционной милиции.

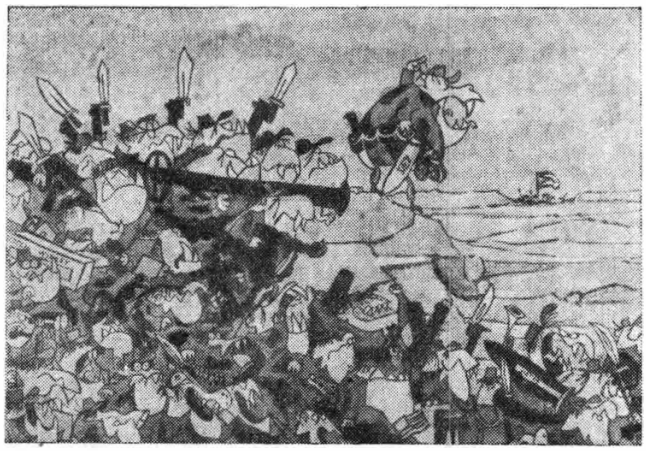
В этой импровизированной картинной галерее выставлены портреты национальных героев Кубы Хосе Марти, генерала Антонио Масео, Фиделя Кастро. С большой любовью написаны портреты В. И. Ленина, Н. С. Хрущева.

Художники-бойцы воспроизвели на своих полотнах эпизоды героической борьбы кубинского народа. Внимание зрителей привле-



«Переход колонны Камило Сьенфуэгоса через Сьерру-Маэстра» — картина бойца Национальной революционной милиции Рене Медероса.

(Журнал «Верде оливо»)



Кадр из мультипликационного фильма «Помните Плайя-Хирон!»

(Журнал «ИНРА»)

кает картина Рене Медероса, изобразившего переход через Сьерру-Маэстра в долину Ягуахай прославленной колонны № 2 под командованием народного героя Камило Сьенфуэгоса.

«Искусство уже не является привилегией каких-то избранных,— заявил милисиано Нерис Ребольяр.— Теперь искусство стало принадлежать простым людям... а вспомните, что побеждают-то простые люди!»

«ПОМНИТЕ ПЛАЙЯ-ХИРОН!»

Мультипликационные фильмы, выпускаемые Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности, стали боевым оружием кубинской революции. В популярной, доходчивой форме эти фильмы откликаются на события международной и национальной жизни, пропагандируют, мобилизуют массы.

...Большая хищная и коварная акула — разве не ясен намек на Соединенные Штаты? — взбешена тем, что какая-то маленькая сардинка осмелилась взбунтоваться против известной участи, уготованной для всех сардин,— быть проглоченной И акула никак не может примириться... Так рассказывается в мультфильме «Акула и сардины», сделанном по мотивам книги гватемальского писателя Хуана Хосе Аревало «Притча об акуле и сардинах».

Мультфильм «Поджог тростника» клеймит позором пиратские налеты американских самолетов, базирующихся во Флориде и сбрасывающих зажигательные бомбы на плантации сахарного тростника на Кубе.

Как революционная Куба стала «территорией, свободной от неграмотности», можно увидеть в мультфильме «Куба — да!».

Один из последних мультипликационных фильмов «Помните Плайя-Хирон!» посвящен сокрушительному разгрому империалистической агрессии против Кубы в апреле прошлого года. Наряду с рисунками в этом мультфильме, как сообщает журнал «ИНРА», были использованы кадры из кинохроники, что производит особенно сильное впечатление.

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В течение последних месяцев в Гаване был проведен латиноамериканский театральный фестиваль. Из пьес, показанных на фестивале, кубинская критика выделяет сатирическую комедию «Несъедобная рыба» Мануэля Галича, гватемальского драматурга, получившего премию за эту пьесу на латиноамериканском литературном конкурсе «Каса де лас Америкас». Эта трехактная пьеса написана в стиле комедий Плавта или Теренция, и действие происходит в древнем Риме. Однако Мануэль Галич сумел создать острое сатирическое произведение на современную тему: пьеса направлена против поджигателей войны и тех, кто пытается на ней нажиться.

На фестивале были также представлены пьесы «Приговор сочувствующей» Ариану Суассуны (Бразилия), «После бури» Сесара Ренхифо (Венесуэла), «Монтевидео» Маурисио Росенкофа (Уругвай), «День, когда выпустили львов» Эмилио Карбальидо (Мексика) и «Три истории, что нам предстоит рассказать» Освальдо Драгуна (Аргентина).

НОРВЕГИЯ

ПЕРВАЯ КНИГА — ПЕРВЫЙ УСПЕХ

В издательстве «Аскехоуг» вышла книга Веры Хенриксен «Серебряный молот». Хотя это первый роман молодой писательницы, однако он, по мнению рецензента газеты «Фрихетен», поражает высокими художественными качествами.

Вера Хенриксен.

(Газета «Фрихетен»)

СМЕРТЬ КРИСТОФЕРА УПДАЛЯ

На 83-м году жизни скончался Кристофер Упдаль — один из ветеранов норвежской пролетарской литературы. Кристофер Упдаль, который сам был рабочим и долгие годы участвовал в профсоюзном движении, вступил в литературу в начале нашего века многотомным романом «Танец среди теней».

Творчество Упдаля, как отмечает критик Мартин Наг, послужит норвежцам надежной опорой в эти дни, когда силы реакции стремятся принудить Норвегию, которая и без того уже входит в НАТО, к экономическому «сотрудничеству», грозящему полностью уничтожить самостоятельность страны, ее суверенитет.

ПИСАТЕЛИ В ЗАЩИТУ МИРА

Газета «Жице Варшавы» провела анкету среди деятелей культуры и науки Польши на тему о борьбе за мир.

Писатель Войцех Жукровский, откликаясь на анкету «Жице Варшавы», пишет: «Нас, поляков, не приходится долго убеждать в том, что такое война. Слишком многим она знакома. В последнюю войну погиб каждый пятый гражданин нашей страны. Это немало. А сейчас необходимо действовать — путем контактов с зарубежными писателями, с помощью человеческого слова, способного дойти до человеческих сердец. И нужно работать».

«Я — враг всего, что служит войне или, точнее, что усиливает ее вероятность,— заявляет молодой писатель Богдан Чешко.— И наоборот, любая инициатива в пользу всеобщего мира усиливает мою веру в разум».

Известный ученый Леопольд Инфельд отметил, что он настроен оптимистически относительно перспектив сохранения мира.

ПОЛЬША

О ТЕХ, КТО ДОБЫВАЕТ НЕФТЬ

Творчество кинорежиссера Станислава Ленартовича почти целиком посвящено показу жизни людей труда.

Его фильм «Нефть» рассказывает о польских нефтяниках, о росте рядов промышленных рабочих.

Герой фильма — молодой крестьянин Шимек—отправляется на открывшиеся неподалеку нефтепромыслы. С ним уходит и односельчанка Бася, выйдя замуж за Шимека тайно от родителей. На новом, еще не обжитом месте многое предстоит наладить, порой нет минимальных удобств — и молодоженам вначале приходится несладко. Бася теряется в новой обстановке, не может понять, ради чего она должна терпеть неудобства, жить в палатке.

Журнал «Фильм», сообщая о работе Станислава Ленартовича, отмечает, что этот сравнительно молодой режиссер уже выработал свой творческий почерк, сумел найти тему большого общественного звучания.

Кадр из фильма «Нефть».

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Румынский литератор Александру Опря сообщает нам из Бухареста:

На конференции писателей Румынской Народной Республики, проходившей в Бухаресте, с отчетным докладом выступил академик Михай Бенюк.

Вдохновленные программой развития страны, принятой III съездом Румынской рабочей партии, прозаики и поэты всех поколений приложили свои творческие силы для создания новых произведений, отвечающих высоким идейным и художественным требованиям.

Главной темой выступлений участников конференции явилась связь литературы с жизнью народа, отражение мыслей и чаяний строителей социализма.

В пьесе талантливой писательницы С. Дрэгушану «Дочки», поставленной на сцене бухарестского Национального театра имени И. Л. Караджале, вновь поднимается проблема воспитания нового поколения. В основу сюжета положен конфликт между отцом — главным инженером крупной стройки — и его двумя дочерьми в тот момент, когда отец оставляет семью ради красивой и легкомысленной женщины. На снимке: Сцена из пьесы.

(*Еженедельник «Газета литерарэ»*)

В отчетном докладе и в речах писателей были подвергнуты критике недостатки, проявившиеся в отдельных произведениях.

Большое внимание участники конференции уделили также вопросам художественного мастерства и литературной критики.

С приветственной речью от имени ЦК Румынской рабочей партии, Государственного Совета и Совета министров РНР выступил товарищ Георге Георгиу-Деж. Отметив успехи румынской литературы, он призвал писателей неустанно совершенствовать свое мастерство.

Румынские писатели полны решимости еще выше держать знамя социалистического реализма, сделать литературу достойной современного исторического этапа в жизни страны.

США

МЕРИ ХЕМИНГУЭЙ ОБ ЭРНЕСТЕ ХЕМИНГУЭЕ

Мери Хемингуэй, вдова выдающегося американского писателя, опубликовала в журнале «Лук» воспоминания об Эрнесте Хемингуэе. Она рассказывает, в частности, следующее:

«На Кубе, когда Папа работал, сидя у книжного шкапа в своей спальне, я занималась тем, что ограждала и охраняла его от посетителей, пытавшихся к нему ворваться. Я знала, что если они отвлекут его от далеких мест и персонажей, создававшихся им в воображении и на бумаге, и он окажется внезапно ввергнутым в реальную обстановку сегодняшнего дня, то ему, возможно, уже не удастся в этот же день вновь совершить обратное путешествие к образам и к тем местам, где он мысленно пребывал. Он писал в спальне, а не в своем кабинете с большим количеством окон и башней наверху, так как во время работы любил прислушиваться к нашим повседневным домашним шумам.

В последнее время он говорил мне, что хочет опубликовать одно из трех стихотворений, написанных им в период, предшествовавший открытию второго фронта, когда мы познакомились с ним в Лондоне. Это «Первое стихотворение к Мери» — оно было нежным и мягким, отражающим одиночество и тоску. Мне думается, он решил его опубликовать, чтобы у меня было ощущение большей уверенности в себе.

Мы с ним разрабатывали план еще одной охотничьей экспедиции, намеченной на сентябрь 1962 года. Единственным путешествием, предварительно детально нами разработанным, было то, которое мы совершили в 1953—1954 годах в Восточную Африку. Я уже купила себе новый словарь языка суахили, готовясь к выполнению роли переводчика. Средний сын Папы — Патрик — постоянно живет там, он — профессиональный охотник...

Пока мы еще способны пройти пять миль до утреннего завтрака и десять—пятнадцать после, нам хотелось еще раз вдохнуть в себя утренний воздух Африки до зари, когда все вокруг постепенно нагревается под солнечными лучами.

Нам хотелось сделать себе рождественский подарок и снова взглянуть на покрытые снегом склоны Килиманджаро и вершину Маванзи. Хотелось вновь почувствовать теплоту ярких, белозубых улыбок наших африканских друзей. Хотели мы также оказать какое-то внимание нашим крестникам из племени масаи — Эрнесту и Мери. Нам мечталось опять услышать рычание львов по вечерам и испытать веселое неудобство ночевки на раскладушке.

Я мечтала опять наблюдать, как вздымаются и клубятся столбики пыли от шагов Папы, когда мы шли гуськом по следу зверя, слушать, как он рассказывает всякие истории нашим носильщикам на изобретенном им самим, единственном в своем роде языке — смеси итальянского, французского и испанского. Во всяком случае, носильщики всегда делали вид, что понимают.

Для нас обстановка охотничьей экспедиции была гораздо более желанной роскошью, чем какие-то бриллианты, роллс-ройсы и золотая посуда. Экспедиция дает ощущение свободы.

Папа любил в свое время многое — женщин, зверей, спорт. Но две наиболее длительные его привязанности — это «Пилар», его яхта длиной в сорок футов, и рыбная ловля. Последней он начал заниматься, как он рассказывал мне, с пяти- или шестилетнего возраста. Он еще собирался поехать на рыбную ловлю к реке, на которой стоит наш горный домик в Айдахо...

...До высадки в Нормандии он вместе с группой американских и кубинских друзей, под видом научной экспедиции, отправился якобы на рыбную ловлю к северному побережью Кубы,

в район старого Багамского канала. Целью был поиск немецких подводных лодок, которые торпедировали танкеры союзников в Карибском море и у берегов Флориды. Хотя «Пилар» была перегружена всяким снаряжением для обнаруживания, а в случае удачи — и для потопления такой «добычи», она так и не поймала подводную лодку. Но зато об этих днях Папа написал, по моему мнению, один из самых лучших своих неопубликованных рассказов...

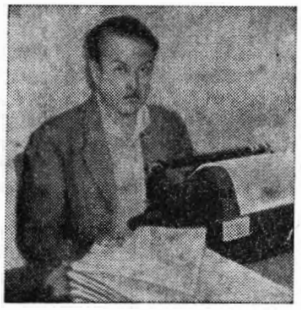
...В каком бы мы ни были океане, всякий раз, когда выходили в открытое море, мы воспринимали все, как новое открытие. Иногда мы ничего не привозили домой, кроме впечатлений о виденном. Это могло быть воспоминание об огромной акуле — пятнистом чудовище, почти такой же длины, как «Пилар», или о летающей рыбке, такой крошечной, что Папа сказал о ней: «Как дождевая капелька».

Какой бы день Гольфстрим ни подарил нам, мы все считали за благо. Мы гордились и были счастливы слаженностью нашей совместной работы. Мы были не просто мужчиной и женщиной, а друзьями, братьями. Папа был единственным моим братом и лучшим другом, который когда-либо у меня был».

УРУГВАЙ

АЛЬФРЕДО ГРАВИНА О ЛИТЕРАТУРЕ

Видный уругвайский прогрессивный литератор, секретарь Ассоциации писателей Уругвая Альфредо Гравина в беседе с корреспондентом кубинского журнала «Верде оливо» затронул интересные вопросы — задачи писателя и литературы в наше время, рассказал о своем творчестве и о литературной жизни.



Альфредо Гравина.
(Журнал «Верде оливо»)

— Литература, как и искусство, выполняет социальную функцию, — сказал Альфредо Гравина.— Есть такие аспекты социальной жизни и такие области человеческой души, которые литература может раскрыть намного лучше, чем любой другой инструмент, используемый человеком для познания действительности... Писателю, который в эту эпоху крушения колониальной системы и империализма не опирается на доктрину марксизма и не принимает участия в борьбе своего народа, грозит неминуемая опасность остаться где-то позади, создавать произведения без живого дыхания, оторванные от реальности, обреченные на гибель.

— Какую роль, по вашему мнению, играет «эскапистская» литература — литература бегства от действительности? — спросил корреспондент.

— Печальную роль. Это — извращенная литература, которую империализм и национальные олигархии опекают и всячески поощряют с целью посеять среди читателей пессимизм, скептицизм, чувство бессилия перед высшей судьбой, хотя ныне судьбу творят сами народы. Те, кто так пишет, утверждают, что делают это во имя свободы творчества. Ну, это такая же свобода, как свобода пойти купаться в сухом бассейне...

— Что можно отметить как позитивное в современной литературе Уругвая?

— Этот вопрос очень интересен и важен. Многие поэты различных тенденций нынче воспевают и революционную Кубу и советские полеты в космос. Многие из тех, кто никогда в своем творчестве не касался политических тем и даже выступал против этого, теперь пишут на политические темы. Произошло обновление уругвайской поэзии. Прозаики стремятся отразить уругвайскую действительность в своих рассказах и романах. Возрастает влияние прогрессивных писателей на литературную молодежь.

Альфредо Гравина кратко охарактеризовал свои последние произведения, в том числе известный советскому читателю роман «Границы, открытые ветру», романы «Единственный путь» и «От страха к гордости» (рецензия на последний роман опубликована в «Иностранной литературе» № 12, 1960). Писатель подчеркнул, что свою задачу он видит в том, чтобы писать о жизни, о бедах, о борьбе и надеждах уругвайского народа.

— Над чем вы сейчас работаете? Каковы ваши планы на будущее?

— Закончить трилогию «Двери весны», в которую входит роман «Единственный путь». В настоящее время работаю над двумя книгами. Одна из них — роман, разоблачающий латифундизм в нашей стране, его противодействие прогрессу. В этом романе осуждаются проявления маккартизма, вскрываются маневры местной реакции, подогреваемой силами империализма. Роман утверждает неизбежность победы народных масс. Над другой книгой — очерки по истории Уругвая — я работаю вместе с моим земляком, историком Франсиско Р. Пинтосом.

ФИНЛЯНДИЯ

РОМАНЫ ТИПОГРАФСКОГО РАБОЧЕГО

Первый роман «Голод в осеннюю пору» был написан Лео Огреном в 1954 году. Это — его автобиография. Писатель родился в сельской местности, недалеко от Якобстада. Отец его был крестьянином, потом рабочим. В течение десяти лет будущий писатель работал в типографиях в Финляндии и в Швеции.

В беседе с корреспондентом норвежской газеты «Фрихетен» Огрен сообщил, что недавно начал работу над серией исторических романов.

На вопрос о том, кто из писателей мира оказал на него влияние, Лео Огрен ответил, что самое большое влияние на него оказал Максим Горький. Из русских писателей в свое время он увлекался Достоевским, много читал Короленко.

Говоря о задаче писателя, Огрен заявил, что писатель должен проникать в глубины жизни, «превращая жизнь в песню».

«ИСКРЯЩИЕСЯ ГОДЫ»

Одним из самых значительных произведений истекшего года финская критика считает новый роман известной финской писательницы Ээвы Йоэнпелто «Искрящиеся годы», который является продолжением романа «Девушка идет над водами». Последний был написан в 1956 году и выдержал с тех пор шесть переизданий, что в Финляндии редкий факт. В этом романе речь шла о безрадостной жизни рабочих южнофинляндского фабричного поселка и о судьбе одной из работниц, Алмы Виртанен.

Алма Виртанен и ее дочь Хелми — героини и нового романа «Искрящиеся годы», в котором писательница развивает политически острую тему: события 30—40-х годов, разгул реакции в стране, террор фашистов — «лапуасцев», вторая мировая война.

Критик газеты «Кансан уутисет» рассматривает интерес Ээвы Йоэнпелто к острым политическим событиям в жизни страны, как «весьма положительную эволюцию в творчестве писательницы...»

Комедия автора «Каменного гнезда» Хеллы Вуолийоки «Хулда Юуракко» известная за пределами Финляндии под названием «Дочь парламента», с успехом идет на финской сцене. На снимке: Сцена из спектакля в театре города Котка.

(Газета «Кансан уутисет»)

ФРАНЦИЯ

ПОХОД ПРОТИВ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ

Директора парижского издательства «Эдисьон де минюи» Жерома Лендона суд приговорил к штрафу в сумме две тысячи франков за «деморализацию армии и подстрекательство военнослужащих к неповиновению».

В 1960 году Лендон опубликовал книгу «Дезертир», которая, по мнению властей, написана дезертировавшим из армии унтерофицером Жан-Луи Хурстом (псевдоним автора — Морienн) и повествует о пережитых им событиях. Хурст, так же, как и герой романа, дезертировал, чтобы не быть вынужденным принимать участие в несправедливой войне против алжирского народа.

Суд выносит решение: книгу «Дезертир» романом считать нельзя — в ней слишком много автобиографического материала. Следовательно, Лендона можно привлечь к ответственности на том же основании, что и издателей газет и журналов, когда они публикуют неугодные правительству политические статьи. Таким образом, отмечает еженедельник «Леттр франсез», суд взял на себя смелость вторгаться в область литературы и решать, к какому жанру относится то или иное произведение,— как известно, перед решением этого вопроса порой становятся в тупик критики и историки литературы.

Эльза Триоле по этому поводу пишет в «Леттр франсез»: «Дезертир» — не роман, это автобиография чистейшей воды — так утверждает суд. Стало быть, прежде чем приняться за чтение произведения, на обложке которого написано «роман», надо выяснить, что́ послужило автору источником вдохновения. Но ведь мнение о произведении у читателя складывается не в результате чтения полицейских отчетов, и его

мало интересует, выдуманы ли автором события, описанные в романе, или пережиты... Да в конце концов разве дело трибунала судить о литературных достоинствах произведения и решать вопрос о том, какая книга является романом? Все это очень просто,— пишет Эльза Триоле,— властям не нравятся политические взгляды, высказываемые в «Дезертире». Будем называть вещи своими именами: издателя Лендона осудили за политические взгляды. Вот где роман — пережитый, политический, зловещий».

Красноречив другой факт.

Жером Лендон на страницах газеты «Монд» выступил с протестом против вторичной конфискации книги «Св. Михаил и дракон (Воспоминания парашютиста)» Пьера Лёльетта.

Впервые книга была конфискована через три дня после поступления в продажу, одновременно с появлением статьи о ней в еженедельнике «Экспресс». Этот номер «Экспресс» был также конфискован. Жером Лендон указывает на то, что никаких объяснений от властей не поступало. «Никто не мог бы заподозрить Пьера Лёльетта в том, что он — крайне левый пропагандист или что он отказывается нести военную службу, или в том, что он— боец Фронта национального освобождения Алжира,— пишет Лендон,— книга посвящает всего лишь несколько страниц пыткам, не называет имен и упоминает лишь о событиях, предшествовавших 1958 году». Книга Пьера Лёльетта была конфискована префектурой полиции по распоряжению министерства внутренних дел. Но так как позднее Лёльетта получил от министерства уведомление о том, что приказ исходил не от министра внутренних дел, то книга была вторично пущена издательством в продажу. И снова, без какого бы то ни было обоснования, книга Лёльетта была конфискована.

Обращаясь к редактору «Монд» с просьбой напечатать в газете его письмо, Лендон добавляет: «Мой печальный опыт принесет пользу, если сыграет роль в деле оповещения общественного мнения об опасности, с каждым днем все более затрагивающей наши свободы и незаметно подготавливающей дорогу тоталитарному государству».

Жером Лендон.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

В примечании к письму Жерома Лендона редакция газеты отмечает, что после конфискации книги Анри Аллега «Допрос под пыткой», впервые опубликованной издательством «Эдисьон де минюи», запрещение книги Пьера Лёльетта — девятая конфискация книг этого издательства.

Недавно еженедельник «Леттр франсез» опубликовал два письма Жерома Лендона, адресованные министру культуры Франции Андрэ Мальро.

В первом письме, напомнив о том, что в течение многих лет издательство «не вызывало недовольства властей», Лендон пишет: «В 1958 году я счел своим долгом опубликовать «Допрос под пыткой» Анри Аллега. Книга была конфискована... С тех пор прошло четыре года. Факты, сообщенные Аллегом, не были расследованы. Книга до сих пор запрещена. Начиная с 1957 года, мы напечатали двадцать книг, в которых затрагиваются проблемы войны в Алжире, и девять из них были конфискованы, так как в этих книгах шла речь о пытках. В числе этих девяти роман «Дезертир». На прошлой неделе мне были поставлены в вину взгляды некоторых персонажей романа, и я был осужден. Я спрашиваю себя, не хотел ли тем самым трибунал наградить меня дипломом гражданской доблести... Моему поколению хорошо известно, что без свободы и уважения человеческой личности нет искусства.

Издательство «Эдисьон де минюи» недавно опубликовало книгу «Св. Михаил и дракон»... Через несколько дней после выхода из печати эта книга была конфискована... Чрезвычайный закон, введенный для борьбы с апрельским путчем, применяется, как ни парадоксально это звучит, для конфискации литературных произведений... Как Вы, Андрэ Мальро, можете терпеть такие методы?! Я считаю, что они не имеют ничего общего с демократией. И я надеюсь, что виновным придется объяснить свое поведение суду. В Ваши функции входит защита культуры, свободы думать и писать».

Лендон подчеркивает, что он обращается к Мальро с письмом вовсе не затем, чтобы потребовать возмещения убытков: «Раз в наше время безнаказанно совершаются преступления... я не могу ждать от правосудия ничего, кроме кляпа в рот и штрафов. Но я считаю, что ради себя и ради Вас я должен был написать это письмо. Прав ли я — покажет будущее».

Второе письмо Жерома Лендона гласит:

«Господин министр! 2 января я послал Вам письмо, которое, как я имел глупость считать, должно было способствовать защите некоторых демократических принципов. Разумеется, я ошибся — Вы даже не сочли нужным уведомить меня о получении письма. Не думаю, что Вы сочтете бестактным с моей стороны, если я сообщу прессе текст этих писем».

ГЕРОИ АРИСТОФАНА ТРЕБУЮТ МИРА В АЛЖИРЕ

В парижском «Театр насьональ попюлер» идет комедия Аристофана «Мир». Действие пьесы происходит в пятом веке до нашей эры, но весь смысл постановки ее на сцене театра Жана Вилара заключается в особой актуальности спектакля, в том, что он явился своеобразным протестом против войны в Алжире.

Жан Вилар сам сделал переложение «Мира» для своего театра, сохранив сюжет и композицию Аристофана и, вместе с тем, насытив текст острым политическим содержанием. Еще до постановки пьесы Жан Вилар, как сообщает еженедельник «Леттр франсез», говорил, что от греческой истории в комедии «Мир» сохранится только пять процентов — в именах действующих лиц. Но антивоенный пафос комедии, вдохновивший Вилара на воссоздание в своем театре творения гениального античного комедиографа, он постарался сохранить.

Современные политические деятели в комедии не названы — они выступают под древнегреческими именами, но в костюмах наших дней узнать их достаточно легко. Об этом свидетельствует негодующий отклик Франсуа Мориака на постановку аристофановского «Мира». Преданность этого писателя де Голлю заставила его написать о Жане Виларе такие строки в «Фигаро литтерер»:

«Жан Вилар средствами, которые государство предоставило в его распоряжение (театр находится на государственной дотации.—*Ред.*), заставляет всю молодежь зло смеяться над президентом Республики... Эта власть актера над всей молодежью смело дарована ему государством, которое позволяет не только оскорблять себя, но и издеваться над собой, выставлять себя детям на посмешище».

Многие французские критики считают, что лучшее в пьесе — это античный хор, превращенный Виларом в хор трудящихся. «Мир» — это выражение гражданской воли и гражданского протеста, и судить о нем надо именно в этом его качестве»,— пишет критик газеты «Монд», сравнивая текст Вилара по «лаконичному и колоритному стилю борца» с драматургией Бертольта Брехта.

Сцена из комедии «Мир» Аристофана в Народном национальном театре («ТНП»).

(Еженедельник «Франс нувель»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«В ОГНЕ И БУРЯХ»

Творческое наследие словацкого литератора Яна Поничана ограничивается всего лишь двумя десятками стихотворений, несколькими драматургическими и прозаическими произведениями, а также рядом критических работ. Однако без него, пишет еженедельник «Литерарни новины», невозможно представить возникновение словацкой пролетарской поэзии и борьбу за социалистический реализм в словацкой литературе.

Изучение творчества Яна Поничана, безусловно, позволит глубже исследовать проблематику возникновения и развития современной социалистической литературы.

Вышедший недавно сборник статей, критических очерков и заметок Поничана «В огне и бурях» расширяет характеристику автора как поэта, прозаика и марксистского литературного критика 20—30-х годов нынешнего столетия. Книга помогает глубже понять проблематику социалистической литературы и литературной критики.

«Писать без тенденции означало бы для меня не писать. Я живу и хочу переделывать жизнь», — эти слова Яна Поничана, написанные им в 1934 году, могут служить эпиграфом ко всему его творчеству. Эти же слова характеризуют и его критические работы.

Книга Яна Поничана, по оценке еженедельника, большой вклад в изучение проблем возникновения социалистической словацкой литературы и вопросов марксистской литературной критики 20—30-х годов.

САТИРИЧЕСКИЙ РОМАН АРХИТЕКТОРА

В сатирическом романе известного чешского архитектора К. Гонзика «Восстановление рая» автор ставит вопрос о возможности и смысле «бегства от цивилизации».

Сюжет романа таков: чешского архитектора Павла

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮЛИУСЕ ФУЧИКЕ

В чехословацком Государственном издательстве политической литературы вышла книга Густы Фучиковой «Воспоминания о Юлиусе Фучике». Книга рассказывает о последних годах жизни национального героя Чехословакии.

Фучикова работала над своей книгой много лет. Еженедельник «Литерарни новины» сообщает, что, кроме личных воспоминаний автора, в книге приведены также и воспоминания товарищей, которые в период фашистской оккупации встречались или работали с Юлиусом Фучиком. Книга освещает ряд важных моментов из истории нелегальной деятельности коммунистической партии Чехословакии во время войны и гитлеровского нашествия.

Драматический театр имени С. К. Неймана в г. Либень поставил пьесу Бертольта Брехта «Взлет и падение Артура Уи». На снимке: Сцена из спектакля.

(Еженедельник «Свет в образех»)

Галанду приглашают вместе с представителями американского высшего общества посетить так называемый «Новый рай», который строит туристическое общество на одном из островов Тихого океана. Вместе с тем он смог ознакомиться с островом, на котором некий французский буржуа Роллон когда-то основал колонию детей, по его мнению, в соответствии с принципами Жан-Жака Руссо.

В детской колонии француз Роллон, противопоставив себя обществу и цивилизации, лишь доказал, что человек вне общества чувствует себя всюду одиноким. Считая язык злом, Роллон не научил детей разговаривать, остановив тем самым их духовный рост. Дети стали беспомощными, никакая природа не смогла дать им внутреннюю силу, не смогла помочь сделать их жизнь гармоничной. В колонии начался раздел на касты, вражда, в примитивной форме возникла частная собственность.

Один из друзей Галанда— Тремэйн «ищет правду» вне общественной борьбы. Он решил жить на острове «Новый рай», жениться на туземке, своим отношением к ней отделить себя от зла, которое приносят колонизаторы, отрешиться от мира путем внутренней созерцательности. Философия Тремэйна индивидуалистична и иллюзорна.

Центральная мысль романа «Восстановление рая» — нельзя убежать в «рай», его необходимо создать в обществе, в котором ты живешь,— раскрывается многопланово, красочно и с большим мастерством.

В рецензии, опубликованной еженедельником «Литерарни новины», отмечается, что для автора романа характерна тщательная работа над деталью, продуманность каждой ситуации, каждого вводимого в сюжетную композицию элемента. Можно упрекнуть Гонзика в том, что он все же отдает дань традиционному приключенческому роману, используя ряд его приемов и художественных средств, однако основное в романе — его сатирическая направленность, глубина мысли — безусловно привлекут читателя.

ЯПОНИЯ

ПЬЕСА О ШАХТЕРАХ

Японский художественный театр «Гэйдзюцу-дза» поставил пьесу молодого драматурга Носин «В сердце земли». В основу пьесы положено реальное событие, происшедшее на шахтах Миикэ, где проходила в прошлом году крупнейшая в Японии забастовка трудящихся. Спектакль рассказывает о справедливой борьбе японских шахтеров.

Сцена из пьесы «В сердце земли».

(Газета «Акахата»)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДАМЯН ДАМЯНОВ

(род. в 1935 г.)

Болгарский поэт. Автор стихотворных сборников «Если б не было огня» («Ако нямаше огън», 1958), «Ожидание» («Очакване», 1960). Его стихотворение «Автобиография» печаталось в нашем журнале в № 10, 1960 г.

Публикуемое стихотворение взято из еженедельника «Литературен фронт» № 44 за 1961 год.

■

КОНСТАНТИН БИБЛ
KONSTANTIN BIEBL

(1898—1951)

Чешский поэт. Автор сборников стихов «Путь к людям» («Cesta k lidem», 1923), «Перелом» («Zlom», 1925), «С лодкой, которая возит чай и кофе» («S lodí jež dováží čaj i kávu», 1928), «Небо, ад, рай» («Nebe, peklo, raj», 1931) и других. Последняя книга поэта «Без опасений» («Bez obav», 1951), в которую вошли стихи, написанные в период с 1940 по 1950 год, была удостоена Государственной премии. В № 11 нашего журнала за 1956 г. печатались его стихи.

Публикуемое стихотворение взято из IV тома собрания сочинений К. Библа, вышедшего посмертно.

■

ИРЖИ ФРИД
JIŘÍ FRIED

(род. в 1923 г.)

Чешский прозаик и поэт, автор повести «Цейтнот» («Časová tíseň», 1961).

Публикуемое стихотворение взято из «Поэтического альманаха» («Básnický almanach», 1958).

■

ДИТЕР НОЛЛЬ
DIETER NOLL

(род. в 1927 г.)

Немецкий писатель (ГДР), автор книг «Госпожа Перлон и другие репортажи» («Die Dame Perlon und andere Reportagen», 1953), за которую он в 1955 г. получил премию Объединения свободных немецких профсоюзов; «Солнце над морями» («Sonne über den Seen», 1954).

Роман «Приключения Вернера Хольта» («Die Abenteuer des Werner Holt») вышел в 1960 и удостоен премии Генриха Манна в 1961 году. Этот большой роман публикуется в журнальном, сокращенном варианте.

■

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ
WLADYSLAW BRONIEWSKI

(1897—1962)

Польский поэт. Переводчик русской и советской поэзии на польский язык. Ему принадлежат сборники стихов: «Ветряные мельницы» («Wiatraki», 1925), «Дымы над городом» («Dymy nad miastem», 1927), поэма «Парижская Коммуна» («Komuna Paryska», 1929), широко известные стихи «Магнитогорск, или Разговор с Яном» («Magnitogorsk albo rozmowa z Janem», 1933), «Примкнуть штыки» («Bagnet na bron», 1939), сборники «Варшавские стихи» («Wiersze warszawskie», 1948), «Надежда» («Nadzieja», 1951), «Молодым в полет» («Młodym do lotu», 1952), «Будет радость и будет песня» («Będzie radość i będzie spiew», 1953), «Избранные стихи» («Poezje wybrane», 1954), поэма «Анка» («Anka», 1956), «Стихи» («Poezje», 1957) и книги переводов «Мои поэтические привязанности» («Moje przyjaźnie poetyckie», 1960).

Произведения Броневского неоднократно печатались в нашем журнале.

Публикуемые стихи взяты из периодической польской печати.

■

ЛЕОНАРДО ШАША
LEONARDO SCIASCIA

(род. в 1921 г.)

Итальянский писатель. Автор книг «Цвет римской поэзии» («Il fiore della poesia romanesca», 1952), «Сицилия — его сердце» («La Sicilia il suo cuore», 1952), «Пиранделло и пиранделлизм» («Pirandello e pirandellismo», 1953), «Приход Регальпетры» («Le parrocchie di Regalpetra», 1956), «Два итальянских рассказа» («Due storie italiane», 1957), «Сицилийские дядюшки» («Gli zii di Sicilia», 1960).

Публикуемая повесть «Сова появляется днем» («Il giorno della civetta») вышла в 1961 году.

■

ХОАЙ ТХАНЬ
HOAI THANH

(род. в 1909 г.)

Вьетнамский писатель, критик и публицист, генеральный секретарь Ассоциации литературы и искусства. Автор книг «О

поэзии Вьетнама» (1941), «Право человека на жизнь в поэме Нгуен Зу», «Повесть о Кьео» (1949), «Беседы о поэзии Сопротивления» (1951), «Месяц в Корее» (1952), а также двух книг очерков— «Любимый Юг» и «Рассказы о юге» (1956). Его критические статьи печатались в нашем журнале в первых номерах за 1955 и за 1959 годы.

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

■

ЙОЖЕФ ДАРВАШ
JÓZSEF DÁRVAS

(род. в 1912 г.)

Венгерский писатель — прозаик и драматург. Ему принадлежат роман «Город на трясине» («Város az ingoványon», 1945) и сценарий «Пропасть» («Szakadék», 1956), удостоенные премии Кошута за 1956 год. Пьеса «Закопченное небо» («Kormos ég», 1959) и роман «В сентябре я вышел в путь» (1940) опубликованы на русском языке. Его статья «О положении венгерской литературы» была напечатана в нашем журнале № 2, 1960 год.

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

■

ПЬЕР КУРТАД
PIERRE COURTADE

(род. в 1915 г.)

Французский писатель и журналист, автор сборников рассказов «Обстоятельства» («Les circonstances», 1946), «Высшие животные» («Les animaux supérieurs», 1956), романов «Джимми» («Jimmy», 1953), «Черная река» («La rivière noire», 1953), «Красная площадь» («La Place Rouge», 1961). В № 3 нашего журнала за 1958 год были напечатаны два его рассказа.

Публикуемая статья написана для «Иностранной литературы».

■

АНДРЕ СТИЛЬ
ANDRE STIL

(род. в 1921 г.)

Французский писатель. Автор трилогии «Первый удар» («Le premier choc», 1951—1953), книги «Мы будем любить друг друга завтра» («Nous nous aimerons demain», 1958), сборника рассказов «Сена» вышла в море» («La Seine» a prit la mer») и многих других произведений, большинство которых переведено на русский язык. Его роман «Обвал» («Le Foudroyge», 1960) напечатан в нашем журнале в №№ 4—5 за 1961 год.

Публикуемая статья написана для журнала «Иностранная литература».

■

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР
VLADIMIR POZNER

(род. в 1905 г.)

Французский писатель и публицист. Автор книг «Умер Толстой» («Tolstoi est mort», 1935), «Разъединенные Штаты Америки» («Les Etats-Désunis», 1937), «Воспоминания о Горьком» («Souvenirs sur Gorki», 1957), «Кто убил Х. О. Барелла?» («Qui a tué H. O. Burrell?», 1952); романов «Люди своей страны» («Les gens du pays», 1943), «Сутки траура» («Deuil en 24 heures», 1956), «Место казни» («Le lieu du supplice», 1959), «Поднятие занавеса» («Le lever du rideau», 1961).

Публикуемая статья взята из французского журнала «Нувель критик» № 131, 1961 год.

■

Главный редактор **А. Б. Чаковский**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Обложка *С. Б. Телингатера*

Художеств. редактор *М. М. Милославский*

Технический редактор *В. Л. Шачнев*

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

А 04733 Сдано в производство 8/II 1962 г.
Подписано к печати 19/III 1962 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл.
Зак. 270.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.